

Юрий Трифонов

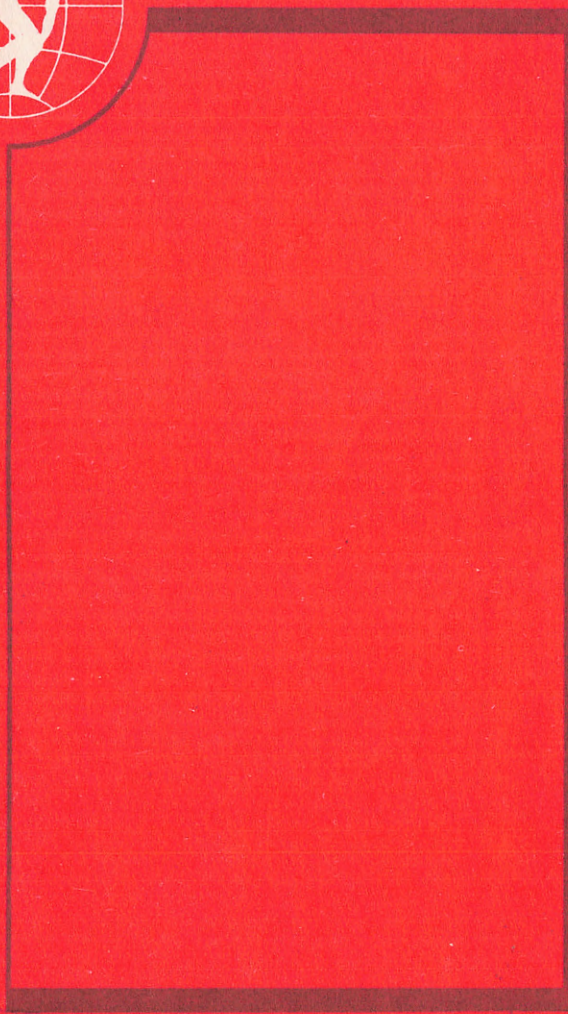
Библиотека Спортивной Прозы



Юрий  
Трифонов

**БЕСКОНЕЧНЫЕ  
ИГРЫ**

·Физкультура и Спорт·



Lei 27



Библиотека  
Спортивной  
Прозы







Библиотека Спортивной Прозы

---

Юрий  
Трифонов

# БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ

О СПОРТЕ, О ВРЕМЕНИ, О СЕБЕ

Москва  
«Физкультура и спорт»  
1989

ББК 84Р7  
Т69

Составитель  
О. Р. ТРИФОНОВА-МИРОШНИЧЕНКО

Вступительная статья  
А. П. ШИТОВА

Комментарии  
О. Р. ТРИФОНОВОЙ-МИРОШНИЧЕНКО и А. П. ШИТОВА

### **Трифонов Ю. В.**

**Т69** Бесконечные игры: Киноповесть, рассказы, очерки; Предисл. А. П. Шитова. — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 478 с., ил. — (Б-ка спортивной прозы).

Автор книги «Бесконечные игры» — известный писатель и спортивный журналист Юрий Трифонов. Включенные в нее рассказы, очерки, статьи, размышления о спорте в жизни людей были в разное время опубликованы в газетах, журналах, книгах. И хотя эти материалы давно стали библиографической редкостью, они и сегодня не потеряли своей актуальности и помогут болельщикам «со стажем» вспомнить недавнее, а молодым — вновь пережить то, чем жил, чем живет советский спорт.

Для широкого круга читателей.

Т 4700000000—026 19—89  
009{01}—89  
ISBN 5—278—001000—3

ББК 84Р7

© Издательство «Физкультура и спорт», 1989 г., составление, предисловие, комментарии, иллюстрации.

## Глядя в завтрашний день...

---

Автор книги — Юрий Валентинович Трифонов (1925—1981) — рано стал профессиональным писателем: в 1947 году напечатал в «Московском комсомольце» фельетон, а уже первый в 1951 году успех — Государственная премия СССР (тогда Сталинская) за роман «Студенты». Но по-настоящему читатель открыл Трифонова с середины 60-х годов после публикации «Утоления жажды», документальной повести «Отблеск костра», повестей «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание».

И все же любители спорта, рьяные болельщики, спортсмены узнали Трифонова еще раньше — с середины 50-х годов, когда появились его первые репортажи и статьи о футболе и хоккее, а вслед за ними в 1961 году и его первая книга «В конце сезона».

Есть справедливое суждение, что писатель начинается не первой книгой, но книгой, какую никто, кроме него, не напишет. Конечно, в идеале каждый должен писать то, чего никто за него не напишет, но это не страховый полис успеха, а лишь одно из первейших условий нравственно и профессионально оправданного присутствия в литературе.

Только начинающим писателям, журналистам, поэтам кажется, что писать о спорте легко. На самом же деле писать о спорте, осознавая вполне ту роль, которую он играет в жизни современного человечества, — дело, сильное для немногих. И уж вовсе единицам отпущена такая мера таланта, при которой публикации в газете или журнале складываются потом в книжку, живут долгой жизнью, не старея и не теряя читательской популярности. Счастливы газета и журнал, у которых есть такое перо.

Счастливы ровесники-болельщики, которым в смутные времена неудач и в звездные часы успеха их любимцев расшифровал их собственные эмоции простыми и понятными словами талантливый обозреватель. Честный. Бескомпромиссный. Умеющий без опасений за сиюминутную выгоду заглядывать в завтрашний день.

В статье с символическим названием «Планетарное увлечение» Трифонов пишет: «Что же такое спорт? Игра? Развлечение? Может быть, работа? Изнурительный труд? Искусство? Что-то вроде театра, цирка? А может быть, вот что — могучее средство воспитания молодежи? Пожалуй, да. Этого не отнимешь. Но почему же из-за этого средства воспитания миллионы людей как бы сходят с ума, делаются безумцами, возникают крупные межгосударственные конфликты и даже войны? Может быть, спорт — это всего лишь наваждение двадцатого века? Нечто вроде всемирного психического заболевания?.. Какая-то отдушина, куда вылетают клубы некоего неблагоприятного пара, называемого национализмом?.. Как выяснилось, человечество не может существовать без искусства, а теперь уже — и без спорта. Поэтому серьезные раздумья на эту тему все больше привлекают художников, умеющих мыслить...»

Обратимся к трифоновской метафоре (в повести «Долгое прощание»), где он пишет о том, что история страны — это многожильный провод, и течение времени несет всех, все. И такое планетарное увлечение, как спорт, является одним из проводов, но уже со множеством своих маленьких «проводочков». Нравственный нерв размышлений Трифонова о спорте как определенной и закономерной модели жизнедеятельности людей пронизывает его рассказы, очерки, статьи, репортажи, киносценарии. Нравственный нерв размышлений Трифонова о спорте как определенной и закономерной модели жизнедеятельности людей пронизывает его рассказы, очерки, статьи, репортажи, киносценарии. Нравственный нерв размышлений Трифонова об истории страны, о людях, в судьбах которых преломляется эта история, о течении времени, где все соединено, и нельзя оторвать одно от другого, пронизывает его прозу.

Что же объединяет эти на первый взгляд различные по своим жанровым характеристикам «составляющие» его творчества?

...Вся суть — в позиции Трифонова. Он рассказывает нам о людях, про которых не скажешь, хороши они или плохи, здоровы или больны. Они живые, в них есть и

то и это. Он рассказывает нам о нас: «Как нет абсолютно здоровых людей — это знает каждый врач, так и нет абсолютно хороших — это должен знать каждый писатель. Мы пишем не о дурных людях, а о дурных качествах». Ю. Трифонов говорил о мечте писателя, который хочет, чтобы читатель заглянул в себя и хоть что-то неприятное, хоть какую-то ничтожную долю человеческого эгоизма заметил бы в себе и постарался бы втихомолку, никому ничего не говоря, от этого избавиться. Он настойчиво и последовательно проводил в жизнь нередко очень болезненно воспринимаемый принцип правды, как единственный этический и эстетический принцип творчества.

...Вся суть — в позиции Трифонова, формирование которой было органичным и естественным, так как определялась его демократизмом, жизненной и творческой судьбой, теснейшим образом переплетенной с судьбой страны. Свообразным девизом его творчества были известные и часто повторяемые им слова Герцена: «Мы не врачи — мы боль».

...Вся суть — в позиции Трифонова. Он показывает нам спортсменов, бывших одновременно как бы наедине с собой и перед лицом тысяч болельщиков, торжествующих не только его — спортсмена — победу, но и свою победу, переживающих не только его, но и свое поражение. Ведь каждому хочется быть сильным в преодолении различных препятствий, и спорт помогает людям в этом. Помогает, позволяя читателю-болельщику задуматься о себе, о своей жизни, об окружающих людях. Помогает, ибо спорт, говорил Юрий Трифонов, «проявляет человека во всей его сложности, многослойности его души, спорт не льстит человеку, не жалеет его болевых ощущений». Помогает потому, что в спорт мы привносим какую-то часть себя, что-то личное и в ответ получаем переживания, которые помним.

Юрий Трифонов почти двадцать лет был в числе тех верных активных болельщиков, присутствие которых на многих спортивных соревнованиях воспринималось как нечто естественное. Он был корреспондентом «Советского спорта», журнала «Физкультура и спорт», «Литературной газеты», «Литературной России» на летних и зимних Олимпийских играх в Риме, Гренобле, Инсбруке, на чемпионатах мира по хоккею с шайбой, футболу, волейболу, других международных и всесоюзных соревнованиях.

Примерно половина из всего написанного Трифоновым — о спорте как ярчайшем социальном феномене в



жизни людей. Рассказы, статьи, очерки, репортажи, киноповесть о спортивных журналистах «Бесконечные игры», сценарии художественных фильмов «Хоккеисты» и «О чем не знали трибуны», сценарии документальных фильмов «Стартует молодость», «Мы были на Спартакиаде», «Ловкость, красота, здоровье».

Он стремился писать на пределе возможного, быть достойным тех, о ком писал, чьей настойчивостью, фанатичным трудолюбием восхищался. И эта влюбленность в красоту и сложность спорта, преданность ему миллионов людей, пожалуй, основной мотив, повторяющийся в той или иной степени на страницах этой книги.

Предел возможного... Спорт и спортсмены... Спорт и повседневная жизнь... Поистине необъятный круг тем и сюжетов. Обращаясь к вступающим на эту стезю, Юрий Трифонов дает совет: «...не начинайте с банальных сюжетов. Не идите в литературу от литературы. Рассказывайте простые истории, которые случились с вами, вашими друзьями, дальними родственниками, соперниками, соседями по лестничной клетке. Плохие спортивные рассказы образовали жанр спортивных рассказов. Хорошие спортивные рассказы принадлежат к великому жанру, в котором работали Гоголь, Чехов, Мопассан. Надо описывать характеры, страсти и чувства людей...» («Два слова о спортивных рассказах»).

Думается, что в этих словах заключается один из трифоновских секретов.

В произведениях Трифонова о спорте главное — любовь ко всему талантливому, интересному, что есть в людях, чем отличаются народы друг от друга и чем сплачиваются, что их соединяет. Какое-то здоровое, безоглядное желание полной жизни, связанной бесчисленными, невидимыми нитями с судьбами близких и далеких собеседников. Вспомним о многожильном проводе! Его статьи о психологии болельщиков, о проблемах спортивного телевидения, наконец, о тяготах спорта, его трагедиях, горечи поражений и ликования победителей, наполненные человеческими страстями, любовью к спорту, и сегодня читаются с большим интересом.

«Футбол футболом, но незнакомый город, незнакомая жизнь и люди, лю д и — это куда интересней...» — так он пишет в очерке «Первая заграница», где рассказывается об отборочном матче пятьдесят пятого года на первенство мира между сборными командами СССР и Венгрии, о Будапеште, о людях, с которыми встречается журналист Трифонов. В его архиве на страницах различных футболь-

ных и хоккейных статистических сборников, газетных отчетах о тех или иных матчах сделаны пометки: не забыть о встречах с тем-то, не забыть сказать о том-то... Представляя спорт как своеобразную модель жизнедеятельности людей, Юрий Трифонов уже в первых спортивных материалах выходит на ряд проблем, исследованию которых он посвятил всю жизнь. Условно их можно сформулировать так: победитель и побежденный, нравственное нетерпение персонажей, что неминуемо приводит к выбору решения, и нередко к «обмену».

Во время пребывания в Гренобле Трифонов встречался с одним из участников Парижских олимпийских игр 1900 года, занявшим последнее место в беге на четыреста метров. Но этот старик считает себя победителем — все умерли, а он жив. «Тщеславие старости! Гордость Мафусаила! Пережить всех. Победить в великом жизненном марафоне: все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмеялся над ним, причиняя ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его,— все они сошли с трассы. А он бежит... И я думаю о том, что можно быть безумнейшим стариком, опоздавшим умереть, никому не нужным, но вдруг — пронзительно, до дрожи — почуять этот запах горелых сучьев, что тянет ветром с горы...» Так заканчивается рассказ «Победитель», персонаж которого (старик) поставил перед собой цель — выжить, несмотря ни на что, выжить, удалившись от жизненной суеты, от необходимости «выбирать — решать — жертвовать».

В художественном фильме «Прозрачное солнце осени» по одноименному рассказу Ю. Трифонова популярные актеры Олег Табаков (Величкин) и Олег Борисов (Галецкий) сыграли роли двух бывших друзей-однокашников — выпускников института физкультуры, случайно встретившихся в аэропорту, живущих сегодня руководствуясь разными жизненными принципами.

У одного из них, в прошлом неплохого спортсмена, эти принципы достаточно просты — приспособленчество и диктуемая им ложь в жизни. У другого — работа в маленьком сибирском городке, повседневная работа учителя физкультуры в школе. Первый считает, что его обошла судьба, другой, напротив, счастлив, что занимается нужным для мальчишек делом, а главное — это работа по-настоящему любима им. Давая психологические характеристики Величкина и Галецкого, Трифонов не руководствуется принципом «белое-черное», но его симпа-

тии явно на стороне второго. Это находит свое выражение и в фамилиях. У одного — величественное начало фамилии снижается уменьшительным суффиксом ее окончания. Фамилия второго соотносится с записью в его дневнике о том, что морская галька, отшлифованная водой, держит берег и укрепляет дно... На таких, как Галецкий, считает писатель, можно положиться — надежный человек.

В связи с рассказом «Прозрачное солнце осени» хотелось бы обратить внимание не столько на поэтическую структуру рассказов и статей Трифонова, сколько на их окончание. Если использовать спортивную терминологию, то можно сказать: важнее всего финальная черта, подводящая итог мыслям и делам персонажей, их усилиям. Так, названный рассказ заканчивается следующим жизненным наблюдением: «Ученики Галецкого молча смотрели в окна. Им не казалось, что жизнь Величкина сложилась неудачно, но они и не завидовали ему. Нет, они были уверены, что им предстоит жизнь еще более заманчивая и прекрасная. И они с жадностью смотрели вниз, как будто надеялись увидеть свое будущее, там, внизу, где проплывало рыжее, бескрайнее, залитое прозрачным осенним солнцем таежное редколесье. С высоты трехсот метров каждое дерево было видно отчетливо, и тайга была похожа на мох».

Еще об одной стороне творчества Трифонова. Он всегда был настроен, нацелен на поиск темы, нового подхода к проблеме, волнующей спортсменов и болельщиков. Он не только ощущал проблему обостренным чутьем журналиста, но и успевал задолго до «выхода на факт» продумать ее. Не потому ли факты шли к нему в руки, не оставались незамеченными?

И в современных дискуссиях о футболе нередко приходится слышать выражение «интеллектуальный футбол». Приоритет на введение в спортивную терминологию этого понятия принадлежит Ю. Трифонову. И сейчас злободневны его размышления: «Но надо помнить, что интеллектуальный футбол предполагает не только высокий интеллект игроков, но более высокий уровень тренеров. И еще несравненно более высокий уровень руководства футболом в стране. И, конечно, этот особый футбол предполагает высокий интеллектуальный уровень спортивных журналистов, пишущих о футболе, и, если хотите, интеллект сотен тысяч, заполняющих трибуны» («Размышление во время скучного матча»).

О тех, кто заполняет трибуны, о болельщиках, об их

чувствах, настроениях писал Трифонов: «Не надо думать, что в футболе все можно понять и научно объяснить. В футболе есть вещи необъяснимые, так же как и в нашей любви к нему. Французы говорят: «Я люблю потому, что люблю». Прочтем еще раз лирические заметки «Признание в любви» о всепогодном футболе, о простых радостях, которые дарит людям стадион: «Красота футбола вот в чем: в ясном голубом небе раннего лета, когда сочно и опьяняюще пахнет свежая зелень, и трава промыта недавним дождем, и скамейки еще не совсем просохли, и мы подстилаем газету и садимся... И в сером дождливом небе тоже есть красота, когда мы сидим, накрываясь втроем одним плащом, и мокрые зонты отливают свинцово, и также свинцово блестят лужи на поле, и футболисты, грязные с головы до ног, и вид у них отчаянный и ожесточенный, и, когда они выходят во втором тайме, на них те же грязные, мокрые насквозь футболки, потому что у них не было времени переодеться — весь перерыв они спорили и винили друг друга — и не было охоты. И в июльском палящем жарком небе тоже есть своя красота, когда солнце сверкает на трубах оркестра, и звуки гимна, рваные от ветра, разносятся над стадионом, и тысячи людей встают одновременно, и сердце сжимается от радостного нетерпения...»

А вот как родился рассказ «Конец сезона». Находясь в командировке в Саратове, молодой журналист Юрий Трифонов поселился в «семейном люксе» городской гостиницы, где соседом оказался Ермасов — бывший врач-тракторист сталинградского «Трактора». Каждый из них занимается своими делами. Но вот о деле своего соседа Трифонов написал рассказ (при первой публикации в «Огоньке» он был озаглавлен «Случайный сосед»). В нем описывается нравственное состояние молодого футболиста, которого переманивают из воспитавшего его коллектива в другой, более престижный. Но главное в рассказе — переживание того, кто переманивает: Ермасов по рассказу — Малахов. Ведь самого Малахова и уважали за то, что он, будучи известным спортсменом, не поддался соблазнам, не перескочил в более известные команды. Ситуация в рассказе тонко, по-трифоновски передана психологическим состоянием Малахова, его победой в конце концов не только над обстоятельствами (такая победа ведь не всегда возможна), а прежде всего над самим собой: уже сторговав молодого футболиста, оставляет его на месте. Как тренеру, ему по возвращении придется решать вопрос об укреплении команды другим

путем (кстати, и по этому рассказу был снят художественный фильм — «В поисках звезды»).

Постоянно рука об руку с Трифоновым-прозаиком идет Трифонов — спортивный журналист. Поиск слов, которые могли бы наиболее точно и полно выразить гамму чувств, настроений описываемых им людей в статье, заметках, репортажах, постепенно, год за годом сужается, освобождаясь от шелухи голол, минут и секунд, пресловутых очков, от барабанного стиля, да, ранних — 50-х годов, — но своих репортажей о «героях», «богатырях», «подвигах», «небывалых», «великих» достижениях.

Рассуждая о стиле репортажей («В первые часы творенья»), он задался вопросом: в чем подвиг мирового рекордсмена, например в толкании ядра? Разве спортсмен победил смертельную опасность, рисковал собственной жизнью или здоровьем своей семьи? Вероятно, речь должна идти о многолетних упорных тренировках, позволивших в нескольких секундных попытках совершить рекордный толчок.

Юрий Трифонов резко пишет о смещении критериев в отношении общепринятых понятий: «Ну, хорошо, согласимся: спортсмены — герои, а то, что они делают, — подвиг. Но как же мы назовем тогда истинных героев, совершающих настоящие подвиги? Где взять слова, чтобы обозначить различия? Надо же как-то различать тех и других! А если так, то бросок ядра за отметку рекорда — подвиг, а бросок Матросова на амбразуру — достижение? Хоккеисты, выигравшие чемпионат мира, совершили подвиг, а панфиловцы, погибшие при обороне Москвы, добились выдающегося результата?.. В этой путанице понятий кроется еще и другая бестактность. Если победивший в спортивном состоянии — герой, богатырь, доблестный сын отечества, то кто же проигравший? Кто полярная противоположность герою — ничтожество, трус? Ну, это, может, сказано слишком сильно, но, во всяком случае, субъект подозрительный...»

Если проводить параллели между спортивной журналистикой и прозой Ю. Трифонова, то кто они — Ксения Федоровна, Дмитриев, Лена Лукьянова («Обмен»), Смолянов, Гриша Ребров, Ляля («Долгое прощание»), Сергей Троицкий («Другая жизнь»), Глебов, Шулеников («Дом на набережной»), Мигулин, Павлен Евграфович Летунов и Кандауров («Старик»), Николай Григорьевич Баюков и Флоринский («Исчезновение») — победители или побежденные? Кто из них тот или другой? А может быть, и тот, и другой? Как время распорядилось их судьбами?..



Пожалуй, впервые в литературной критике глубокий анализ диалектики этого жизненного процесса дан в книге Н. Ивановой «Проза Юрия Трифонова».

Об этих параллелях говорят и дневниковые записи (часть из них приводится в комментариях), позволяющие сделать вывод о творческом влиянии на Трифонова 60-х годов Эрнеста Хемингуэя, его «подходов» к описанию нравственных переживаний победителя и побежденного. Но здесь, думается, есть одна особенность. В отличие от системы оценок героев Хемингуэя у Ю. Трифонова другой акцент. Обратите внимание, например, на рассказы «Победитель шведов», «Одиночество Клыча Дурды», «Прозрачное солнце осени», где восприятие жизни взрослых (победителей и побежденных) дается глазами мальчишек. В них формируется на основе увиденного сегодня наша завтрашняя жизнь. «А взгляд мальчика, ребенка,— пишет Н. Иванова о рассказе «Одиночество Клыча Дурды»,— есть этический критерий происхождения, то есть его незнание и «слепота» по отношению к отцу выше взрослого, самодовольного и самоудовлетворенного жестокого знания».

Этот рассказ о великане, чемпионе по борьбе, пропивающем былую славу, Трифонов заканчивает тем, что наполняет нашу душу горечью и состраданием: «На другой день утром я вижу Клыча Дурды в чайхане возле парка. Парк опустел, чайхана тоже почти пуста: вчерашние борцы разъехались по домам, по колхозам, уже начали сегодня трудовую неделю. Сторож шаркает по песку, сгребая воскресный мусор. Клыч Дурды пьет водку в компании каких-то стариков, а мальчик сидит поодаль возле стены на стуле и дремлет, склонив голову набок».

...В четырнадцать лет сын «врага народа»\* Юрий Трифонов вместе с бабушкой\*\*, которая усыновила его

---

\* Трифонов Валентин Андреевич (1888—1938), партийный, военный, государственный деятель, член партии с 1904 г. Один из организаторов Красной Гвардии, член Реввоенсовета ряда армий и фронтов в годы гражданской войны. Первый председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР. Затем на ответственной партийной, государственной работе. Репрессирован по ложному обвинению, реабилитирован посмертно.

\* Словатинская Татьяна Александровна (1879—1957), член партии с 1904 г. Хозяйка конспиративной квартиры ЦК партии, работала в секретариате Русского бюро ЦК РСДРП (б). Заместитель начальника политдела ряда армий и фронтов в гражданскую войну. Дежурный секретарь в Политбюро ЦК РКП (б), заведующая приемной Секретариата ЦК партии (см.: Прометей: Вып. 4. М., 1967).

и удочерила сестру Таню, были выселены из известного «дома на набережной» на окраину Москвы. Пожалуй, впервые воспоминания о доме, где прошло детство, появились в очерке о шахматах, вернее, о матче за мировое первенство между Талем и Ботвинником,— «История болезни». Не думаю, что это заглавие было сделано с прицелом на будущие воспоминания, но, как мне кажется, именно «история болезни» Юрия Трифонова способствовала написанию психологически и исторически точных произведений об «истории болезни» конкретных людей, а через них и нашей страны. Да, речь идет в первую очередь о повести «Дом на набережной», романах «Старик», «Время и место» и «Исчезновение».

Но вернемся к очерку. Рассказ о волнениях Таля и Ботвинника, их болельщиков перебивается «боковым ходом» — воспоминаниями о доме, о близком друге Леве Федотове, погибшем на фронте. И как бы подводя итог своим размышлениям, Трифонов пишет: «Вот о чем я вспомнил, глядя из окна на мрачные бетонированные стены этого дома, такого чужого, такого далекого. И я подумал о том, что шахматы — не просто игра. Они часть нашей жизни. Часть жизни, понимаете? В том-то и дело».

О гуманизме, сострадании, умении понять чужую боль, не разделять жизнь на «белое» и «черное» — то, что является сутью творчества Ю. Трифонова,— впервые, как представляется, рассказано через спорт.

Живые характеристики психологического состояния спортсмена и болельщика, отражающие обоюдное стремление к победе человека над обстоятельствами, и сегодня волнуют нас. «Мы находимся на пороге новой футбольной эстетики. Мы наслаждаемся футбольной игрой «с подтекстом», где красота не во внешнем сюжете и не в голах, а в том, как разворачивается психологическая, интеллектуальная драма. Разумеется, без забитых мячей не может быть футбола. Это все равно что еда без соли. Но ведь никто не скажет, что главное в еде — это соль!» («Новая эстетика футбола»).

...В очерке об одном из хоккейных матчей в Гренобле Юрий Трифонов пишет: «Однажды, когда на льду была старшинская тройка, я услышал хриплое соколическое: «Спартак, дави-и!» И как-то сразу повеяло родным, я подумал о жене, о дочке и вспомнил про открытку, которую написал, но забыл отправить...» («Из австрийского дневника»). Думается, что в подобных «домашних» ощущениях, не имеющих ничего общего с хоккейным

матчем, выражается наша близость к спорту, наше человеческое доверие. Болельщики согласятся с этим, ибо многое в их повседневной жизни тесно переплетено со спортом.

...Рассказ о знатоке испанского футбола («Испанская Одиссея») предстал перед читателем рассказом о жизни и мужестве коммуниста, комиссара интернациональной бригады, сражающейся в Испании, борющегося с фашизмом в рядах Красной Армии. Затем возвращение в Испанию, арест фашистами, тринадцать лет тюрьмы и вновь возвращение в Советский Союз. «Да, я ведь так и не объяснил вам, откуда я хорошо знаю футбол. Дело в том, что в Бургосской тюрьме нам не давали читать ничего, кроме спортивных газет... И на прогулке в тюремном дворе мы громкими голосами разговаривали о футболе. Шепотом сообщали друг другу новости из большого мира». Думается, что благодаря этому писательскому ходу перед нами реальная борьба с франкизмом реальных людей. Перед нами жизнь.

...В репортаже об олимпийском лыжном марафоне на 50 километров («Вокруг них — тишина, лес, снег и узкий, как нож, как неизбежность, след перед глазами. И — время, которое стучит в висках, как колокол») автор приводит слова известного лыжника шведа Сикстена Ернберга о самом трагичном моменте: преодолении «мертвой точки», когда, победив «человека с молотком» в собственных висках, преодолев слабость, спортсмен делается вдвое сильнее. И опять авторский «поворот» от накала спортивного соревнования к обыденной жизни: «Мертвая точка» существует в каждом деле. Она есть и в жизни спортсмена. Она существует и в нашей с вами, большой и серьезной, далекой от спорта, жизни. Это миг наибольшей слабости, который надо перебороть, чтобы жить дальше».

...В очерке «Травничек и хоккей» Юрий Трифонов наряду с рассказами о перипетиях венского чемпионата мира по хоккею говорит о забвении уроков прошлого, варварских уроков фашизма. Австрийские и не австрийские — западные травнички по страшной привычке равнодушия взирают на концентрационный лагерь Маутхаузен и ему подобные «учреждения для перевоспитания» миллионов людей: ведь это было не с нами, и мы в этом не участвовали, мы не виноваты. «Нацистскую газету «Националь-Цайтунг», выходящую в Мюнхене, можно купить в любом венском киоске. Она стоит дорого, в шесть раз дороже «Курира», но не залеживается. Все перепле-

лось в нашем мире, вся связано, одно воздействует на другое, одно вытекает из другого. Швехатское пиво, травнички с багровыми лицами и неясными мозгами, оружие стадионы, безмолвные Маутхаузы, профессор Бородайкевич и несчастный итальянец, убивающий случайных людей на Фаворитенштрассе,— все это слиплось, как конфеты в кульке...»

На примерах австрийских травничков, западногерманских михелей, провинциальных фюреров Юрий Трифонов писал о недопустимости забвения прошедших мировых трагедий, об опасных последствиях нравственно-политического обмена: мы вам молчание — вы нам жизнь с постоянной предтечей фашизма — террористами. Он писал, что люди на Западе, рассматривая громадные фотографии террористов, молодчиков из неонацистских организаций, ужасаются, стараются понять: кто эти люди? Чего добиваются? Чего хотят от нас? «И первая, облегчающая душу догадка: от нас ничего. Хотят от других,— пишет Трифонов в яркой публицистической статье «Нечаев, Верховенский и другие...». — И все же характер человечества остался тот же: противоречивый, забывчивый, легкомысленный. Мировой Скотопригоньевск опомнится лишь тогда, когда вспыхнет пожар. Диктор французского радио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Моро заслоняет всю остальную действительность. Но все же я сообщу вам результаты бегов...» Бега продолжают. Люди интересуются их результатами».

Прочтите внимательно произведения, включенные в раздел «Стадионы и страны», и вы убедитесь в «скотопригоньевском» характере Слишком Большого спорта. Под ним Трифонов подразумевает спорт, разъединяющий народы, «раздувшийся от самодовольства, гордыни, национального чванства и сознания того, что побеждает только сила, одна сила, ничего кроме силы». Человек — и об этом постоянно напоминает нам писатель и журналист Юрий Трифонов — в своем увлечении может и должен стремиться к большему в своей жизни, творить, жить ярко, стремительно, напряженно.

«В течение жизни,— писал Трифонов в «спортивном» рабочем дневнике,— человека всегда подстерегают подводные камни, рифы. Он может на них и не наткнуться, может при столкновении с ними выработать пути обхода, может разбиться. Всякое бывает...» В статье «Планетарное увлечение» Трифонов анализирует трагедию спортсмена в течение спортивной карьеры: «Ни один, даже самый величайший, не избежал трагедии конца.

Тут происходят страшные вещи, иногда невидимые для постороннего глаза, но порой вырывающиеся наружу с вулканической силой». В одном из репортажей о легкоатлетическом матче СССР и США он описывал прыжки в высоту Валерия Брумеля. Но большее восхищение у Трифонова проявляется к Брумелю, преодолевшему «рок трагедии», когда после авткатастрофы он вернулся в сектор для прыжков и «взял высоту». «Этот неизвестный прыжок на безлюдном стадионе — великий прыжок. Человек не знает своих возможностей. И человечество — не знает. Прыжок несчастного бывшего чемпиона есть одно из маленьких открытий Брумеля и наших вместе с ним в еще не изведанной стране возможностей человека».

«Победитель — побежденный» у Трифонова — это не просто выигравший или проигравший спортсмен. В своих материалах автор стремился разобраться в явлениях морального, психологического порядка. Победил — какой ценой? Проиграл — почему? Соперник оказался сильнее или просто изменил самому себе? Трифонов раскрывал спорт, как грань самопознания человека. Но параллельно с этим в киноповести «Бесконечные игры» говорил о самом трудном: понимании другого.

Живыми людьми с различными характерами и взглядами на жизнь предстают перед нами персонажи рассказов, очерков, статей. Он рассказывает будто бы о наших с вами знакомых и друзьях, их мечтах, о сбывшихся и несбывшихся надеждах, о том, кто и какими путями идет к намеченной цели, о духовном мужестве и малодушии — словом, о том, из чего состоит повседневная жизнь любого из нас.

Юрий Трифонов никогда не занимал осторожной, выжидательной и тем более нейтральной позиции. Своим творчеством он убежденно, увлеченно, яростно вступал в бой за высокую нравственность советского человека.

В заключение хотелось бы привести напутствие, с которым Трифонов обратился к советским спортсменам накануне Олимпиады в Гренобле: «Хотелось, чтобы все участники Олимпийских игр относились к играм в первую очередь как к играм, а затем уже как к соревнованиям, в которых надо обязательно побеждать. Разумеется, из чувства патриотизма нам приятно видеть на пьедестале почета советских спортсменов. Но еще радостнее, глубже, человечнее другое чувство: чувство единения всей молодежи мира и гордое сознание того, что советские



юноши и девушки — могучие созидатели этого единства».

Такими он хотел видеть других. Таким созидателем единства людей был он сам. Юрий Трифонов никогда не требовал от других того, на что у самого не хватило бы душевных сил. Думается, что исследование спорта как феномена жизни миллионов людей помогло Трифонову в поисках нравственного нерва его прозы. В этом нерве мы видим опыт Юрия Трифонова — журналиста, болельщика, прошедшего сотни часов на многочисленных стадионах мира и пережившего радости и огорчения во время спортивных состязаний. Здесь и опыт Юрия Трифонова-прозаика, чьи произведения помогают людям быть духовно сильнее, выше жизненных обстоятельств, победить слабое в себе. И опыт Юрия Трифонова-интернационалиста, убежденного, что спорт — поистине всенародное и неизменное глубокое явление, объединяющее людей планеты...

**А. Шитов,**  
кандидат философских наук

---

# Рассказы



## Последняя охота

---

Чертиком выскочила на дорогу рыженькая песчанка и понеслась впереди машины, охваченная ужасом и за-гипнотизированная ревом мотора. Сапар Мередович задумал: если песчанка свернет с дороги влево, значит, все останется по-прежнему; если вправо,— произойдут перемены. Очумелая песчанка мчалась по колее в двух метрах перед радиатором, не находя сил свернуть ни вправо, ни влево, и вдруг исчезла, точно провалилась. Сапар Мередович решил дожидаться второй. Будущее было тревожно, и Сапару Мередовичу не терпелось получить хоть какой-то ответ.

Вторая песчанка появилась скоро и так же, как первая, с идиотическим упрямством заплясала перед носом машины. Сапар Мередович впился в нее глазами. Но тут Реджеп неожиданно дал сильный газ и переехал рыжую тварь колесами.

— Зачем? — с досадой спросил Сапар Мередович.

— Я эту пакость всегда давлю, Сапар Мередович. Только заразу разносят, пропади они совсем...

— Машину надо жалеть,— проворчал Сапар Мередович.

Третья песчанка появилась через полчаса. Она отчетливо увильнула с дороги влево, но Сапар Мередович уже успел забыть, что означало, если влево, и что —

если вправо. Таким образом, будущее осталось неясным.

Сапар Мередович Мередов, заведующий райотделом культуры, ехал охотиться. Это был рослый, полный мужчина, с гладко выбритым, шарообразным черепом, с той бледной смуглотой кожи, которая присуща большим начальникам, проводящим дни в кабинетах. Охоту Сапар Мередович считал лучшим средством против служебных неприятностей. Пески успокаивали, исцеляли его, возвращали душевное равновесие.

А сегодня Сапар Мередович нуждался в душевном равновесии больше, чем когда-либо.

Последние две недели он испытывал неотвязное и почти необъяснимое чувство тревоги. Это чувство не было вызвано никаким конкретным событием. Оно возникло как бы из воздуха, из гаммы предчувствий, из мелких и безобидных на первый взгляд примет. Например, ревизоры. В конце мая приехали двое из областного отдела культуры, потом явился один из облоно, а еще через несколько дней — из обкома комсомола. Не успел уехать последний, как на один день мелькнул, подобно метеору, товарищ из столицы республики. Все это были люди знакомые, и действовали они знакомо, с обычной торопливостью, с обычной жадностью к бумаге и всему бумажному. Интересовали их разные вещи: кого библиотека, кого культпросвет, кого кинофикация в сельских районах. Насытившись бумагой, они уезжали стремительно и с видимым удовлетворением.

Само по себе нашествие ревизоров не тревожило Сапара Мередовича: оно было так же безвредно и немного парадно, как метеоритный дождь в августе. Мелькнули — и сгнули. Но Сапар Мередович почуял за этим нашествием какую-то неясную, отдаленную угрозу — это было смутное предчувствие, ничего больше.

Одновременно разнесся странный слух. Кто-то приехал из областного центра и рассказывал, что видел человека, вернувшегося из Ашхабада, которому говорил



один его близкий знакомый, прилетевший из Москвы, что в Москве уже с полмесяца ответственные работники ездят исключительно на такси. На душе у Сапара Мередовича сделалось неуютно. Особенно насторожили его разговорчики насчет перераспределения легкового транспорта. Старый, замызганный ГАЗ-67, приданный райотделу культуры и являвшийся, по существу, собственностью Сапара Мередовича (с той разницей, что Сапар Мередович платил шоферу и за бензин не из собственных денег, а из казенных), был главной приманкой, соблазнившей Сапара Мередовича взять на себя нелегкий труд заведования райкультурой.

Шесть лет назад Сапара Мередовича перебросили с зампреда областного комитета на замдиректора педучилища, затем он заведовал отделом культтоваров в министерстве и после одной неприятной истории попал в район. Ему предложили на выбор: замзавоблотделом или же заврайотделом. Сапар Мередович выбрал район, ибо лучше быть первым человеком в районе, чем вторым в области. Кроме того, в области Сапар Мередович не был бы полновластным хозяином машины, а начальник без машины — какой же начальник?

И вот теперь старенький райотдельский «газик», этот символ власти и благополучия, подвергся опасности. Сапару Мередовичу и раньше приходилось держать ухо востро, давая отпор покушениям на свою драгоценность. На «газик» претендовали, например, работники райкома партии, у которых была одна машина на всех, райпрокурор и заврайздравом, у которых не было машин вовсе, и еще несколько влиятельных лиц. Сапар Мередович хитрил: он велел своему шоферу Реджепу содержать «газик» в затрапезном виде, не мыть его, не красить, не чинить порванный брезентовый верх, чтобы не вызывать зависти. «Газик» был вполне исправен и хорош на ходу, но внешний вид его был так ужасен, что казалось — машину вытащили со свалки и она вот-вот развалится.

После трехчасового тряского путешествия по барханной дороге «газик» выбежал на солончак. Реджеп предложил Сапару Мередовичу отправиться на этот раз в отдаленную местность — за колодцы Теза-Кую, Кзыл-Кятта и еще дальше к северу, где простирался обширный такыр, называемый жителями Алым-Такыр. Четыре года назад там работало много экспедиций, огромный такыр избороздили автомобильными колеями, истыкали скважинами, а пустынное зверье распугали. Потом экспедиции уехали, сделав свое дело. И пустыня вновь воцарилась на прежних местах. Стерлись следы машин, высыпало песком скважины.

Напоминанием об изыскателях, некогда поливавших потом эти пески, осталось только название, данное такыру чабанами: Алым-Такыр, что значит — такыр учебного.

На этом такыре, по словам Реджепа, должна быть пропасть джейранов. Кишмя кишат джейраны, и никто не охотится: далековато.

Июньский полдень давил зноем. «Газик» шел на большой скорости, и, хотя драный брезентовый верх его был открыт (чтобы стрелять стоя), движение воздуха почти не приносило прохлады. Вот оно, время охоты: одурев от жажды, джейраны выходят из глубины песков в поисках водопоя. Сапар Мередович не страшился жары. Только пыхтел и вытирал платком лоб и шею. Пусть прячутся от солнца изнеженные марыйцы или чарджоуские эрсари, избалованные водой, а он настоящий туркмен, его деды были «кумли» — жители песков, выносили, как ящерицы.

Сапар Мередович чувствовал себя отлично. Жадно вдыхал он душный и горьковатый запах пустыни, запах истлевших на солнце трав. Целебные силы песков начали действовать. Прошло каких-нибудь четыре часа, а Сапар Мередович уже не смотрел на жизнь так уныло, как прежде.

В самом деле, размышлял он, откуда взялась тре-

вога? Что произошло? Ничего ровным счетом. Все на своих местах. Третьего дня он нарочно ездил в область, чтобы проверить, нет ли каких перемен в руководящих организациях. Нет, повсюду сидят прежние знакомые люди: Чары Мурадович, Девлет Курбанович, Иван Васильевич... А если все они на своих местах, значит, и тревожиться нечего.

Могучее спокойствие пустыни, солнца и неба вливалось в Сапара Мередовича. И вскоре он совсем перестал думать о служебных делах и мыслями его овладела охота.

Джейраны что-то не бежали навстречу.

Сапар Мередович шарил биноклем по знойной, дрожащей кайме горизонта, выискивая добычу, но пока ничего не видел. Он знал, как трудно заметить джейранов на большом расстоянии: палевая окраска делает их почти неразличимыми на фоне песка. Только белые подпалины на ляжках выдают джейранов, но увидеть подпалины можно лишь тогда, когда животное повернется задом к охотнику.

Сапар Мередович смотрел в бинокль с таким напряжением, что у него заслезились глаза. Безжизненно и пустынно белел такыр. Кайма горизонта слоилась, трепеща от жаркого воздуха, и казалось, что впереди маячат гребни бархан, но это был все тот же плоский глиняный стол такыра, изрезанный трещинами и побеленный там и сям пятнами соли.

Неожиданно Реджеп сказал:

— Вон рогаль стоит. Видите, Сапар Мередович?

Сапар Мередович перекинул бинокль по направлению взгляда Реджепа и действительно увидел на горизонте застывший на мгновение силуэт сторожевого самца-джейрана. Через секунду рогаль исчез с поля зрения.

— Поворачивай против солнца,— сказал Сапар Мередович, и голос его дрогнул от знакомого внезапного волнения.

Реджепа не надо было учить. Он превосходно знал

все хитрости автомобильной охоты. Он знал, что преследовать джейранов по следу — пустое дело; надо кружить спиралью вокруг добычи, приближаясь к ней осторожно и как бы нехотя. Поэтому Реджеп изменил направление, погнав машину на запад и поспешно забирая чуть к северу. Через четверть часа на горизонте мелькнуло стремительно мчащееся стадо джейранов, семь или восемь голов. Они были, как тени, легкие и призрачные — вот-вот растают в знойном тумане.

— Так держи... Не ближе, не ближе! — закричал Сапар Мередович, нервным движением выхватывая с заднего сиденья дробовик.

Реджеп и сам знал, что приближаться рано. «Газик» ехал сейчас параллельно бегущему стаду. Почуввав преследование, джейраны ускорили бег и начали быстро удаляться. «Газик» тоже понесся на предельной скорости, но заметно отставал от дьявольских антилоп: ведь они мчались сейчас со скоростью ста с лишним километров в час. Но этого темпа им хватит на пять минут. Затем они неминуемо и быстро начнут сдавать.

— Нажимай! Жми!.. Еще нажми! — орал Сапар Мередович, захлебываясь от возбуждения и ветра, бьющего в рот. Он вскочил на ноги и стоял, держась свободной рукой за борт.

«Газик» начал медленно нагонять стадо. Он все еще шел параллельно, но уже ближе к джейранам и с каждой минутой придвигался к ним все больше. Сапар Мередович мог теперь сосчитать джейранов, растянувшихся вереницей: их было пять. Они стлались над землей, как птицы; движения их ног были почти неуловимыми для глаза.

Реджеп упорно избегал решительного наступления. Он точно испытывал терпение Сапара Мередовича. Расстояние между машиной и последним джейраном, замыкавшим летучую пятерку, сократилось до ста метров, до восьмидесяти, до семидесяти...

Железный грохочущий аппарат с бензиновым сердцем

и нежно-палевые, маленькие, легконогие существа неслись сейчас рядом, словно в честном соревновании. Уже можно было стрелять. Мелкая картечь — двадцать две дробины, забитые в патрон двенадцатого калибра, — берет метров на восемьдесят. Уже можно... Сапар Мередович вскинул дробовик, целясь заднему джейрану в лопатку.

«Газик» слегка подпрыгивал на неровностях почвы. Корпус его дрожал от скорости. И колени Сапара Мередовича неумемно дрожали, и его все время тянуло сесть. Поэтому он промазал.

— Выворачивай руль же, черт... подрал! — крикнул Сапар Мередович диким голосом.

Реджеп послушно вывернул руль. Джейран шарахнулся в сторону, и Сапар Мередович снова выстрелил в розовую лопатку и увидел, как джейран подпрыгнул, кувырнулся через голову, беспомощно сверкнув белым брюхом. «Есть шашлык!» — пробормотал Сапар Мередович, хотя был не уверен, что попал хорошо, а проверять было некогда. «Газик» нагонял уже второго джейрана. И опять у Сапара Мередовича не хватило выдержки, и он поспешил выстрелить. Второму джейрану выстрел снял переднюю ногу, но он продолжал бежать по-прежнему быстро, а перебитая нога болталась под животом, как плеть. Пробежав метров сорок на трех ногах, подранок свалился.

— Бери того! — крикнул Сапар Мередович, дулом ружья указывая на третьего молодого джейранчика с яркой, почти оранжевой, шерстью. — Загоняй, загоняй его...

— Подождите вы стрелять, — огрызнулся Реджеп.

— Ладно! Гони!..

Машина шла на одной скорости с джейранчиком, постепенно и боком приближаясь к нему. Вот он уже совсем близко; видна его тонкая, вытянутая в безумном усилии шея и круглый косящий темно-вишневый глаз. Затем маленькая голова на вытянутой шее начала кло-

ниться книзу, движения ног замедлились. Джейран «загорался». Неодолимая сила притягивала его голову к земле — верный признак того, что силы покидают животное.

Теперь автомобиль ехал наравне с джейраном, в двух шагах от него. Джейран уже вяло перебирал ногами, голова его безнадежно опустилась. Готов! Стоит ткнуть его дулом под ребра, и он тут же испустит дух. Сапар Мередович аккуратно прицелился, выстрелил. Джейран подогнул передние ноги и покорно и мягко, точно только и ждал этого, покатился, чертя мордой по земле.

Охотники вдруг заметили, что такыр кончился и впереди желтеют пески. Два передовых джейрана уже ныряли в барханах, в спасительном отдалении. Сапар Мередович засуетился, выстрелил и, конечно, не попал. Пришлось повернуть назад. Оранжевый джейранчик был убит наповал. Реджеп положил его на заднее сиденье, где был разостлан брезент. Первый джейран, подстреленный с большого расстояния, уже дергался и хрипел, выдувая изо рта кровавую пену, и Реджеп прикончил его и тоже положил в машину. Исчез только второй джейран, подранок с перебитой ногой,— по-видимому, ушел в пески.

Пока Реджеп свеживал добычу, Сапар Мередович занялся приготовлением ужина: разостлал на земле небольшой коврик, достал из походного баула бутылку коньяку, две стопки, кастрюлю с кусками холодной баранины, хлеб, лук, пучок редиса и пол-литровую стеклянную банку, наполненную паюсной икрой, которую привез ему в подарок один земляк с гассан-кулийского побережья.

Руки Сапара Мередовича дрожали от недавнего возбуждения и голода. Не дожидаясь Реджепа, он глотнул коньяку и с жадностью принялся за баранину, круто посоленную, липкую от застывшего сала; не успел прожевать мясо, совал в рот редиску, обмакивая ее вместо соли в банку с икрой, и, сделав вздох облегчения, вновь

опрокидывал в рот коньяк, чувствуя, как ободряющий жар охватывает тело. Вскоре и Реджеп подсел к коврику.

Покончив с едой, охотники легли отдыхать.

Ночью охота должна была возобновиться. Правда, Реджеп, охмелев от коньяка, начал было уговаривать Сапара Мередовича удовольствоваться дневной добычей и повернуть к дому. Он даже высказал сомнение в том, хватит ли бензина для ночных блужданий, и напомнил, что жена Сапара Мередовича умоляла их именем детей не охотиться ночью. Однако Сапар Мередович разгадал за этими доводами обычную Реджепову лень и желание поспать лишние два часа. Он сурово сказал, что только ради ночной охоты он и поехал в пустыню, и велел разбудить себя ровно в полночь. А слушаться женщин в делах, касающихся мужчин, сказал он, — великая глупость.

Завернувшись в плащ, накрывшись ковриком и подсунув баульчик под голову, Сапар Мередович очень скоро заснул. Реджеп улегся рядом с начальником. Он видел, как из-за темного барханообразного живота Сапара Мередовича выползали в сумеречное небо звезды. Они были неяркие по-вечернему и мерцали робко: свет их то исчезал в сиреновом, тускнеющем сумраке, то опять возгорался. Реджеп боялся спать, зная, что наверняка проспит полночь и тогда начальник страшно рассердится.

И вот он лежал, слушал оживающую к ночи пустыню — какие-то шорохи, шелесты, похрустывания — и думал о всякой всячине. Он думал о том, что вентиляторный ремень истрепался: менять надо, пропади он совсем, и о том, что детей пора отправлять в лагерь в Чули и сегодня следовало бы съездить в областной центр, купить детям летнюю обувь и кое-что из белья, чтобы не были хуже других, а он вместо этого проводит воскресенье в пустых забавах. С обидой подумал он о том, что его приятели-шоферы спят сейчас в теплых домах, а

он, наломавшись за день, точно это и не воскресенье было, а будний день, должен зябнуть на такыре и, не смыкая глаз, сторожить полночь. И какой шайтан придумал эту охоту на джейранов? Правильно, что запретили ее законом. Очень правильно, пропади она совсем!

Потом он стал думать о том, что лето запоздало, слишком долго стояли прохладные дни, и что для людей это хорошо, а для хлопка худо. И что лучше было бы наоборот. Потому что если будет хорошо для хлопка, то и людям в конце концов будет хорошо.

И так он думал о разных вещах, пока не пробрал его ночной холод. Тогда он встал и вынул из-под сиденья машины коротенькую истертую кошомку. Он был худ и очень долговяз, и поэтому кошомка укрывала что-нибудь одно: спину или ноги. «Это хорошо», — подумал он. Если он укроется весь, то, наверное, заснет в тепле и проспит полночь и начальник утром страшно рассердится.

Долго крепился Реджеп и все же не удержался и задремал перед самой полночью. Проспал он минут пятнадцать, а может быть двадцать, и увидел, как громадный самосвал, выскочив на повороте арчменского шоссе, проломил ему левый борт, опрокинул и потащил, словно щепку, колесами вверх...

Сапар Мередович тряс Реджепа за плечо.

— Какой же ты человек неверный, Реджеп! Можно ли иметь с тобой дело?

Реджеп вскочил, дрожа от озноба. Протер кулаками глаза. Роскошная звездная ночь цвела над такыром.

Выпив для бодрости стопку коньяку, Реджеп сел за руль. И ночная охота началась. Сапар Мередович стоял рядом с шофером, держа в руках специально приспособленную автомобильную фару: главное оружие ночной охоты. Сапару Мередовичу очень нравилось стоять в машине; он сам себе казался похожим на джигита, летящего на резвом ахалтекинце. А какая темнота вокруг! Едешь неизвестно куда, точно в пропасть, вай,



замечательное дело! И умник, должно быть, был тот человек, который придумал ночную охоту с фарами!

«Газик» ехал не быстро, но и не очень медленно. Как раз так, чтобы Сапар Мередович получал наибольшее удовольствие: не раздражаясь на медлительность и не слишком опасаясь быстроты. Луч автомобильной фары скользил по такыру, за одно мгновение обшаривая огромное пространство. Он был щупальцами и приманкой одновременно. Глупый джейран всегда попадает на эту простую уловку: лишь бы они заметили друг друга, джейран и охотник. После часа бесплодного кружения по такыру Сапар Мередович радостно вскрикнул: «Есть шашлык!»

На конце луча метрах в ста от машины засветилась крохотная, посеребренная фигура. Джейран стоял как вкопанный. Он смотрел на удивительный свет, возникший из темноты, и медленно приближающийся в сопровождении странного шума... Любопытство сковало его. Теперь уж он будет стоять, глаза с дурацким интересом на фару, до последней своей минуты.

«Газик» тихо катился ему навстречу. Реджеп прибавлял обороты, заставляя мотор реветь что есть мочи и распаяя тем самым любопытство джейрана. Так охотники приблизились к своей жертве. Шерсть джейрана, видимая до малейшей шерстинки, казалась седой под электрическим светом; стройные и тонкие, как тростник, ноги были широко расставлены, и выглядел он поразительно спокойным. Его изящно поднятая мордочка и круглые немигающие глаза выражали наивное изумление — и только.

А из-под брюха его, склонив голову набок, выглядывал длинноногий, как паучок, ягненок.

Реджеп осторожно взял из рук начальника фару. Сапар Мередович поднял дробовик и выстрелил в джейрана в упор.

Таким же образом Сапар Мередович застрелил до рассвета еще двух джейранов. На этом решили кончить.

Реджеп развернул изрядно пожелтевшую машину, и охотники помчались домой, на юг.

Водянисто-зеленый, словно плохо заваренный кок-чай, вставал над пустынею рассвет понедельника. Шофер и начальник ехали молча. Сапар Мередович зевал, поеживался и с удовольствием раздумывал о том, что он будет делать с добычей. Три тушки отдаст жене в хозяйство, одну подарит Девлету Курбановичу... А пятую? Сапар Мередович искоса взглянул на худое, обтянутое фиолетово-черной, эфиопской, кожей лицо Реджепа. По справедливости одного джейранчика надо бы отдать шоферу. Только Реджеп не стоит того. Во-первых, он уговаривал вернуться домой, значит, он не заинтересован в добыче. Во-вторых, ему и так неплохо живется. Должен быть счастлив тем, что работает на чистой работе, а не трясется в грузовике по сельским дорогам и не возит камни с карьера.

Сапар Мередович еще раз подозрительно взглянул на Реджепа и, прочитав в его сонном, равнодушном лице полное отсутствие каких-либо претензий или желаний, кроме единственного желания спать, отвернулся успокоенный. Пятого джейранчика надо подарить Клычу Аманычу, председателю райисполкома. Это будет правильно.

Сапар Мередович был вполне удовлетворен охотой. Пять джейранов — отлично! И главное, пустыня не обманула его надежд. Тревог и сомнений как не бывало. Все остается по-прежнему. Ни единая звездочка не сдвинулась со своего места в необъятном пустынном небе, вечном небе, которое он помнит с детства.

Хорошее настроение не могли омрачить даже мысли о предстоящей неделе с ее нудными заботами, сидением в душном кабинете и необходимостью постоянно что-то писать, решать, о чем-то совещаться под жужжание вентилятора. Один из ревизоров (тот самый, что мелькнул метеором) требовал принятия срочных мер по коренному улучшению лекционной работы. Сапар Мередович

привык к тому, что от него всегда требуют не просто улучшения, а коренного улучшения. Надо будет поработать. Мобилизовать актив. Самому прочесть пару-тройку лекций на предприятиях и в колхозах. Что поделаешь! Жизнь состоит не из одних удовольствий.

...Солнце уже поднялось высоко. Стало жарко.

Когда подъехали со стороны такыра к колодцу Кзыл-Кятта, Сапар Мередович заметил в тени колодезного домика знакомый мотоцикл с коляской, выкрашенный в яркий маково-красный цвет. Это был мотоцикл Ага Нияза, областного инспектора по делам охоты.

Сапар Мередович велел Реджепу остановиться. Ему захотелось повидать старого приятеля Ага Нияза — вот уж кто по достоинству оценит джейранчиков!

Подходя к дому, он еще издали услышал несколько возбужденных голосов, говоривших наперебой. В темной комнате с низким потолком и земляным полом стояли трое мужчин: грузный, седеющий, с багровым лицом Ага Нияз в своем куцем холщовом костюмчике и с левой сумкой через плечо, какой-то старый чабан и незнакомый молодой парень в ковбойке и в белой соломенной шляпе. И еще — босоногий мальчишка лет двенадцати, который стоял рядом с чабаном, вцепившись пальцами в его грязный халат.

Все эти люди замолчали и оглянулись на дверь, когда вошел Сапар Мередович.

— Где, где он тут? — весело, с начальственной фамильярностью заговорил Сапар Мередович с порога. — Где начальник над всеми джейранами, фазанами и песчаными кошками, старый басмач Ага Нияз? Кургумэ?... — и, подойдя к Ага Ниязу, дружески шлепнул его по спине.

— Салам, Сапар Мередович, салам! Кургум... — хриплым и быстрым говорком отозвался Ага Нияз, обеими руками пожимая руку Сапара Мередовича.

— Как живешь, старый басмач? Все водку пьешь, а? В песках жена не видит, а? — и Сапар Мередович подмигнул незнакомцам.

— Не пью, Сапар Мередович, некогда. Познакомьтесь. Это товарищ Мередов, наша культура...

«Зачем рекламировать?» — удивился Сапар Мередович и с некоторым беспокойством взглянул на молодого человека. Тот назвал себя:

— Хангельдыев.

Ладно, пусть Хангельдыев. Ни о чем не говорит. Чабан, стоявший в стороне, выглядел отщепенцем. Опираясь на ружье, он угрюмо смотрел в раскрытую дверь на волю, где слепил глаза пылающий, накаленный солнцем песок. Мальчишка с челкой на лбу, обозначающей родительскую любовь, испуганно выглядывал из-за его спины.

— Ну! Штраф платить будешь? — грозно двигая бровями, обратился к чабану Ага Нияз.

— Я не стрелял, начальник. В песках его нашел... — пробормотал чабан.

— В песках нашел! Джейран черепаха, что ли?

— Правда, начальник. Подбитый был, умирал... Не знаю, кто стрелял...

— «Не знаю, кто стрелял!» — повторил Ага Нияз, с презрением передразнивая грубый выговор чабана. — А это кто стрелял — тоже не знаешь?

Ага Нияз подошел к лежащему в углу джейрану (Сапар Мередович только теперь заметил это) и ударом ноги перевернул мертвую голову, мотнувшуюся на тонкой, тряпичной шее. Морда джейрана была запачкана темной кровью, над ухом чернела ружейная рана.

— Правда, я, — ответил чабан. — Застрелил его, чтоб не мучился. Все равно волку достался бы!..

— В общем, плати штраф. Охотпродукцию мы отбираем согласно закону.

Чабан покачал головой. Его темное, иссеченное морщинами и плоское, как такыр, лицо выражало упорное недоумение. Он нагнулся, вытер нос полою халата и вновь встал в прежнюю позу, обхватив руками свое старое кустарное ружье с граненым стволом.

— Не будешь платить?

— Йок,— цокнул языком чабан.— Кто стрелял, не знаю. Зачем буду платить?

Сапар Мередович уже успел сообразить, в чем дело. Этот жалкий охотник нашел в песках раненого джейрана,— верно, того подранка, которого они упустили вчера вечером, прикончил его и подобрал. В другое время Сапар Мередович мог бы пожалеть чабана и попросту объяснить все Ага Ниязу, но сейчас он чуял опасность в этом незнакомце Хангельдыеве, да и сам Ага Нияз вел себя как-то неестественно строго и придирчиво. Поэтому Сапар Мередович счел за благо промолчать.

Ага Нияз гневно кричал на чабана, называя его обманщиком и нарушителем закона, обвинял его в хищническом истреблении джейранов и угрожал передать дело в суд, если чабан не уплатит штрафа. Он совал ему под нос только что нацарапанный акт и требовал, чтобы старик подписал бумагу. Старый чабан растерялся от этих угроз и криков. Он твердил одно: «Я не знаю, начальник» — и бормотал что-то насчет сына, который приехал к нему на летнее время из аула, хорошо умеет читать и, может быть, поймет, что написано на бумаге. Он стал подталкивать вперед мальчишку, но тот заплакал, откнувшись лицом в отцовский халат.

Хангельдыев молча наблюдал за этой сценой.

И вдруг глаза старика загорелись, и он закричал неожиданно высоким, бабьим голосом, обращаясь к Сапару Мередовичу и почему-то ища у него сочувствия:

— Скажи, человек, правильно так: чабан не охотился — чабан штраф плати, а начальник из города приедет, настреляет полный грузовик и штрафа не боится. В пустыне закона нет, что ли?

— Кто, кто стрелял? Кто? — скороговоркой выпалил Ага Нияз.

— Зачем обманывать, скажи? Чабан совсем глупый, не понимает, что ли? — кричал старик, протягивая к Са-

пару Мередовичу худую руку со сжатыми пальцами и отчаянно трясая ею.— Пускай начальник штраф платит, а я ничего не буду платить! Я в город пойду. Ключ Аманьчу буду жаловаться! У меня сын в школе учится, тоже может бумагу написать...

Сапар Мередович тупо и холодно смотрел на раскричавшегося старика, обдумывая, как бы поскорее избавиться от этого ненужного разговора. Но тут спокойно заговорил Хангельдыев:

— Помолчи, отец. Если ты не охотился, никто тебя не заставит платить штраф. Сейчас посмотрим, кто его подстрелил.— Хангельдыев подошел к убитому джейрану, но прежде, чем нагнуться к нему, сказал, глядя на чабана с улыбкой: — А насчет закона ты не волнуйся, отец. Я тебе обещаю, что никакой начальник и никакой чабан больше не смогут охотиться безнаказанно.

Став на одно колено, Хангельдыев принялся изучать перебитую ногу джейрана, а Сапар Мередович решил, что сейчас самое время уйти не прощаясь.

— Черт знает!.. Безобразия...— сердито пробормотал Сапар Мередович, хотя непонятно было, на что он мог рассердиться.

Он вышел из дома и быстрым, деловым шагом направился к машине. Реджеп спал, положив голову на руки, а руками обняв руль.

— Дома будешь спать,— встряхнул его Сапар Мередович.— Поехали!

Не успел «газик» тронуться, как из дома выбежал Ага Нияз и торопливо подскочил к кабине. Взгляд его скользнул по груде убитых джейранов, чуть прикрытых брезентом. Нагнувшись к уху Сапара Мередовича, он зашептал:

— Сапар Мередович, хотел тебя попросить.. Нет ли в городе какой работы для меня? Я ведь теперь не инспектор.

Сапар Мередович смотрел на него, ничего не понимая.

— С первого числа... Это я сейчас нового инспектора вожу, знакомлю... Очень тебя прошу...

— Да? — Сапар Мередович помолчал изумленно.— А новый кто такой?

— Да вот... этот.— Ага Нияз кисло скривил губы.— С дипломом. А я думаю, рука у него в Ашхабаде.

Сапар Мередович только теперь заметил, как Ага Нияз сдал, осунулся, глаза его, воспаленные от долгой жизни в песках и пристрастия к спиртному болезненно помутнели. Сапар Мередович почувствовал нечто вроде сожаления к Ага Ниязу, но в действительности это была инстинктивная, мгновенная жалость к самому себе. Он рассеянно обещал посодействовать насчет работы.

Машина поехала, и колодец Кзыл-Кятта скрылся за облаком густой пыли. Сапар Мередович обдумывал новость. Ага Нияз больше не инспектор. Значит, не все по-прежнему. И знакомое унижительное чувство тревоги вновь охватило Сапара Мередовича с внезапной силой...

## Конец сезона

---

Одиночных номеров не было, и Малахов получил место в двойном номере «люкс»: маленькая спальня, где две кровати стояли близко друг к другу, точно были рассчитаны на супружескую пару, и большая гостиная с диваном, гардеробом и столиком возле окна, где стоял телефон.

Чья-то пижама висела на спинке одной кровати, а на подоконнике среди газетных свертков, на которых синели пятна жира, лежали засохшие куски хлеба, сырная корка, какая-то сальная снедь. В комнате было свежо от распахнутой форточки, и все же в воздухе отчетливо слышался запах табака. Малахов терпеть не мог курильщиков. Открыв гардероб, он бросил на нижнюю полку свой чемоданчик и, брезгливо, одним пальцем, отодвинув в

сторону висевшее на плечиках чужое пальто, снял свое и повесил рядом. После этого он спустился на первый этаж в парикмахерскую. Два молодых парня, ожидавшие очереди бриться, узнали его и, перестав разговаривать громко, зашептались. Малахов сидел к ним спиной. Он чувствовал, что парни узнали его и шепчутся о нем.

В ресторане Малахов с трудом нашел свободное место в углу зала. Была суббота, и поэтому ресторан был полон. Здесь все обошлось благополучно. Он не встретил никого из знакомых, и никто не узнал его. Оркестр из трех человек — пианист, аккордеонист и ударник — старался во всю мочь, играя один танец за другим. Сосед Малахова по столику, молоденький летчик, сказал, что этот ресторан единственный в городе, где танцуют.

Малахов заказал борщ, баранью отбивную и стакан чая с пирожным. Он проголодался в дороге и жадно ел. Он думал о завтрашнем разговоре с Бурицким, о том, как ловчее с ним встретиться, и с чего начать, и как вообще все это получится. Не мог отделаться от этих мыслей. Они угнетали его всю дорогу. Чем больше он думал, тем сильнее убеждался в том, как он мало способен на такие дела.

В двенадцатом часу ночи Малахов расплатился с официантом и, стараясь не глядеть по сторонам, быстро пошел между столиков к выходу. Он боялся, что кто-нибудь из сидевших за столиками узнает его и окликнет. Но он беспрепятственно достиг стеклянной двухстворчатой двери.

В спальне горела маленькая ночная лампа, стоявшая на тумбочке между кроватями. Сосед Малахова — владелец пижамы и сырной корки — спал, натянув одеяло до подбородка. На тумбочке лежали очки и недокуренная папироса. Малахов равнодушно скользнул взглядом по лицу спящего: бледное небритое лицо с большими веками и полуоткрытым ртом, в котором желтели редкие зубы. Усталое лицо курильщика. «Какой-нибудь инженер, замученный командировкой», — подумал Малахов.



Он долго не засыпал. Все думал о завтрашнем дне и о том, когда лучше поговорить с Бурицким: до игры или после. До игры, пожалуй, не стоит. Они наверняка проиграют, поэтому разговаривать после матча, когда все их надежды рухнут, будет проще. «Возьми его голыми руками,— говорил Карпов на прощание.— Ему податься будет некуда. И без заявления не приезжай!»

Как же, возьмешь его! Ничего не известно. Еще неизвестно, что он за парень, этот Бурицкий.

Утром Малахов проснулся и увидел, что его сосед уже встал. Постель его была аккуратно застлана. Малахов в брюках и майке пошел в ванную. Перед этим он посмотрел в окно: небо было угрюмое, в серых тучах без единого проблеска, и предвещало дождь. Кажется, ночью уже дождило. Во дворе стояли лужи, земля была темная, и только асфальт успел просохнуть. «Погода дрянь. Как бы опять не пошел»,— подумал Малахов с тревогой.

Инженер — так мысленно окрестил Малахов соседа — сидел за столом в гостиной и брился. Он был небольшого роста, широкоплечий, с крупной черноволосой, слегка лысеющей головой. На вид ему было лет тридцать с небольшим.

— Доброе утро,— сказал он предупредительно, повернувшись к Малахову намыленной щекой.

— Доброе утро,— ответил Малахов.

Когда Малахов вышел из ванной, инженер был уже одет и курил, сидя на диване. Он предложил пойти позавтракать в буфет. Малахов оделся, и они вышли. В вестибюле, когда они проходили в буфет, Малахов увидел афишу о сегодняшнем матче. Большими красными буквами было написано: «Футбол. Переходная игра». И маленькими: «На право участия в первенстве СССР по классу Б». Начало игры было назначено на три часа.

За завтраком инженер жаловался на то, какая в городе скука. По воскресеньям не знаешь, как убить время. В кино крутят старые фильмы, театр слабенький,

а эстрада и вовсе никуда. Эстрада просто ужасная. Не играет ли товарищ в шахматы? Это жаль. Можно бы скоротать вечеров...

Малахов слушал словоохотливого инженера, смотрел в его ясно-карие глаза, казавшиеся неестественно расширенными под очками, и думал о том, что надо устроить так, чтобы Бурицкий пришел к нему в номер. Команда остановилась в этой же гостинице. На стадионе надо только намекнуть, а разговор вести в номере. После игры ребята будут свободны и разбредутся кто куда.

Кефир, говорил инженер, бывает в буфете каждое утро, но буфетчица отпускает его не всем, а по выбору. Надо быть с ней в хороших отношениях. Хотя бы здороваться по утрам и иногда улыбаться. Он так делает, и поэтому он всегда с кефиром. Затем инженер рассказал Малахову, что он москвич и работает в нефтяной промышленности. Кажется, он и в самом деле был инженером.

— А у вас, простите, какая профессия? — спросил инженер, и Малахов уловил его пристальный, ожидающий взгляд. Малахов сказал, что имеет отношение к спорту.

— Ваша фамилия не Малахов? — быстро спросил инженер.

— Малахов.

— А я все думаю, на кого вы похожи... Конечно Малахов! — воскликнул инженер радостно изменившимся голосом. — Рад с вами познакомиться, товарищ Малахов! Я старый болельщик. Моя фамилия Бабкин. Я помню, как вы появились впервые в Москве, — в каком же это году, дай бог памяти?..

Инженер разволновался. У него даже покраснели уши. Он начал вспоминать какие-то эпизоды футбольной истории, спрашивал о судьбе старых игроков, соратников Малахова, о которых Малахов успел забыть, и с энтузиазмом перечислял подвиги самого Малахова.

— А помните, как вы отбили одиннадцатиметровый

от Щербакова? Забыли? Ну как же! Это был знаменитый случай! Во втором круге в сорок седьмом году...

Болельщик восторженно тараторил, а Малахову приходили на память дни молодости и славы, переполненные трибуны, толпы людей, окружавшие автобус у выхода со стадиона, вспышки магния, овации, статьи в газетах. Все это было лет восемь назад, но казалось сейчас невероятной, сказочной стариной, потому что все это ушло без возврата и не повторится уже никогда.

— Но знаете, что в вас ценили больше всего? — говорил инженер, глядя на Малахова блестящими глазами. — Нет, не реакцию, не хладнокровие ваше и даже не то, что вы отбили как-то два пенальти подряд. А то, что Вася Малахов — простите, что называю вас по-болельщицки, — то, что Вася Малахов не поддался соблазнам. Сколько, помню, было слухов в начале каждого сезона: «Малахов — в московском «Динамо», «Малахов — в Ленинграде»! А потом приезжает в Москву ваша команда, и, смотрим, опять стоит в воротах длинный такой дядя в рыжей фуфайке — Вася Малахов... А тянули небось в Москву?

— Не без того, — сказал Малахов, улыбаясь.

— Конечно! Такой вратарь — для любой команды находка. А сейчас вы чем занимаетесь? Тренируете, наверное?

— Да, второй год уже, как школу тренеров кончил.

— В своем городе?

Малахов кивнул. Инженер помолчал несколько мгновений. Он вспомнил, что известная команда последние годы выступала неудачно. Сочувственно вздохнув, он сказал:

— Да-а... Сейчас, конечно, игра у вас другая. Игроки не те.

— Сейчас не те, — согласился Малахов.

Они вышли из буфета. Теперь инженер казался Малахову милым и симпатичным человеком, и разговор с ним приятно щекотал самолюбие. И все же было в этом разговоре что-то вызвавшее досаду.

В вестибюле инженер попрощался, сказав, что у него дело в городе. Каждое воскресенье по утрам он разговаривает с женой по телефону. Кстати, сегодня здесь футбол. Последняя игра сезона. Не пойдет ли Малахов за компанию? Зрелище убогое, но все же лучше, чем ничего.

Малахов неопределенно пожал плечами.

— Не знаю, как будет с временем.

Ему не хотелось встречаться с этим милым болельщиком на стадионе. При всей симпатии, которой он проникся к инженеру, он предчувствовал, что дальнейшее сближение может повлечь за собой некоторые неудобства.

— В таком случае до вечера! — сказал инженер, приветливо кивая.

Малахов пошел к себе. В холле третьего этажа на диване сидел приземистый, толстый человек в офицерском плаще и кепке. Он сразу поднялся при виде Малахова.

— О-о, кого я вижу! Здравствуй, Семен! — сказал Малахов, изобразив на лице радостное изумление.

— Здравствуй, Вася.— Человек в плаще крепко потряс Малахову руку.— Я тебя уже с полчаса ожидаю.

Они зашли в номер. Семен Свирин был давнишним приятелем Малахова. Когда-то они вместе начинали в Ульяновске, потом Свирин переехал сюда, играл несколько лет в местном «Динамо», был начальником команды, а в последние годы отошел от спорта — работал в угрозыске. Но любовь к футболу осталась у Семена на всю жизнь. Он страстно болел за свою родную команду и особенно мучительно переживал ее неудачи в минувшем сезоне, которые привели ее на последнее место в классе «Б». Сегодняшняя игра динамовцев с победительницей первенства РСФСР, молодой командой Белогорска, должна была решить, кто из этих двух команд останется в классе «Б» на будущий год. Эта игра была нерадостной для динамовцев и для всех болельщиков города. Мало

того, что они испили чашу позора, оказавшись на последнем месте,— теперь вообще предстояло бороться за право присутствия в классе «Б». И с кем бороться? С какой-то малоизвестной командой, случайно вынырнувшей на поверхность «большого футбола».

— Как ты узнал, что я приехал? — спросил Малахов.

— Ребята сказали, видели тебя в ресторане. Зачем приехал-то?

— Я проездом. В Москву еду. — Малахов небрежно махнул рукой куда-то, как ему казалось в сторону Москвы.— Заодно игру посмотрю.

— Посмотреть стоит. Как мы их раздавим, посмотришь.

— Не сомневаюсь,— сказал Малахов.

Семен поглядел на Малахова внимательно и сощурил один глаз.

— Вася, не финти,— сказал он.— Я знаю, зачем ты приехал. Только у нас тебе ничего не обломится, а у них вообще некого брать.

Малахов усмехнулся.

— Почему же некого? — спросил он после паузы. Скрывать от Семена было глупо, к тому же Семен мог чем-нибудь помочь. Когда эта мысль пришла в голову, Малахов уже не жалел, что встретил Семена.

— Да кого у них брать? Я их знаю, видел. Зола, а не команда. Зола, зола! — с неожиданной пылкостью проговорил Семен, и лицо его побагровело.

— А Бурицкого, например?

— Зола! — отмахнулся Семен.— Центральный защитник, что ли? Хотя.. Этот ничего. — Помолчав, он повторил: — Этот ничего, Бурицкий его фамилия?

— Бурицкий.

— Он ничего. Малость соображает.

Семен снял плащ, кинул его на диван и заходил по комнате. «Как он растолстел, черт! — подумал Малахов.— А был когда-то худенький, легкий, как стриж. Настоящий краек».

— Они в этой гостинице живут,— сказал Семен, оста-

новившись.— Поговорил бы с ним сейчас — и все дела. Раз-раз — и на матрац.

— Сейчас неловко,— сказал Малахов.— Неловко до игры.

— Чего неловко? Неловко, знаешь, чего бывает? Могу я поговорить, если хочешь.

Малахов на мгновение заколебался.

— Нет, сейчас не надо,— сказал он.

— Эх ты, нюня! Давай я пойду к дежурной, она его вызовет по-тихому. Меня тут все знают. Она мне сделает по-тихому. Ну?

Он горел желанием немедленно принять участие в деле, и Малахов понимал причины этой горячности.

— Чего ты волнуешься, Сеня? Все равно ваши выигрывают.

— А кто говорит? Двух вопросов быть не может! — заносчиво ответил Семен.— А я, между прочим, не волнуюсь.

После этого он унялся и больше не предлагал своих услуг.

Было половина второго. Они решили немного пройтись по городу. Семен еще утром сообщил динамовскому тренеру Коле Латсону, что Малахов в городе, и Латсон обещал в два часа подъехать на машине к гостинице, чтобы вместе отправиться на стадион. Конспирация лопнула. Уже все знали о приезде Малахова.

На улице было по-прежнему хмуро и ветрено. Но дождя не было. Семен завел Малахова в какую-то столовую, где у Семена была знакомая заведующая. Пиво там, как правило, не подавалось, но Семен заказал четыре бутылки, и ему принесли. Они сели в отдельной маленькой клетушке, обвешанной холстяными шторами. Это называлось «кабинет». Официант, который приносил пиво и закуску, обращался к Семену с необыкновенной почтительностью: Семена тут все знали. Вот что значит работать в угрозыске.

Они просидели в столовой около часа. Семен не мог

говорить ни о чем, кроме сегодняшней игры. Он был словно помешанный — так ему хотелось, чтобы динамовцы выиграли. Даже скучно было с ним разговаривать.

Когда они подошли к гостинице, легковая машина уже стояла у подъезда. На тротуаре рядом с машиной стояли громоздкий, в потертом кожаном пальто Коля Латсон и начальник команды Сергеенко, маленький, румяный, в щегольском макинтоше и в серой кепочке из букле, такой же, как у Малахова. Малахов поздоровался с ними. Сели в машину.

— Зачем пожаловал, Василий Игнатьич? — спросил Латсон.

Малахов пробормотал что-то насчет Москвы, но ни Латсон, ни Сергеенко не проявили проницательности Семена. Мысли их были заняты предстоящей игрой. Исход этой игры был чреват для обоих роковыми последствиями. В случае «вылета» команды из класса «Б» Сергеенко лишался приличной должности, а Коле Латсону, считавшему себя крупным футбольным деятелем, не оставалось бы ничего другого, как взять чемоданы и ехать в Москву — подыскивать новую работу.

Малахов понимал состояние динамовских руководителей. Поэтому он не обижался на то, что Латсон всю дорогу молчал, а Сергеенко только вздыхал иногда и жалобным голосом обращался к Малахову:

— Скажи, Вася, ну чего они лезут в класс «Б»? Какой смысл? Смешно, ей-богу... Знай свой шесток, ей-богу...

— Может, они еще отдадут игру, — сочувственно предположил Малахов. На самом деле он был уверен, что белогорцы ни за что не отдадут игры и будут рубиться до последнего.

— Может, и отдадут... Да вряд ли, — уныло вздохнул Сергеенко.

— Ничего они не отдадут, — сказал Латсон, сидевший впереди рядом с шофером. — Черта с два.

— По дурости будут играть, — сказал Семен.

Машина доехала до конца проспекта и свернула в сто-

рону Волги. Трамвай, направлявшийся к стадиону, был переполнен. Мальчишки стояли на буферах, уцепившись за оконные рамы. Через четверть часа машина въехала в ворота стадиона и остановилась на асфальтовой площадке рядом с автобусом.

Стадион был недостроен. Полностью закончена была лишь северная трибуна с высокой центральной частью и покато спускавшимися крыльями. На скамейках кое-где сидели зрители. Большинство зрителей толпилось вокруг ларьков, торговавших пивом и горячими пирожками. Погода портилась. С Волги сильно задувал ветер, было холодно, и у всех были подняты воротники пальто; озябшие лица выглядели хмуро и удрученно. Казалось, люди пришли сюда не для развлечения, а по обязанности. Футбольный сезон кончился две недели назад. А эта игра с ее мрачным осенним небом и холодом была наказанием за позор последнего места.

Динамо́вцы уже приехали. Они стояли в кружке, поставив свои чемоданчики на землю, и ждали начальство. Все были в серых кепочках из букле. На некотором расстоянии их окружало кольцо болельщиков с мальчишками в первом ряду. Мальчишки и взрослые, лузгая семечки, молча главели на футболистов и слушали, о чем те говорят. Футболисты узнали Малахова и поздоровались с ним. Многие зрители тоже узнали Малахова, и вокруг него сразу образовалось кольцо мальчишек. Он с гордостью отметил про себя, что его по-прежнему хорошо помнят и сейчас на стадионе он самая значительная фигура.

Вскоре подъехал второй автобус. Белогорцы вышли из машины и тоже встали кружком в отдалении от динамовцев. Толпа зевак сейчас же передвинулась к ним. Белогорцы были одеты поплоче и пестрее, кто в чем, и вид у них был какой-то неспортивный. Но они весело разговаривали между собой, о чем-то смеялись и казались совершенно спокойными. Они ничего не теряли, даже если проигрывали.



Малахов издали увидел их молодого тренера Румянцева, с которым был немного знаком,— рослого блондинистого парня из тех, кого кличут «седыми». Его скуластое, чуть раскосое по-татарски лицо казалось одновременно простоватым и хитреньким. Разговаривать с ним не хотелось, но, так как он уже заметил Малахова и издали дружески кивнул, пришлось подойти и поздороваться.

— Приехали на деревенщину поглядеть, Василий Игнатьевич? — весело спросил Румянцев и, разинув рот, хохотнул беззвучно. У него и раньше был этот дурашливый беззвучный хохоток.

— Я мимоездом в Москву,— сказал Малахов.— А почему деревенщина?

— Да Латсон грозился: мы, говорит, эту деревенщину — нас то есть — научим в футбол играть.

— Не знаю, не слыхал. Мяч круглый вообще-то... — Малахова угнетала необходимость притворяться и играть роль почетного и добродушного зрителя, такого свадебного генерала. Все и считали его генералом, и никто не знал, что он приехал сюда как вор.

— Во всяком случае, я вас поздравляю, — сказал Малахов.— Молодцы, чего там!

— Стараемся. По-деревенски,— сказал Румянцев и снова хохотнул.

Белогорские ребята ухмылялись и во все глаза смотрели на Малахова. Он был для них знаменитостью. Большинство из них наивно полагало, что Малахов специально приехал посмотреть на их игру.

Малахов мельком взглянул на Бурицкого. Он видел его однажды в Мичуринске и сейчас сразу узнал. Курчавый плечистый юноша с таким же откровенным любопытством, как остальные, смотрел на него круглыми синими глазами. Малахов равнодушно отвел взгляд в сторону. Он уже договорился с Семеном, чтобы тот после игры незаметно пригласил Бурицкого в номер.

Динамовцы пошли в раздевалку. За ними потянулись белогорские футболисты. Зрители что-то недружелюбно

кричали им с трибуны. «Резкая будет игра,— подумал Малахов.— Как раз по погоде». В это время кто-то окликнул его с трибуны. Он посмотрел вверх и увидел в пятом ряду улыбающегося инженера Бабкина. Энергичными жестами инженер показывал, что рядом с ним есть свободное место. Малахов сделал вид, что не узнал инженера, и быстро прошел вслед за футболистами под трибуны.

Игру не начинали, потому что не было судьи. Судью пригласили из Куйбышева, но за два часа до матча стало известно, что из-за нелетной погоды куйбышевский самолет застрял где-то на полдороге. Пришлось срочно пригласить местного судью Цитовича. Цитович был крупный инженер, человек занятой и немолодых лет, и уговорить его удалось не сразу.

Малахов слонялся по вестибюлю, встречал знакомых, разговаривал то с тем, то с другим. В вестибюль набилось много посторонней публики, как обычно во время больших состязаний: тут были разные спортсмены, корреспонденты, фотографы, солидные мужчины с дамами и девицы пикантного вида, знакомые футболистов, и какие-то неопределенные личности, неизвестно как проникшие через контроль. И все они топтались на цементном полу, шаркали, жужжали, дымили папиросами и болтали о всяческой всячине.

А команды томились в ожидании вызова — каждая в своей раздевалке.

Откуда-то появился Семен и поманил Малахова пальцем. Они отошли в сторону.

— Порядок. Поговорил,— сказал Семен вполголоса.— Придет ровно в восемь.

— Ну как он вообще?

— Да ничего. Вроде удивился сначала, потом сказал: ладно, приду.

— Удивился?

— Ну да. Вроде того. Одним словом, готовь пол-литра и закуску — и все дела.

Малахов молчал. Он понял, что Семен действовал грубо и слишком откровенно и, может быть, даже делал это нарочно, и Бурицкий, если он парень самолюбивый, может обидеться и не прийти.

— Ведь я просил — после игры, — пробормотал Малахов досадливо.

— А какая разница? Что в лоб, что по лбу.

Из судейской комнаты вышел Цитович, держа мяч под мышкой. Он был маленького роста, лысый, с выпирающим животом и казался смешным в коротких черных штанах и черной рубашке с короткими рукавами. Из-под широких штанов нелепо торчали его бледные и худые интеллигентские коленки.

Нахмуренный, ни на кого не глядя, Цитович спустился по лестнице к выходу. За ним шли его помощники, одетые в обычные костюмы. Грохоча бутсами, гуськом прошли футболисты. Динамовцы были в белоснежных футболках и голубых, идеально отглаженных трусах. Они выглядели очень парадно и спортивно и улыбались знакомым девушкам, стоявшим на ступенях лестницы. Особенно браво выглядел динамовский вратарь — высокий стройный грузин с очень волосатыми ногами. Белогорцы были в обыкновенных черных трусах и в синих, заметно вылинявших футболках разного оттенка, с неровно нарисованными на спине номерами.

Малахов нашел глазами Бурицкого и успел рассмотреть, что у него крепкие, массивные ноги, настоящие ноги защитника, и угловатые плечи. «Злой малый», — подумал Малахов, отметив угловатые плечи.

Первые полчаса он совсем не следил за игрой и смотрел только на Бурицкого. Парень ему нравился. Бурицкий играл надежно, умело дирижировал двумя соратниками и в нужный момент всегда оказывался на месте. Особенно удачно он применял подкат: бросался в ноги набегающему противнику, делая почти шпагат, и неизменно отбивал мяч. Динамовскую «девятку» он закрыл наглухо. Такого защитника как раз не хватало Ма-

лахову. Уж очень надежный. И злой. Нет, этого парня никак нельзя упускать!

Тайм близился к концу, а счет все еще не был открыт. Динамовцы пытались на первых минутах ошеломить своих неопытных противников и предложили штурмовой темп. Белогорск выстоял. Больше всех досталось Бурицкому. Он попевал всюду, отбивал мяч и через голову, и в прыжке («Ого! Прыгучесть отличная!»), и смело откидывал своему вратарю, и, главное, прекрасно выбирал место. «Уж очень он хочет выиграть»,— подумал Малахов с тревогой.

Игра выравнивалась. Динамовцы уже начинали злиться и ворчали друг на друга. Особенно сердито кричал вратарь. Что-то у них не ладилось. Они были сильнее и все же не могли открыть счет. Во время перерыва зрители их освистали; зрители надеялись, что динамовцы разгромят Белогорск в первом же тайме, и теперь мстили за обманутые надежды.

Семен, сидевший рядом с Малаховым, все сорок пять минут дрожал, точно в ознобе. И дрожащим шепотом поносил Цитовича:

— Черт кривоногий... Даром, что свой, не может уж помочь. Вполне мог пенальти назначить... Интеллигентщина...

А Малахов никак не мог заставить себя болеть за динамовцев. Для дела лучше, чтобы выиграли они, но Малахову нравились молодые ребята в синих линиялых майках. Они работали на совесть. Ложились костью. Они все уже были измокшие и грязные от грязного, не просохшего после ночного дождя поля. И больше всех ему нравился Бурицкий. Как он резко играл! И как старательно. И какой он злой — просто чудо!

Пошел дождь. Зрители начали покидать трибуны, но настоящие болельщики упорно сидели, накрывшись газетами. Обе команды уже грубили вовсю. Цитович то и дело свистел. За семь минут до конца Бурицкий скопил подопечную ему «девятку» где-то в районе штрафной

площадки, и Цитович немедленно назначил одиннадцатиметровый. Началась обычная в этих случаях канитель и свара. Все столпились возле ворот. Динамовцы приплясывали от радости, белогорцы яростно протестовали. Бурицкий хватался за голову. Оба капитана что-то наперебой объясняли судье, отталкивая друг друга, и все махали руками, и минуту-другую ничего нельзя было понять. Но Малахов все понимал прекрасно. Он видел тысячи подобных сцен и знал, что, сколько бы ни было криков, споров и театрального махания руками, все это кончится одним — голом.

И вот игроки раздвинулись, освобождая пространство, и бедный белогорский вратарь, поплевав на перчатки, встал в позицию. Толпы мальчишек бросились на поле, чтобы посмотреть пенальти вблизи.

Когда капитан динамовцев забил гол, Малахов поднялся и пошел в помещение. Он сказал Семену, что здорово промок, но в действительности он неожиданно для себя расстроился и смотреть дальше не хотелось. Семен остался до конца. Через несколько минут в вестибюль вошли замызганные грязью, мокрые, измученные футболисты. Хотя динамовцы выиграли, вид у них был далеко не победительный. «Нет, ребята, не жильцы вы,— с внезапным злорадством подумал Малахов, глядя на еле ковыляющих динамовцев.— Здесь выиграли случайно, а на своем поле белогорцы вас разделают. Костей не соберете».

Белогорские футболисты быстро протопали в свою раздевалку, не обращая внимания на насмешливые реплики динамовских болельщиков, толпившихся в вестибюле, и только Бурицкий огрызался, вертя головой направо и налево, и тряс кулаком...

Обратно ехали в той же машине.

Хотя настроение у динамовских руководителей было не слишком праздничное, они все же собирались вместе с Семеном поехать куда-то отметить победу. Звали и Малахова, но он сказал, что приедет позже. Его высадили

возле гостиницы. Малахов разделся внизу и, не подымаясь в номер, прошел в ресторан.

Он сразу увидел Румянцева. И тот заметил Малахова и улыбнулся ему, и Малахову ничего не оставалось, как подойти и сесть за его столик.

Рядом с Румянцевым сидел его помощник, тоже совсем молодой человек, со значком первого разряда на пиджаке.

— Как впечатление, Василий Игнатьевич? — спокойно спросил Румянцев, но по его возбужденно косящим глазам Малахов прочел его истинное самочувствие.

— Что же, проиграли глупо. Но в Белогорске вы их накажете, я думаю...

— И думать нечего! — запальчиво перебил Румянцев.

— У нас их видно не будет! Видно не будет — понимаете? — торопливо проговорил его помощник.

Румянцев привстал со стула.

— Не верите, Василий Игнатьевич? А вот приезжайте нарочно!

— Да мы их как хотим сделаем. Гарантирую. Ничего у них нет,— скороговоркой палил помощник.— Ни паса нет, ни ударов, никакого понятия игры...

Оба тренера вперебивку, азартно и зло поносили динамовцев, хотя в действительности, наверное, они вовсе так и не думали. Просто в них кипела обида, и нужно было излить ее, и тут как раз подвернулся Малахов и принял на себя весь этот взрыв бахвальства, угроз и запоздалой воинственности. Малахов знал, как необходимо бывает «отвести душу» после поражения. Поэтому он терпеливо слушал, кивал и лишь изредка вставлял свои замечания.

Наконец, когда оба выговорились, Румянцев спросил:

— А кто из ребят вам больше понравился, Василий Игнатьевич?

Малахов чуть было не сказал «Бурицкий», но вовремя удержался и назвал кого-то из нападающих и вратаря.

— А центральный защитник не понравился, что ли? — спросил Румянцев недоверчиво.

— Он тоже ничего,— кивнул Малахов. Он нагнулся к тарелке и сразу поперхнулся горячим супным паром. Откашлявшись, начал быстро и сосредоточенно есть.

— А мы считаем Бурицкого лучшим. Номер один,— сказал Румянцев.

— Сегодня он играл как никогда,— сказал помощник.— Просто классно. Просто исключительно сегодня играл.

Наклонившись к Малахову, Румянцев сказал вполголоса:

— Вот он сидит, через два стола.

— Я его помню,— сказал Малахов.

Он посмотрел и увидел Бурицкого, сидевшего к нему спиной. Бурицкий сидел не поворачивая головы. В его напряженно вытянутой прямой спине было что-то фальшивое. Наверное, он знал, что сзади сидит Малахов.

Румянцев и его помощник уже пообедали, но не вставали из-за стола. Им очень нравилось разговаривать с Малаховым, и, главное, они были убеждены в том, что он всецело на их стороне. Они делились с ним своими заботами, советовались по разным серьезным и пустяковым делам, выпытывали у него футбольные сплетни. Он был человеком из высшего мира, в который они мечтали попасть. А Малахов испытывал нестерпимое чувство неловкости, разговаривая с этими простыми ребятами, которые слушали его с таким жадным вниманием и так преданно верили каждому его слову.

Наконец они простились и ушли. У них были билеты в кино. Футболисты ушли еще раньше. Выпив стакан крепкого чая с пирожным и расплатившись, Малахов посидел некоторое время один за пустым столиком. Без четверти восемь он поднялся. Он вспомнил совет Семена и зашел в буфет. Малахов водки не пил и из всех вин предпочитал полусладкое шампанское, но этого вина в буфете не оказалось, и Малахов купил портвейн «Три семерки» и попросил завернуть несколько бутербродов.

Подымаясь в лифте, Малахов с беспокойством вспомнил об инженере. Ему не хотелось, чтобы инженер присутствовал при его разговоре с Бурицким. «Придется зайти в спальню,— подумал он.— В крайнем случае можно в ванной перекинуться».

В номере было темно, и у Малахова отлегло от сердца. Он зажег настольную лампу в гостиной, снял пиджак и лег на диван, положив ноги на валик. Внезапно он почувствовал всю сокрушительную усталость этого длинного дня. Может быть, из-за усталости так испортилось настроение? Ведь все шло как нельзя лучше: он ловко сумел назначить Бурицкому свидание, и Бурицкий обещал прийти, и Белогорск проиграл. И никто из этих бедняг не догадывается, зачем он здесь. Все прекрасно. Оказывается, не такой уж он неспособный в этих делах. Просто ловкач...

Раздался негромкий стук в дверь. Малахов взглянул на часы: было ровно восемь.

— Здравствуйте, Василий Игнатьевич,— сказал Бурицкий, скромно и почтительно стоя на два шага от двери.

«Имя-отчество разузнал,— мелькнуло у Малахова.— Хороший признак».

— А-а!.. Здоров, здоров! — громко сказал он.— Заходи, брат...

Малахов распахнул дверь и жестом пригласил Бурицкого в комнату. Сели к столу. Бурицкий был свежевыбрит, его курчавые волосы влажно блестели, кожа на лице лоснилась, и от него шел мощный запах тройного одеколона. У него был вид жениха, пришедшего с воскресным визитом.

— Что, Володя, расстроился? — спросил Малахов, улыбаясь.

— Ясно, Василий Игнатьевич. Отдали игру по дурочке,— по-детски обиженно проговорил Бурицкий.— Главное, я его за полметра от штрафной снес...

— Считаешь, неправильный был пенальти?

— Ясно неправильный!



— Ну ничего! В Белогорске вы их накажете.

Бурицкий кивнул, но как-то не очень уверенно. Его круглые ярко-синие глаза смотрели на Малахова выжидательно. Малахов вынул из тумбочки бутылку портвейна и поставил на стол.

— Не откажешься?

— Спасибо. Я вообще не пью,— сказал Бурицкий, краснея.

— Ну-ну! Я понимаю, спортсмену пить не положено. Но это ведь дамский напиток — можно по баночке.

Бурицкий взял бутылку жилистой смуглой рукой, повертел, разглядывая этикетку, и осторожно поставил на место.

— Честное слово, не пью, Василий Игнатьевич.

— Понятно, понятно...

Малахов налил два стакана и выложил на тарелку бутерброды.

— За знакомство,— сказал он.

Они чокнулись. Бурицкий сделал два глотка, аккуратно согнутым запястьем вытер уголки рта и поставил стакан.

«Правда не пьет. Ну и парень! — подумал Малахов.— Ах, как он мне нравится!»

Надо было приступить к делу. Но Малахов никак не мог заставить себя произнести первые слова. Странное чувство: не то чтобы какая-то неловкость или щепетильность, а что-то совсем другое мешало ему начать.

И он завел разговор о состязании, говорил, что ему понравилось в игре Бурицкого и что нет, и как надо относиться к проигрышам, и как тренироваться, и у каких футболистов учиться, и что делать зимой. Бурицкий слушал очень внимательно, и чувствовалось, что он необычайно польщен тем, что Малахов, ветеран футбола, так долго, серьезно и доброжелательно с ним разговаривает. Наверное, он был уверен, что для этой отеческой беседы Малахов и пригласил его. И, наверное, ужасно

гордился собой: вот, мол, как я играю — сам Малахов меня отличил от всех!

И чем явственней Малахов понимал это, тем труднее было ему перейти к деловой части. У него просто язык не поворачивался предложить Бурицкому такое дело. И он бессмысленно тянул время, томясь собственной нерешительностью.

Он стал расспрашивать Бурицкого о его жизни, о его семье и работе. Узнал, что Бурицкий работает механиком на автобазе, что у него мать, жена и к весне родится ребенок. И тогда ни с того ни с сего Малахов начал рассказывать о своих двух девочках-близнецах, которые учились уже во втором классе. Он вспомнил о тяжелом времени, когда они родились: сразу после войны. Он вернулся из армии, приехал с женой в родной город. На месте города были пепелища и свалки камней на огромном пространстве. Они жили в подвале бывшего рыбного магазина. Жена звала в Ленинград, и у него была возможность попасть в зенитовский «дубль», но он почему-то не поехал. Сейчас трудно вспомнить почему. Ведь тогда не было даже команды, не было никого из ребят. Кое-кто вернулся позже, стали приходить молодые, и команда понемногу склеилась. А через полгода ее уже называли грозой чемпионов. Потом были громкие годы, внезапная известность, поездки в Москву, и первые неудачи, и первые признаки того неотвратимого бедствия, которое называется «возрастом». И ночи без сна, полные горького отчаяния, и зависть. И самое страшное, то, чего казалось, нельзя пережить: последняя игра. Но и это прошло. И началось новое. Жизнь в Москве, школярство, ученические заботы...

Малахову хотелось рассказать о главном: вот пронеслась эта шумная, пестрая жизнь и вспоминается с удивлением. И что от нее осталось в душе? Нет, не грохот трибун, не букеты болельщиков и не мгновения радости, горечи, глупого счастья. Все это перемешалось и исчезло почти без следа. Осталось любимое дело —

весенний запах травы, каучуковый стук мяча — и любимые мальчишки, которым он когда-то завидовал и которые никогда не узнают об этой зависти. И родной город, могуче выросший, ровесник дочерей. И друзья, и враги (они тоже остались), и случайные незнакомцы, встречи в гостиницах, тепло и свет этих встреч — зарницы доброй славы, потихоньку угасающей.

Вот об этом добром и прочном, что не подвержено времени, что осталось после всего призрачного коловращения, трескотни и фейерверков, и хотел бы сказать Малахов. Но он не умел говорить о таких сложных вещах. Поэтому он только вздохнул тяжело, отхлебнул вина и неожиданно для себя сказал:

— Мне как раз нужен центральный защитник. Устроим на хороший завод, возможности у нас есть. Как ты на это дело? Хочешь в класс «Б»?

Слова были заготовлены заранее и поэтому вырвались легко, помимо воли. Бурицкий начал краснеть, потом спросил тихо:

— А с жилплощадью как?

Малахов сейчас же вспомнил, что слова «дадим комнату» были предусмотрены, но он почему-то забыл их произнести. Но его так поразил ответ Бурицкого, что он несколько мгновений молчал и смотрел на Бурицкого. А тот смотрел на него.

Потом Малахов сказал:

— Дадим комнату. Дадим обязательно...

Он словно очнулся. Быстро прошел в спальню, вынул из тумбочки лист белой бумаги, разорвал его надвое и положил на стол перед Бурицким. И вынул свою авто ручку.

— Заявление писать? В двух экземплярах? — спросил Бурицкий шепотом.

— Да, да. Сейчас... Погоди.— Малахов поднял указательный палец, потом потер лоб рукой и, важно нахмурясь, уставился в лист бумаги. У него был вид человека, погрузившегося в серьезные размышления. На самом

деле все мысли его разбежались, в голове был полный сумбур, и он уткнулся взглядом в бумагу лишь для того, чтобы не смотреть в глаза Бурицкому.

— Ты вот что, заявление потом напишешь. А сейчас пиши свои координаты.— Малахов щелкнул по бумаге пальцем.— Адрес, имя, отчество, год рождения...

— Понятно, Василий Игнатьевич...

— Я ведь вопрос единолично не решаю. Как формально решим с руководством общества, так сейчас же тебе телеграфирую. В порядке что-нибудь двух-трех дней. Понятно?

Бурицкий кивнул. Он взял ручку, начал было писать, но остановился и положил ручку на стол.

— Меня все же интересует, Василий Игнатьевич,— начал он робким голосом,— ряд вопросов. Какие, например, условия... Лично для меня вообще...

— Так. Еще что?

— Какие вообще перспективы вашей команды... Ряд вопросов вообще...

— Я тебя понимаю,— сказал Малахов, кивнув.— Хорошо. Ты сейчас пиши, после поговорим.

Бурицкий заскрипел пером. Малахов сел на диван и смотрел на курчавую голову Бурицкого, низко опущенную к столу. Уши торчком. И кудрявый весь, как баран. Завивается он, что ли?

Малахов почувствовал раздражение против самого себя. Ну и балда же он! Молол, молол языком, всю жизнь свою рассказал, а этот и не слушал — небось все насчет условий соображал...

— А какие перспективы у твоей команды, тебя не интересует? — спросил Малахов.

— Что? — Бурицкий настороженно поднял голову.

— Вдруг ребята выиграют одну игру, вторую — и сами в класс «Б» попадут?

— Да вряд ли, Василий Игнатьевич... — Бурицкий пренебрежительно пожал плечами.

— Почему вряд ли?

— Не выиграть им без меня.

Это было сказано с такой великолепной уверенностью, что Малахов не удержался от улыбки.

Хлопнула входная дверь. Кто-то зашаркал в прихожей, вытирая ботинки, и через минуту появился инженер в мокром пальто.

— Добрый вечер, товарищи! Ого, здесь пируют!

Малахов обрадовался его приходу и сейчас же предложил инженеру вина. Тот начал отказываться, Малахов настаивал. И это препирательство длилось довольно долго, пока наконец инженер не сказал, что выпьет лишь в том случае, если товарищи попробуют его сыр.

— Утром еду в район на неделю. Погода как раз командировочная, не правда ли? — весело говорил инженер, потирая руки. — А как вам игра? Мне понравились белогорцы: ребята молодые, напористые. Проиграли они обидно. Но я думаю, они здешних мастеров вытолкают, ей-богу вытолкают!

— Я тоже думаю, — сказал Малахов.

— На будущий год они себя покажут, вот увидите. Если только их не растащат. Свободная вещь! — Инженер, как все болельщики, он любил пофилософствовать и делать прогнозы. — У нас ведь как бывает: появилась молодая команда — глядишь, слетается к ней воронье, чем бы полакомиться. Самим-то воспитывать хлопотно, а тут готовенькое. И грабят на корню.

— Верно, верно, — сказал Малахов, стараясь улыбнуться поестественней.

С аппетитом жуя ломтик сыра, инженер продолжал:

— А я бы таких хищников, таких тренеров-мародеров буквально позорил на весь Советский Союз. Буквально судил бы судом общественности.

— Видите ли, тренер тоже не всегда виноват, — сказал Малахов. — Тренер — лицо подчиненное. Над ним председатель общества стоит.

— Ах, бросьте, пожалуйста! Они рука об руку действуют. Что вы мне рассказываете!

Бурицкий спокойно слушал разговор, глядя своими синими, искренними глазами то на Малахова, то на инженера. Когда Малахов улыбался, он улыбался тоже.

— Я вам другое скажу,— сказал инженер.— Кто легко от своих отказывается, тот в любой команде ненадежный человек. Вот чего опасаться надо. И как этого не понимают!

— Понимают... Почему не понимают? — пробормотал Малахов.

— Нет, нет, товарищ Малахов! И вообще у нас трезвонят о массовом спорте...— Он вдруг замолчал. Посмотрел на Малахова, потом на Бурицкого, поправил очки, и лицо его приняло выражение несчастное и сконфуженное. Невнятной скороговоркой закончил он свою мысль: — Но еще, так сказать, очень много недостатков...

Воспользовавшись паузой, Бурицкий встал и сказал тихо:

— Я пойду, Василий Игнатьевич.

Малахов вышел вслед за ним в коридор.

— Значит, так, Володя. Жди телеграммы,— деловито сказал Малахов. Он испытывал облегчение от того, что Бурицкий уходит.— Как только дело решится, я тебе сообщу. Будь здоров, дорогой.

Он пожал Бурицкому руку, и тот на цыпочках, подняв свои угловатые плечи, быстро-быстро пошел по коридору.

Инженер плескался в ванной.

Малахов ждал пока он выйдет, чтобы вымыться самому. Ему нестерпимо хотелось спать. Он сидел на диване и зевал.

Наконец инженер вышел. Вытирая лицо полотенцем, поспешно и как-то боком он проскочил мимо Малахова в спальню. Когда через несколько минут в спальню пришел Малахов, его сосед уже спал и было темно.

В эту ночь Малахов долго не засыпал. Он слушал шум дождя, ночной многослойный шум; он различал ровный, всеобъемлющий шум воды, шуршащей по воз-

духу, и тихий гул где-то наверху, на крыше, и чуть слышные всплески под водосточной трубой на земле, и дробную стукотню по подоконнику. Последний дождь перед холодами и снегом. До нового сезона несколько месяцев, но они пролетят, как всегда, незаметно. И — готово дело, пора на сборы. И опять с центральным защитником беда — придется Петьку Коростылева ставить, а на его место Никитина пробовать...

Малахов копался в этих будничных беспокойных мыслях, и они, как обычно, не давали уснуть. О Бурицком он и не думал.

Проснулся Малахов поздно. Инженер торопливо собирался, кое-как складывал вещи в лежавший на полу в гостиной чемодан. Они поздоровались и обменялись несколькими фразами насчет дождя. Инженер сказал, что уедет через полчаса. Малахову хотелось поговорить с ним. Он проснулся с этим желанием: поговорить с ним. Но инженер был слишком занят сборами, суетился, нервничал, курил папиросу за папиросой, и ему некогда было даже взглянуть на Малахова.

— Я провожу вас на вокзал, хотите? — сказал Малахов. — Все равно мне нечего делать.

— Что вы, что вы! С какой стати! — сказал инженер испуганно.

— Просто так. Если вы не возражаете. Я только спущусь вниз и дам телеграмму.

Он накинул пиджак и вышел.

Телеграф помещался на первом этаже рядом с комнатой администратора. Малахов написал на бланке домашний адрес Карпова. Времени обдумывать не было, и он написал первое, что пришло в голову: «Сожалению неудача точка товарищ не подходит по стилю — Малахов». Все это заняло минут десять, не больше.

Не дожидаясь лифта, он резво взбежал на третий этаж. Инженера уже не было в номере. Только неприятный запах дыма напоминал о его недавнем присутствии.

## Далеко в горах

---

Изо всех сил стараясь удержаться и не упасть, он дошел до угла и повис на канатах. Судьи совещались невыносимо долго. Чего они тянут? И так все ясно. Надо было терпеливо стоять в углу и смотреть в недоброе лицо тренера, который молча, злыми движениями вытирал губкой его лицо и шею. Потом надо было пройти от ринга к выходу, мимо зрителей на трибунах, и не заметить Валю. Сделать это ему не удалось. Всего на один миг мелькнуло ее лицо — неузнаваемо бледное, несчастное, с полуоткрытым ртом, как будто она хотела что-то сказать.

После душа он вышел на улицу. Было очень тепло. Началось настоящее лето, густо и тяжело пахло цветущими тополями и айлантусом.

Он поднялся на трибуны и встал наверху, издали глядя на то, что происходило на ринге. Двумя жидкими гирляндами горели над стадионом лампочки. Трибуны были полупустые. В нижних рядах сидели настоящие ценители бокса, молодые парни, солдаты и мальчишки, а выше, где потемнее, парочками расположились случайные зрители, забредшие на стадион скоротать время и заодно поглазеть на бесплатное зрелище.

Выступала последняя пара. Когда ударил гонг, зрители встали и, не дожидаясь, пока объявят победителя, повалили к выходу. Все, кто проходил мимо Алексея, смотрели на него с бесстыдным любопытством. Всегда интересно, как выглядит человек, которого на ваших глазах избili до полусмерти.

Алексей выглядел отлично. Лицо у него было гладкое, влажно-румяное после душа, волосы тщательно прилизаны. Он стоял не двигаясь, стараясь не замечать дурацких взглядов. Он искал Валю.

— Пойдем, Алеша, — услышал он тихий голос и, оглянувшись, увидел Валю.



Она смотрела на него с откровенным состраданием, и он сразу почувствовал раздражение.

— Ты что как на похоронах?

— Я? Ничего подобного! Просто говорю: пойдём...

— Куда пойдём?

— Куда-нибудь. А чего тут стоять?

— Надо.— Он помолчал, стараясь подавить в себе раздражение.— Сергея Ивановича надо дожидаться, как по-твоему?

— Как хочешь...

Она отошла от него и спустилась по ступенькам на землю. Алексей видел, как она остановилась в тени, под стеною трибун. Тоненькая фигурка стояла в темноте смиренно и одиноко. Внезапно он сбегал вниз, обнял ее за плечи.

— Ну, как я был? Совсем не гожусь, правда?

— Нет, ты держался молодцом. До третьего раунда...

— Да, в третьем раунде я выдохся. Но знаешь что? На первенстве города я у Юрки выиграю. Даю тебе слово!

Она притронулась пальцами к его руке.

— Алеша...— В лице ее вновь мелькнуло сострадание, и он разозлился.

— Что?

— Я хочу сказать... Зачем тебе этот бокс, Алеша? Тебе и так трудно. У тебя и времени нет тренироваться как следует.

— Есть у меня время. И вообще это мое дело.

— Алеша, милый...

— Валя, я тебя прошу! — Он повысил голос. — Ты же ничего не понимаешь — зачем говорить?

Они спорили об этом слишком часто. И сейчас она не должна была заводить этот разговор. Это было нечестно. Он чувствовал себя вправе дать волю раздражению. Зачем она пришла сюда? Посмотреть, как он проигрывает? И потом, воспользовавшись случаем, начать его отговаривать? Так пусть она знает раз и навсегда: он

никогда не бросит бокс и в августе выиграет первенство города.

Он неожиданно умолк. По лестнице, громко разговаривая, спускались Сергей Иванович с Рафиком Восканяном. Рафик выиграл последний бой. Даже в темноте было видно, как у него блестят глаза. Он прошел мимо, издав Алексея запахом потного, горячего тела.

— Поздравляю, Рафик, — сказал Алексей.

— Спасибо, Лешенька! — радостно отозвался Восканян и на ходу с великодушием победителя пошлепал Алексея по плечу.

Тренер как будто не заметил Алексея. Но пройдя несколько шагов, он оглянулся и сказал:

— Не уходи, Сычев. Ты мне нужен.

Через четверть часа тренер вышел из павильона, и они зашагали рядом. Валя шла сзади.

— Как думаешь, почему проиграл? — спросил тренер.

— Не в форме я, Сергей Иванович.

— А почему не в форме?

— Сами знаете... Тренировался мало.

— Да. Знаю.— Сергей Иванович остановился. Большие ворота парка были уже заперты, надо было возвращаться к задней калитке. Они стояли перед запертыми воротами.

— И как можно надеяться на выигрыш, если человек не тренируется, пропускает занятия, опаздывает?

— Сергей Иванович, прошлый раз я опоздал — машин не было...

— А эти данные, товарищ, никого не интересуют. Расскажи своей тете!

Алексей стоял насупясь, носком ботинка ковыряя песок дорожки. Он ждал от Сергея Ивановича разноса, сердитых выкриков, но тренер говорил спокойно и вяло, скучным голосом.

— И зачем вообще ты занимаешься боксом? Чтобы с чемоданчиком гулять в спортивном костюме? Чтобы девушкам нравиться?

Сергей Иванович посмотрел на Валю. Алексей молчал.

— А девушке, кстати, это не нравится, — с робкой запальчивостью заговорила Валя. — И, если хотите знать, я его отговариваю.

— Правильно! — сказал тренер. — Ко всякому делу надо относиться ответственно, а если шалай-валяй, тогда лучше совсем бросить.

— Сергей Иванович, я у него выиграю, у Завьялыча! Вот ей-богу выиграю.

Тренер пожал плечами и не ответил. Они повернули обратно, к задней калитке. Был уже первый час ночи, и парк был совершенно безлюден. Один сторож-старик в бараньей шапке маячил в глубине аллеи, шаркая по песку метлой.

— Спорт — это серьезное дело. Ты отвечаешь перед коллективом, перед товарищами, — размеренно бубнил тренер. — Мы рассчитывали на твою победу, а ты подвел коллектив. Из-за тебя мы проиграли зачетную встречу, а могли бы свести вничью.

— Товарищ тренер, но вы же знаете, в каких условиях Алеша живет! — с отчаянием воскликнула Валя. — У него же нет сил, нет возможности тренироваться как следует!

Тренер вздохнул.

— Что ж делать? Значит, надо бросать бокс.

— Нет. Ни за что, — упавшим голосом сказал Алексей. — И в августе я у Завьялова выиграю, вот посмотрите.

— Не знаю, не знаю, Сычев. Сегодня у тебя никакой защиты не было, абсолютно никакой.

И они заговорили о бое.

Тренер был прав: надо бросать. То же самое говорили ему и Валя и дед. Слишком трудная жизнь. Еле-еле он вытягивал школу, десятый класс, а впереди еще выпускные экзамены. Вот сейчас ребята разошлись по домам, а ему надо искать пристанище в городе. Ни одна машина не пойдет сейчас в Карповку. Надо опять

идти к Виктору, сигналить через забор, а потом лезть в окно...

— И все же я выиграю, выиграю у него! Ты не веришь, да? — шептал он, легкомысленный и счастливый, обнимая Валью в темноте под акацией, где душно пахло ночной зеленью и весной и луна светила сквозь листья.

А потом она говорила, что не хочет оставлять его одного и будет гулять с ним всю ночь. И они шли по тихим улицам и прятались от луны. И ноги их подкашивались от усталости, но они не могли расстаться. И они сидели на холодных скамейках, забыв о боксе, о тренере и о родных, которые ждали их дома.

Когда в сером небе осталась единственная звезда, они прощались возле высокого глинобитного забора, в который была врезана дверь. И Алеша шел к Виктору поспать полтора часа.

\* \* \*

Город лежал внизу. Днем его трудно было разглядеть в знойном тумане, застилавшем горизонт, но зато ночью он сиял во мраке, точно маленькое электрическое озеро. Ночью казалось, что город совсем близко, хотя по шоссе до него было двенадцать километров.

Раньше в городе ходил автобус из Карповки, но четыре года назад, после землетрясения, автобусное движение прекратилось. В нем не стало нужды. Деревня вымерла. Среди погибших были Алешины мать и бабушка. Трагедия деревни заключалась в том, что землетрясение нарушило какие-то подземные связи и заклинило воду. Иссякли колодцы. Вода сочилась с перебоями, жидкой струйкой и не смогла бы напоить и десяток семейств. Оставшиеся в живых не стали ничего восстанавливать и разъехались кто куда. Когда-то богатое русское село — его основали молокане лет семьдесят назад — лежало в развалинах, и не было никакой надежды на то, что жизнь здесь возобновится.

В уцелевших домах жили четыре семьи. Почти все старые люди, кому некуда было ехать и не под силу начинать новую жизнь. Исаевы и Долженковы работали в горах, на известковом карьере, старуха Дерова держала корову и торговала молоком в городе, а Степан Карпович, Алешин дедушка, работал при «вилюшке» — так называли здесь шоссе, уходившее через горы в Иран. Степан Карпович торжественно именовал себя «дорожным ремонтером», но, говоря попросту, он был сторожем при дороге. Ковырялся потихоньку с киркой и лопатой, чистил кюветы от бурьяна и падали, убирал камни. Работа была несложная, но требовала здоровья и умения помногу ходить.

Старик был еще крепок. Три поколения молокан, не куривших и не пивших вина, наградили его отменной кровью. Он был совершенно седой, с пышными седыми усами, но при этом — горный, дубленый румянец, белые зубы и глаза необычайной голубой ясности. Поглядев на старика, никто не дал бы ему шестидесяти восьми лет. И Алеша был той же породы. Весной ему исполнилось семнадцать, но выглядел он старше, говорил басом, и руки у него были грубые, жилистые, как у взрослого мужика.

Эта природная крепость как бы сравнивала обоих — старца и юношу. Вся работа они исполняли на равных. Они жили суровой и дружной жизнью мужчин: мало спали, скудно готовили, оба были завзятые охотники. Конечно, Алешина жизнь была трудней стариковой. Ведь он еще и учился, каждый день ездил в город. Грязные от известковой пыли самосвалы с карьера были его автобусом.

Ребята завидовали Алеше. Им казалось, что его жизнь в горах, рядом с границей, полна приключений и опасности. Кое-какие приключения иной раз случались, но Алеша никому о них не рассказывал. Эта скрытность, воспитанная с ранних лет, была таким же свойством жителей пограничного района, как и удивительно спокой-

ное, почти равнодушное, отношение к так называемым приключениям.

Да и, по совести говоря, жители Карповки знали о том, что происходит на границе, немногим больше, чем горожане. Иногда ночью стреляли. Иногда по шоссе бешено пронеслись машины. Иногда заходили в гости озабоченные пограничники, расспрашивали о том, о сем. Алеша многих из них знал в лицо, а Степан Карпович знал все начальство ближайших застав. Степана Карповича тоже все знали. Он дважды участвовал в задержании и даже заслужил медаль.

А в общем — обыкновенная жизнь. Пустынные горы, скупое зеленые у подножия, поросшие чахлой арчой. Ветер с Ирана дышал снегом, а северный приносил пыль и сушь пустыни.

Между Степаном Карповичем и Алешей шла вечная распря. Старик убеждал Алешу переехать в город, снять угол и жить по-людски. Сам он не хотел покидать насиженное место. Кроме того, что жаль было бросать дом (а продать его не представлялось возможности), Степан Карпович очень гордился тем, что его знают и уважают пограничники. А в городе что? Ни охоты, ни дома, ни уважения.

Алексей же не хотел оставлять старика в одиночестве.

— Вот найдешь себе хозяйку, тогда перееду,— говорил он.

— Найдешь ее! Как же...— уныло вздыхал Степан Карпович.

Это была больная тема. Старик еще надеялся подыскать сожительницу, какую-нибудь работающую бабку, чтобы возобновить хозяйство. Ведь была когда-то корова, были куры, огородик, и все это без женского догляда пошло прахом. Но бабка никак не подыскивалась. Кому охота селиться на гиблом месте. В позапрошлом году появилась, правда, одна, пожила месяцев пяток и сбежала. Да еще обманщицей оказалась: деньги от продажи молока утаивала и даже, по слухам, на те деньги

козу купила. Степан Карпович горько переживал такое коварство.

— Тридцать девять лет я со старухой прожил, во всем ей доверять привык. Думал, и все они такие. И вот — на ж тебе...

Обычно он жаловался пограничникам. Ребята с заставы были в курсе всех житейских невзгод Степана Карповича, проявляли сочувствие и давали советы.

Часто заходил к Степану Карповичу лейтенант Петренко — черноглазый, с темными усиками, похожий на грузина. Петренко всегда первым долгом осведомлялся:

— Как, Степан Карпович, успехи на личном фронте?

— Ой, не спрашивай! — вздыхал старик. — Видать, уж такой замены не будет... Познакомился тут с одной. Но все не то.

— Почему же? — интересовался Петренко. — Характер не подходит?

— Нет, характер, я думаю, ничего. И сама женщина неплохая, полная. У нее, видишь, дочка замужняя в городе, а зять в командировке на два года — с детишками заниматься некому. Если б не дочь, говорит, я бы сей момент...

— Ах ты обида! Ну а та, вторая, что в запрошлом месяце приходила?

— Пелагея? Тоже пока не сладили. Место, говорит, слишком ветрено, а у ней ревматизм или другая какая болезнь. В костях, одним словом. Лапы во какие раздуло! — Старик показывал. — Окончательно, говорит, дам ответ в конце месяца. А тоже женщина хорошая, моих годов.

— Да, трудно тебе, Степан Карпович..

— Трудно. Очень даже трудно, Иван Тимофеич.

— Конечно, чтоб человека узнать, надо с ним годы прожить, — говорил Петренко. — Вот ты жил со своей сорок лет, детей растил, добро наживал, и она была тебе другом — верно?

— Обязательно, Иван Тимофеич! — Старик усердно кивал седой головой.

— А сейчас возьми... Сейчас каждая к тебе с расчетом подходит. Ей не важно, какой ты есть человек, она свою пользу выгадывает.

— Именно что пользу.

— А жена должна быть в первую очередь — что? Друг. Вот возьми мою Лиду...

Разговор этот мог продолжаться долго. Лейтенант Петренко был молод, женат всего два года, и жена его, тоже молодая, очень растолстевшая, с миловидным и наивным лицом девочки, жила на заставе. Петренко любил рассуждать насчет семейного счастья. Он считал себя счастливым и умудренным жизнью.

Однажды он увидел Валю, которая приезжала к Алеше в гости. Спустя несколько дней лейтенант встретил Алешу на дороге и, наклонившись с коня, сказал серьезно:

— Одобряю, Алексей. Только учти золотое правило: жениться надо рано.

— Вы о чем это, Иван Тимофеич? — удивился Алеша.

— Сам знаешь о чем. А жениться надо рано, учти.

Он выпрямился в седле и с таким же серьезным лицом поехал шагом дальше.

Алеша не задумывался над тем, надо ли жениться рано или поздно и надо ли жениться вообще. Он переживал то безотчетное состояние влюбленности, которое бывает только в юности, однажды в жизни. Он виделся с Валею каждый день, и каждый день он был от нее далеко. Это доставляло ему непрерывную муку. Вечером он выходил на шоссе и смотрел вниз, в сумеречную даль равнины, где загорались огни города. Маленькое электрическое озеро сияло тем ярче, чем темней становилось вокруг. И одна огненная капля в этом озере была окном Валиного дома.

По вечерам на шоссе было холодно. Над черной стеною гор блестели холодные, как снег, звезды. Вдалеке



друг от друга в мертвом мраке деревни мигали две-три керосинки. И Алеше казалось, что он страшно далек от Вали, на другом конце света, и не верилось, что завтра увидит ее снова...

Наступили экзамены. Алеша жил кочевой жизнью, чуть ли не каждый день оставался ночевать в городе. И, как ни странно, именно в эти дни он тренировался регулярно и с особенным удовольствием. Два часа занятий в секции как блаженный отдых после книг и зубрежки.

Тренер Сергей Иванович подобрел к Алексею и как будто уверовал в него. Все ждали августа. Первенство города было не только состязанием боксеров, но и поединком двух тренеров — динамовского вождя Сергея Ивановича и старика латыша Робертса, который тренировал «Буревестник». Это было давнее соперничество. Ни тот, ни другой тренер еще не вырастил ни одного мастера и даже чемпиона республики, и однако в этом крохотном спортивном мирке страсти кипели не меньше, чем где-нибудь в столице. Сейчас, например, у Робертса появился способный боксер Завьялов, студент педучилища, которого все прочили кандидатом на первенство республики. И Сергей Иванович мечтал нарушить эти расчеты. Он готов был к тому, чтобы его питомцы проиграли все встречи, лишь бы Алексей выиграл у Завьялова.

Каждый день он внушал Алексею:

— Боксом не занимаются просто так, ради удовольствия. Надо выигрывать, побеждать! Вот конечная цель. А не то, чтоб перед девочками красоваться...

— Сергей Иванович, чего вы волнуетесь?

— Очень волнуюсь. Мало в тебе злости, азарта...

Однажды перед экзаменом по алгебре Алексей четыре дня не ходил на тренировки. Сергей Иванович прибежал в школу бледный от негодования.

— Ты что, с ума сошел? Без ножа меня режешь! Да ты пойми, глупая голова: выиграешь первенство города, тебя безо всякого Якова в университет примут! Соображать же надо!

А дома, в Карповке, Алексей слышал другие разговоры.

— И что за дело — по воздуху кулаками махать? — удивлялся старик, глядя, как Алексей проводит «бой с тенью» или занимается с самодельной «грушей», подвязанной к суку каргача. — Еще кого по скуле съездить, это я понимаю, но зачем ты этот бурдюк-то валтузишь? Вот чего объясни!

Старик был глубоко убежден в том, что бокс — занятие никчемное, научить человека драться нельзя и вообще все это блажь и городская забава. Особенно возмущало то, что молодой парень вместо работы по хозяйству (работа какая-никакая всегда найдется) тратит силы на пустое махание руками.

Иногда он с ехидным пристрастием допытывался:

— Это как же, всех нынче учат или только по желанию?

— Только по желанию, дед.

— Понятно. Которые, значит, на себя не рассчитывают...

— Чего не рассчитывают?

— Ну, не надеются на себя. Насчет драки.

— Да нет же, дед! Дело не в драке. Спортом занимаются для здоровья. Чтобы организм укрепить — понял?

— Ну да, ну да... Для здоровья... — кивал дед, будто бы соглашаясь. Помолчав, спрашивал серьезно: — А ты давеча с шишкой пришел, весь опухлый — это для здоровья, стало быть? Так я понял?

— Да, да, да! Для здоровья! — разозлившись, кричал Алексей. — Все ты прекрасно понял и не придуривайся, пожалуйста!

Дед надувался от такой непочтительности, сердито сопел в усы, потом говорил сухо:

— А ты не груби. Сосунок еще. Ступай-ка делом займись — наломай дров для печки...

Миновали экзамены. Подошел август. Алексей окончил с медалью, послал заявление в университет и ждал вызова.

И как раз в эту пору ожидания, в начале августа, открывалось первенство города. Алексей успел отдохнуть, чувствовал себя в отличной форме. Он должен был победить, чего бы это ни стоило: ведь он уезжал отсюда, может быть, навсегда.

Накануне решающего дня Алексей по совету тренера хорошо выспался. Стояли очень жаркие дни. Даже утром в воздухе было знойно, от гор веяло сухим, каменным жаром.

В пять часов из карьера шла последняя машина. Алексей решил ехать на ней, чтобы не приезжать раньше времени, не томиться в городе. Дед ничего не знал о предстоящем бое. Он даже не знал о том, что Алексей собирается в этот день в город, и с утра ушел вверх, на далекий участок. До пяти часов дед не вернулся. Алексей оделся, взял чемоданчик и вышел на дорогу, ожидая свой «автобус».

Самосвал почему-то запаздывал. Алексей прождал до половины шестого и забеспокоился. Он знал всех шоферов, работавших в карьере: ребята жили в городе и после пяти часов никогда не задерживались в горах.

Издали послышался цокот копыт на шоссе. Появились двое конных. Впереди галопом скакал Петренко, за ним — молодой солдат, державший карабин на луке седла.

— Дед дома? — спросил Петренко, остановив коня. Он даже не поздоровался, как обычно.

— Нету. На вилюшке он.

Алексей сидел на чемоданчике. Теперь он невольно поднялся, выжидательно глядя на Петренко.

— А ты чего тут дежуришь? — спросил Петренко.

— Да я машину жду, Иван Тимофеич.

— Какую машину?

— С карьера. Мне в город надо. У нас сегодня пер-

венство начинается, и я выступаю. А машин почему-то нет...

Петренко смотрел на Алексея скучным, холодным взглядом. Помолчав, сказал:

— Машины может не быть. Так что валяй пешком.

Алексей хотел было спросить почему, но вспомнил, что задавать вопросы пограничникам не полагается. Все равно не ответят. Петренко повернул коня и поскакал обратно, за ним поскакал солдат.

«На границе что-то случилось. Обстановка!» — понял Алексей. Всякая тревога на границе называлась одним словом: «обстановка». Но Алексея сейчас гораздо больше взволновало то, что машины задерживаются. Что делать? Открытие назначено на семь часов, но его бой будет примерно в девять. За два часа он успеет прийти.

И Алексей зашагал. Первые километра три он прошел легко, дорога спускалась под уклон. Но затем начиналась жаркая, пыльная равнина, путешествие по которой должно было отнять много сил. Алексей шел совершенно подавленный. Теперь он был уверен, что проиграет. Двенадцать километров по жаре — убийственная разминка. Какое проклятое невезение! И все из-за того, что он, осел, не остался ночевать в городе. Последние дни хотелось провести с дедом. «Ввиду неявки противника победа присуждается...» Самое лучшее было бы не являться на этот позор, а вернуться домой.

И однако он шагал дальше.

Душный запах раскаленного гудрона реял над дорогой. Солнце катилось за горы, но жара не спадала. Город лежал по-прежнему далеко. А когда Алексей спустился с предгорья на равнину, город и вовсе пропал из поля зрения.

Неожиданно послышался шум мотора. Алексей оглянулся. Самосвал! Знакомый белый от пыли самосвал мчался вниз по шоссе. Алексей радостно замахал руками. Но самосвал, не сбавляя скорости, пронесся мимо, едва не задев Алексея бортом.

— Эй... Николай! Петро! — наугад закричал Алексей. Он не успел разглядеть, кто сидит за рулем.

Водитель и не думал останавливаться. Алексей ошеломленно смотрел вслед удаляющемуся грузовику. Но вдруг на ухабе машина подпрыгнула и затормозила. Заглох мотор. Алексей со всех ног кинулся вдогонку и за короткое мгновение, пока водитель включал зажигание и скорость, успел подбежать, забросить чемодан и ухватиться обеими руками за борт. Уже на ходу он подтянулся и перевалился в кузов.

Задыхаясь, злым голосом закричал во все горло:

— Ты что, очумел, что ли?! Человека не видишь?

Самосвал мчался на полном газу. В заднее, зарешеченное, окно Алексей никак не мог разглядеть, кто же этот подлый водитель. Сидя на корточках, он отряхивал рубаху и брюки от известковой пыли. Вывалялся как черт. Но и то слава богу, успел вскочить! Кузов был наполовину загружен камнем, а сбоку навалом лежали доски, накрытые брезентом.

И вдруг Алексей увидел ботинки. Пара грязных рабочих ботинок торчала из-под брезента. Алексей отвернул край и увидел ноги в серых измятых брюках в частую полоску, а потом увидел всего человека, лежавшего навзничь, в неудобной позе: затылок упирался в край доски, и голова неестественно приподнялась над телом. Это был Петро Микуленко, шофер. Лицо и шея его были залиты кровью.

Инстинктивным движением Алексей задернул брезент и вскочил на ноги. В тот же миг его качнуло, он чуть было не навалился на мертвого. Грузовик резко свернул в сторону и, проехав несколько метров по обочине, остановился. Стало тихо. Никто не показывался. Алексей стоял посредине кузова, и сердце его колотилось от страха. Он чувствовал, что на него смотрят из кабины. До города оставалось километров шесть. Кругом было пустынно: слева — степь, справа — песчаные холмы с кустарником.

Открылась дверь кабины, и на землю прыгнул человек в спецовочной куртке и в брюках, заправленных в сапоги. У него было обыкновенное, иссиня выбритое восточное лицо и глаза немного навывкате. С другой стороны вылез человек в парусиновом пиджаке — высокий и рыхлый, с бледным отечным лицом. Он закурил папиросу и, щурясь, смотрел на Алексея.

— Ты чего в машину лезешь без спроса? — грубо спросил бритый мужик в спецовке.

— В город надо, ребята. Опаздываю я... — заговорил Алексей дрожащим голосом. — Я ж вам махал, ребята...

— Слазь-ка быстро! — оборвал его бритый.

Алексей взял чемоданчик, перелез через задний борт и прыгнул на землю. Бешено суетились мысли: «Сейчас будут убивать. Надо защищаться. Надо их задержать. Они хотят через холмы в степь», и независимо от этих мыслей он произносил какие-то машинальные, пустые слова:

— А что, подвезти трудно? Я бы дал на четвертинку — ей-богу нет... Трояк в кармане...

Бритый снова залез в кабину, но второй продолжал стоять. Они о чем-то говорили. Это длилось всего минуту. Было ясно, что они говорят о нем! Потом тот, что стоял, обернулся к Алексею.

— Слушай, парень, а как проехать в колхоз имени Тельмана?

— Э, вы совсем не туда едете! — сказал Алексей, подходя к нему. — Вам надо ехать обратно и поворачивать вправо. Там через пески свежая дорога нарезана...

— Это где же?

Алексей подошел к нему еще ближе. «Если б он был один, я б его завалил».

— А вон там! — Алексей махнул рукой в сторону гор. — В километре отсюда. Там еще следы от бульдозера...

Бритый выскочил из кабины и быстро пошел в обход самосвала, чтобы подойти к Алексею. «Сейчас!» Человек в парусиновом пиджаке сунул руку в карман. В тот же

миг Алексей нанес удар — прямой в челюсть. Совершенно непроизвольно. Это был хороший, нокаутирующий удар, известный под названием «хук». Перепрыгнув через упавшего, Алексей бросился на другую сторону самосвала. Он ждал выстрела.

— Ты что делаешь, сволочь?! — закричал бритый.

Теперь их разделяла машина.

— А ты что думал, гад?! — закричал Алексей, почувствовав внезапный прилив бесстрашия и злобы.

По шоссе со стороны гор мчалась машина. Забыв об Алексее, бритый стал тормозить упавшего, но тот, по-видимому, был без сознания. Бритый побежал прочь от дороги, к холмам. Через две минуты подъехал ГАЗ-67, из машины выскочили три пограничника с лейтенантом Петренко. Трое бросились вслед убежавшему, а один солдат остался возле самосвала.

Он подошел к человеку в парусиновом пиджаке. Тот все еще лежал не двигаясь, с закатившимися зрачками.

— Что с ним? — спросил солдат, недоверчиво поглядев на Алексея. — Помер, что ли?

— Да нет, живой он, — сказал Алексей. — Обыкновенный нокаут.

\* \* \*

Поздно вечером на газике пограничников Алексей подкатил к парку. Он быстро шел по аллее, пробираясь через толпу гуляющих и не замечая никого вокруг. Он все еще видел, как несли на брезенте тело шофера, как вели убийц через ворота во двор и бритый, который шел впереди, все время бормотал что-то невнятное не порусски и мотал головой, как помешанный. Оба еле держались на ногах. Два молодых солдата, презрительно наблюдавшие за ними, рассуждали негромко:

— Терьяку нажрались, видать. Падают аж...

— Точно, точно. От терьяку. Всегда накурятся, дьяволы, как границу переходить.

— А толку что? — Солдат сплюнул. — Хоть кури, хоть нет — конец один...

Что это были за люди — просто бандиты, контрабандисты или птицы поважнее, — Алексей, конечно, не узнал. Лейтенант Петренко наскоро поблагодарил его, потом пожал руку Степану Карповичу, а старик изумленно тарачил на Алешу глаза, но ничего не спрашивал. И только в машине, когда ехали с заставы домой, он подтолкнул внука локтем и спросил несмело:

— Значит, ты его боксом вдарил?

— Ага, — сказал Алексей.

— Крепко... — Старик помолчал, посопел в усы и, приободрившись, добавил: — Это по-нашенски!

...Трибуны шумели. На ринге шел бой тяжеловесов. Алексей опоздал. Он прошел в ложу участников, и первым, кого увидел, был Завьялов.

— Чемпион? — улыбаясь, спросил Алексей и протянул Завьялову руку.

— Ну да... Ввиду неявки, — смущенно ответил Завьялов. — А ты почему... это самое?..

— Не мог я, Юрочка. Никак не мог, — сказал Алексей, продолжая улыбаться.

Ему радостно было видеть смущенного Завьялова, знакомые лица ребят и рефери в белых брюках, который прыгал по рингу, как кузнечик, и слышать это доброе гудение трибун, смешные выкрики, свист мальчишек. И даже сердитое лицо Сергея Ивановича показалось Алексею родным и милым.

Тренер подошел к скамейке и, не глядя на Алексея, заговорил желчно:

— И какого черта люди записываются в секцию, тренируются, отнимают время? Черт их знает, не понимаю!..

— Чтобы научиться боксу, Сергей Иванович. Очень просто! — сказал Алексей.

— Я не с вами разговариваю, — быстро проговорил тренер.

Алексей расхохотался. Ему захотелось сказать трене-



ру что-нибудь веселое, доброе, поблагодарить его и, может быть, даже обнять — вот был бы номер! Но вдруг он умолк. Он увидел Валу. Она шла к нему, пробираясь по ряду, неловко переступая через ноги сидящих и издали смотрела на него — как всегда, радостно и с состраданием.

## Победитель шведов

---

Все мальчишки Алешиного дома, и соседних домов, и всех ближайших улиц бредили хоккеем. И это было понятно: они жили в орбите стадиона. Огромный стадион возвышался над окружающими домами, подобно скале среди моря крыш. По вечерам он озарял небо пылением своих прожекторов. Он наводнял улицы многотысячными толпами и запруживал их автомобилями, его гомерический свист, его ропот и вздохи сотрясали воздух и слышались далеко вокруг.

И мальчишки теряли голову.

Алеше было двенадцать лет. Он был такой же, как все: ходил в школу возле трамвайного круга, держал голубей на балконе и замечательно умел проникать на стадион без билета. Так же, как и все, он гонял шайбу на дворевом катке и был влюблен в знаменитого хоккеиста Дуганова. Он был обыкновенный, рядовой мальчишка до того дня, когда счастливая случайность...

Впрочем, следует рассказать по порядку. Итак, на заднем дворе был каток. Настоящие деревянные борта и настоящая шайба, которую гоняли кто чем: кто просто палкой, кто обломком клюшки, а у Алеши была проволочная кочерга с загнутым концом. На этом клочке льда, стиснутом котельной и гаражами, каждодневно кипела битва. Здесь были свои динамовцы и армейцы, свои канадцы и чехи, свои знаменитости, неудачники, ленивые таланты и робкие новички. Каждый из хоккеистов при-

сваивал себе какое-нибудь звонкое имя. Алеша мечтал называться «Дуганом», но поклонников Великого Эдика было чересчур много, и никто не хотел уступать этой чести другому. Были два «брата Уорвик» — Генка и Толя Селезневы, был и прославленный швед по прозвищу «Тумба» — Женька Лобов, здоровенный парень с толстыми кривыми ногами и грубым голосом. Он всегда нарушал правила и толкался, как слон. Игры с его участием обыкновенно кончались дракой.

Междоусобицы прекращались в дни больших матчей. Тут уж все были заодно. Сложная процедура проникновения на стадион без билета требовала дружных и согласованных действий.

О вечера Больших Матчей!

О зарево прожекторов над черной скалой стадиона!  
О праздничное, знобящее, нервное, неутолимое нетерпение!  
О музыка репродукторов, трескучая и ломкая на морозе!

О прикосновение к великой жизни мужчин!

Музыка обрывалась. Две команды, в зеленых и оранжевых фуфайках, выстраивались на блистающем льду. Переваливаясь в тяжелых доспехах, вратари задом отъезжали каждый к своим воротам. Судья в узких черных брюках, стройный и чопорный — человек из другого мира, — подъезжал к центру поля с высоко поднятой рукой. Изящным движением он бросал шайбу и тотчас пугливо отскакивал в сторону.

И, как ракета, взрывалась игра.

Трещали клюшки. Визжал лед. Глухим бубном гудели борта от ударов. Стремительно и неуследимо крутилась карусель «оранжевых» и «зеленых» на ослепительно белом прямоугольнике льда. И над этим мелькающим экраном, во мгле, в облаках табачного дыма, зачарованно колыхались трибуны. И где-то внизу, на одной из самых близких к полю скамеек, стоял Алеша. С замиранием сердца он смотрел на громадного хоккеиста в зеленой фуфайке с номером «7» на спине.

Это был Дуганов. Сутулый, тяжеловесный, с грузным тазом. Его рыжий бобрик пылал, как факел. Дуганов всегда играл без шлема. Он казался невозмутимым лентеям среди всеобщей гонки и кутерьмы.

— Дуган, играть надо! — кричали сверху.

Он не забросил еще ни одной шайбы, и его спокойствие раздражало. От него ждали подвигов. Немедленно, сию же минуту.

— Э-дик! Э-дик! Э-дик! — хором подбадривали его.

— Дугана с поля!

— Балерина!

— На мусор! — орала другие.

Тысячи глаз смотрели на него с неистовым вожделием. А он нехотя раскатывал возле борта и как будто дразнил трибуны.

И вдруг — неуловимое движение, какое-то чудо, которого никто не успел понять. С волшебной легкостью Дуганов скользнул между двумя игроками и, мощно ускоряя бег, рванулся к воротам. Один из защитников упал ему под ноги. Дуганов перепрыгнул. Второй защитник, согнувшись в три погибели, мчался за ним по пятам, силясь догнать. Но разве мог хоть один человек в мире соперничать с ним в рывке!

Он вышел один на один. Вратарь «оранжевых», громоздкий и беспомощный, как стог сена, замер в своей клетке. Потом сделал судорожное движение навстречу. В то же мгновение мелькнула шайба — и за воротами вспыхнула красная лампочка.

Все это произошло в течение трех секунд.

Вопль ликования, свист, аплодисменты и топот тысяч ног по деревянным скамейкам. Дуганов лениво катился к центру, волоча за собой клюшку. Трибуны бушевали. Они получили долгожданное, но это только растравило голод. Им хотелось еще, еще!..

— «Дуган», молодчик! Bravo, Дуганов!

— Дави! Дави!.. — хрипло вопил «Тумба».

Алеша сжимал кулаки в холодных варежках, на гла-

зах его были слезы. Он наслаждался молча. Он наслаждался восторгом, бушевавшим вокруг его любимца. Дугановская тройка уехала на двухминутный отдых. Когда Дуганов вернулся, трибуны взбурлили вновь, требуя продолжения. «Зеленые» зажали «оранжевых» в зоне. Стоял непрерывный треск, как будто в несколько топоров рубили дрова, но это была тончайшая молниеносная работа, за которой не успевал следить глаз.

Вторую шайбу Дуганов забросил своим обычным, «дугановским», приемом: на большой скорости протаранил заслон защитников, обогнул сзади ворота и коротким кинжальным ударом воткнул шайбу. Потом были еще шайбы. Был перерыв. Для развеселения озябшей публики репродукторы запустили джаз, и толстые женщины в белых халатах поверх шуб разносили по рядам глинтвейн и горячие сосиски.

Все плясали, чтобы согреться, и трибуны тряслись от топота.

А в третьем периоде случилось наконец то, ради чего все мальчишки избирали места в нижних рядах. От резкого удара шайба вылетела с катка и упала в сугроб. Судья взял другую шайбу, игра продолжалась. Но к сугробу устремились с разных сторон мальчишки. Они бежали, проваливаясь в снег, падали, хватали друг друга за ноги. Кто-то добежал первый и рылся в сугробе, отыскивая драгоценность. На него сейчас же обрушились остальные. Здесь были ребята с чужих дворов, большие парни и мелюзга, и все они на потеху зрителям возились в снегу отчаянной «кучей-малой». У Алеши сорвали шапку. Рот его залепило снегом. «Тумба» стоял в середине свалки и отряхивался, как медведь. На его плечах и шее висели пацаны, но Алеша видел, что заветный черный кружок зажат у «Тумбы» в зубах.

«Тумбу» ломали, тянули вниз, и все же, падая, он успел выдернуть руку и бросить шайбу Алеше.

— Лешка, держи!

Зрители хохотали. Милиционер, не решаясь бежать

по глубокому снегу, чтобы не потерять достойного вида, издали что-то грозно кричал. Куча-мала вдруг рассыпалась. Алеша примчался на место, зажимая в мокрой ладони шайбу, потом прибежали остальные ребята, и последним «Тумба», у которого оторвались все пуговицы на пальто.

Сидя на скамейке и вытряхивая снег из валенок, переговаривались возбужденно:

— А эти-то, из дома двенадцать...

— Колька Седой за них был...

— А пацанов набежало! Штук сто!

Все были очень горды победой. «Тумба» отфыркивался, вытирал варежкой малиновое лицо и хвастливо басил:

— А я этому ка-ак дам!

Алеша смотрел на его надутые щеки, толстые, побагровевшие руки, от которых валил пар, и с тайным уважением думал: «А все-таки хорошо, что «Тумба» с нашего двора. С ним не пропадешь».

Игра кончилась поздно. Продрогшие и измученные ребята стояли в толпе у северных ворот, ожидая, когда выедет автобус с победителями. Потом некоторое время бежали за автобусом. На один миг, как видение, мелькнул в окне Дуганов — в пыжиковой шапке, в очень красивом светло-коричневом пальто цвета шоколадного мороженого.

Дуганов смотрел прямо перед собой суровым геройским взглядом. Кто-то из ребят успел постучать в окно, но Дуганов не оглянулся.

Потухли прожекторы на высоких мачтах. По темной улице к троллейбусам, метро и трамваям бежали люди. Все бежали, чтобы согреться. И Алеша тоже бежал, размахивая окоченевшими руками. Он знал, что дома ждет взбучка от матери («Опять хоккей! Опять ноги мокрые!»), и его бил озноб от холода, пережитого волнения и страха перед взбучкой, но сердце его ликовало.

Снежным комом катилась зима.

Москва ежилась от морозов, звенела гололедью и сыро дымилась от внезапных оттепелей, а хоккейный сезон шел своим чередом.

Однажды, возвращаясь из школы домой, Алеша вбежал во двор — и замер. Возле подъезда стоял человек в пыжиковой шапке и в коротком пальто цвета шоколадного мороженого.

— Паренек, где тут квартира тридцать два?

Разинув рот, Алеша смотрел в лицо, знакомое по сотням фотографий. Вблизи великий человек вовсе не выглядел громадным. Он был обыкновенного роста, очень молодой и стройный и похож на стилиягу. К тому же он сосал конфету.

— Здесь... — сказал Алеша и беспомощно оглянулся: двор был совершенно пуст.

— На каком этаже?

— На пятом.

Это была квартира, соседняя с Алешиной. Дуганов вошел в подъезд, Алеша — за ним. Они вместе вошли в лифт, и Дуганов нажал кнопку.

Алеша стоял опустив голову, не осмеливаясь поднять глаза выше нижней пуговицы шоколадного пальто. Сердце его колотилось. Молча они доехали до пятого этажа и вместе вышли на площадку.

— И ты сюда? — спросил Дуганов.

— Нет, я сюда! — пролепетал Алеша.

Вероятно, у него было очень странное лицо, потому что бабушка испуганно крикнула:

— Что случилось?!

— Дуганов пришел! Он на лестнице! Тише! — зашептал Алеша и, бросив портфель на пол, приник к щели «Для писем и газет». Бабушка начала переспрашивать: «Кто? Что?» Алеша яростно прошептал, что все объяснит потом. Конечно, ни о каком обеде не могло быть и речи. Алеша вынес на площадку лыжи и принялся натирать их

мазью. Он натирал лыжи примерно час. Наконец из тридцать второй квартиры вышла Майка Сорокина в своем курчавом меховом пальто и малюсенькой шляпке, и за нею — Дуганов.

Майка была высокая и худая, волосы у нее были черные, глаза зеленые, а голос очень пронзительный. Когда она дома смеялась, было слышно через площадку. Майка училась в институте, но Алеша по-прежнему называл ее Майкой и считал девчонкой, потому что еще в прошлом году она училась с ним в одной школе.

А сейчас Дуганов держал ее под руку, как какую-нибудь артистку. Они прошли мимо, даже не взглянув на Алешку, который изо всех сил натирал лыжи. Дуганов что-то рассказывал, а Майка смеялась. Но не очень громко.

Вечером поразительную новость Алеша сообщил ребятам. Ему никто не поверил. Чтобы Дуганов просто так, за здорово живешь, пришел к Майке Сорокиной? Не может быть! Чепуха! Во-первых, у него своя машина и он пешком не ходит, сказал один. Во-вторых, он женатый, сказал другой, и живет на Первой Мещанской. Третий заявил, что «Дуган» живет вовсе не на Мещанской, а на Соколе. Ему это известно точно, потому что ему говорил один парень из первой детской команды. Но у сторонника Мещанской тоже нашелся «один парень» — из второй юношеской. Между знатоками разгорелся бешеный спор, посыпались взаимные оскорбления, и дело кончилось потасовкой.

Вскоре один из спорщиков встретил Майку на улице и спросил напрямик: где живет Эдик Дуганов? Майка ужасно покраснела, сказала: «Дурак ненормальный!» — и ушла.

Но даже после этого никто не хотел верить Алешиной новости. И только через три дня явилось подтверждение: среди бела дня, на глазах у всех Дуганов и Майка вышли из подъезда и сели в такси. Потом Алеша стал часто видеть, как они встречаются во дворе или на ули-

це перед домом. Он сделался невольным шпионом этих встреч. Его мучили любопытство, и ревность, и робость, и гнетущее сознание собственного ничтожества. По-видимому, он испытывал первые муки неразделенной любви.

Он вертелся вблизи молодых людей, когда вечером они стояли в подъезде. Услышав стук лифта на своем этаже, он бросался к двери, надеясь увидеть Дуганова. Иногда Дуганов обменивался с Алешей двумя-тремя словами («Как учишься, ничего? Ну, молодец!.. А как тебя звать-то?») и даже угощал Алешу ирисками, а иногда проходил мимо Алеши, не узнавая его и даже как будто не видя. И Алешу бросало то в жар, то в холод.

Когда Алеша приходил на каток, ребята кидались к нему с расспросами:

— Видел «Дугана»? Что он говорит?

Им казалось, что они разговаривают запросто: еще бы, ездят в одном лифте! Алеша откашливался, отвечал солидно:

— Видел, конечно. Вчера вечером. Меня как раз мать в аптеку послала... Возвращаюсь — они в подъезде стоят, целуются. Я поздоровался...

Это никого не интересовало.

— А когда чехи играют?

— Какой состав, неизвестно?

Тут уж приходилось фантазировать:

— «Дуган» сказал: выиграем законно. Состав, значит, примерно такой...

Один «Тумба» не мог простить Алеше этой неожиданной популярности. Во время игры он со злобным упорством преследовал его, сбивая с ног и вообще пытался всячески унижить как игрока. Толкнет в спину, даст подножку да еще насмехается:

— Силовая борьба! А если слаб в коленках, не лезь на каток.

Как раз в коленках «Тумба» был слабее Алеши; толстый, нескладный, он держался на коньках неуверенно



и не умел кататься задом. Зато в «куче-мале» он был королем. Однажды во время свалки на льду вблизи катка появился Дуганов: Алешка первый заметил его и закричал издали:

— Дядя Эдик, вот объясните нам!..

— «Дя-дя Э-эдик!» — передразнил «Тумба» гнусавым басом.— Какой племянничек выискался...

— Он говорит,— продолжал Алеша,— что можно толкаться в спину и локтями, как хочешь. Так канадцы играют, говорит.

— Кто говорит? — спросил Дуганов.

— Вот этот, Женька!

«Тумба» надулся и крикнул сварливо.

— Я не так говорю! Я вообще говорю!

— Постой, не ори,— сказал Дуганов.— Я видел, как ты играешь. Главное, ты на коньках плохо бегаешь.

— А они, что ли, хорошо?

— Смотри, какой горластый! — Дуганов с удивлением покачал головой.— Сейчас, ребята, я вам объясню, что такое силовая борьба..

Дуганов легко, одним махом, перепрыгнул через заборчик и вышел на каток. Его ботинки на толстой белой подошве заскользили по льду, и он чуть было не потерял равновесия, но, конечно, сейчас же выпрямился. Ребята мгновенно окружили Дуганова. «Тумба» тоже приблизился, хотя и встал позади всех, угрюмо глядя под ноги.

— Да, — сказал Дуганов, обернувшись к Алеше.— А ты слетай пока на пятый этаж и скажи, что я жду во дворе.

Алеша заковылял на коньках со всей скоростью, на которую был способен. Надо было вернуться на каток как можно скорее.

Дверь открыла Майка. Она была в халате, непричесанная и что-то жевала.

— Быстро одевайся! Тебя «Дуган» ждет во дворе! — выпалил Алеша.

— Что, что? — важно спросила Майка и покраснела. — Кто меня ждет?

— Дуганов! Во дворе ждет.

— Ничего с ним не сделается, подождет. Скажи, скоро выйду.

В коридор выглянула Майкина мать, Анна Кузьминична, и недовольным голосом спросила, кто пришел.

— Это Алешка, — сказала Майка. — Его Эдик прислал, он ждет на улице.

— Какой Эдик?

— Ну Эдик. Ты что, не знаешь Эдика?

— Ах, Эдик... Этот рыженький юноша, физкультурник? Но почему такой трезвон на весь дом?

— Спроси у Алешки. — Майка взялась за дверную ручку. — Значит, передай, что я выйду... ну, минут через двадцать.

Алеша внутренне возмущился (Великого Эдика называют «физкультурником» да еще «рыженьким юношей!»), но не показал виду. Он давно привык к тому, что женщины ничего не понимают в спорте, и относился к этому философски.

Поспешно выскочил он во двор, синий от сумерек. На катке творилась необыкновенная, восторженная кутерьма: Дуганов с клюшкой в руках возился в куче пацанов. Он играл! И, забыв обо всем, Алеша помчался к катку.

Потом Дуганов пропал на много дней.

Майка ходила надменная и не здоровалась. Она всегда была воображалой, но теперь в ее надменности было что-то насильственное, какая-то тайная слабость. И Алеша не решался спрашивать у нее насчет Дуганова. Он догадался, что они поссорились.

В конце февраля в Москву приехали шведы. Они должны были играть с дугановской командой — об этом огромными буквами кричали афиши по всему городу. И тут произошло трагическое событие, смертельно ранившее всех окрестных мальчиков. Администрация стадиона

обнаружила лазейку в ограде (сломанный с одного конца железный прут), и однажды пришли рабочие со сварочным аппаратом — и в течение десяти минут все было кончено. Это злодейство совершилось как раз накануне игры со шведами.

Вечером в Алешиной квартире раздался звонок. На площадке стоял Дуганов.

— Здравствуй, Леня. Выйди на минуту, — сказал он, поманив Алешу пальцем. «Он уже забыл, как меня зовут!» — горько подумал Алеша. Они спустились на нижний этаж и стали возле окна.

— Прошу тебя последний раз, — сказал Дуганов шепотом и положил руку на Алешино плечо. — Сходи к Майе и передай ей, чтобы она обязательно подошла завтра после игры к газетному киоску. Скажи: обязательно. Понимаешь?

— Понимаю. К газетному киоску...

— Да. Очень нужно, скажи. Очень.

Дуганов был какой-то чудной, беспокойный и не похож на себя. Алеше захотелось сейчас же бежать к Майке, успокоить Дуганова, но помимо воли у него вырвались слова:

— А вы мне билет на завтра дадите?

Дуганов вынул из кармана белый листок.

— Вот пропуск. Я жду тебя во дворе. — Он посмотрел на часы. — У меня времени десять минут...

Майки дома не было. Анна Кузьминична сказала, что она занимается у подруги, в доме четырнадцать. Алеша побежал в дом четырнадцать. В тесной комнатке, освещенной маленькой лампой с зеленым колпачком, играла радиолоа и несколько взрослых девчонок и ребят медленно топтались под музыку. Майка заметила Алешу и вышла в коридор, и следом за ней вышел парень, с которым она танцевала.

Алеша быстро изложил всю историю насчет киоска и уже повернулся, чтобы мчаться обратно, но Майка вдруг сказала:

— Передай, что я не приду.

— Как это — не придешь? — удивился Алеша. — Он сказал: очень нужно.

— Я не приду. Он знает почему.

— Она не придет, — сказал парень и, взяв Майку за локоть, слегка потянул к себе. И она придвинулась к нему, улыбаясь предательски и бесстыдно, как будто она никогда не ездила с Дугановым в такси, никогда не сидела с ним на садовой скамейке, никогда не целовалась с ним в темноте в холодном подъезде, когда Алеша бегал в аптеку...

Алеша все понял. Он стоял и молчал.

— И будь здоров! — сказал парень и щелкнул Алешу по макушке.

Алеша сказал тихо:

— Завтра игра со шведами... Там шесть игроков из сборной Швеции...

— Прочитаем в газетах, — сказал парень и увел Майку в комнату.

Алеша вышел на лестницу. Он был рад не встречаться с Дугановым. Сердце его обливалось состраданием. Он думал о завтрашней игре, и о несчастном великом Эдике, который завтра будет не в форме, и о женщинах — непонятных и капризных, которые только впутываются в мужскую жизнь и сами не знают, чего хотят.

— Ну что? — спросил Дуганов, вынырнув из темноты. — Она придет?

— Придет, — ответил Алеша.

— Спасибо, дружище! Ну, пока. — Дуганов крепко стиснул Алешкину руку, побежал к воротам и даже прокатился несколько раз по ледяной дорожке.

Алеша потрясенно смотрел, как бежит счастливый обманутый человек. Еще никогда в жизни и никому он не говорил неправды.

Шведы в полосатых желто-черных фуфайках были похожи на ос. Как разъяренные осы, они защищали свое гнездо — хрупкий домик, в котором метался громадный вратарь с невозмутимым шведским лицом. Чего он только не делал! Он прыгал прямо на клюшку, шлепался животом на лед, делал шпагат и, как фокусник, выхватывал шайбу из воздуха. И трибуны аплодировали его бесстрашию! Но шайба оказывалась за его спиной все чаще и чаще. Наши хоккеисты были в красных фуфайках с голубыми плечами, и казалось, что красных вдвое больше.

Великий Эдик превзошел самого себя. Он был неузнаваем. Ни секунды покоя, ни тени обычной для него спесивой медлительности. Волна за волной кидал он своих ребят в шведскую зону и сам был впереди всех, работал на совесть, не жалел боков, попевал повсюду. Казалось, он куда-то неистово торопится. И только один человек на стадионе знал, куда торопится Эдик.

Этот человек стоял на трибуне почетных гостей, как какой-нибудь сын министра. Ему было здесь непривычно. Здесь не распивали вино из бумажных стаканчиков, не кричали хриплыми разбойничьими голосами: «Дави! Дави!» — и не толкались локтями, чтобы согреться.

С возрастающим страхом думал Алеша о той минуте, когда закончится игра. Что он скажет Дуганову? Как признается в своем обмане? И в то же время его переполняла нестерпимая гордость. Но не с кем было поделиться. Вокруг стояли чужие люди, а ребята были далеко — там, за светом прожекторов, падавшим отвесно, как занавес, где маячили во мгле тысячи смутных лиц, откуда грохотал гром, летел пронзительный свист и пар разгоряченных дыханий возносился к небу...

Шведы проиграли. Подняв клюшки, они бодро прокричали приветствие, потом обе команды сошлись на середине катка, и тут откуда-то выскочили фотокорреспонденты и, смешно семеня по льду и оттесняя друг друга, устремились к хоккеистам.

Алеша протискивался к выходу. Народ уже валом валил с трибун, и в узком проходе сбилась толпа. Отовсюду слышались радостные озябшие голоса:

— Ну «Дуган» сегодня давал!..

— Вообще дали пр-равильно!..

— «Дуган» молодчик! Сила «Дуган»!..

А вскоре стадион опустел.

Алеша осторожно подходил к газетному киоску, давно закрытому и темному в этот поздний час. Издали заметил Дуганова, который стоял облокотившись о прилавок киоска. За спиной Дуганова был рюкзак, в руках — ключка.

Несколько минут Алеша наблюдал за ним, стоя за бетонной колонной. Малодушное желание убежать, и жалость к Дуганову, и восхищение им боролись в его душе. Наконец, пересилив себя, Алеша вышел из-за колонны.

— Здравствуйте, дядя Эдик...

— Что тебе? — спросил Дуганов.

Алеша растерянно умолк.

— Вы меня не узнаете? — вдруг спросил он.

— Узнаю. Я устал, брат, ты уж извини... — Дуганов зевнул, поглядел на часы и, отвернувшись от Алеши, облокотился о прилавок другой рукой.

Алеша понял, что у него не хватит смелости признаться Дуганову. Ни за что не хватит. Но и домой уйти он не мог. И так они стояли некоторое время и молчали.

А потом Алеша увидел, как в воротах стадиона появилась Майка. Она шла прямо к киоску, каблучки ее быстро-быстро и звонко стучали в морозном воздухе. Дуганов поправил ремень на плече и пошел ей навстречу. Он шел не торопясь, как будто в Майкином появлении не было ничего удивительного.

Они встретились посередине двора. Дуганов взял Майку под руку, и они скрылись за воротами.

И Алеша тоже побрел к выходу, только он направился к восточным воротам, которые были ближе к дому.

Медленно шел он по пустынному асфальтовому двору. Он вдруг почувствовал себя таким усталым, разбитым волнениями и успокоенным, как будто это он играл со шведами.

## Стимул

---

За вечерним чаем говорили о спорте, но не так бестолково, азартно и самоуверенно, как это делают болельщики, а серьезно и педантично, как говорят ученые мужи. Собственно, за столом и собрались ученые мужи: два тренера, один журналист и один кандидат наук, защитивший недавно диссертацию на какую-то спортивно-медицинскую тему. Пятый, инженер Ганин, был человек далекий от спорта и в разговоре не участвовал.

В то время как дамы, сгруппировавшись на одном конце стола, обсуждали качество парижских каблучков-«гвоздиков» и итальянских пуловеров, которые их мужья вывезли из недавних командировок, на другом конце стола завязался сугубо научный и даже, можно сказать, философский спор на модную тему: существует ли предел рекордов, предел человеческих возможностей.

И вдруг, неожиданно для всех, в разговор вступил Ганин.

— Я, конечно, не теоретик, — сказал он. — И вообще не спортсмен. Но, по-моему, человек никогда не знает предела возможностей. Тут все зависит от обстоятельств. Вот я, например, однажды в жизни поставил рекорд, очень высокий рекорд, ей-богу. Конечно, не мировой, но, может быть, областной. Или районный, что ли.

— По какому же виду спорта? — спросил, иронически улыбаясь, кандидат наук. — Видимо, кто больше выпьет пива или что-нибудь в этом роде...

— Ничего подобного. По бегу. К сожалению, мой рекорд нигде не зафиксирован, но рекорд был, это точно.

Ганин так всех заинтриговал, что дамы забыли о пуловерах и потребовали, чтобы он немедленно рассказал о своем рекорде.

— Что ж, история любопытная и притом довольно страшная, — начал Ганин. — Во всяком случае, я никогда в своей жизни ничего более страшного не испытывал, а вы знаете, я прошел огонь и воду...

Словом, случилось это лет примерно восемнадцать назад. Я был тогда юнцом, студентом-первокурсником и на летние каникулы поехал погостить к своему приятелю Косте Лямину на Урал. Жили мы в лесничестве, вдали от железной дороги, рыбачили, охотились, ходили в гости к ленинградским студенткам-биологичкам — мы называли их «биологини», — которые проходили практику километрах в пяти от нашей обители. В общем, отдыхали в свое удовольствие. Месяц пролетел незаметно, и вот уже мне пора уезжать — я должен был до начала занятий заехать в Ярославль. Накануне отъезда устроили что-то вроде прощальной вечеринки. Утром я встал с головной болью, а бедняга Костя опился холодным пивом до того, что потерял голос и еле сипел.

До железнодорожной станции было километров тридцать. Меня обещали подвезти на машине, и я с утра уже собрался и ждал. До обеда машины не было. Я начал беспокоиться, но Костя уверял меня, что машина будет непременно: он твердо договорился с каким-то шофером из соседней деревни, человеком абсолютно точным. Мы продолжали пить пиво. Дело подошло уже к вечеру, а машины нет как нет. Я решил было идти пешком, но Костя не отпускал меня — вы знаете это тупое упрямство захмелевших людей! Он хватал меня за руки, сдергивал с меня рюкзак, забрасывал мою кепку в угол и бубнил одно:

— А я говорю: сиди! А я говорю: сиди!..

Словом, я проявил малодушие и решил еще подождать, поставив себе предельный срок. Поезд отходил в два часа ночи. Мне надо было попасть именно на этот



поезд, так как следующий шел через сутки, в четное число.

Ровно в девять я отнял у Кости рюкзак и, несмотря на его вопли и проклятия, стал прощаться. Я надеялся, что он пойдет меня провожать. Но Костя сказал, что и не подумает это делать. А если мне не сидится, добавил он, я могу идти хоть к черту на рога, но все равно я далеко не уйду, потому что он догонит меня на машине, которая вот-вот подойдет. Я сказал, что машина существует только в его шизофреническом воображении. Я ужасно на него разозлился: тридцать километров пёхом через лес, да еще ночью! Веселенькое занятие! А что было делать! Опаздывать на этот поезд я не мог. Месяц прелестной жизни закончился глупой сценой. Костя даже не попрощался со мной.

Стоял теплый августовский вечер. Солнце село, но небо было еще светлое, с первыми звездами. Через полчаса, когда я вышел на проселочную дорогу, стало совсем темно. Я срезал себе толстую осиновую палку и бодро зашагал по сухой укатанной дороге.

По моим расчетам, я мог пройти тридцать километров часов за пять. Я вспомнил Джека Лондона: «Настоящий мужчина должен быть силен в ходьбе». Что ж, мне приходилось бывать в туристских походах, и я выдерживал их отлично. Правда, то было совсем другое. Я никогда не ходил один, всегда с товарищами, и путешествовали мы по живописным местам Подмосковья. А здесь — уральская лесная глушь, ни одной деревни до станции. Вряд ли встретится человек на дороге. А если и встретится в эту пору, лучше обойти стороной...

Первое время меня занимало раздражение против Кости. Я награждал его изощренными ругательствами, обдумывал, как бы ему отомстить по приезде в Москву, и все прислушивался: не шумит ли сзади машина? Потом совсем перестал думать о нем. Он вдруг выпал из моего сознания, остался где-то в другом времени, в далеком-далеком прошлом... Вышла луна.

Я был один. Я и дорога, залитая лунным светом, и запах леса, сладкий, томящий запах жухлой листвы. По запахам я угадывал деревья, мимо которых проходил: горьковато пахла рябина, сухим спиртовым запахом веяло от сосновых стволов, пыльной затхлостью дышали орешники. В лесу что-то непрерывно и очень тихо шумело, поскрипывало. Далеко в глубокой чаще вздыхала ночная птица. И было еще что-то в окружающей тьме неясное, неотступное, как моя тень на лунной дороге. Что это было? Лучше не думать. Это был, по-видимому, мой страх. И даже не страх, а какая-то легкая бессознательная тревога. Она началась потихоньку и исподволь, как зубная боль перед ненастной погодой.

Я старался думать о Москве, об институте, о «биологинях» и о других девушках, которые ждали меня в Москве. Я добросовестно думал обо всем этом, и, однако, мысли мои были пусты и никчемны. В каждой из них была фальшь. И в своем поведении я почувствовал фальшь. Ни с того ни с сего я начал насвистывать. А потом у меня появилось предчувствие. Я вдруг понял, что эта ночь не кончится благополучно. И, может быть, даже...

Я остановился. Полная тишина. В придорожном боярышнике шевелился ветер. Хрустнул лист под ногой. Луна светила так ярко, что я видел дырочки для шнурков в своих башмаках. Я медленно оглянулся—вы знаете это чувство, когда вам смотрят в спину! Вот поэтому я оглянулся медленно. Я увидел человека. Он находился от меня шагах в полтора роста. Еще недавно его не было, и вот он есть. По-видимому, он вышел из леса.

Несколько мгновений я стоял не двигаясь, пораженный появлением спутника. Затем спокойно пошел дальше. У меня не было никакого желания с ним встречаться, но и не хотелось показывать, что я избегаю встречи. Я шел не оглядываясь, постепенно ускоряя ход. Пройдя быстрым деловым шагом около километра, я оглянулся, уверенный, что человек отстал и я его не увижу. Но он не отстал. Он находился на том же расстоянии от меня, как и

прежде. Значит, он шел так же быстро, как и я. Может быть, он хочет догнать меня, чтобы вместе идти до станции. Ладно подождем.

Я остановился, помахивая палкой. Мне показалось, что он тоже остановился. Да, он стоял. Это было необъяснимо и глупо, но он не двигался. И вот тогда мне стало не по себе. Я пошел дальше, не чувствуя ничего, кроме человека за моей спиной. Я был уверен, что он идет следом. Вдруг точно какая-то сила толкнула меня в спину — я побежал. Я мчался со скоростью, на какую способен молодой, здоровый парень с крепкими ногами.

Минут через десять, обессиленный, задыхающийся, я остановился, опираясь о палку, и посмотрел назад. Человек пропал. Пустынное шоссе, залитое лунной, показалось мне милее родного дома. Я вытер рукавом мокрое от пота лицо и двинулся дальше.

Шоссе вышло из леса. Теперь с обеих его сторон темнели холмистые поля. Ветер доносил откуда-то запах гнилья и болотной сырости. Я взглянул на часы: четверть двенадцатого. Мысли мои вновь обратились к поезду, и я ускорил шаг. Мне показалось, что я могу пройти без отдыха сто километров, лишь бы никто не торчал за спиной.

Через полчаса, случайно оглянувшись, я обомлел: мой преследователь был тут как тут. Он почти догнал меня! На этот раз у меня не было сил бежать быстро, и я затрусил рысцей. Я все время оглядывался. Он бежал следом. Шоссе пошло под уклон, и вскоре я увидел небольшой деревянный мост, перекинутый то ли через ручей, то ли через болото. Мне пришла в голову неожиданная мысль спрятаться под мостом. Я на миг остановился, держась за перила моста, и перевел дух. Нет, он был слишком близко и увидел бы мой маневр. Он тоже остановился или просто замедлил шаг. И вдруг у меня вырвался гнусный, трусливый крик:

— Эй! Что вам нужно?

Он не ответил и быстро пошел ко мне. Побежал. Тогда и я бросился бежать. Страх придавал мне сил. Никогда в жизни я не испытывал подобного страха. Это было совершенно непобедимое нечеловеческое чувство. Сердце мое колотилось как будто в горле. Дальше я плохо помню подробности. Помню, что я бежал, останавливался, чуть не падал и снова бежал. Человек бежал следом, и расстояние между нами то сокращалось, то увеличивалось. Когда он приближался ко мне, он чем-то замахи-вался — вероятно, ножом. Он хотел метнуть нож навер-няка, с близкого расстояния. В какой-то миг я услышал топот его ног совсем близко, за плечами. И тогда я мет-нулся с дороги в сторону. Я бежал в темноту, во мрак, ломал сучья, пробирался сквозь чащу все дальше, все глубже в лес...

Наконец, споткнувшись о поваленное дерево, я упал, тут же вскочил на ноги и замер. Я дышал хрипло, оглу-шительно и ничего не мог поделать с собой. Мне пока-залось, что преследователь наверняка услышит мое ды-хание. Но кругом все было тихо. Я начал понемногу ус-покаиваться. И вдруг меня сразил пронзительный бан-дитский свист над самым ухом. Я свалился наземь, как от удара. Я лежал в чаще орешника, в полнейшей тьме. Сломанная ветка больно вонзилась мне в бок, на ли-цо села паутина, но я не шевелился. Прошло много вре-мени, может быть целый час, прежде чем я осмелился выйти из своего укрытия и стал пробираться к дороге.

Мой преследователь исчез. Шоссе было пустынно и тихо, и я медленно побрел своим путем. Я не надеялся поспеть на станцию вовремя, однако пришел на полча-са раньше срока. Но там меня ждала новость: поезд, сказали мне, должен быть только через сутки. «Как? По-чему? Дайте сюда начальника станции!» — все это я кри-чал мысленно, а в действительности смог выдавить из се-бя несколько жалких междометий. «Вот расписание, граж-данин. Поезд проходит по четным числам, а теперь, пол-тора часа назад, уже наступило нечетное». Огорчаться по

этому поводу у меня не было сил, и я повалился на лавку тут же, в станционной комнатке...

Вот, собственно, и все. А к чему я это рассказал? К тому, что любой человек, даже не спортсмен, в определенных условиях может установить рекорд. Вот как я, например. Я до сих пор не могу понять, как это мне удалось — я потом высчитал и изумился — меньше чем за четыре часа отмахать тридцать два километра! Хотите верьте, хотите нет!

И Ганин, победоносно поглядев на слушателей, отхлебнул холодного чая. Тренеры вдруг расхохотались.

— Вы считаете это рекордом? Голубчик, да вы не уложились даже в норму третьего разряда!

— Результат слабый, — сказал кандидат наук. — Но дело не в результате. Ваш пример иллюстрирует мою мысль о том, что психологический стимул, будь то...

— Подождите! Оставьте! — замахали руками женщины. — Ну а тот человек, что вас преследовал? Так и не появился больше?

— Появился. Через полмесяца в Москве. Видите ли, когда я ушел, Костя вдруг сообразил, что мы ошиблись с поездом и что шофер должен приехать на следующий день, и побежал меня догонять. Уж я ему в Москве отомстил! — Ганин вздохнул и покачал головой. — Но вы меня огорчили: я всю жизнь был уверен, что тоже способен на рекорды...

Тренеры улыбались. А одна из слушательниц, жена кандидата наук, спросила подозрительно.

— А почему все-таки этот Костя не мог позвать вас, окликнуть?

— Я же сказал: он опился холодным пивом и потерял голос.

## Одиночество Клыча Дурды

---

Маленький старый город южной Туркмении, невдалеке от иранской границы. Душный вечер. Городской парк. Сегодня здесь соревнования по народной борьбе гюреш.

В глубине парка на небольшой площадке, освещенной двумя гирляндами электрических лампочек, зрители образовали четырехугольник, в середине которого лежит темный борцовский мат, покрытый ковром. Зрители сидят на скамейках. В первом ряду — белобородые старики, настоящие знатоки гюреша. Многие из них специально приехали в город из аулов, чтобы посмотреть районных богатырей-пальванов.

Соревнования еще не начались. Судьи с красными повязками на рукавах о чем-то азартно спорят, суетятся, бегают с какими-то бумажками, размахивают ими, требуют друг у друга каких-то новых бумажек. Я протискиваюсь вперед, нахожу место на первой скамейке: мне уступает его мальчуган лет десяти. Сам он примостился у меня в ногах, прямо на земле. Бумажки мелькают еще полчаса. Наконец около восьми часов вечера духовой оркестр ударяет туш. Начинается парад борцов.

Гуськом вслед за судьями проходят внутрь четырехугольника и выстраиваются вокруг ковра восемьдесят борцов. Много пожилых, лысых, бородатых, с сутулыми спинами, а есть и совсем мальчишки. Одеты обыкновенно, кто в чем. Специальная борцовская одежда лежит на ковре: два халата и два пояса на всех. Зрители радостно окликают земляков и знакомых:

- Эй, Мурад Али!
- Ай, Бегенче-е!
- Эй-йее!..

Борцы смущенно отмахиваются, скалят зубы. Вся эта торжественность и музыка забавляют их. Вот они вы-

строились, неловко переминаются с ноги на ногу. Смуглые настороженные лица, спаленные до черноты шеи, грубые мужицкие руки — руки трактористов, кетменщиков, хлопкоробов. Среди зрителей больше половины колхозников. Сегодня воскресенье, многие приезжали на базар — да так и остались до вечера.

Выходит первая пара: молодой парень из Векиль-Базарского района и сухопарый, костистый мужик средних лет из Туркмен-Калинского. Снимают ботинки, сбрасывают пиджаки и надевают короткие борцовские халаты — это даже не халаты, а длинные, подпоясанные широкими кушаками рубахи, нечто вроде тех, что надевают борцы дзюдо. Прежде чем начать борьбу, гюрешисты проверяют, как у противника завязан кушак. Они могут перевязать его по своему вкусу — туже или слабее, с одним узлом или с двумя. Кушак — тут основное орудие, поэтому важно проверить, как он завязан.

Борьба не начинается, пока оба не схватились как следует. Судья следит за этим, прыгает вокруг борцов, вертит их по-хозяйски, одного шлепает по руке, другому помогает взяться покрепче, наконец дает сигнал и отскакивает. Борцы начинают кружиться по ковру. Головы опущены, ноги отставлены далеко назад, а руки вцепились в пояса так крепко, что кисти побелели. Слышно, как тяжело дышит сухопарый туркмен-калинец. Молодой парень яростно кричит и напирает вовсю. Его противник отступает, отходит все дальше. Земляки подбадривают его, но, кажется, он проиграл. И вдруг — мгновенный рывок, схватка вплотную, желтые пятки молодого парня сверкают в воздухе, на миг он касается коленом земли и тут же вскакивает. Но поздно, поздно! Судья дает свисток. Победил сухопарый. Вторую схватку он также выигрывает, и это дает ему общую победу. Земляки сухопарого, колхозники из Туркмен-Кала, выбегают вперед и, подхватив победителя на руки, уносят с ковра.

Всех следующих победителей тоже уносят на руках.

Схватки протекают очень быстро, ибо техника примитивна. Один бросок через бедро, или подножка, или же прием «мельница» — и победа. Достаточно, чтобы противник рукой или коленом чуть коснулся пола.

Эти правила сообщает мне мальчуган, который уступил место. Он сидит, скрестив ноги, на земле и все время подпрыгивает, точно его толкает снизу пружина. Иногда он сердито вскрикивает, грозит кому-то кулаком, иногда смеется, иногда изумленно ахает: «Ва-а!» Про одного борца он говорит: «Варан пришел. Как варан, сосать будет». И действительно, этот боец своими длинными, жилистыми руками обвивает противника, «присасывает» его к себе, как варан, и, подняв в воздух, бросает на землю. Про другого борца мальчишка отзывается презрительно: «Ай, жулик этот! Сейчас будет подножку между ног делать, все ташаузские так делают...»

На ковре — высокий бритоголовый боец с большим животом. По-видимому, это чемпион. Зрители, как везде, болеют против чемпиона. Ему кричат что-то обидное. Расставив толстые, с набухшими венами ноги, чемпион угрюмо смотрит на своего противника, нехотя натягивает халат, медленно подпоясывается. Лицо у чемпиона неприятное, под глазами мешки. Ему лет сорок.

— Этого толстого как зовут? — спрашиваю у мальчишки.

Мальчик бормочет что-то невнятно. Сидящий рядом со мной туркмен говорит:

— Клыч Дурды его зовут. Пять лет чемпионом был, теперь немножко старый стал.

— Какой старый! Водку пьет много, вот что, — вступает в разговор другой туркмен.

— Э, когда на той зовут, пить не будешь, что ли?

— Каждый день той у него...

— Он вообще шофером числится в Байрам-Али, — говорит третий голос.

— Да нигде он не работает! Вообще дурной человек.



— С гюреша кормится...

— Говорят, две жены у него, узбечки...

— Ай, зачем болтать! Бросил! Как волк, один...

Теперь уже говорят несколько человек, и все по-человечески по-русски, точно все отвечают на мой вопрос. Клыч Дурды тут не любимец, это ясно. Я трогаю за плечо мальчика.

— Скажи, профессор, какой пальван победит?

— Откуда знаю,— шепчет мальчик и оглядывается испуганно.

Я вдруг вспоминаю, что однажды видел чемпиона.

Три года назад я случайно попал на той в один из колхозов Марыйской области. Той делал председатель колхоза, известный в Туркмении «башлык» Ага Сафар Ниязов, по поводу того, что его сын защитил кандидатскую диссертацию. Сидели на дворе, под виноградником, где были расстелены длинные ковры, а на них стояли блюда с пловом, каурмой, фруктами, чай и водка — то и другое пили попеременно из одних пиалушек. Тут же, во время пиршества, устроили гюреш. Всех побеждал колхозный тракторист, кудрявый, огромного роста русский малый, которого называли Антошей. Когда у него не осталось уже противников, вышел борец такого же богатырского сложения — Клыч Дурды. «Башлык» пригласил его на той, как приглашают музыкантов или шутов. Нанял его за деньги. Клыч Дурды был уже сильно пьян и нетвердо стоял на ногах, однако куражился и отпускал громкие, хвастливые замечания перед схваткой. Было удивительно, что он продержался против Антоши несколько минут, а не рухнул сразу. Сафар очень рассердился. Я слышал, как вечером он ругался с Клычем Дурды из-за денег, потому что с гостей не удалось собрать суммы, на которую договаривался пальван с хозяином той, и теперь пальван требовал, чтобы Ага Сафар доплатил. Сын Ага Сафара, молодой кандидат технических наук, поддерживал в этом споре Клыча Дурды. Он был тоже пьян, и ему хотелось бо-

роться. Одной рукой он выбрасывал из кармана мятые бумажные деньги, а другой хватал Клыча Дурды за ворот рубахи и кричал что-то вызывающее. Все были пьяны на этом тое. На другой день протрезвевший чемпион боролся с Антошей вторично и с легкостью победил его, но впечатление было испорчено. Говорили, что Клычу Дурды пришел конец: кто из пальванов начинает шататься по тоям, тот долго не протянет.

И вот я вижу его вновь. Он заметно постарел за три года, как-то огрузнел и сгорбился. Противник Клыча Дурды — черный лицом, коренастый боец с необычной для туркмена волосатой грудью и волосатыми ногами. Может быть, он азербайджанец, может быть, армянин. Он устрашающе выкатывает белки и скрежещет зубами. Чемпион борется равнодушно. Это возмущает зрителей, им хочется настоящего боя. Они начинают потихоньку свистеть и кричать оскорбительные слова: «Заплатите ему деньги, тогда он будет бороться!», «Эй, Курбан, покажи ему...»

Курбан очень старается и, ко всеобщему ликованию, побеждает в первой схватке. Зрители в восторге. В воздух летят шапки, старики трясут костылями, несколько человек подбегают к ковру, чтобы похлопать черного по плечу. И только мальчик сидит неподвижно, съежился, втянул голову в плечи...

— Молодец, Курбан! — кричит мой сосед справа и бьет меня локтем. — Вот увидишь, Курбан победит! Я знаю, он механиком работает на нашей фабрике. Ай, Курбан дал жизни!

Курбан жадно пьет из бутылки, потом полощет рот и шумно и далеко, как из шланга, выплевывает воду на песок. Клыч Дурды тоже пьет воду. В прежние времена борцы в перерывах пили чай: сидели на ковре и дули чай досыта, а зрители терпеливо ждали. Теперь комитет физкультуры навел порядок: перерывы строго ограничены.

Рефери уже на ковре и жестами приглашает борцов.

Вот они не спеша выходят, упираются друг в друга плечами, просовывают руки под пояс противника. Болельщики сразу же начинают кричать, подбадривая Курбана, наперебой дают ему советы. Они страстно желают, чтобы Клыч Дурды проиграл. И это не только злая радость толпы, получающей удовольствие от унижения чемпиона, но и неприязнь рабочих людей к ловкачу и «артисту», который умеет выколачивать деньги из безделицы, из игры.

Во второй схватке побеждает Клыч Дурды. Его никто не поздравляет, кроме мальчика, который робко раза два подбрасывает в воздух свою тубетейку. Борцы снова пьют воду.

Наконец рефери зовет их для последнего поединка.

Кряхтя, поднимается с земли Клыч Дурды. Его слегка пошатывает, когда он идет к середине ковра. Зрители что-то кричат ему: наверно, «сдавайся» или «ложись». Однако победить чемпиона, даже усталого, нелегко.

Курбан опять скрипит зубами, выкатывает белки, прилаживается и так и этак, и вдруг — вот оно! — ему удается плотно обхватить Дурды и оторвать от земли. Широко расставив свои кривые волосатые ноги, весь изогнувшись и побагровев от усилия, Курбан держит на весу шестипудовую тушу и несколько секунд, как бы в нерешительности, раскачивает ее, а затем пытается бросить на землю. Опытный Клыч Дурды увлекает соперника за собой, и они падают вместе. Кто же коснулся первый? Судья поднимает руку Клыча Дурды.

— Неправильно! — кричит мой сосед, вскочив с места.

Вслед за ним вскакивают и что-то кричат еще двадцать, сорок человек. Начинается суматоха. Два судьи ругаются между собой. Какой-то седобородый аксакал подходит к главному судье, сидящему за отдельным столиком, и тычет свой посох ему в лицо. И все же победителем признается Клыч Дурды: на долю секунды его противник коснулся ковра раньше.

Победителя не уносят на руках. Клыч Дурды идет сам, с трудом передвигая ноги, замученно дыша, и лицо у него серое и пыльное. Мальчик подскакивает к нему, берет его за руку, и они проталкиваются мимо скамеек к выходу. Отец не обращает внимания на ругань и крики, а мальчик плачет и тубетейкой закрывает лицо.

Соревнования продолжаются, но я ухожу.

Высоко в небе стоит луна, одинокая серебряная луна в голом и темном небе. За парком шумит поезд. Это скорый московский. Через четверо суток он будет в Москве.

На другой день утром я вижу Клыча Дурды в чайхане возле парка. Парк опустел, чайхана тоже почти пуста: вчерашние борцы разъехались по домам, по колхозам, уже начали сегодня трудовую неделю. Сторож шаркает по песку, сгребая воскресный мусор. Клыч Дурды пьет водку в компании каких-то стариков, а мальчик сидит поодаль возле стены на стуле и дремлет, склонив голову набок.

## Прозрачное солнце осени

---

В буфете аэропорта, где всегда суета, нервность, пассажиры отсчитывают минуты, пахнет борщом, который некогда есть, где официантки мечутся между столиками, где летчики в кожаных куртках пьют возле стойки сметану из граненых стаканов,— встретились два человека, которые не виделись много лет. Один из них сидел в компании молодых людей в клетчатых пиджаках за столиком возле окна, пил коньяк и ел заливную рыбу, густо приправляя ее хреном. Другой пил чай, сидя за столом возле двери. Они оба заметили и узнали друг друга, но как-то еще не решались подойти и поздороваться. Слишком долго они не виделись.

Потом тот, что пил чай, поднялся и, посмеиваясь издали, медленно пошел к столику возле окна.

— Здравствуй, Величкин Толя,— негромко сказал он, останавливаясь в трех шагах от столика.

Человек, которого назвали Величкиным Толей, повернулся вполоборота. Он был крупного роста, большеголовый, рыхлый, лет сорока пяти. Судя по его галстуку, значкам, приколотым к пиджаку, по пачке сигарет, лежавшей на столе, он летел из-за границы. Может быть, из Китая или Вьетнама. Увидев подошедшего, он сделал вид, что заметил его только сейчас, сию секунду.

— Галецкий? Аркадий? — спросил он, привстав, и вдруг порывисто, с некоторой театральностью вскинул руки.— Аркашка! Как ты здесь очутился?

— Что значит «очутился»? Я не очутился...

— Постой, постой! Ты сначала садись и выпей. Мы тут празднуем прибытие на родную землю. Ребята, познакомьтесь: это Галецкий, мой однокашник, мы вместе учились в институте физкультуры в Москве, лет примерно... сколько же?.. лет восемнадцать назад.

— Да говори уж — двадцать,— сказал Галецкий.— Двадцать годков, как кончили.

— Ну двадцать, двадцать пять — какая разница? Для этих молокососов все это одинаковая древность. Называется: «до войны». Они тогда в песочек играли на Тверском бульваре. А мы уже гоняли в футболешник на первенство вузов... Вот этот Аркашка Галецкий стоял в голу сборной института, а я, представьте, играл на краю.

Кто-то из молодых людей недоверчиво хмыкнул.

— Когда ты играл на краю? — спросил Галецкий.

— Я? Конечно, играл. Только не в первой команде, а во второй. Еще Петька Щипанов со мной играл. Проценко, Михей Белобородов... А где Михей сейчас?

— Не знаю.

— Говорят, здесь, в Сибири. Кто-то мне говорил.

— Не знаю. Я человек таежный, ничего не знаю. Это вы, столичные деятели...

— Да мы, столичные деятели, тоже ничего не знаем. Всех разбросало. Я тут встретил как-то Соню Кудинову на курорте. Помнишь ее? С внуками отдыхала. Она про Михея что-то рассказывала, но я уже забыл что.

Галецкий присел к столу. Он был худощав, с сутулой спиной, с обветренным, в жестких морщинах, грубо загорелым лицом старого спортсмена или охотника. Когда он улыбался, обнажались два ряда металлических зубов.

Долговязые молодые люди в клетчатых пиджаках оказались волейболистами. Они возвращались из месячной поездки в Китай. Величкин был у них руководителем. Нет, не тренером, а именно руководителем, то есть он руководил всеми, всей делегацией. Тренер скромно сидел в углу стола — щупловатый, смуглый, с черными галочьими глазами юноша по имени Марат. Спортсмены по очереди вставали, пожимали Галецкому руку и называли себя. Они делали это довольно небрежно. Галецкий не вызывал у них интереса, он казался им старым и провинциальным. Они сейчас же заговорили о чем-то своем, а Величкин и Галецкий начали вспоминать прошлое.

Величкин по временам прерывал воспоминания и вскрикивал возбужденно:

— Позволь, в чем дело? Почему ты не пьешь?

— Я уже выпил, Толя.

— Что ты выпил? Какую-то каплю!

Галецкий морщился, крутил головой и одновременно водил своей огромной красной рукой перед носом. Кожа на его руках была в ссадинах и царапинах, как у деревенского жителя, которому часто приходится иметь дело с дровами и топором, а концы пальцев были желтые от табака. В своем коротком пиджачке, в старых полинялых лыжных штанах он выглядел невзрачно рядом с толстым, солидным Величкиным. Но Галецкий не за-

мечал этого. Наоборот, он все время чему-то радостно улыбался, перебивал Величина и с фамильярностью шлепал его по толстой ноге: «А ты, Толя, разжирел безобразно! Куда это годится».

Говорили они сбивчиво, торопясь, прерывая друг друга. Особенно спешил Галецкий. Самолет на Москву должен был отлетать через тридцать пять минут, а в поселок Чимжу, куда летел Галецкий, самолет уходил еще раньше.

Два человека не виделись двадцать лет. Они расстались юношами, а встретились поседевшими, помятыми жизнью мужчинами. Война, потери близких, рождения детей, годы труда, надежд, устройства дома, маленькие удачи, которые когда-то радовали, а сейчас забылись,— все это они пережили порознь. Они стали совсем разными людьми. И жили за тысячи километров друг от друга. И ничто их не связывало, кроме давнишних воспоминаний. Величин пошел по административной линии, работал в центральном совете крупного спортивного общества, часто ездил за границу — был, одним словом, человеком начальственным, а Галецкий давно уже стал рядовым винтиком огромной физкультурной машины. Он работал преподавателем физкультуры в Чижминском лесном техникуме. Вот куда докатили его волны моря житейского. Ему очень нравилось жить в тайге. И своей работой он был доволен. А Величину нравилось жить в столице и ездить по временам в разные страны. Они оба были, в общем, довольны.

Сейчас они пытались рассказать друг другу о том, как они прожили эти двадцать лет, и чего добились, и как они, в общем, довольны. Но разве можно рассказать жизнь!

Разговор был бессмысленный. Они говорили о чем-то пустяковом, неглавном, вспоминали всякую чушь, перебирали в памяти людей давно забытых, ненужных, о которых оба не вспоминали годами и, не встретясь сейчас, не вспомнили бы еще десять лет. Никто, кроме

щупловатого тренера, не прислушивался к их разговору. Тренер смотрел на них пристальными круглыми, как у птицы, черными глазами и улыбался в душе. Итог жизни этих старых людей казался ему незавидным. Один стал чиновником, другой прозябал в глуши. Тренер был молод, честолюбив и наделен волей. Говорили, что он «далеко пойдет».

Усмехаясь незаметно, уголком рта, тренер слушал, как Величкин рассказывает о своих поездках за границу: он объездил уже восемь стран. В некоторых странах бывал по три-четыре раза — даже надоело. Больше всего ему понравилась Швеция, очень дешевая страна. Швеция не воевала полтора года. Если покупать шерстяные вещи, так только в Швеции. Вот уж действительно дешева так дешева! А в Италии...

— У нас, между прочим, тоже встречаются шведские вещи, — сказал Галецкий. — В Дудинку заходят шведские корабли, моряки продают барахлишко, а к нам это попадает по Енисею...

— А в Италии, — продолжал Величкин, — очень дешевое вино. Вот, например, вермут «Чинзано», который в Чехословакии стоит пятьдесят крон...

— Толя, знаешь что? — перебил его Галецкий. — Я хочу познакомить тебя с моими ребятами, учениками. Ведь я, кроме общей физкультуры, веду занятия с футболистами — в порядке, так сказать, общественном. Вон два моих орла сидят...

— А сколько у нас времени? — спросил Величкин у тренера.

Тот взглянул на часы и сказал, что надо расплачиваться, времени осталось семнадцать минут. Волейболисты стали поспешно допивать пиво. Кто-то из них позвал официантку. Молоденькая девушка с ярко накрашенными губами подбежала к столу, облокотилась на него голой до плеча крепкой белой рукой и начала что-то шептать и чиркать карандашом в блокноте.

Галецкий энергично жестикулировал, подзывая к сто-



лу двух своих учеников, которые все еще сидели возле двери и пили чай. На стульях рядом с ними лежали два туго набитых мешка. Ученики стояли в нерешительности, не зная, что делать с мешками.

— Тащите их сюда! — закричал Галецкий. От возбуждения и нервности лицо его покрылось потом.

Два коренастых паренька, насупленные и побагровевшие от смущения, подтащили мешки к столу и встали рядом. Галецкий сказал, что в мешках находится двадцать пар футбольных бутс. Достали их с большим трудом. Из-за этих бутс они с ребятами мытарились в городе восемь дней, прожились до копейки, но зато своего добились. Не стыдно возвращаться в Чижму. Парни переминались с ноги на ногу и смотрели на волейболистов с неммым мучительным интересом.

— А вот с этим толстым, пожилым товарищем мы когда-то гоняли в футбол. Он, как видите, потерял форму.— Галецкий шутиливо приосанился.— А я, кхе-кхе, еще держусь.

— Да, да. Ты держисься,— проворчал Величкин, которому замечание Галецкого не очень-то понравилось.— Ну, а что это за молодые люди, кому ты меня представляешь так торжественно?

— А это, Толечка, мои питомцы, игроки чижминской юношеской команды, Могу похвалиться — чемпионы края.

— Поздравляю. Это замечательно.

— Замечательно не замечательно, а все же приятно. Не зря хлеб жуем. Верно, ребята? И могу еще похвалиться,— продолжал Галецкий, разгорячась и торопясь все высказать за оставшиеся минуты.— Слышали такого футболиста Ивана Краснюкова?

— Я не слышал,— сказал Величкин.

Тренер пожал плечами.

— И я нет.

— Неужели не слышали? — Галецкий смотрел на них огорченно и с изумлением.— Ведь он сейчас у вас, в Москве... Краснюков Иван...

— Краснюков? Первый раз слышу,— сказал Величкин.

— Погодите,— сказал один из волейболистов.— Помоему, есть какой-то Краснюков в «Крыльях Советов». Только он в дубле играет.

— Верно, верно! Он в дубле пока что! — обрадованно воскликнул Галецкий.— Значит, вы знаете? Есть такой?

— Вроде есть...

— Так вот, они взяли его из Красноярска, а в Красноярск он попал в позапрошлом году из нашей Чижмы. Играл у меня целый год. Парень золотой. Вы увидите, он еще в этом сезоне прогремит!

— Дай ему бог,— сказал Величкин.— Хотя Москву удивить трудно. Сколько с нас, девушка?

Официантка все еще чиркала в блокноте. Волейболисты смущали ее своими расспросами и комплиментами, которые они сыпали наперебой, щеголяя друг перед другом. Больше месяца они не видели русских девушек. Величкин расплатился за весь стол: он отдал семьдесят пять рублей и еще пятерку на чай. Девушка не сразу поняла, что ей дают на чай, а когда поняла, то покраснела и почему-то прошептала: «Пожалуйста». Потом Галецкий заплатил четыре восемьдесят за себя и за двух своих питомцев.

— Будешь в Москве, Аркадий, прошу ко мне,— говорил Величкин.— Живу я на Фрунзенской набережной, в новом доме. Квартира у меня хорошая, большая, и Лужники рядом.

— Спасибо, может, и приеду на Спартакиаду. А ты бы ко мне погостить, а? Охота у нас отличная! А рыбы у нас!

— Ты не пропадай, Аркаша. Запиши свой адрес.

— Где записать-то?

— Да вот... Ну здесь хотя бы, на пачке сигарет.

— Толя, старик...

— Счастливо, дорогой! Рад был тебя увидеть.

Ученики уже понесли мешки с бутсами к выходу. Галецкий и Величкин долго трясли друг другу руки,

обещали писать, не забывать, говорили, что хорошо бы как-нибудь встретиться всем вместе в Москве или где-нибудь на юге, вызвать Соню, Михея, Васю Проценко, если он жив-здоров. Потом Галецкий пожал руки волейболистам и тренеру, сделал еще один общий прощальный жест и быстро зашагал к выходу. Держался он прямо, и походка у него была бодрая, молодецкая, и совсем бы он казался молодым человеком, если бы не торчавшие сзади из-под кепки седые клочковатые волосы.

Тренер взглянул на часы.

— Через пять минут нам пора, Анатолий Кузьмич,— сказал он.

Величкин сидел задумавшись и ковырял спичкой в зубах. Помолчав немного, он сказал:

— Вот этот самый Аркашка Галецкий всегда был неудачником. И в институте и вообще. И черт его знает почему! — Он вздохнул сочувственно. — Как-то не везет ему всю жизнь... Помню, мы ухаживали за одной девчонкой вместе, он и я. Был такой период. Очень люто соперничали.

— Ну и чем кончилось? — спросил тренер.

— Это целая история. В конечном счете я, кажется, победил.

Разговаривая, они встали из-за стола и пошли к выходу. Впереди шли волейболисты в клетчатых пиджаках и ярко-голубых брюках. Все женщины, сидевшие за столиками, украдкой смотрели на этих высоченных парней.

Величкину хотелось, чтобы тренер проявил интерес к истории его соперничества с Галецким, стал бы его расспрашивать и он бы вспомнил кое-какие подробности, которые приятно оживить в памяти, но тренер только сказал скучным голосом: «Это здорово, Анатолий Кузьмич, что вы победили» — и, вдруг сделав два быстрых шага, догнал волейболистов и заговорил с ними о волейбольных делах. Через две недели в Москве им предстояла встреча с командой Польши.

Величкин обиделся и нарочно отстал от волейболистов. Заложив руки за спину, он медленно шел позади всех и смотрел то по сторонам, то в небо. Было ветрено и пахло влажной после дождя, осенней землей. Величкин подумал о том, что в Москве он еще застанет теплые дни. Можно будет пожить на даче.

Треща мотором, низко пролетел маленький щавелевого цвета почтовый АН-2. «Аркашка полетел в свою Чижму,— подумал Величкин.— И как он там живет? Убей, не пойму...»

Величкин даже не спросил Галецкого, женат ли он и есть ли у него дети. Надо в следующий раз спросить. В какой следующий раз? Он вдруг понял, что следующего раза не будет. Никогда больше он не увидит Галецкого. Никогда в жизни.

В кабинете почтового самолета на откидных стульях сидели шесть человек: Галецкий со своими питомцами, молодая женщина, похожая на доктора или медсестру, державшая на коленях маленький чемоданчик, и два рабочих с леспромхоза в одинаковых темно-фиолетовых плащах. Один из рабочих читал растрепанный «Огонек», другой сидел бледный, нахохлясь, приготовившись к качке. Мотор ревел, разговаривать было трудно. И все же Галецкий громко кричал, обращаясь к своим ребятам:

— Когда-то он был влюблен в мою жену! В Наталью Дмитриевну! А парень он очень хороший... Жаль только, жизнь у него сложилась как-то неудачно... Ведь он талантливый человек, а стал администратором...

Ученики Галецкого молча смотрели в окна. Им не казалось, что жизнь Величкина сложилась неудачно, но они и не завидовали ему. Нет, они были уверены, что им предстоит жизнь еще более заманчивая и прекрасная. И они с жадностью смотрели вниз, как будто надеялись увидеть свое будущее там, внизу, где проплывало рыжее бескрайнее, залитое прозрачным осенним солнцем таежное редколесье. С высоты трехсот метров каждое дерево было видно отчетливо и тайга была похожа на мох.

## Испанская Одиссея

---

Вот что рассказал мне человек с глубоким шрамом посередине лба, с лицом жестким и серым, навеки впитавшим в себя землистую бледность тюрьмы, и со взглядом нестерпимой твердости, истинно испанской твердости. Мы разговаривали об испанском футболе.

— Вы спрашиваете, откуда я так хорошо знаю футбол? Да, я знаю его великолепно. Я могу назвать всех игроков «Барселоны», и «Атлетико-Бильбао», и «Сарагоссы», и мадридского «Реала» за последние десять лет. Я знаю все подробности жизни ди Стефано. Кто его родители, где он живет, его любимое вино, его любимый киноактер, сколько стоит его автомобиль... То же самое я могу рассказать про дель Соля и Кубалу. О, в моей памяти застряли такие подробности, каких не помнят самые изощренные спортивные статистики! И при всем том я ни разу не видел ни ди Стефано, ни Хенто, ни дель Соля — никого из этих звезд в игре. Как это произошло? Сейчас вы поймете. Немного терпения. Это надо рассказывать подробно и долго, так, как мы рассказывали друг другу там, в Бургосе. Да, я привык рассказывать о своей жизни. Правда, чаще всего я рассказывал о ней самому себе.

Знаете, когда смерть подходит близко, начинаешь вспоминать прошлое. Нет, не вспоминать, а видеть его. В отрывочных картинах проносится вся твоя жизнь, разбитая на куски, и ты вглядываешься ненасытно, с жадностью, и тебе все мало, хочется еще и еще вспоминать, и ты становишься совсем как пьяный. Потому что нет на свете более крепкого вина, чем то, которое называется «память».

Вот так я смотрел в свое прошлое апрельскими ночами тысяча девятьсот сорок девятого года в ожидании суда. Я знал, что меня хотят приговорить к смертной казни,— этого требовал прокурор. Мне исполнилось со-

рок лет — неплохой возраст для мужчины; в этом возрасте уже можно умирать, а можно и жить дальше. Отличный возраст. Но мне хотелось жить дальше, потому что я прожил слишком хорошую жизнь. В моей жизни было все, что нужно.

Апрельскими ночами в тюрьме в Мадриде я старался вспомнить о самом важном — и не мог: все казалось мне одинаково важным. Все, начиная с самого начала.

Начиная с того, как отец учил меня класть кирпичи и держать в руке лопаточку для извести. Я родился в маленькой деревне Рио Самора в провинции Кастилья. Отец был бедняком, земля не кормила его, и он выучился ремеслу каменщика. Я тоже стал каменщиком и с двенадцати лет уже помогал отцу.

Мой отец был хороший человек, хотя мы всегда с ним спорили, — и в те времена, когда жили в деревне, и после, когда я вырос, а он стал стариком, и когда шла война, и когда она окончилась и мы проиграли и бежали в чужую страну. Мы спорили всю жизнь, потому что он был так же упрямым, как и я.

Он говорил: всегда в мире будут существовать богатые и бедные, и тут ничего не поделаешь. У него была любимая поговорка насчет того, что не надо переворачивать тортилью.

Тортилья — это запеканка из картошки и яиц. Когда ее готовят, ее не следует переворачивать.

В Рио Самора я познакомился с одним социалистом, который переселился к нам из Мадрида, потому что его жена была больна и врачи велели ей жить в деревне. Этот человек объяснил мне многое. Я поверил ему. Я стал читать социалистические газеты. В нашей деревне только два человека выписывали газеты: священник и я. Отец сердился на меня, потому что из-за моих взглядов ему давали меньше работы. Но я же не мог иначе. Ах, как я любил читать газеты! И как я спорил с отцом! И как мне хотелось перевернуть тортилью — заново перестроить весь мир!

В тысяча девятьсот тридцать первом году меня призывали в армию — за два месяца до того, как образовалась республика. Через год я демобилизовался и вернулся в деревню. Я уже был коммунистом.

Потом очень скоро я уехал в Мадрид и поступил в школу. Мне было двадцать три года, а я учился с мальчишками двенадцати лет. Они смеялись надо мной, но я учился. Я хотел стать пожарным. Пожарные хорошо зарабатывали, и мне нравилась их форма и то, что их все уважали. Но стать пожарным было не просто, надо было выучиться гимнастике, и я занимался вечерами в гимнастическом клубе. Надо было выдержать очень трудный экзамен: на двадцать девять мест претендовали семьсот человек. Я выдержал экзамен и стал пожарным.

Это было перед войной.

Война началась восемнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать шестого года, а двадцать первого июля меня ранили в руку под Толедо. Я пошел добровольцем в ополчение. Раненый, я вернулся из Толедо в Мадрид и вступил в пятый полк, в первую роту, которая называлась «Стальная рота». Рана моя зажила, и я снова отправился на фронт, навстречу фашистам, наступавшим из Гвадаррамы.

В нашей роте было много астурийских горняков, они хорошо умели делать картечные снаряды из тола, и я помогал им. На второй день боев меня ранило осколком бомбы в глаз, и я попал в госпиталь, где меня лечили несколько дней и откуда я убежал, когда понял, что мой глаз все равно видеть не будет.

В ноябре меня ранило в третий раз, в ногу. Пятого декабря, когда фашисты вошли в Мадрид, я воевал в бригаде Листера и уже до самого последнего дня войны не расставался с Листером. Меня послали в школу комиссаров. Я проучился там двадцать четыре дня, и когда вернулся оттуда, меня назначили комиссаром артиллерийской части, которая защищала Мадрид.

Наши батареи обороняли клинику и Национальный

дворец. Рядом помещался католический монастырь, который захватили анархисты и устроили там штаб. Они не воевали, а разбойничали и спекулировали мясом и фруктами, которые привозили в Мадрид из деревень. У них было много машин. Я сумел войти к ним в доверие, потому что нам нужны были машины, мясо, фрукты, и я притворялся анархистом, для того чтобы получить от них помощь. Они согласились мне помочь и даже прислали роту своих людей, но я их не использовал: они были ненадежны. Они были самые настоящие спекулянты, так же как и все их так называемое арагонское правительство, которое заявило о нейтралитете, а на самом деле пропускало фашистов. Когда они узнали, что я коммунист, они пытались убить меня, но у них ничего не вышло.

В боях за клинику меня ранило в четвертый раз. Потом я воевал в Гвадалахаре, где мы наступали против итальянцев и разбили их.

Фашистам никак не удавалось убить меня. Они ранили меня еще раз, на Эбро, и шестой раз, в конце войны, в Каталонии, когда мы, истекая кровью, отступали на север. В Барселону парохомом приехал из Валенсии мой отец — он хотел быть со мной и с моим младшим братом Пабло до конца. И старик проделал весь тяжелый путь — зимой через горы, к границе Франции.

Я ехал с товарищем на военном грузовике, и совсем близко от границы на горной дороге мы наткнулись на патруль. Ночью прошел дождь, дорога была сырая и скользкая, и мой товарищ, сидевший за рулем, затормозил так резко, что нас чуть не снесло в обрыв. Фашист тут же выстрелил и убил шофера. Я вышел из машины, держа за спиной бомбу. Я хотел взорвать их вместе с собой, всех сразу. Я бросил бомбу, она упала под ноги, но один фашист успел нагнуться и отбросить ее. Она взорвалась в воздухе. В тот же миг я прыгнул с обрыва и покатился, ударяясь о камни. Они стали стрелять. Рассвет едва начинался, было темно, и никто из



трусов не осмелился прыгнуть за мной следом, и я встал внизу, весь избитый, окровавленный, но живой и побежал. Я бежал через горы два дня. Одиннадцатого февраля тысяча девятьсот тридцать девятого года я перешел границу Франции.

Так я оказался в чужой стране и в плену. Потому что всех нас, бежавших от фашистов, французы посадили в концлагеря. Нас была целая армия, пятьсот тысяч — коммунистов, социалистов, республиканцев и просто честных людей, которые ненавидели фашизм и не могли примириться с его победой. Почему мы проиграли войну? В дни плена мы только и делали, что говорили об этом, обсуждали и так и эдак, пытались понять, найти виновников.

Мы потому проиграли, что первыми приняли на себя удар фашизма. Пока другие, вроде англичан и французов, трусили и хитрили, мы схватились с фашистами не на жизнь, а на смерть.

Социалист Леон Блюм посадил нас в концлагеря. Это называлось «невмешательство». Будь оно проклято! Оно принесло страшные беды Испании, и не только Испании, а всему миру. Я пробыл в концлагере несколько месяцев. Нас было сто двадцать тысяч в страшном квадрате, огороженном четырьмя рядами колючей проволоки. Мой отец жил в лагере стариков. Несмотря на старость и плохое здоровье, он работал по своей профессии, каменщиком, и даже ухитрялся на заработанные деньги покупать еду и помогать своим товарищам, совсем больным старикам. Мы очень голодали в лагере. У многих начались болезни от голода, многие умерли. Весною мне удалось выехать из Франции в Советский Союз. Я радовался тому, что еду в великую страну, которую я всегда мечтал увидеть, и все же было грустно уезжать еще дальше от моей Испании и расставаться с друзьями и с моим стариком.

Когда Гитлер пришел во Францию, многие испанцы вступили в партизанские отряды и воевали с фашистами.

Мой старик одно время работал у фашистов, они мобилизовали его. Он охранял склад оружия, расположенный в тайном месте. Потом отец ушел к партизанам, хорошо воевал, был два раза ранен и умер в госпитале. Перед смертью он спросил у сестры, знает ли она какого-нибудь коммуниста. Она сказала, что знает одного, и отец попросил привести этого коммуниста к нему. Когда его привели, отец рассказал ему о тайном складе оружия и нарисовал схему, как отыскать этот склад. Отец был единственным человеком, который знал местонахождение склада. Мне рассказали об этом несколько лет спустя, когда я вернулся во Францию. Я был очень горд отцом. Я знал, что мой старик — хороший человек, но оказался еще и настоящим коммунистом и героем. И к концу жизни он старался помочь мне перевернуть тортилью!

Когда я приехал в Советский Союз, меня послали отдыхать и лечиться в Сенеж. Я пробыл там четыре месяца. Потом уехал в Коломну, работал на паровозостроительном заводе. Жизнь моя стала налаживаться, я женился на испанской девушке, у меня родилась дочь. Но вскоре Гитлер напал на Советский Союз, и я ушел добровольцем в армию.

Я воевал под Москвой, на Северном Кавказе и на Кубани. В конце тысяча девятьсот сорок второго года на Кубани в боях западнее Краснодара фашисты ранили меня в седьмой раз. В седьмой, но не в последний.

Окончилась война, фашизм был разгромлен, фашистские главаря расстреляны, а те, кто избежал суда, покончили с собой или испарились, как привидения, чтобы до конца жизни дрожать от страха, живя под чужим именем где-нибудь в Вальпараисо или в Сан-Паулу. И только один фашистский вожак благоденствовал как ни в чем не бывало — генерал Франко, палач Испании.

В тысяча девятьсот сорок седьмом году я вернулся в Испанию. Родина есть родина. А несчастная родина кажется дороже вдвойне. Прошло одиннадцать лет с

начала мятежа и восемь лет с тех пор, как война закончилась, но в Испании продолжались все ужасы фашистского ада. Как будто не было горящего Берлина, не было Муссолини, казненного народом.

В Испании томилось в застенках около полумиллиона политических заключенных. В маленьких городках и деревнях наделали тюрем. Из года в год, изо дня в день продолжались казни и аресты. Ночи, особенно обильные арестами, в народе назывались «sakas» — так называется большой, килограммов на сто, мешок для фруктов или овощей. Ночи «sakas», когда людей пачками бросали в каменные мешки, стали в Испании обычным делом. В тюрьмах все время находилось не меньше десяти тысяч людей, приговоренных к смертной казни; месяцами они сидели в одиночках, каждую ночь ожидая смерти.

Глядя на то, что происходило в стране, я понял, что у Франко не было другого выхода. Только террором он мог удержаться у власти. Такова судьба палачей: одна казнь тянет за собой другую, а десяток казней требует еще тысячи.

Через сорок дней после того, как я вернулся в Испанию, меня схватили в Мадриде на улице. Я был с двумя товарищами. Внезапно нас окружили люди из «полисиа социаль» и, угрожая пистолетами, затолкали в ближайшее парадное. Там нас поставили лицом к стене, с поднятыми руками, и мы стояли так, пока не подъехала полицейская машина. Нас привезли в здание министерства внутренних дел. Через час меня уже допрашивали и били. Меня били всю ночь — с одиннадцати часов вечера до шести утра. Я держался хорошо. Потом я узнал, что для битья здесь нанимались специальные люди, бывшие профессиональные боксеры. Они знали свое дело, работали на совесть. У меня из ушей текла кровь. Но я держался хорошо.

К утру я все же потерял сознание, и меня стащили вниз, в подвал, и бросили в маленькую одиночную ка-

меру. В таких камерах сидели политические заключенные. Затем в течение двадцати дней меня ежедневно допрашивали и избивали до потери сознания, бросали в комнату с углем, обливали холодной водой и снова начинали допрашивать. Они требовали, чтобы я признался в том, чего не было. Я ничего не признавал и ничего не подписывал. Меня допрашивали сам начальник социальной полиции Конеса и его заместитель Карлитос. В народе социальную полицию называют «маффией», то есть шайкой бандитов, и это верно; как настоящим бандитам, им ничего не стоит погубить человека.

Полицейские избивали меня дубинками, боксеры молотили кулаками, меня заставляли становиться на четвереньки и ногами отбивали мне почки, но мне еще повезло — других пытали электрическим током, загоняли им деревянные иголки под ногти. Некоторых допрашивали в присутствии их родственников, и, если заключенные отказывались говорить, бандиты Конесы начинали избивать родственников и насиловать женщин.

Через двадцать дней меня отправили в тюрьму и посадили в маленькую, шестиметровую камеру, набитую людьми. Нас было в этой клетке не меньше двенадцати человек. Мы спали прижавшись друг к другу, как сардины, и, когда одному из нас хотелось повернуться с боку на бок, должны были поворачиваться все двенадцать. Кроме того, мы очень голодали — нас кормили одной капустой.

Это было в тюрьме в Алькада-ди-Генарес, в городе, где родился Сервантес. И я часто думал о нем, о бедствиях его великой жизни и о стойкости, с которой он переносил их.

Два года я ждал суда.

Сидя в камере, я вспоминал свою жизнь и думал: что я сделал плохого? Я любил Испанию и ненавидел ее врагов. Вот и все, чем я занимался в жизни.

И еще я думал: почему одни, чтобы не голодать и

прокормить семью, идут в «севильскую гвардию», и преследуют честных людей, и делаются соучастниками подлости, а другие становятся коммунистами и готовы идти на смерть, на любые муки, лишь бы бороться с подлостью до последнего вздоха? Я не знал, как ответить на это. Но я не мог жить иначе, чем жил, и даже тогда, перед лицом смерти, я не мог бы себя заставить стать другим.

Политических заключенных судил военный трибунал. Но что это был за суд! Какая мерзость! Какая дрянная комедия! Нас судили палачи в офицерской форме, а подручные палачей, тоже в офицерской форме, выступали в роли адвокатов. Эти «адвокаты» никогда и никого не защищали. Никогда и никому они ни на йоту не облегчили участь. Один раз они приезжали в тюрьму и знакомились со своими «подзащитными» — только затем, чтобы не перепутать их на суде.

Руководил трибуналом полковник Эймар, высокий лысый старик, на лице которого была написана вся его сущность инквизитора и преступника. Но меня судил не сам Эймар, а его заместитель.

Он приговорил меня к тридцати годам тюрьмы. Сначала меня перевели в тюрьму Оканья, потом — в Бургос.

В этих тюрьмах самые тяжелые дни я провел в одиночках. В Оканье я отсидел в одиночке больше года — тринадцать месяцев. Через три-четыре месяца сидения в одиночке начинают вылезать волосы, выпадают зубы, плохо видят глаза. После полугодового одиночного заключения мне разрешили встретиться с двоюродной сестрой, единственной близкой родственницей, оставшейся у меня в Испании. Я не мог с ней разговаривать: у меня пропал голос. Она плакала, а я гладил ее волосы и, как немой, шевелил губами. В Бургосской тюрьме я тоже сидел в одиночке шесть месяцев и потом еще четыре. Всего я просидел в одиночке двадцать три месяца.

В Бургосе прошло десять лет моей жизни, если мож-

но назвать жизнью прозябание в тюрьме. Но можно, можно! Да, потому что там были замечательные люди, и я с ними встречался и разговаривал, и они были моими друзьями. Многие из них сидели по семнадцать, по двадцать лет, их взяли юношами, а теперь это были пожилые, больные люди.

Там было много хороших людей, которые помогали друг другу не терять веры, и оставаться людьми, и просто выжить. А выжить было трудно. Мы боялись болеть, потому что нас почти не лечили. Тюремный врач Дон Густаво, богатый фашист, понимал в медицине меньше любого из нас. Мы называли его «Манолето» — по имени знаменитого тореадора, убивавшего быков с такой же легкостью, с какой Дон Густаво убивал своих пациентов.

Все же я выжил. Меня освободили раньше потому, что в тюрьме я работал, а за это полагалось уменьшение срока. Всего я просидел в тюрьмах тринадцать лет.

Летом тысяча девятьсот шестидесятого года я вырвался из огромной тюрьмы, в которую Франко превратил Испанию, перешел границу с Францией и из Франции приехал в Советский Союз. Меня встретили жена и дочь, которую я с трудом узнал: из маленькой девочки она стала взрослой девушкой, студенткой института.

Здесь, в Советском Союзе, мне пришлось бороться с последней и самой жестокой раной, которую нанесли мне фашисты и которая теперь, спустя несколько лет, грозила мне смертью. От тюремных побоев у меня возникла опухоль в голове, остеома, и московские врачи велели мне немедленно лечь на операцию. Видите? Да. Операция была очень тяжелая, длилась три часа. Но теперь все в порядке. Так и не удалось фашистам меня угробить. И я думаю, что переживу палача Франко, и полковника Эймара, и Конесу, и всех, кто меня мучил и кто мучает сейчас моих друзей. Я переживу их, как пережил Гитлера и Муссолини. Ведь я воевал с обоими, и оба давно в могиле, а я, как видите, жив, хотя весь

изранен, изрублен на войне, истерзан тюрьмой, как Сервантес.

Врачи советуют мне больше бывать на воздухе. Поэтому я часто прихожу сюда, на замечательный стадион, и смотрю футбольные матчи. А живу я недалеко отсюда. В юго-западном районе. Какой это район! Мы называем его «Буэнос-Айрес», что значит «хороший воздух».

Да, я ведь так и не объяснил вам, откуда я хорошо знаю футбол. Дело в том, что в Бургосской тюрьме нам не давали читать ничего, кроме спортивных газет. Мы читали их от корки до корки, испанские и французские газеты, и были в курсе всех новостей футбола, тотализатора и корриды. И на прогулке в тюремном дворе мы громкими голосами разговаривали о футболе. Это поощрялось. «Бьюсь об заклад, что твоя «Барселона» не пройдет в финал!» И шепотом сообщали друг другу новости из большого мира. Не забыть мне двор Бургосской тюрьмы, выложенный каменными плитами, на которых остались следы от пулеметных ножек. Сорок тысяч человек расстреляли фашисты на этом дворе, где нас заставляли говорить о футболе. Прошло уже больше двадцати лет с тех пор, как окончилась война. Давно вышли на свободу, отбыв свои сроки, гангстеры, насильники и убийцы. Но честные испанцы, вся «вина» которых состоит в том, что они не могут примириться с фашизмом, продолжают томиться в тюрьмах. И когда я думаю о них — а думаю о них я каждую минуту, — нет мне покоя, нет радости и сердце мое обливается гневом и болью.

## Победитель

---

Мы слышим шум катящегося по паркету кресла, дверь открывается. Сначала появляются ноги в клетчатых домашних туфлях, лежащие на нижней перекладине кресла;

ноги выдвигаются сбоку, затем поворачиваются носками к нам, и мы видим все кресло и сидящего в нем маленького старика. За спинкой кресла возвышается тот усач, что отворял нам ворота. Старик смотрит на нас без улыбки, ничего не говоря. Его лысая голова вставлена в плечи без помощи шеи. Она как бы утоплена в плечи и напоминает глубоко ввинченную в горлышко бутылки пробку. Есть такие приземистые пузатые бутылки, которые затыкаются глубоко сидящими пробками-айсбергами. Вытащить такую пробку бывает адски трудно. Кончается тем, что она крошится, ее проталкивают внутрь и пьют с крошками. Похоже, что голова старика имеет как бы продолжение под воротником.

Во всяком случае, стариковского подбородка мы не видим — он утоплен, сидит где-то внизу, замотанный фуляровым платком. Кроме всего прочего, старик тотально лыс. Мало того, что лыса его голова, так же лысы его глаза без ресниц и руки, плоско лежащие на коленях, и, когда он улыбнулся, мы увидели его совершенно лысые десны.

Усач ловко и аккуратно приподнимает кресло, чтобы преодолеть небольшой порожек несильным, рассчитанным движением подталкивает его, и оно, катнувшись по полу, останавливается точно на середине комнаты.

— Voila,— говорит усач и уходит.

Базиль заговаривает со стариком по-французски. Старик слушает, едва заметно кивая, отчего кажется, что его голова еще глубже всаживается в плечи. Он мог бы, наверное, всю голову спрятать внутрь. Когда ему надоест слушать болтовню Базиля, прекрасно говорящего по-французски, он скажет «адью» и втянет голову, как черепаха.

Обернувшись к нам, Базиль объясняет:

— Я сказал, что мы о нем много слышали, специально приехали из Гренобля и так далее.

Старик что-то бормочет.



— Он говорит, что рад нас приветствовать,— говорит Базиль.

Следует еще одна длинная фраза.

— Говорит, что всегда интересовался Россией. У него был один русский друг в Марселе, хороший человек, который умер от лихорадки... La fievre?

— Oui.

— Ну да, от лихорадки.

Старик еще что-то добавляет.

— Умер от лихорадки в Алжире,— говорит Базиль.— Хотел поехать в Болгарию, но умер.

— Кто хотел поехать в Болгарию? — спрашивает Борька.

— Его друг. Из Марселя.

— Зачем в Болгарию?

— Какая тебе разница? Не задавайте пустых вопросов, у нас времени мало! — грубо говорит Базиль.— Я не хочу возвращаться ночью. Мне еще надо заправляться, учтите.

Мне хочется сказать: «Не нужно было так долго обедать, чертов обжора», но я молчу, поняв, что это бесполезно. Мы у него в плену. Когда-то с Базилем мы жили в одном общежитии, его звали тогда Васькой, Потапычем или просто Хорьком, и он был худ, я тоже был худ, хотя мы пили много пива в подвале на Неглинной. Теперь этого подвала нет. Шесть лет уже Базиль тут, во Франции. Он работает, как бешеный паровой молот: почти через день я читаю его корреспонденции. И он стал похож на француза: такой толстый, суетливый, раздражительный, завел себе крохотные усики, настоящие французские усики, какие были в моде в двадцатые годы, а сейчас появились вновь так же, как брюки клеш.

В местной газете Базиль прочитал, что в городе Кулозе, недалеко от Гренобля, живет старец, участвовавший в Парижских олимпийских играх 1900 года. Занял последнее место в беге на четыреста метров, но дело

не в месте, а в том, что участвовал и жив. Мы с Борькой загорелись найти этого Мафусаила, хоть посмотреть на него, и убедили Базиля, обладающего казенным автомобилем, свезти нас в Кулоз. Он долго упорствовал, говоря, что не может тратить время на пустяки, что в Гренобль со дня на день ждут президента и уезжать нельзя, что бензин нынче дорог и что вся затея пахнет дешевой сенсационностью. Ну, девяносто четыре, ну, участвовал в каких-то играх, ну и что? Смысл? Идея? Если б он знал Лафарга или слышал Жореса... Старость еще не тема, даже такая чудовищная, никому не нужная старость, как этого неудачника, занявшего последнее место в бог знает каком году, когда летали матерчатые самолеты и еще не было радио. Но затем выяснилось, что президент в Гренобль не приедет, что бензин не так уж дорог, тем более что квитанции прикладываются к отчету и оплачиваются валютой, и что по дороге в Кулоз на берегу озера есть ресторан, знаменитый рыбными супами и каким-то особенно прекрасным вином. Мы выехали в двенадцать, в час были у озера и в седьмом часу, когда уже стемнело, примчались в Кулоз. И вот мы сидим и смотрим на старика, голова которого похожа на туго забитую пробку, а в глазах — темная, как вода в стоячем пруду, усталость от вековой жизни.

О чем говорить с ним? Он ничего не помнит. Годы труда, годы житейских невзгод и удач, войны, смерти, болезни, революции, праздники перепутались в его мозгу, уже где-то цепенеющем и откликающемся на что-то одно, свое, случайное, как полумертвый радиоприемник, в котором все лампы вышли из строя, кроме одной. Но я не могу уловить, на что же откликается этот мозг, что теплится в нем, чем он живет. Он помнит, что победители на Парижских играх получали в награду зонты и трости. Что в Булонском лесу шел дождь. Что была выставка. И что-то еще, невнятное, туманное. Мелькают бессвязно какие-то имена, возникают лица, но он не

уверен, что эти лица оттуда, а не откуда-то раньше или позже; когда он лежал в госпитале, был жаркий летний день и один человек, пробегая мимо окна, крикнул, что какой-то русский застрелил президента.

— Спроси у него, как он относится к делу Дрейфуса,— говорит Борька.

Базиль спрашивает.

— Он возмущен,— говорит Базиль.

— Скажи, что лучшие люди нашей страны, например Чехов...

— Спроси, что он думает об англо-бурской войне? — говорю я.— Победят ли англичане?

— А как он относится к Метерлинку?

Губы старика раздвигаются, мы опять видим его лысые десны. Может быть, он понял нашу шутку, а может, улыбается чему-то своему, тайному. Усач входит в комнату с граненой бутылкой виски и четыремя стаканами. Базиль и усач начинают оживленную трепотню, оба смеются, говорят громко и после каждого глотка виски все громче. Усач хохочет, Базиль шлепает его, как старого приятеля, пятерней по животу. Иногда Базиль кое-что нам объясняет.

— Этот тип, мсье Жозеф, муж женщины, которая за стариком ходит... Она получает четыреста сорок франков. Работа тяжелая, потому что старик Salissan? Ага, очень грязный, большой грязнуля... он ведь совсем один, детей не было. Люди становятся грязными от одиночества... Мсье Жозеф не понимает, зачем нам понадобился этот старый... marchand déngrais Старый навозник? Пожалуй, нет, старый ассенизатор, это будет точнее. Я тоже, кстати, не понимаю, зачем понадобился... Про Олимпийские игры мсье Жозеф слышал, но не верит, считает, что враки, брехня les sornettes... Старик утверждает, что занял первое место, все это les sornettes... Сказать можно все... Мсье Жозеф работает шофером на полицейской машине...

Усач уже красный, глаза его слегка раскорячиваются,

он выпил, по-видимому, недельную норму. К тому же он не привык к неразбавленному, безо льда, а Базиль с его вечной спешкой и бесцеремонностью потребовал пить так, побыстрее и поударней. Для Базиля-то, имеющего опыт подвала на Неглинной и двухлетних скитаний с экспедициями по Уралу, все это, конечно, «что слону дробинка». Поразительный персонаж наш Базиль! В свои тридцать семь лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей, его чуть не убили где-то в Индонезии, он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой, он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге.

Продолжая улыбаться, старик повторяет что-то невразумительно, но настойчиво. Он бубнит одну фразу несколько раз, пока наконец Базиль не обращает на него внимание.

— Он говорит, что он победитель Олимпийских игр.

— В каком виде? — спрашивает Борька.

— Во всех,— говорит Базиль, выслушав ответ старика. Когда-то он занял последнее место в беге на четыреста метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив.

Я вижу, как в глазах старика возникает огонь, безумный огонь. Вот лампа, которая еще теплится в этом полустлевшем радиоприемнике. Тщеславие старости! Гордость Мафусаила! Пережить всех. Победить в великом жизненном марафоне: все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмеялся над ним, причинял ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его,— все они сошли с трассы. А он еще бежит. Его сердце колотится, его глаза живут, он смотрит на то, как мы пьем виски, он дышит воздухом сырых деревьев февраля— окно открыто, и, если он повернет голову, он увидит в глубоком, густо-синем прямоугольнике вечера дрожание маленькой острой звезды серебряного цвета. Никто из тех, кто когда-то побеждал его, не может увидеть этой

дрожащей серебряной капли, ибо все они ушли, сами презратились в звезды, в сырые деревья, в февраль, в вечер.

— Просто надо жить долго, вот и все. Надо жить долго! — говорит Борька, когда мы, выйдя из дома, идем гуськом впотьмах по каменистой дороге к воротам.

Усач провожает нас, светя фонариком. Они вполголо-са разговаривают с Базилем. Базиль переводит: усач сказал, что здесь очень здоровый, крепкий климат, а старик почти всю жизнь прожил в Кулозе.

— Не надо жить долго, — бормочет Базиль, открывая дверцу машины. — И тот малый, который выиграл тогда четыреста метров, семьдесят лет назад, — пускай он сгнил потом где-нибудь под Верденом или на Марне, — все же таки он... А этот со своим долголетием слоновой черепахи...

Сразу же Базиль дает сильный газ, отлетают назад дома, фонари, спящие на узкой улице — два колеса на тротуаре, два на мостовой — скособочившиеся автомобили, и вот уже город позади, мы среди поля, во тьме. Потом начинаются подъем, виражи, туннели, дорога вдоль озера напоминает крымский серпантин, но Базиль гонит, не сбавляя скорости. Нас кидает, стучает о стенки, мы молчим, мы у него в плену. Он включил радио и слушает какую-то политическую передачу, два голоса беседуют негромко, наперебой, то и дело слышится: «Вильсон», «Кизингер», «Помпиду». Через полчаса, миновав растянувшееся на двадцать километров озеро, мы останавливаемся на шоссе. Выходим из машины. Слева — гора, справа — долина, огни. Какое-то голое деревенское шоссе, ни одной машины, тишина, холод и близкая ночь. Мы стоим на некотором отдалении друг от друга под небом, ошеломительно бледным и пестрым от звезд. Пахнет землей, пролитым на асфальт бензином и какой-то гарью, вроде прелых, чадающих в костре сучьев. Жгут костер на склоне, это далеко, но ветром доносит запах. Меня знобит, не могу унять дрожь во всем теле, На хо-

люде после вина всегда чёртовски знобит. И я думаю о том, что можно быть безумнейшим стариком, забывшим умереть, никому не нужным, но вдруг — пронзительно, до дрожи — почуять этот запах горелых сучьев, что тянется ветром с горы...

## Игры в сумерках

---

Мы знали их всех по именам, нас же не знал никто. Мы были просто: «Эй, мальчик! Принеси мячик!» Еще мы были: «Спасибо, мальчик» или же «Вон там, за кустом! Левее, левее!» Они играли с четырех часов до сумерек, а мы сидели на изрезанной ножами скамейке — я и мой друг Савва — и вертели головами направо-налево, направо-налево, направо-налево. У нас болели шеи. Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желанья не могли отвлечь нас от этого замечательного занятия. Направо-налево, направо-налево мелькал маленький, направо-налево, белый, направо-налево, теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо-налево, направо-налево, направо-налево вколачивались в наши мозги и укачивали, заворачивали, усыпляли, мы становились как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки, и продолжали, одурманенные, сидеть, вертя головами направо-налево, направо-налево.

С другой стороны корта — если бы кто-нибудь хоть раз взглянул на нас! — мы напоминали двух китайских болванчиков — так неумоимо и плавно двигались наши головы, стриженные под полубокс. И верно, мы были болванчиками. Даже не болванчиками, и вовсе не китайскими, а самыми настоящими, подмосковными, дачными, одиннадцатилетними болванами, которые тратили июльские вечера на верчение головами.

Рядом была река, песчаный скат, отмель, плоскодон-

ки — запахи воды и крики купающихся доносились до нас, не проникая в глубь сознания. Это были запахи и шум отдаленного мира, не нужного нам.

В сумерки наступал наш час. Первым сдавался долговязый очкарик, которого мы с Саввой прозвали Дрожащий. Дрожащий очень нервничал на корте, при каждом неудачном ударе вскрикивал: «Ах, черт!», хватался за голову, рассматривал с изумлением обод своей ракетки и качал головой или же бормотал что-нибудь вроде: «Да в чем же дело? Что со мной?» Но ничего особенного с Дрожащим не происходило. Он всегда играл одинаково. Почти одновременно с Дрожащим прекращал игру Татарников, лучший игрок, аристократ, владелец велосипеда «Эренпрайз» и образец во всем для нас с Саввой. Молчаливый, ироничный, ходивший в элегантных полосатых рубашечках, с гладко зализанными волосами — такая прическа почему-то называлась «политзачес», — Татарников настолько пренебрежительно относился к партнерам, что мог прекратить игру, когда вздумается, даже в середине гейма при счете «меньше». Неожиданно поднимал ракетку и со словами: «Все, господа! Не дворянское это дело — портить глаза» — уходил с корта. И с ним никто не решался спорить. Все глотали это хамство молча и как бы даже мысленно благодарили Татарникова за то, что он вообще приходит играть. Ведь Татарников однажды играл с самим Анри Коше, и тот сказал про него: «Хороший парень».

Татарников садился на свой «Эренпрайз» и укатывал, и сразу начинала собираться Анчик. То есть не то чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересным, она переставала стараться, мазала и пререкалась. Анчик была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирила, а иногда делалась мрачной и раздражительной. Бедная Анчик! Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки, я видел, что он лукавит. Я заметил, как он напружинивался и покрывался

пятнами, когда Анчик нежным голосом, но совершенно равнодушно обращалась к нему: «Мальчик, если тебе не трудно...» С угрюмой поспешностью он кидался за мячом, гораздо быстрее, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Анчик, сейчас же уходили с корта Профессор и Гравинский (он был, может быть, Краминский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух). Профессор и Гравинский обычно провожали Анчик до ее дачи на третьей линии.

Дольше других оставался играть маленький темнолицый человек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Саввой подозревали, что он шпион. Но еще позже «шпиона» торчала на корте одна отвратительная парочка, муж и жена, которым теннис был нужен только затем, чтобы сгонять жиры.

Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Саввой их ненавидели. Они отнимали у нас последние драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки не пускали на корт, но поздним вечером они не пускали нас, нагло пользуясь своей привилегией взрослых. «Ребята, ребята! Вы здесь крутились целый день...» Но наконец убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в двенадцать унций, а Савва — свою немецкую, чудную, со стальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас.

Корт был цементный, он белел в сумерках, как просторный и чистый луг. Мы очень торопились. В темноте часто промахивались. Нам хотелось ударить посильней. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным гулом в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно, для самозащиты. Мы наслаждались минут двадцать, пока не возвращался с



купания хозяин сетки Николай Григорьевич. Он снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки; собственно, в темноте было уже все равно — что с сеткой, что без сетки.

И потом долго, разговаривая о всякой всячине, брели берегом домой. На другой стороне реки, на лугу, слоями лежал туман. В реке кто-то плавал, а кто-то стоял на берегу и кричал: «Как водичка-а?» И еще кто-то бегал, согреваясь после купания, по гладкой песчаной полосе вдоль воды, и шлепанье босых ног по сырому песку раздавалось четко и мягко, как удары ладони по голому телу. Было слышно, как этот, шлепающий босыми ногами, говорил: «Бр-бр-бр!» И звездный июльский и ненужный нам мир лежал вокруг нас, среди сосен, и за рекой, где на горизонте дрожали сквозь теплый воздух огни Тушина. Давно это было. Еще в те времена, когда Москву-реку переходили вброд, когда в Серебряный Бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лейланд», когда носили чесучовые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли...

Сейчас трудно сказать, кем были эти люди, сколько им было лет. Они исчезли из моей жизни, а тогда я ничем этим не интересовался. Только про Гравинского знал, что он сын какого-то работника Коминтерна. Дрожаший и Профессор были, кажется, студентами, но может быть, и нет. Татарников где-то работал, но возможно, он и нигде не работал, потому что часто приходил на корт днем. Анчик была десятиклассницей, что, впрочем, тоже недостоверно, и вполне вероятно, что она была уже студенткой. Я знал, что ее отец ездил в черном «роллс-ройсе». Однажды я видел, как черный автомобиль остановился возле дома на третьей линии — был страшный ливень, и я, последний на круг за молоком, промок до нитки и плелся по шоссе никуда не торопясь —

и из машины выпрыгнула Анчик, сняла туфли и, взвизгивая, захлопала босыми ногами к калитке. Следом за ней вылез человек в черной шляпе. Он вдруг остановился прямо в луже, снял шляпу и стоял несколько секунд в странной задумчивости, глядя в землю, подставив лысую голову дождю.

Анчик была высокая, стройная, с осиной талией, с черными как смоль волосами и с большими глазами, черными и глубокими, как ночь. Она мне очень нравилась. Конечно, не так, как могла бы нравиться девочка, как, например, Марина, моя одноклассница. Анчик нравилась мне платонически, как женщина. Мне нравился ее хриплый голос, нравились ее платья, сарафаны и майки, которые были как будто прошлогодние, немного малы и туго врезались ей в тело. Мне нравилось, как она ходит: размахивая руками и раскачиваясь, как матрос. Нравилась ее привычка над всем шутить и разговаривать свысока. Нравилось, как она поднимает, не нагибаясь, мячи с корта: ловко и быстро, ободом ракетки и ногой. Я тоже умел поднимать мячи таким способом, но только с помощью левой ноги, а Анчик одинаково легко делала это и левой и правой. Мяч словно прилипал к ее ракетке. И она никогда не роняла мячи на корт. А мы с Саввой роняли часто.

Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда мне это не приходило в голову, но теперь я думаю, что так и было. Из-за Анчик и еще из-за Татарникова, который нам тоже нравился. Ведь мы могли бы приходиться днем, в жару, когда никто не играл, но пустой корт и пустые скамейки нас не устраивали — нам хотелось публики, шума, страстей, борьбы, красивых женщин и чтобы мы смотрели на все это, как в театре.

В середине лета у Саввы умер отец, и мать повезла Савву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку со стальными струнами. Обещал вернуться в конце лета, но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Сав-

ву и ничего не слышал о нем. И он не видел, как однажды я играл в паре с Дрожащим и что произошло следующим летом, когда открыли канал Москва — Волга, река стала полноводной и по ней начали ходить пароходы. На теннисном корте появились новые игроки, но Татарников оставался чемпионом Серебряного Бора и окрестностей. С некоторыми он играл на деньги. Давал фору четыре тайма и выигрывал.

То лето — когда пошли первые пароходы — было очень жаркое вначале, а потом зачастили дожди. Какие-то беглые, мимолетные дожди, они выпадали внезапно и шли недолго. Но полчаса или час приходилось ждать, чтобы высох корт. Теннисисты собирались под навесом, устроенным возле корта, играли в шахматы, в «города» или сидели просто так, рассказывая анекдоты. Я любил сидеть на скамейке между ними и слушать. Как-то сидели все вместе — я, Татарников, Профессор с Гравинским, Анчик и еще кто-то — и пришел один парень, Борис, и сказал, что утонул наш знакомый. Этот Борис появился на корте недавно, играл неплохо, но как-то крикливо и нахально. Спорил из-за каждого мяча. Его отец был директором завода, а раньше они жили в Тбилиси. И вот он пришел и сказал, что утонул наш знакомый. Потом-то оказалось, что никто не утонул, он все наврал, но в первую минуту все, конечно, взволновались. Анчик даже вскрикнула, и тогда этот Борис шагнул к ней — он был коренастый, небольшого роста, ниже Анчик, с очень запоминающимися, круглыми, как коленки, скулами, они двигались, потому что он разговаривал всегда сжав зубы, — и он сказал, сжав зубы: «Получай, дрянь» — и ударил Анчик наотмашь ребром ладони в лицо. Тут все зашумели:

— Что такое? В чем дело?

Борис не отвечал, смотрел злобным взглядом на Анчик, а она стояла, закрыв руками лицо. Она не плакала, не двигалась. В том, что Анчик ударили, и в том, как она приняла этот удар, было что-то настолько невероятное,

что я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакали с мест, толкались и кричали. Профессор или Гравинский, а может быть, оба вместе схватили Бориса за грудь, а тот отмахивался и говорил спокойно:

— Не суйся. Уйди, говорю. Уйди, а то...

— Позвольте,— сказал Татарников.— Но утонул кто-нибудь или нет?

И тут Борис еще раз ударил Анчик по рукам, закрывавшим лицо, но с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как бы один человек, который мелькал среди сосен, уходя от нас.

Корт просох, кто-то вышел играть, но я не смог смотреть на играющих. Не мог видеть бледного лица Татарникова с его «политзачесом». Теннисисты возмущались и, я слышал, договаривались никогда больше не играть с Борисом, с этой скотиной. «Бить женщину! Дойти до такой низости! Жалко, что он ушел, мы бы ему натерли физиономию!» Но я чувствовал, что они возмущаются чем-то другим.

После этого жизнь на корте стала как-то быстро, непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые. Много новых. Говорили, что Анчик с младшей сестрой, братом и бабушкой жили на станции Лось. Но по-прежнему приезжал на своем «Эренпрайзе» Татарников, иногда приходил Дрожачий и тот человек, кого мы с Саввой считали японским шпионом. Рядом с кортом устроили волейбольную площадку, и вечерами там собиралась орава крикунов, человек сорок, играли навывлет. Галдеж стоял как на базаре.

Эта скотина Борис пришел однажды в воскресенье с приятелем как ни в чем не бывало. Оба были в жокей-

ских шапочках. Борис спросил, кто последний. Ему не ответили. На корте было четверо, и еще четверо ждали очереди. Борис и его приятель посидели полчаса, потом стал назревать скандал. Могла быть настоящая драка, если б вдруг не услышали странный шум со стороны реки. Лес трещал под ногами сотен людей. Громадная толпа двигалась в нашу сторону с музыкой, песнями, впереди бежали мальчишки, которые сообщили, что к берегу пристал теплоход, эта толпа оттуда, и сзади идет шумовой оркестр. Теннисисты продолжали невозмутимо играть. Через минуту орда гуляющих окружила корт, некоторые были заметно навеселе, садились прямо на траву, кто-то плясал, кто-то играл в «жучка», звучала гармошка, несколько человек вошли на корт и стали требовать, чтобы теннисисты сняли сетку. Те, разумеется, отказывались это сделать и говорили, что позовут милицию.

Дрожащий особенно кипятился и кричал:

— Мы будем жаловаться! Назовите номер вашего предприятия!

Приземистый человек в панаме тоже кричал, размахивая руками:

— А вы хотите вчетвером играть и чтоб четыре сотни людей на вас смотрели! Да? Так вы хотите?

— Вы нарушаете!

— Нет, вы нарушаете!

— Товарищи, где милиция?..

— У нас договоренность с дачным трестом!

Пока они спорили, оркестр вошел на корт, расположился у деревянной стены, кто-то уже сдирал сетку, и первые пары зашаркали по цементу, пока еще без музыки. Но вот и вальс грянул: «Крутится, вертится шар голубой». Я видел, как Борис, надув свои желваки, потянул за руку какую-то худую, некрасивую женщину, совершенную уродину в платочке, и пошел с ней танцевать. Теннисисты еще кипятились, пытались мешать оркестру, и только Татарников не кипятился: сел на «Эренпрайз» и уехал.

Во время войны деревянную ограду корта разломали на топку. Однажды, через десятки лет, я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где началось так много всего, из чего потом составила моя жизнь. А тогда были только обещания. Но некоторые из них исполнились. На вершине холма я наткнулся на величественный, белеющий толстыми известковыми боками летний кинотеатр. Все, что осталось от корта, была цементная плешка, на которой толкались, разгуливая шеренгами под ручку, дачники и дачницы в ожидании начала сеанса. Впрочем, какие уж дачники! Тут была Москва, и пахло, как в Москве: бензином и пыльной зеленью. Я спросил у человека в красивом, наполовину кожаном, наполовину шерстяном пуловере, не знает ли он, откуда здесь цементная площадка. «Это с войны! — ответил человек уверенно. — Тут находились какие-то укрепления. Немец, когда летел Москву бомбить, его как раз тут, над Серебряным Бором, расшибали. Это с войны, ага».

Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие: купаться не хотелось. В те времена, когда мне было одиннадцать лет, сумерки были гораздо теплее.

# Бесконечные игры

---

## Киноповесть

Откуда эта толпа, прущая из-под земли, как вулканическая лава, заливающая улицы и аллеи, лестницы и площадки? Что толкает вперед эти извивающиеся гигантские тысяченожки, неумоимо ползущие вверх? Откуда эта нечеловеческая слитность, это страстное единение саранчи, фанатичность муравьиного шествия, сплоченность полярных леммингов, охваченных сладостной и безумной истомой? Автобусы останавливаются внизу. Тысяченожки с поспешностью тянутся вверх, волочась между ларьками, елями, урнами и цветами. Их кольчатые тела сдавлены вожделением. Дым стелется над ними, как ленивая хоругвь. Ни пиво, ни женщины, ни музыка, ни газеты не могут сбить их, скребущих мириадами ног по асфальту, с пути. Неряшливый человек с белым лицом идиота стоит наверху, на площади перед входом, и, дергаясь, размахивая руками, кричит навстречу толпе: «Опомнитесь! Близок последний час! Страшный суд грядет! По слову Апокалипсиса...» Толпа сжирает кричащего. Саранча ползет по его труп. Через двадцать минут на зеленом газоне Уэмбли начнут финальный матч немцы и англичане. Кто мы, откуда, куда идем?

### 1

В середине дня Москву наводняют молодые люди с папками. Попробуйте постоять полчаса, наблюдая

за толпой на Арбатской площади, на перекрестье улицы Горького, Тверского бульвара, в проезде Художественного театра, на Никитской, да повсюду в центре часов этак с трех и до шести, и вы их увидите. Большею частью они куда-то спешат и бегают в одиночку. Вид у них озабоченный, углубленный в себя, в некотором роде даже вдохновенный. Иногда они сшибаются в кучки, мимолетно, накоротке, где-нибудь у пивного бара, на стоянке такси или у книжного магазина, и тут же вновь разлетаются, подчиняясь, как стальные опилки, действию каких-то мощных магнитов. У них могут быть седые волосы, сизые, измятые годами лица, но они остаются молодыми людьми. И в руках у них могут быть портфели из свиной кожи, старые лакированные чемоданчики и «дипломаты» из черного пластика, но это все те же папки. Там все их добро, самое сокровенное, дорогое сердцу, все их наметки, задумки, заявки, заявления с просьбами об авансе и резолюциями «Бух. Выдать».

И вот что происходит с молодым человеком, который недостаточно четко и бережно обходится со своей папкой. Вся его жизнь переворачивается и течет по другому руслу. Молодой человек — он, собственно, не так уж молод, ему тридцать три — ясным сентябрьским днем бежит по улице. Он спешит, сбегает с тротуара на проезжую часть, обгоняет прохожих, проныривает между ними; иногда скачет боком, как в старинной кадрили, иногда выгибается и становится на цыпочки, чтобы проскользнуть, никого не задев. Но вот он миновал главную улицу, сворачивает в переулок. Здесь гораздо просторней, и он припускается быстрее. Видит толпу. Человек десять сгрудились на тротуаре и, задрвав головы, смотрят вверх, на окно третьего этажа.

Он останавливается. Видит: в окне третьего этажа сидит младенец и шлепает ручонками по стеклу. Младенец с интересом смотрит на улицу, улица с ужасом — на него.

— Уйди с окна! Уйди, уйди, уйди!

— Не кричите! Вы его напугаете!



— Где же взрослые? Надо подняться в квартиру и сказать этим баранам...

— Уже поднимались! Не вы один такой умный!

— Ах, ах!.. Смотрите, смотрите!

Младенец распахивает окно. Он сидит на подоконнике и, умильно улыбаясь, смотрит вниз.

— Молодой человек с папкой проталкивается вперед и, сощуриваясь, как от очень сильного света, смотрит вверх.

Делает несколько осторожных шагов к водосточной трубе, трогает ее нерешительно. Его тонкие пальцы, трогающие трубу, его беспомощно кривящееся лицо никак не соответствуют представлению о человеке, способном на поступок, поэтому никто не обращает на него внимания. Но вдруг он говорит сдавленно: «Подержите!» — и, не глядя, сует кому-то, стоящему рядом, свою папку.

Через мгновение он уже лезет по водосточной трубе наверх. Если бы кто-нибудь в тот миг, когда он находился на уровне первого этажа, взглянул ему в глаза, он бы прочитал в них отчаяние и смертельный, животный страх. Губы его что-то шепчут. Может быть, вот что: «Главное — не смотреть вниз! Боже, что я делаю?!» Но толпа ничего этого не видит. Теперь уже собралась большая толпа, человек тридцать. И вот он, в состоянии близком к обмороку, добирается до балкона на третьем этаже и, перевалившись через ограду, падает без сил на пол балкона. Окно, в котором сидит младенец, находится рядом. Молодой человек поднимается — ноги его подкашиваются — и пытается открыть балконную дверь. Она заперта. Снизу кричат: «Не надо! Это другая квартира! По карнизу!» До его сознания доходит: они хотят, чтобы он с балкона по карнизу добрался до окна. Но как может нормальный человек ходить по карнизу на такой высоте? Чистое безумие. Мертвым взглядом он изучает карниз, оценивает расстояние. Губы его продолжают что-то шептать. «Главное — не смотреть вниз!» Если б он не забрался сюда по водосточной трубе, они бы не требовали, чтобы он шел по карнизу. Господи, он же не акробат, не лунатик!

Он самый обыкновенный человек. От курения, ночной работы и регулярного употребления небольших доз спиртного его вестибулярный аппарат в негоднейшем состоянии. Почему бы ему не остаться на балконе до вечера, пока хозяева не придут с работы и не отпрут дверь? Ах да, там младенец. Молодой человек, вцепившись дрожащими руками в перекладину балконной ограды, уже перебросил одну ногу, за ней вторую, переворачивается, становится удобнее и вытягивает левую ногу вперед, нащупывая ею опору на карнизе. Снизу раздаются советы: «Согните ногу! Левую, левую! Сперва схватитесь руками!» Молодой человек отрывается от балконной ограды и, вжимаясь в стену, движется по карнизу.

## 2

Кабинет редактора «Московских новостей» Романа Романовича Грачева. Грачев, стоя у стола, рассматривает свежую полосу. Тут же стоят замредактора Куликов, ответственный секретарь Чаклис и заведомом информации Лужанский.

— А тут что за дыра? — Грачев ткнул карандашом.

— Тут спорт. Сорок строк Серикова, — объясняет Чаклис.

— Где ж они?

— Вот, по отделу уважаемого Павла Александровича...

— Что это значит? — грозно нахмурясь, обращается к Лужанскому Грачев. — Где Сериков?

— Сериков здесь, готов... Звонил, что едет... — поспешно объясняет Лужанский.

— Ну как же так, Павел Александрович? Уже шестой час.

— Он явится с минуты на минуту. Он в дороге!

## 3

Олег Николаевич Сериков тем временем влезает в окно. Младенец с изумлением глядит на него и вдруг

разражается плачем. Сериков сваливается с подоконника на пол, сидит на полу, тяжело дыша. Его провалившиеся глаза изнеможенно сияют. Затем Сериков встает, подходит, шатаясь, к окну, смотрит вниз. Толпа внизу аплодирует. Крики «Браво!» Сериков раскланивается.

Распахивается дверь, и вбегает почти нагая женщина, в купальном халате.

— Ах! Кто это? — Женщина замирает в ужасе. — Уберите вон! Я позову милицию!

— Послушайте, дело в том, что... — Он все еще тяжело дышит, язык его не слушается, и, кроме того, ему нестерпимо смешно. — Они почему-то решили... — Он давится смехом, — что ваш ребенок... И я — по трубе, по трубе, понимаете? Я — по трубе...

— Ах, вы по трубе?! — Женщина бросается к окну.

— Ну, конечно!

— Боже мой, но он же привязан к батарее! А я пошла на минуту...

— Я уже по... Я по... — Не в силах от смеха вымолвить ни слова, он машет рукой. Зараженная его смехом, она тоже начинает смеяться. Это почти истерика. Они оба хохочут. Он жестом показывает, как он карабкался по трубе. Рыдают от хохота.

Наконец, отсмеявшись, он вытирает слезящиеся глаза, говорит спокойней:

— Извините, пожалуйста...

Идет к двери. Она провожает его.

— Ничего, ничего. Пустяки...

— Я вам наследил...

— Да ради бога!

Женщина кивает, улыбается, но выражение ошеломленности еще не покинуло ее. Он чувствует, что ей сейчас хочется одного: чтобы он скорее исчез. И он исчезает. Дверь захлопывается.

Кабинет Грачева.

Кроме Грачева, Чаклиса, Куликова и Лужанского тут еще две женщины делового вида, зашедшие в кабинет и ожидающие конца разговора Грачева с Лужанским. А разговор этот уже принял довольно нервный характер.

— Почему, Павел Александрович, вы пытаетесь оправдывать каждый свой ляпсус и промах? — спрашивает Грачев.— При всем уважении к вашему опыту, возрасту...

— Не корите меня возрастом! Да, я сорок два года в газете, но я...

— А почему вы так реагируете на любое замечание?

— Павел, ты не прав,— говорит Чаклис.

— Это же чистая формалистика! — волнуясь, говорит Лужанский.— Сериков сейчас будет здесь и принесет несчастные сорок строк... Смешно!

Грачев вздыхает, пожимая плечами. Вид его говорит: «Да, трудный случай...» Вновь углубляется в изучение полосы. Пауза. Но это не мир, а лишь краткое, полуминутное перемирие. Грачев отрывается от полосы и, усмехаясь, спрашивает:

— А если не явится? Если не принесет?

— Тоже ничего страшного не случится.

— Верно, не случится. Но Сериков получит выговор, и вы тоже! — закипая, повышает голос Грачев.— Потому что должна быть дисциплина.

— Ну, знаете — если «чипляться» за каждую ерунду...

— Это не ерунда.

— Самая типичная, мелкая ерунда.

— А я вам говорю, не ерунда.

— Ерунда.

— Нет. Очень плохо, что вы не понимаете, что это не ерунда!

Сериков вбегает в секретарскую комнату перед кабинетом Грачева. Вид у него такой, точно он лазил по грязной водосточной трубе до третьего этажа и не успел почиститься. Задыхаясь и глядя ошалело на Дору, секретаршу Грачева, спрашивает:

— Я опоздал... Павел там? — Бросается к двери в кабинет, но Дора останавливает его.

— Там, там! Подожди! — шепчет она. — Всю летучку его долбают. Хоть бы ты сказал два слова в его защиту...

— Я скажу. За что долбают-то?

— Ну, ты же знаешь: Эрэр его не переваривает. На каждой летучке — схватка... Павел Александрович уж очень самостоятельный...

— Из-за чего сегодня-то?

— Не знаю. Не поняла. Ой, жалко старика! Они его сжуют...

— Ну, ладно. Без паники. — Сериков отворяет дверь в кабинет.

## 6

— Что я говорил? — торжествует Лужанский.

— Олег Николаевич, так в газете не работают, — говорит Грачев. — Вы же знаете, что стоите в полосе. Где отчет о чемпионате по плаванию?

— Да, да! Все в порядке... Ой!

Сериков застыл посреди кабинета. Улыбка сползает с лица. Он ощупывает карманы.

— Я же был с папкой. Потерял папку...

Пауза длится не меньше минуты.

Лужанский, не выдержав, начинает хохотать.

— Я ее дал подержать и совершенно забыл...

— Знаете что, Сериков? — мрачно говорит Грачев. — Вы мне напомнили мою дочку. Ее спросишь дневник, а она: «А у нас их отобрали!» А тетрадь по арифметике?

«А я ее дала одной девочке!» Но ведь она в третьем классе, а вы, слава богу... Прошляпили, не делали — так и скажите. Что за детский лепет: «Потерял папку», «Дал подержать!»

— Роман Романович, но я действительн...

— Перестаньте! — отмахивается тот. — Словом, так: ставим сюда клише. А вы, Сериков, если завтра же не положите на стол готовый отчет, — получите выговор. И вы тоже, Павел Александрович, как заведующий отделом. Учтите: я говорю серьезно.

Растерянный Сериков и нервно улыбающийся Лужанский выходят из кабинета Грачева.

Дора провожает их испуганным взглядом.

— Не волнуйся, Паша, — говорит Сериков. — Если я папки не найду, я напишу по памяти. Ей-богу!

— Я абсолютно не волнуюсь. Я уверен, что ты напишешь... Смешно! — Внезапно махнул рукой. — Ах, разве в этом дело...

— Я дал ее кому-то подержать. Случилась глупейшая ахиня...

Они идут по длинному коридору. Лужанский, не слушая Серикова, думает о своем и даже что-то шепчет, двигает бровями: мысленно произносит защитительную, а может быть, обвинительную речь.

Неожиданно Серикова хватает за руку стоящий в коридоре у стены и, видимо, поджидавший его молодой лысоватый человек, одетый парадно и даже щегольски.

— Олег! Я тебя жду.

— О, Саша! Привет... Познакомься, Павел, мой школьный приятель, некий Мартынов Александр Максимович, — шуточно представляет друга Сериков. — Сотрудник телевидения, радио...

— Уже нет. Ушел, ушел! — Мартынов вскинул обе руки, как при окрике «руки вверх!».

Лужанский Мартынову:

— Самое главное: вовремя уйти. Верно, Александр Максимыч?

— Совершенно с вами согласен. Это точно.

Лужанский уходит.

— Ты готов? — спрашивает Мартынов.

— Нет. У меня тут случились некоторые ахинеи...

А может, не пойдём?

— Ну, милый мой! Я специально к тебе тащился. Что это за номера?

— Неохота, Сашка...

— Пойдем, пойдём! Нечего валять дурака. Я ребятам сказал, что ты придешь, — Бобу, Ваське... — Внезапно меняет тему: — Послушай, у вас в газете нет местечка?

— Надо узнать. По-моему, нет...

— Ты меня познакомь с редактором.

— Ладно. Только не сегодня — хорошо?

Мартынов кивает. Они идут по коридору.

Сериков вдруг останавливается.

— Может, не пойдём, а? Я же не ходил никогда...

И вообще — все это... — Он поморщился.

— Что?

— Все эти встречи через тыщу лет...

— Дурачок, ты не понимаешь: это крепчайшие нити. Они сделаны из самого прочного материала — из сентиментальности... А впрочем, можно и не идти, как хочешь.

## 7

И все-таки пошли.

Неизвестно зачем. Может, просто потому, что не было ничего интереснее в этот вечер. Вот они толкаются в толпе в вестибюле, где все вместе: бывшие ученики и нынешние, пионеры и взрослые дяди и тети. Суматоха, крики, смех, узнавания...

— А, Боба Куриц! Здорово, Боб! — Мартынов целуется с черным бородатым мужчиной. Сериков тоже целуется, но как-то принужденно, без энтузиазма. Мартынов хватается за плечи какого-то крутящегося под ногами пионер-

чика.— Стой! Знаешь такую песню: «А у нас на лестнице, в доме номер пять...»?

— Знаю,— отвечает пионерчик.

— Так вот, ее сочинил этот дядя, знаменитый композитор. Можешь называть его просто дядя Боря, я разрешаю...— Нагнулся к пионерчику.— Я ему однажды таких пилюль навешал! Вот здесь, как раз на этой лестнице...

— Ты? Мне? Навешал? — изумляется композитор.

— Конечно! Не ты же мне.

— По-моему, я тебе пилюль навешал. Это я помню.

— Не-ет, брат! Пилюли вешал я, а ты только махал руками по воздуху...

— Врешь! Я тебе такой фингал залепил... Здравствуй-те, Вера Васильевна!

— О, Боря Курица! И Саша Мартынов... Какие солидные!

Старушка, улыбаясь, пожимает руки бывшим ученикам.

— Про тебя, Боря, я все знаю — и песни твои слушаю, и в консерваторию хожу. Саша тоже у нас бывает... А вот Олег! Сериков! Про тебя ничего не знаю. Ты совсем школу забыл.

— Как же вы не знаете, Вера Васильевна? — говорит молодая женщина.— Олег — спортивный корреспондент. Мой муж очень его уважает, хотя и незнаком. Он в «Московских новостях» пишет — верно, Олег?

Сериков кивает. Весь этот разговор происходит во время медленного, вместе с толпой, подъема по широкой лестнице на второй этаж.

— Как? Ты — спортивный корреспондент? — Вера Васильевна поражена.

— Да.

— Олег, ты же писал у меня замечательные сочинения! Лучшие в школе! Потом учился в МГУ. Я была уверена, что ты стал писателем, литератором...

Сериков разводит руками.



— Ну, Олег... Я понимаю, конечно. Но как-то я огорчилась... А помнишь, какое ты написал изумительное сочинение о лирике Некрасова?

Крик сверху, со второго этажа:

— Товарищи, всех просят скорее в зал! В зал!

## 8

В большом зале человек четыреста пионеров, комсомольцев и взрослых сидят на стульях. На эстраде что-то вроде президиума, где сидят в ы д а ю щ и е с я бывшие ученики — гордость школы.

Директор школы заканчивает свою речь:

— ...и все, все нам дороги! И за успехи всех вас мы, и учителя, и нынешние ученики, испытываем хорошую добрую гордость!

Пионерский оркестр неожиданно грянул туш. Директор резким жестом прерывает. Оркестр заткнулся. Смущенное лицо толстощекого трубача.

— У нас в гостях сегодня,— продолжает директор,— бывшие ученики, а ныне — Герой Советского Союза полковник Тарасов...— Тарасов, сидящий в президиуме, встает. Аплодисменты всего зала. Оркестр играет туш. — Поэт Викентий Морковченко! — Аплодисменты, туш.— Композитор Борис Куриц!..— Аплодисменты, туш.— Заместитель директора фабрики искусственного волокна Левиновский! — Тоже аплодисменты.— Тренер футбольной команды «Авангард» Григорий Кизяев! — Бурные аплодисменты зала, крики «ура!», топот ног.— Представительница театрального мира Мария Колесникова! — Такие же бурные аплодисменты, крики «ура!». Очень смущенная, встает Маша и что-то говорит, качая головой директору.

Сериков и Мартынов сидят в одном из первых рядов и, глядя на эстраду, разговаривают о своем.

— Как это сделать практически? — спрашивает Мартынов.

— Приходи в редакцию.

— Нет, надо где-то в нейтральном месте. Так всегда лучше.

— Приходи на футбол. Наш редактор — дикий болельщик...

Поэт Викентий Морковченко читает стихи:

...И нет еще последней даты!  
И день встает в янтарной мгле!  
Мы все птенцы, мы все солдаты  
В плывущем к звездам корабле!

Девочки преподносят поэту цветы.

Какой-то высокий, явно подвыпивший мужчина в очках проталкивается через проход на эстраду. С трудом взбирается по ступенькам. Взобрался. Улыбаясь, говорит:

— Что можно сказать о нашей школе? Много чего... И «за» и «против»... Я, конечно, буду говорить «за», потому что — ну, понятно... И вот теперь, когда мы твердо стоим на ногах...— Тут его сильно качнуло, и он едва устоял, ухватившись за край трибуны.

В зале смех. Оркестр грянул туш.

Директор что-то говорит Маше. Маша встает и идет к трибуне. Долговязый очкарик уступает ей место. Пионеры бегут за ним с цветами.

— Ребята, я окончила школу двенадцать лет назад. Давно, правда? — Крики из зала: «Да!», «Нет!» — Но, знаете, до сих пор меня берет оторопь, когда я слышу слово «химия». Почему-то я никогда ничего не могла в химии понять. Контрольные работы и экзамен по химии были для меня каким-то кошмаром. Учительница тут ни при чем. Виновата была я, одна я! Она еще работает в школе? Евдокия Леонтьевна?

— Нет,— говорит директор.

— Жалко, мне хотелось ее увидеть. Потому что лицо этой милой женщины было тоже частью кошмара. Я не могла на него спокойно смотреть. У меня все холодело внутри. Правда, правда...— Маша рассказывает так естественно и просто, что ее слушают, улыбаясь. А некоторые малыши даже смеются.— И вот, знаете, у меня

была потом сложная жизнь, были трудности, неприятности... И когда бывало очень трудно, я говорила себе: «Дурочка, ну что ты паникуешь? Ведь ты сдала экзамен по химии! Ты победила свой кошмар. Ты победила себя. Значит, ты можешь все!»

Аплодисменты. Оркестр играет туш.

Но Маша не уходит с трибуны. Когда аплодисменты стихли, она продолжает:

— Я хочу еще рассказать... Но сначала я должна узнать. Вот у вас! У вас! — Она показывает на Серикова.— Скажите: вы ничего не потеряли сегодня?

— Я?

— Да.

— Ничего... — Сериков в растерянности. — Хотя нет. Конечно!

— Что?

— Папку свою потерял.

— Ребята, потрясающая история! Сегодня я видела этого человека на улице, он меня поразил, а сейчас он тут. Ребята, это удивительно, я должна вам рассказать! Слушайте, иду я Гавриловским переулком, вижу — толпа... На третьем этаже, на подоконнике, сидит младенец лет двух, шлепает ручонками по стеклу и вот-вот... понимаете? Ужас! Никто ничего... Кричат, машут руками, один за милицией побежал... И тогда вот этот молодой человек дает мне папку — «Подержите», говорит, — как кошка взбирается до третьего этажа по водосточной трубе, влезает на балкон, оттуда по карнизу — это было совершенно жуткое зрелище...

Сериков с чугунным от смущения лицом, нахмуренный, уничтоженный, шепчет Мартынову сквозь зубы:

— Какого дьявола она все это...

— С карниза — в окно и спасает ребенка! — продолжает Маша.— Это было делом одной секунды. Потом он вышел из подъезда и, не сказав никому ни слова, мгновенно исчез. Даже забыл про свою папку. Вот каких людей воспитывает наша школа!

— Мы вас просим подняться на эстраду! — говорит директор.

В общем шуме Сериков поднимается на эстраду. Вид у него такой, точно он идет на казнь. Маша села на свое место за столом президиума, а Сериков подошел к трибуне. Оттого, что он страшно смущен, выглядит высокомерно.

— Перефразируя Марка Твена, могу сказать: слухи о моем героизме сильно преувеличены, — говорит Сериков, побледнев. — Все это вздор, было совсем не то... Домишко старый, низенький, так что третий этаж — это примерно полтора этажа... И вообще... — Махнул рукой. — Просто у нашей уважаемой бывшей соученицы богатое воображение. А двадцать лет назад в этом зале — здесь был раньше гимнастический зал — я упал с бревна и сломал ногу! — неожиданно заканчивает Сериков и кланяется.

Жидкие аплодисменты. Впечатление смято.

Сериков подходит к столу президиума и негромко спрашивает у Маши:

— Где моя папка?

— Я оставила в театре, — говорит Маша, глядя на Серикова с удивлением.

— Она нужна мне сегодня, если можно.

— Хорошо, мы подойдем к театру...

## 9

Выход гостей и школьников из здания школы в темный сад. Сначала идут гурьбой, шумно разговаривают: Сериков, Мартынов, Рая Гордиенко, композитор Боб Куриц... Голос Мартынова: «А я на этом дворе однажды таких пилюль навешал...» Другой голос: «Можно у меня собраться...» Голос Кизяева: «Пожалуйста, мы тренируемся в Черкизове... А игра — в воскресенье, на «Динамо»...»

На набережной стоят машины. Боб Куриц подходит к «Волге».

— Прошу! Кому в сторону Юго-Запада..

Садятся к нему в машину.

Кто-то подходит к «Москвичу».

— Я к «Соколу». Рая, ты со мной?.. Счастливо, ребята.

— Эй, эй! Я с вами! — кричит Мартынов.— Олег, я тебе звоню!

Сериков оглядывается. Он ищет Машу. Вон она стоит у ограды, разговаривает с морским офицером. Сериков, медленно подходя к ней:

— Так мы идем или нет?

— Идем. Одну минуту...

Сериков с независимым видом проходит вперед, останавливается, закуривает. Смотрит на здание школы в глубине сада. Окна освещены. Веселые голоса, крики, музыка из окон. Маша подходит.

— Этот парень был у нас в классе самый шпанистый... И вот, пожалуйста...

Сериков, помолчав:

— Тут недалеко стоянка такси.

— А нам близко, через мост...

Идут некоторое время молча.

Темный пустырь. Когда-то здесь был дом, его снесли. Маша споткнулась, идет с опаской.

— Возьмите меня под руку! Что вы, в самом деле?!

— Простите...— Берет ее под руку.

— Тут был дом, помните? В первом этаже аптека. А во втором жила моя подруга.

— Аптеку помню.

— Подруга умерла. Дом снесли... Какие мы уже старые, правда? Сколько воспоминаний!

— Да...

Идут долго молча. Поднимаются по гранитной лестнице на мост. Идут по мосту.

— Какой-то вы мрачный тип! — вдруг фыркнув, говорит Маша.— То молчите, как тумба, то блямкаете невразумительно — блям, блям...

— Знаете, у вас тоже есть недостатки.

— Какие?

— Вы выступали очень театрально, по-актерски и, простите меня, пошло. Зачем вообще вы вздумали это рассказывать? И я выглядел каким-то идиотом, говорил глупости...

— Вы — да, а я — нет. Я говорила очень живо.

— Но зачем? Кто вас просил? «Как кошка до третьего этажа!», «Спас ребенка...», «Мгновенно исчез!» Тоже еще!... «Ищут пожарники, ищет милиция...»

— Вы на меня действительно произвели впечатление. Сейчас-то я вижу, что ошиблась. Вместо того чтобы легко, шутливо что-то сказать, вы вышли на трибуну — с ужасающе мрачным, преступным лицом! — и понесли вздор.

— Да? Извините... — Пауза. — А не надо было вытаскивать меня на эстраду!

## 10

Подходят к вестибюлю театра. Часов около десяти вечера.

— Подождите здесь. Я вынесу...

Маша входит в подъезд. Сериков стоит у витрины, где выставлены фотографии актеров и сцены из спектаклей. Вглядывается в одну, другую фотографию — ищет Машу. Вскоре Маша возвращается с папкой.

— Пожалуйста.

— Большое спасибо. — Он берет папку. — Костюмеров тут не выставляют?

— Вот и не угадали. На этой фотографии, на заднем плане, пожалуйста. А вы язвительный!

— А! — Он подошел, смотрит. — Верно, вы...

— Всего вам доброго! Человек вы занятый и, может быть, даже хороший, но какой-то репейный.

— Точно, — кивает он. — Здорово подметили. И вам всего доброго и больших творческих успехов!

Маша выходит на улицу. Сериков идет за ней.

Он идет за ней как-то нерешительно, но вдруг ускоряет шаги.

— Хотите, провожу вас домой?

— Зачем?

— Просто так. Если хотите...

Маша пожимает плечами. Идут молча. Иногда прохожие, идущие навстречу, рассекают их.

— А вы кончали какой-нибудь художественный институт?

— Ничего я не кончала. Я самоучка.

— Ах, вот как. Талант?

— Опять язвит!

— А я снимался в кино. Мой приятель написал сценарий и устроил меня в массовку. Я там на стадионе — бурлил...

Начинается дождь. Сериков и Маша забегают в какую-то дверь. Это аптека. Никого нет, кроме продавщицы, толстой девушки в очках, читающей книгу.

— Мне как раз нужно лекарство для мамы, — говорит Маша. — Капли Зеленина у вас есть?

— Восемь копеек, — не отрываясь от книги, говорит девушка.

— А валокордин?

— Нет.

— А что-нибудь от головы? — спрашивает Сериков.

— Что — от головы?

— Ну что-нибудь... — Он покрутил пальцем. — Чтоб не болела утром. Аспирин.

— Четыре копейки, — очень недовольно говорит девушка. Посмотрев на Серикова, добавляет: — Меньше пить надо. Тогда голова не будет болеть.

Сериков с изумлением смотрит на Машу.

— Видали?

Маша засмеялась.

— Не обращайтесь внимания! У девушки, может быть, плохое настроение. Верно, девушка?

— Я, по-моему, у вас не спрашиваю, какое у вас настроение, правда же? — говорит девушка. — По-моему, это никого не касается.

— Все правильно. — Сериков протягивает чек. — Но, знаете, когда такая интеллигентная молодая красавица, читающая к тому же художественную литературу, вдруг говорит...

— А я, по-моему, вас ничем не оскорбила, — возражает девушка, подавая лекарства. — Что я вам сказала особенное? Меньше пить надо?

— Это все оттого, — говорит Сериков Маше, — что меня вытащили на эстраду. После таких штук у меня всегда вид, будто я — того... Я уж себя знаю.

— О господи! — Маша внезапно хохочет. — Какой невозможный человек! Боже, какой зануда!

Смеясь, она выходит из аптеки. Сериков идет за ней. Дождь усилился. Они снова прячутся в подъезд. Неожиданно Сериков бросается под дождь с поднятой рукой — останавливает такси. Открыл дверцу. Маша подбежала, села. Сериков садится рядом.

— Куда вас везти? — спрашивает Сериков у Маши.

— На Смоленскую.

Едут. Маша поглядывает на Серикова, пряча улыбку. Сериков сидит нахохлясь, потом вдруг обнимает Машу за плечи, придвигает к себе и как будто даже хочет поцеловать.

— Это что значит? — отстраняясь, спрашивает Маша строго, но без гнева.

— Так, ничего... — бормочет Сериков. — Мы же учились в одной школе...

— Ну, знаете! Вы — тип. То вы робеете и не можете связать двух слов, а то проявляете безумную смелость...

— Я такой, — соглашается Сериков.

Прощаются на улице возле дома Маши. Дождь все еще идет. Мокро, темно, холодно: переломный осенний



день. Промчалась машина и обдала из невидимой лужи веером брызг. Сериков положил папку к себе на макушку и старается, не трогая руками, удерживать эту хрупкую защиту от дождя на голозе.

— Может, мне позвонить когда-нибудь?

— Когда?..— Маша слегка толкает его в плечо, чтобы он потерял равновесие и папка свалилась. Но он, приседа, удерживает папку на голозе.

— А когда вы хотите?

Маша снова его толкает, на этот раз сильнее, но ему опять удается сохранить равновесие. Даже в темноте видно, как он доволен.

— Я позвоню завтра с утра. Что-нибудь придумаем,— говорит Сериков и уходит с папкой на голове.

## 11

Большая, с годами захламинившаяся коммунальная квартира из пяти комнат, где живут три семьи. В большой коридор выходят пять дверей. Здесь же в коридоре стоит газовая плита. Дом построен в двадцатых годах конструктивистами. Предполагалось, что совместная жизнь, общая кухня, общая ванная — одна на этаж, — общая уборная должны как-то объединять людей, содействовать укреплению дружбы и солидарности. Молодые люди, когда-то въезжавшие в этот дом, давно перемерли, сгнули, постарели, а их дети мечтают уехать отсюда, потому что все, что казалось конструктивистам таким простым и ясным, оказалось чертовски сложным и неудобным. Ну, разве удобно, например, трем хозяйкам готовить обед рядом, на одной плите, когда Саида Николаевна жарит цыпленка «табака», готовит к нему специальный соус, наполняющий коридор ошеломительным запахом, а Рита Львовна греет на сковородке, на постном масле, готовые манные котлетки по шесть копеек, купленные в продовольственном? Правда, Рите Львовне плевать на Саиду Николаевну, но Зинаида Васильевна,

мать Маши Колесниковой, презирает Риту Львовну за ее манные котлетки и ненавидит Саиду Николаевну с ее цыплятами «табака». Все стало сложно и нудно. Но — дом основательный, прочный, четырех этажей, разрушать его не собираются, и люди в нем живут.

В двух дальних комнатах живут Колесниковы: Зинаида Васильевна, две ее дочери, старшая Маша и младшая Кира, и больная старуха, на девятом десятке, Калерия Павловна, свекровь Зинаиды Васильевны. Муж Зинаиды Васильевны, старухин сын, умер двенадцать лет назад от ожогов, полученных при взрыве на химическом заводе. Он был инженер-теплотехник. Тогда в газете «Московская правда» была даже заметка «Вина — халатность», где об этом кратко рассказывалось: «Среди жертв один из старейших производственников Колесников С. А.». В меньшей комнате спят старуха Калерия Павловна и Кира со своим двухлетним ребеночком, а в большой — Зинаида Васильевна и Маша.

Сейчас Маша в домашнем халатике гладит. Зинаида Васильевна что-то подшивает, сидя возле стола, положив шитье на колени.

— Нет, чтоб сказать вчера! Я бы спокойно все сделала, и платье прогладила бы, и пальто закончила. Всегда у тебя как на пожар,— ворчит Зинаида Васильевна.

— Мама, но я же вчера не знала...

— Как — не знала?

— Мне позвонили сегодня утром.

Слово позвонили настораживает Зинаиду Васильевну. Если б звонил Анатолий Иванович, Маша не употребила бы безличную форму. Зинаида Васильевна подозрительно выпрямляется.

— Как? Ты идешь не с Анатолием Ивановичем?

— Нет.— Помолчав и сделав несколько ездов утюгом: — На всякий случай, чтоб ты знала: его зовут Олег Николаевич.

— Кого это?

— Ну, моего нового знакомого...

Маша уходит в глубь комнаты и, скрывшись за ширмой, снимает халат и надевает платье. Мать встает со стула. Сняла очки.

— Маша, ты меня прости, знаешь...

— Мамочка, если хочешь мне помочь,— помогай, но, ради бога, не влезай в мои дела.

— Не влезай! Очень вежливо. Художник по костюму, культурный человек, отвечает матери!

Зинаида Васильевна взволнована. Она кладет пальто на диван и быстрым шагом выходит. Маша поверх ширмы смотрит — огорченно, с досадой — ей вслед. В дверь заглядывает Кира, спрашивает с изумлением:

— Машка, что ты сделала с матерью? Отчего она кидается?

— Ничего я с ней не сделала. Просто она обиделась за Анатолия Ивановича почему-то...

— Я говорю, чтоб она погуляла с Котиком — потому что я ухожу,— так она на меня как рявкнет. Так знаешь: гав, гав! А бабушка спит...

Кира хоть и младше Маши, но выглядит независимей. Модно, ярко одета. Ей двадцать два года, но можно дать и двадцать семь и тридцать. Она худая, длинноногая, с распущенными блондинистыми волосами.

Возвращается Зинаида Васильевна, осторожно держа двумя пальцами чашечку с теплой водой. Накапывает себе лекарство.

— Мам, так я пошла,— говорит Кира.

— Стой, стой! Верни мою сумку! — кричит Маша из-за ширмы.

— Господи, драгоценность-то. Весь пассаж завален, никто не берет.— Сумка летит через комнату.— Пока!

Кира исчезла. Зинаида Васильевна с мрачной физиономией убирает шитье, лежавшее на стуле. Маша выходит из-за ширмы в платье, обнимает мать и целует ее.

— Спасибо тебе, мамочка, все хорошо, нигде не тянет. Не обижайся на меня, ладно?

— Нечего, нечего.— Мать холодно отстраняется.— Сначала грубить, а потом лизаться?

— А что я тебе сказала? Подумаешь: «не влезай в мои дела».— Старается говорить очень ласково.— Мамочка, ну действительно не надо влезать, ну, честное слово... Вот Кирка уходит так по-свински, все бросает, неизвестно с кем и куда, и ты ей ничего. А мной ты хочешь руководить. Хотя я старше Кирки на шесть лет— разве это справедливо? А, мамочка?

— Ну, что Кирка...— Зинаида Васильевна потерянно машет рукой.— С ней уж не могу... Кто этот Олег Николаевич?

— Человек. Лазает по трубе очень здорово...

— Он что, из цирка?

— Нет.

В голосе Маши вновь колкость. Материнская цензура ей досадна.

— А куда вы идете?

— Мы идем на футбол.

— Прекрасно! Дома не убрано, нет ни картошки, ни мяса, ни молока для ребенка, и— одна исчезает неизвестно куда, а другая гордо идет на футбол...

— Мама, у меня единственный свободный день. Могу я пойти куда хочу и с кем хочу?

— Можешь, можешь. Вы все можете. Только я ничего не могу...

## 12

Осенний футбол в воскресенье днем на стадионе «Динамо», когда светло, облачно, прохладно, дождя нет, он может полить, но может и миновать, сыростью тлеет земля газонов, на асфальте желтые листья, болельщики на всякий случай идут с зонтиками, военные нарядились в длинные темно-зеленые плащи, и у милиционеров, зябнущих на своих полусонных лошадках, вид какой-то виноватый и зряшный: народу мало, могли бы и остать-

ся в казармах, в тепле. Откуда в воскресенье, одно из последних перед ненастями, когда надо ехать за город, дышать лесом, копать картошку, быть народу на футболе? Да еще когда играют два аутсайдера: московский «Авангард» и «Микрон» из Нижнеуральска. Только знатоки, понимающие толк в деле, знающие, что будет истинная сеча, великая зарубаловка, в кровь и в кость — потому что решается вопрос жизни, кто победит, тот остается жить в высшей лиге, а кто проиграл, тот летит в тартарары, во вторую группу на неведомый срок, попробуй спасись оттуда, выдерись из волчьей ямы,— только гурманы, осведомленные в тонкостях, губят на футбол воскресенье, запасаются плащами, газетами, сигаретами, заряжаются, чтоб не простыть, в продмагах в уголке или в шашлычных, а некоторые сибариты, любящие получать два удовольствия сразу, берут зарядку с собой, и это иногда кончается плохо. Но — не всегда, не всегда! Изредка это кончается плохо, но чаще бывает порядок. Черным валом валят они из метро, балагурия, споря, ругаясь, торопясь, вождедея, и, когда стоишь возле метро и глядишь на эту толпу, кажется, что народу будет порядочно, но потом оказывается, что трибуны полупусты, тысяч пятнадцать — сидят кустами...

Сериков, Маша и Мартынов идут между рядами на Северной трибуне. Зрители рассаживаются.

— Сегодня народу мало, потому что играют два слабых клуба. Жуткая схватка за предпоследнее место,— объясняет Сериков.

— И на такой матч вы меня пригласили!

— Матч интереснейший. Бой скелетов над пропастью. Кто проиграл, тот летит вниз, гремя костями.

— Эй, не забудь: ты должен познакомить меня с редактором!

— Помню, помню. Имей терпение...

В тесненькой ложе прессы под брезентовым навесом, предусмотрительно натянутым на случай дождя, сидят журналисты. Как они там помещаются, бедные? Каждый

имеет право сидеть на любом месте трибун, где будет свободно — а сегодня полно свободных мест, даже на аристократическом «севере», — но им надо жаться вместе, ощущать друг друга плечами, затылками, локтями, обсуждать, оценивать, быть настороже, а все это возможно только там, в тесной клетке под брезентовым навесом. Он и сам сидит там обычно, втискиваясь между толстым Абрамовым и задумчивым Феликсом, но сегодня он не один. Он проходит низом мимо ложи прессы, жестом руки и слабой улыбкой приветствуя сидящих там приятелей, а те сверху следят за ним, за его спутницей и за Мартыновым, плетущимся сзади. Игра еще не началась, внимание рассеяно, надо же на что-то смотреть и о ком-то злословить. Разговор там примерно такой: «А Сериков-то, а?», «Ну, ну!», «Человек в порядке!», «Наш скромный-то Сериков...», «А она ничего», «Кто такая?», «Узнаем завтра», «Смотрите, у них заявлен Фролов под седьмым, но это явно не Фролов!», «И наглец: прошел мимо, даже не поздоровался», «Нет поздоровался, сделал ручкой», «Это самый настоящий Фролов, к вашему сведению», «Где Фролов?», «Седьмой Фролов!», «Нет, все-таки наглец — приходит с такой девицей на футбол и не знакомить»...

Сериков подымается по проходу рядов на десять выше брезентовой крыши, постилает на сырую скамейку газету, и Маша, придерживая под коленями плащ, садится на нее. Поодаль, чуть пониже, сидит Грачев: Сериков замечает его серую шляпу и голубоватый плащ. На коленях у редактора зонт и бинокль в футляре. Рядом с Грачевым кто-то очень солидный, начальственного облика, тоже в плаще и в шляпе, но в зеленоватых тонах. Серикову неохота в воскресный день попадаться начальству на глаза. Надо же когда-то отдохнуть друг от друга. Но Мартынов не унимается. «Где же твой Грачев?» Проще всего сказать: «Что-то не вижу». Но Сериков слишком поздно сообразил, что можно невинно солгать, и говорит ворчливо, ткнув пальцем: «Да вон

он сидит!» Все трое, забрав влажные газеты, спускаются вниз к Грачеву.

— Роман Романович, дадим в хронику? Или двадцать строк? — спрашивает Сериков.

— А это поглядим. Как сложится.

— Если наши черти не выиграют!.. — сосед Грачева трясет кулаком.

— Как можно? Обязаны выиграть, — говорит Грачев. — У Кизяева сегодня последний шанс.

— Роман Романович, познакомьтесь, пожалуйста: Мария Сергеевна... Мартынов... Мои школьные друзья...

— Очень приятно, не будем отвлекаться. Садитесь, садитесь, школьные друзья! — Грачев, уже нервничая от того, что началась игра, жестом предлагает Маше место рядом с собой. Но туда проворно плюхается Мартынов.

Игра сразу пошла «в кость». Нападающий «Микрона» на первой же минуте захромал, отковылял на обочину, на ту узкую полосу травы, что между боковой линией и гаревой дорожкой, и вот уже к нему мчится что есть мочи — и как всегда на потеху зрителям — толстенький доктор с чемоданчиком, присаживается на одно колено, что-то быстро делает с ногой футболиста, нога лежит как бы отдельно от футболиста, вытянутая на траве драгоценность, живущая своей жизнью, умирающая в одиночестве, обладающая чудесной силой и такая беззащитная и жалкая, только кожа и кости, бедная человеческая плоть. Нога лежит неподвижно, в глубоком обмороке, в то время как футболист дергается, сидя на траве, чуть отклонившись назад, опираясь на руки. Наверное, делают укол. Это больно.

— Ничего, сейчас побежит как миленький, — говорит Грачев.

— А ничего там нет, — говорит его сосед. — Просто темп сбивают.

Зрители свистят, недовольные судьей, который не дал штрафного. Смотреть с Грачевым футбол, когда играет «Авангард», тяжело: он становится раздражителен, тол-

кает локтем, иногда вдруг с такой силой шаркнет ногой, точно сам хочет нанести удар по воротам. Всем известно, что, когда проигрывает «Авангард», Грачев приходит в редакцию желчный, усталый, и в такие дни лучше к нему не соваться. А вообще-то, если не считать футбольного завихрения, человек он вполне умеренный и спокойный. Психологический ребус! Серикову долго казалось, что тут показное, дань моде, вроде охоты с егерями или Карловых Вар, куда ездят не для лечения, а потому, что «все ездят», но потом понял: тут все чисто. Человек страдает. Ничего не может поделать с собой. Однажды был гипертонический криз после какого-то авангардовского краха.

А куда лучше было бы сидеть без начальства и без Мартынова где-нибудь наверху, в ряду примерно двадцать восьмом, и чтоб на скамейке никого, все далеко внизу, и можно разговаривать о чем угодно, обнять за плечи и, если начнется дождь, накрыться одним плащом. Он как бы случайно прикасается рукою к Машинному бедру. И как бы в забывчивости не отнимает руку. Через мгновение она накрывает его пальцы ладонью.

— У вас холодные пальцы, — говорит она.

— Я волнуюсь, — отвечает он.

— Отчего же?

— Я болею. За «Авангард». Там Кизяев из нашей школы. Помните, вы сидели с ним в президиуме?

— А! Только поэтому?

Он поворачивает свою руку ладонью кверху и просовывает пальцы между ее мягкими пальцами, прижимает ее ладонь к своей, ощущает влажные ложбинки между ее пальцами. Она шепчет:

— Ведите себя прилично... Слышите?

В это время Грачев сильно толкает его коленкой и вскрикивает: «Ах черт!» Футболист, которому сделали укол, уже пляшет на обочине, пробуя ногу, делает два приседания и бежит в поле. Зрители снова свистят. Теперь свистят сторонники «Авангарда», недовольные тем,



что травмированный так быстро поправился и, стало быть, темнил и выпрашивал штрафной. Рука Маши продолжает оставаться в полном владении Серикова. И не делает попыток освободиться. Тыльной стороной своей кисти, костяшками пальцев он все время ощущает твердость бедра. Грачев хрипло говорит: «Дайте сигарету, Сериков!» — и вдруг с силой шаркает ногой, и каблук его ботинка очень сильно ударяет Серикова по щиколотке. Серикову хочется потереть больное место, но он не отнимает своей левой руки, лежащей на Машином бедре и сжимающей ее пальцы, а правой рукой, неудобно изогнувшись, ухитряется достать из левого кармана пиджака сигареты для Грачева. При этом ему удается потереть большую щиколотку носком ботинка другой ноги.

— Курите! — говорит он.— И не дрыгайтесь.

— Извините. Откуда этот судья Рафаловский?

— Из Минска.

— Зачем же соглашаться на Минск? Вот портачи! Их всегда в Минске калечили, и вообще, что это за фигура...

— Рафаловский в этом сезоне судит неплохо,— твердо говорит Сериков, слегка расслабляя руку. Через несколько секунд он чувствует, как Машины пальцы сами начинают сжимать его ладонь.

— Да ну! Зря, зря на него согласились... И Толмаченкова нет. Он что, болен?

— Просто Кизяев его не ставит. Считает, что Гуслин лучше,— говорит Сериков.

— О господи! Ну что с ними поделаешь, а? Как им долбить, что не беготня важна, а мозги, соображение? Ведь этот Гуслин — тупая сила, бей-беги, и ничего больше!

— Я Кизяева предупреждал,— говорит сосед Грачева,— чтоб они обратили, понимаете, внимание на края. Совсем перестали краями играть.

— Да ну их! Им что говори, что не говори... Лодыри... Ну, гляди, что делают? Ах, паразиты...

Вратарь «Авангарда» с трудом взял мяч. Грачев даже закрыл глаза. Открыл — вытирает платком пот со лба.

Бегут стрелки часов на электротабло.

Сериков смотрит игру и делает записи в блокноте.

Грачев переживает: «Ах... Ой!» Вынимает из карманчика капсулу с лекарством, глотает пилюлю. Шум стадиона — и на электротабло вспыхнуло 0:1. Ведет команда Нижнеуральска.

— Что за защита? — слабым голосом говорит Грачев. — Откуда он их набрал?

Снова взрывается шум на трибунах. На электротабло загорается 0:2 в пользу «Микрона».

Грачев потерянно машет рукой.

— Все... Развалил команду...

— Роман Романович, есть еще время — отыграемся, — говорит Мартынов.

— Конечно! — говорит Маша. — Не будем падать духом.

Сериков молча записывает.

— Команды нет — понятно? И ждать нечего... — дрожащим от гнева и обиды голосом говорит Грачев. — Кизяева надо гнать, эту бездарность, этого болтуна!

— Причем гнать немедленно! — добавляет сосед Грачева.

— А, все равно сезон пропал...

— Надо было раньше гнать. После первого круга.

— Кизяев — тренер неплохой. Он же сделал «Шинник», — вступает в разговор Сериков. Глупость. Но не мог сдержаться.

— Трепач он, а не тренер! — с яростью отвечает Грачев. — Устроил в команде говорильню! Все умники, все рассуждают, а работать на поле никому... Идиот ваш Кизяев! Наш гардеробщик Потап больший тренер, чем Кизяев!

— Пенальти, пенальти! — вдруг радостно восклицает сосед Грачева.

На поле — свара, уральцы протестуют, окружили судью. Но судья неумолим.

— Хоть пенальти забейте... — бормочет Грачев.

— Пенальти-то был сомнительный, — говорит Сериков Маше. — Можно было и не давать.

— Что вы его слушаете? Он же ничего не понимает в футболе! — распалясь, кричит Грачев.

Маша, улыбаясь, смотрит на Серикова.

Гол забит. Грачев аплодирует.

— Bravo, ребята! И сквитали сразу! — Толкает Машу локтем. — Хлопайте, дама, хлопайте!..

В перерыве Сериков быстро сбегает по проходу вниз, идет под трибуны — в раздевалку. Вахтер его не пускает, он показывает удостоверение. В раздевалке игроки отдыхают, некоторые переодеваются, другие пьют чай с глюкозой. Полулежат, развалившись, в креслах. Кизяев в тренировочном костюме расхаживает по комнате. Идет нервный разговор.

— Всю игру простояли! И ты, Дима!

— А что мне — больше всех надо? — грубо отвечает парень, которого Кизяев назвал Димой.

Кизяев остановился, смотрит на Диму. Тот, не моргнув, отвечает наглым взглядом. Видно, что отношения накалились давно. Кизяев сдержался, заставляет себя говорить спокойно.

— Вы понимаете: бывают минуты, когда надо пересилить себя... Надо прыгнуть выше головы! Вот сегодня... Если даже будет ничья, мы почти наверняка летим в класс «Б». А вы знаете, что это такое... Значит, надо отдать все!

— Это вам надо, а нам — без разницы, — бормочет Дима.

— Кончай, Димка! — обрывает его один из игроков. Кизяев вдруг замечает Серикова.

— Здравствуйте, Гриша, — говорит Сериков.

Кизяев смотрит, не узнавая.

— Мы недавно виделись. В школе, помните? Вы приглашали зайти. Я — из «Московских новостей»...

— А! Знаете, сейчас не очень... После игры, хорошо?

— Ладно. Можно и так.

Сериков выходит.

Во втором тайме начинается дождь.

Бежит стрелка на электротабло. Счет прежний — 1:2, проигрывает «Авангард». Многие зрители уходят. Игроки бегают из последних сил. Маша, Сериков и сосед Грачева спускаются вниз и становятся под трибуну, где столпилось человек пятьдесят, досматривают игру. Но Грачев раскрыл зонт и продолжает сидеть. Мартынов придвигается к нему, подсовывает голову под зонтик. Делает это деликатно и, пожалуй, без пользы, ибо все тело осталось под дождем, но, главное — близость достигнута. Жестикулируют, разговаривая, как два давнишних приятеля.

После матча проходят измученные футболисты. Милиционеры сдерживают толпу, образовав коридор для спортсменов. Крики зрителей:

— Молодцы, уральцы!

— «Авангард» на мусор! Пеночкики!

— Кизяева на мыло!

Свист...

Сериков жестом прощается с Машей и идет под трибуны в раздевалку. Мартынов и Маша уходят. В толпе, стремящейся под трибуны, теснятся и Грачев со своим другом, оба мрачные, хмурые.

В раздевалке сосед Грачева громко вопрошает Кизяева:

— А почему Толмаченков не играл? Почему Слепченко не поставили?

— Товарищ Васин, вы начальник управления — да? Но я же не учу вас, как надо управлять...

— Вы загробили команду!

— В таком тоне я разговаривать не желаю.

— Совсем краями перестали играть! Почему не играете краями? Вот редактор «Московских новостей», он болеет за наш клуб двадцать пять лет, и он мне сегодня сказал: «В таком маразме я команду еще никогда не видел!»

— Да, да. Придется нам выступить, — кивает Грачев. — Сериков, где вы?

— Я здесь.

— Готовьте статью. Надо спасти клуб, надо поднять общественность...

Кизяев смотрит на Серикова. Вдруг усмехается:

— А я и забыл: в футболе теперь все понимают...

### 13

Дора стучит на машинке. На стуле возле обитой дерматином двери сидит посетитель, ожидающий приема. Входит Мартынов, подтянутый, деловой. Вежливо кланяется Доре.

— Добрый день! Роман Романович у себя?

— Да. — Дора отвечает, не поднимая глаз. — Он занят.

— Я подожду.

Мартынов садится в кресло.

— Вы по какому делу, товарищ?

— Меня, собственно, Роман Романович просил зайти часа в два. (Небрежно выкинув левую руку локтем вперед, так, чтобы заголилось запястье, Мартынов глядит на часы.) Мы вчера виделись...

Дора окинула Мартынова быстрым взглядом. Говорит, несколько смягчившись:

— Посидите немного. Роман Романович сейчас освободится. Может быть, сказать, что вы пришли?

— Ничего, не беспокойтесь.

— Вы будете за мной! Я тоже к редактору, — сердито говорит посетитель с портфелем.

— Пожалуйста! Ради бога... — Усаживается поудобней, закуривает. Затем дружелюбно и по-свойски, точно знает ее пятнадцать лет, обращается к Доре: — Вчера с Роман Романычем дали жизни под дождем! На футболе. Промокли, озябли — ужас. Хорошо, у Роман Романыча был зонтик, так мы под ним вдвоем, как сиротки, смех...

— Да что вы говорите? Да, да, да, — кивает Дора, глядя на Мартынова с возрастающим интересом. — Ой, Роман Романович такой болельщик...

Открылась дверь кабинета, появился Грачев, провожающий посетителя. Обмениваются рукопожатиями. Посетитель уходит. Грачев, стоя в открытых дверях и держась за ручку, бегло осматривает приемную, сидящего посетителя, вскочившего и кивающего издали Мартынова и, не обращая на все это никакого внимания, говорит Доре:

— Вызовите ко мне Синилина!

— Приветствую, Роман Романович! — улыбаясь, говорит Мартынов, подступая к Грачеву и явно намереваясь протянуть ему для рукопожатия руку. Но Грачев не выказывает желания переменить позу: его правая рука твердо держит дверную ручку.

— Слушаю вас? — сухо осведомляется он.

— Ну, как вы?

— Что именно? Вы ко мне? — неожиданно обращает Грачев к посетителю с портфелем и делает приглашающий жест.

Оба скрываются за дверью.

Бедный, простодушный Мартынов! Ведь предупреждали его, что Роман Романович на стадионе совсем другой человек, и тот, кто знакомится с ним на стадионе, знакомится с тем, другим, а не с ним, настоящим. Хотя кто знает: где настоящий? Озадаченный, садится Мартынов в кресло, потирает щеки, соображает, мыслит.

Дора, для которой он мгновенно превратился в табуретку, стучит на машинке.

## 14

Сумерки осеннего дня.

Сериков полулежит на диване, нога на ногу, с удобством. Маша сидит рядом, смотрит в окно.

— А кто на гитаре играет?

— Папа играл. Он очень хорошо играл... — Маша сняла гитару со стены, взяла несколько аккордов. — Если б папа был жив, все у нас было бы иначе.

— Он когда умер?

— Уже десять лет прошло. Мне было тогда ровно двадцать. Я была тогда такая дура.

Она засмеялась. Стала что-то наигрывать.

— Почему?

— Так... Но — счастливая дура! Мне так нравился мой муж...

— Покажите фотографию.

— А нету. Мама все выкинула. Она же его выгнала, бедного, — у меня бы не хватило решимости...

— Как — выгнала? Вы говорили, что она его любила.

— Нет, она любила Владика, моего второго мужа, с которым я теперь разошлась. А Германа она ненавидела...

— А Владика любила?

— Очень. И до сих пор любит. Ругает меня, называет идиоткой за то, что я оставила такого замечательного мужа...

— Вот этого Владика?

— Да, да! Про Германа забудьте. Герман — это давно прошедшее прошлое. Плюсquamперфектум.

— Хорошо, про Германа постараюсь забыть. А про Владика буду помнить.

Сериков обнял Машу, привлек к себе. Сидят молча. Входит Зинаида Васильевна.

— Почему темно? Маша!

— Да?

— Ах, ты дома?.. Кто с тобой? — Зинаида Васильевна зажигает свет.

— Познакомься, мама. Это — Олег Николаевич, о котором я говорила.

Зинаида Васильевна изображает приветливую улыбку. Но в глубине ее — неприязненность.

— Что же ты, дочка, не угощаешь гостя чаем? — Во-

прос чисто формальный, и Зинаида Васильевна тут же подчеркивает эту формальность, переводя разговор на другое: — А бабушка ходила в химчистку? Кира дома?

— Бабушка, кажется, ходила. Кира дома. — Маше не нравится формальность тона, хорошо ей знакомого, и она немедленно реагирует: — Так я пойду поставлю чайник!

Мгновенная месть. Мы и не собирались пить чай, но коль вы с первой же секунды берете такой тон, мы будем отвечать решительно. И еще возьмем коробку конфет, припрятанную в буфете.

— Спасибо, я ничего не хочу, — говорит Сериков.

— Нет, нет! Чай будем пить обязательно! — Маша направляется к двери, но Зинаида Васильевна останавливает ее:

— Владик звонил утром.

— Откуда? — Маша изумлена.

— Из Норильска.

— Зачем?

— Просто спрашивал, как ты поживаешь. Сказал, что там сорок два градуса мороза.

— Очень мило. — Маша выходит.

Зинаида Васильевна устало села к столу.

— Вы, кажется, корреспондент, Олег Николаевич?

— Да.

— Вот бы хорошо пропесочить наш мясной магазин. У них обед с часу до двух. Так они каждый день без четверти час закрываются, такое безобразие. И отвечают грубо.

И в этом — тайная задиристость и хорошо замаскированное ехидство. Но Сериков, еще не разобравшись, что за существо сидит перед ним, принимает это за простодушие.

— У нас есть специальный отдел: «Как вас обслуживают». Я-то в другом отделе...

— Понимаю. Да, да...

Входит Маша, держа в одной руке чайник для заварки, другой неся Котика, сына Киры.



— А вот и мы. Это наш Котик.

— Кира уходит?

— Кажется, да.

— Кира! — кричит Зинаида Васильевна и стучит кулаком в стенку. — С Котиком, конечно, не гуляла...

Открывается дверь, высовывается лицо Киры.

— Ну что? Здравьете!

— Куда ты собралась?

— Я же тебе говорила: у меня вечерняя работа. А с Котиком Машка погуляет, она обещала. Мам, твоя кофточка покрасилась — просто чудо! Пока! — Исчезает.

— Мама, что тебе сказали врачи?

— Плохо... — внезапно слабым голосом отвечает Зинаида Васильевна. Неизвестно, что ее так сильно удручило: то, что сказали врачи, появление Серикова или уход Киры. — Сказали, очень запущено. Надо делать просвещение. Проверить кровь. О господи, скучная материя...

— Хорошо, сделаешь, проверишь. Ничего страшного ведь не сказали... Мама, что с тобой?

Маша садится рядом со стулом Зинаиды Васильевны на корточки и, продолжая держать правой рукой Котика, левой обнимает мать. Зинаида Васильевна вытирает пальцами глаза.

— Я знаю, Маша... Знаю, что это значит...

— Не говори глупостей. Мама!

— Куда Кира пошла? — плачущим голосом говорит Зинаида Васильевна. — Бедные девочки, вы останетесь одни! Как вы будете жить без меня?

— Перестань сейчас же! Олег Николаевич, можно вас попросить... Вон там, за дверью, флакончик...

Сериков бросается к двери, но тут входит с чайником старушка Калерия Петровна. Она совсем согнута, головка трясется, но сморщенное, почти восковое личико улыбается ясно, добро.

— Чайку, чайку! Зина, чайку...

— Мама расстроилась, — шепчет Маша бабушке. — И Кирка тоже... Куда она ушла?

— Зачем расстраиваться? Глупое дело. Мужиков нет, одни бабы живем, вот и расстраиваемся... — говорит старушка, обращаясь к Серикову. Улыбаясь, трогает Котика.— Вот у нас мужичок. Один на всех. Мужичок, а мужичок? — Смеется старушка, смеется младенец.

## 15

Белым днем ранней зимы Сериков и Маша идут по аллее парка в Архангельском. Навстречу попадают экскурсанты, но их немного: холодно, ветер, чернеет земля, пусты деревья.

Когда двое идут куда-то в холод, в ненастье, значит, они нужны друг другу. Еще ничего не сказано, но что-то уже сказано ветром и холодом. Вот они стоят на площадке, на юру, возле балюстрады со скульптурами и зябнут, кутаются в шарфы, ежятся от дующего снизу, от реки, ледяного предзимнего ветра, но — не уходят. Разговаривают, шевеля посиневшими губами.

— И вы его не видите?

— Редко... Она говорит: ты не должен к нему прикасаться, ты сделаешь из него такое же пустое существо... Знаете, поневоле задумаешься: а вдруг ты и вправду пустое существо?

Сериков смеется.

Маша смотрит на него пристально. После паузы говорит с неожиданным волнением:

— Какой же надо быть недоброй...

— Нет, она добрая. Вполне добрая. Просто ненависть не связана ни с добром, ни со злом...

Это очень много для него — такая откровенность. Поэтому он вдруг замолк, насупился. Маша вздохнула.

— Какие-то мы с вами недотепы...

— А у других, думаете, лучше? — Сериков махнул рукой. — То же самое примерно... — Помолчав: — Замерзла?

— Ага...

Сериков стучит обеими руками по Машиным плечам,

согревая ее. Она в шутку тоже стала стучать по его плечам. Толкаются, как два мальчишки. Вдруг Маша толкает его так сильно, что он падает в снег. Он вскакивает и хочет броситься на нее, но — навстречу идут иностранцы...

Сериков и Маша идут дальше. Внезапно он дает ей подножку — она падает как подкошенная. Оба давятся от смеха.

— Нечестно!

— А не надо было...

Он взял ее под руку. Идут пристойно.

Навстречу — туристы с рюкзаками.

— У нас сегодня собрание, а я отпросилась. Сказала, что повезла маму в больницу... Нехорошо?

— А я сказал, что еду в Черкизово...

Подходят к деревянному павильону, где продают горячий кофе, бутерброды, коньяк. Туристы стоят возле высоких столиков, балагурят, пьют, закусывают. Лохматая дворняжка слоняется тут же. Туристы, стоя кружком, что-то поют под гитару.

Сериков и Маша пьют горячий кофе из бумажных стаканчиков. Прислушиваются к пению.

Мешает транзистор, работающий рядом. Пара пожилых краснощеких путешественников, вероятно муж и жена, одетые по-походному, пьют кофе, жуют колбасу и делают вид, что слушают музыкальную передачу по транзистору.

— Отлично поют ребята, — говорит Маша. — Но эти дураки с транзистором... Я им скажу!

— Не надо.

— Но ведь они нарочно!

— Бог с ними. Это — склочники, я вижу...

Подождав полминуты, Маша вдруг делает движение к пожилой паре, но Сериков удерживает ее за руку.

— Я вас прошу!

— А что особенного? — шепчет Маша.

— Начнется скандал...

— Боятесь?

— Не боюсь, но — зачем? Это же зубры коммунальной квартиры... Он все понял и только ждет, чтобы вы открыли рот.

Пауза. Маша вдруг не выдерживает и говорит громко:

— Простите, пожалуйста! Товарищи! Можно вас попросить — чуть потише?

— Пожалуйста, — говорит мужчина и выключает транзистор.

Маша с торжеством смотрит на Серикова.

Слышно, как ладно, тихо поют ребята под гитару.

Потом Сериков и Маша едут в пустом ночном автобусе. Дремлет кондукторша на переднем сиденье. Спит пьяненький на плече толстой задумавшейся бабы. И они двое: сидят рядом и смотрят в разные стороны, в стекла, где отражаются их лица.

## 16

Началось странное: все, из чего состояла жизнь, все ее голоса, движения, цвета, запахи приобрели как бы второе значение, другой смысл. И это другое неизбежно приклеивалось ко всякому предмету, как тень. Идет, например, Сериков по улице мимо магазина «Электротовары», видит в витрине — мельком, на секунду — торшер немецкий, желтый стакан в пупырышках, и тут же приходит в голову: «А хорошо бы поставить такой возле дивана! И вечерами читать вслух книгу. Бунина например...»  
Дождь пошел, и сразу вспоминается: схватил за руку, потащил вниз, под трибуну, где вставляли на цыпочки, чтобы через головы и плечи видеть поле. Она даже подпрыгивала, а он слегка поддерживал ее за талию. Ей не так уж нужно было видеть поле, но хотелось подпрыгивать, чтобы он поддержал. И он это понимал. И еще понимал то, что она тоже все это понимает. Вот что такое дождь. Садится в метро и видит напротив старичка, который разговаривает с соседкой, пожилой женщиной, и тут же мысль? «Был бы у ее матери такой же вот ста-

ричок...» В Лужниках, на футболе, смотрит, как играют, один у ворот промедлил, заковырялся, вратарь к нему кинулся, отнял мяч, и: «Нельзя медлить, нельзя задумываться, если есть шанс. А то — отнимут»...

Лужанский и Сериков разговаривают, стоя посреди комнаты секретариата редакции. Разговор на ходу: оба нацелились идти в разные стороны. Секретарша Дора прислушивается к разговору.

— Где статья об «Авангарде», о тренере и обо всей этой, прости меня... — Лужанский понизил голос до шепота, — футбольной хреновине?

— Что?

— Статья, говорю, где? Роман Романыч с меня же голову снимет, если статьи не будет. Перед отъездом в Венгрию пять раз напоминал: футбольная статья, футбольная статья! Ты же знаешь, какой это фанатик.

— Да, да. Знаю!.. Мне надо еще раз в Черкизово съездить... Ты понимаешь, с этим Кизяевым, тренером «Авангарда», мы учились в одной школе... — Каждое слово приобрело тень, новую удивительную тень, и Сериков всматривается в эти тени. Утомительно и странно. — Правда, разница у нас лет семь... Но это не важно...

«Конечно, не важно — радостная мысль-тень. — Количество прожитых лет не значит ничего. Важно то, что впереди»...

— Ну и что? — нетерпеливо говорит Лужанский.

— Ничего. Мужик он неплохой. Там все не так просто...

— Ну, сделай, сделай! Не философствуй, а сделай! — Лужанский убегает.

Сериков с задумчивостью глядит ему вслед.

— Олег, что с тобой происходит? — спрашивает Дора.

— В каком смысле?

— Ты какой-то чудной. Как будто выиграл по лотерее стиральную машину...

— А что? Заметно?

- Что именно?
- Ну вот — что выиграл по лотерее?
- Очень. Просто кидается в глаза.
- Хм? Разве? — в замешательстве почесывает затылок. — Послушай, как там с квартирами?
- Скоро, скоро...
- А я там стою — железно?
- По-моему, да. — Помолчав. — Только не женись, ладно? Умоляю тебя: не женись.
- Да? — Заинтересованный, он подсаживается к ее столу. — А я как раз...
- Не надо, Олег. Ты же в них не разбираешься, опять будешь мучиться. Небось какая-нибудь актриса?
- Нет. Но из театра.
- Ой, пропал парень!
- Дора, она совсем не то, что ты думаешь. И внешне — так, ничего особенного...
- Ой, ой... — Дора сокрушенно качает головой. — Делаешь глупость! Зачем тебе опять влезать в кабалу. Поживи ты на свободе годика три, четыре... — Звонит телефон. Дора снимает трубку и — другим, металлическим голосом: — Слушаю вас? Кто? Сейчас, одну минуту. — Нажимает кнопку, соединяющую ее с кабинетом Грачева. — Человек ты слабовольный, и как только женишься... Роман Романович, вас товарищ Курлянский... Становишься подкаблучником. И женщины это чувят. Говорю тебе, как твоя старшая сестра. Как твоя тетка. Наконец, как бывшая комсомолка, которая состояла с тобой в одной комсомольской организации.
- Пока, моя крошка! Я тебя люблю! — Сериков посылает Доре воздушный поцелуй, идет к двери. — Я поехал в Черкизово, к Кизяеву...

Кафе. Полдень. За столиком сидит Сериков и его девятилетний сын Вовка. Перед Сериковым графинчик, бу-

терброд на тарелке, а Вовка пьет чай и ест пирожное. Вовка — худенький, темноглазый с нежно-смуглым и каким-то очень серьезным, даже суровым лицом. Оба говорят тихо.

— Я не мог — понимаешь, папа? — не мог его записать, — говорит Вовка трагическим шепотом. — А она сказала Надежде Васильевне...

— Кто?

— Кирьянова. Которая с ним сидит. Чей мешок.

— А! Он гонял ее мешок? — Сериков делает ударение на слове «ее». — Понятно. А мешок-то был пустой или с чем-нибудь?

— С тапочками.

Сериков кивает. Пауза. Оба углубленно размышляют. На столе рядом с Вовкой лежит красивая большая коробка «Настольный футбол», и Вовка иногда бросает на нее быстрые взгляды, но видно, что сейчас его заботит другое. С ожиданием он смотрит на отца.

— Видишь ли, вообще-то отнять у девочки мешок с тапочками и гонять по классу — дело глупое. Ты б ему дал по шее, и — все дела. Но записывать... А что, у дежурных специальные такие тетради?

— Да.

— Ну — и что же Надежда Васильевна?

— Она меня ругала. И записала в дневник, что я плохо дежурил. Но я не мог, папа, не мог — ведь он же мой самый настоящий друг!

Сериков выпивает рюмку, закусывает, потом говорит решительно:

— Ты должен был дать ему по шее.

— Я хотел, папа...

К столику подходит мать Вовки, молодая, несколько безвкусно и неряшливо одетая женщина. Движения ее напряженно быстры. Она улыбается. В руке держит тяжело нагруженную авоську: там хлеб, яблоки, молоко. Очевидно, Серикову разрешено было разговаривать с сыном короткое время: пока будут совершаться покупки.

— Вова, пойдём! Мне надо еще в два места...

— Сейчас. — Вовка поспешно доедает пирожное, пьет чай. Мать смотрит на него, продолжая стоять возле столика и держа на весу авоську. Сериков протягивает руку, чтобы взять у нее авоську, но мать Вовки молча отстраняется.

— Скорее, скорее, Вова! — говорит она. Взгляд ее упал на игру «Футбол». Взяла коробку, рассматривает, и улыбка на лице приобретает выражение презрения и злобы. — О господи! И тут... — Она усмехается. — Могут быть войны, землетрясения, эпидемия холеры, а твой бывший папочка будет ходить на футбол — правда, Вова?

— Правда, — испуганно шепчет Вова.

— Ну, забирай это добро и пошли.

Вовка и Сериков поднимаются.

— Дай сумку, я донесу до метро! — говорит Сериков.

— Не нужно. Ты, пожалуйста, не задерживай эти семьдесят рублей, потому что я хочу скорее купить ему тулупчик. — Помолчав. — Говорят, в конце ноября начнутся морозы. — Снова пауза. Они идут по улице. Сериков и его бывшая жена впереди. Вовка сзади. — Я понимаю, тебе сейчас трудно, ты тратишься на актрис. Но Вовке необходимо теплое. Моя приятельница видела тебя с ней в театре. Ты был с цветами. А я вспомнила, что ты мне — матери твоего ребенка — никогда в жизни не подарил цветочка!

— Неправда. Я тебе много раз дарил цветы, — говорит Сериков.

— Никогда! Никогда ты не дарил мне цветов. Ни разу в жизни! — пылко возражает она, совершенно искренне веря тому, что говорит. — Но я хочу с ней встретиться и рассказать ей, какой ты на самом деле. Ведь ты очень ловко умеешь притворяться. Ты можешь быть таким милым, таким мягким, не от мира сего. А на самом деле ты же чудовищно равнодушен ко всему. Человек с твоим характером не имеет права заводить семью, детей. И даже актрис! Я ей все расскажу!



— Что ты ей можешь рассказать?

— Я знаю что. Мне просто жалко женщину. Я от тебя страдала, теперь она будет страдать — зачем же? Нет, я обязательно с ней встречу. Да, но ты не задерживай семьдесят рублей... потому что... — Она замолчала, кусает губы. Из глаз ее полились слезы. Идут молча. Неожиданно она поворачивается, выхватывает из рук сына коробку «Настольный футбол» и со словами «Проклятая дрянь!» бросает коробку в мусорную урну.

— Мама! — вскрикивает Вовка.

— Уйди от нас! Не ходи за нами! — рыдающим голосом говорит мать Вовки Серикову. Она тянет сына за руку, они быстро уходят. Сериков останавливается, смотрит им вслед.

Навстречу едет такси с зеленым глазом. Сериков поднял руку. Такси останавливается. Сериков сел рядом с шофером и — молчит. Тяжело задумался. Выждав минуту, шофер спрашивает:

— Так... Куда же?

## 18

— Да! — Он очнулся. — Едем в Черкизово...

Сериков идет по территории стадиона в Черкизове. Проходит спортивный зал, где занимаются гимнасты. Выходит из зала, что-то спрашивает у встречных. Встречные пожимают плечами.

Холодный солнечный день. На траве лежит иней.

На стадионе, на беговых дорожках, проходят какие-то соревнования. Зрители сидят на трибунах. Но — странная тишина вокруг. Смирно сидят зрители. Только видно, что зябнут, кутаются в пальто, в куртки. Некоторые женщины замотали головы шарфами. Сериков подходит к одному из атлетов — тот натягивает шерстяной голубой костюм — и спрашивает:

— Вы не знаете, где тренировочное поле футболистов? Атлет пожимает плечами и уходит, ничего не сказав.

Сериков с удивлением смотрит на этот молчащий стадион, полный людей и какой-то беззвучной, как во сне, жизни...

Сериков идет дальше. И вдруг — навстречу ему по дороге идет Кизяев, с ним трое молодых парней.

— Григорий! — радостно кричит Сериков. — А я вас ищу!

— А! Здравствуйте...

Кизяев остановился. Парни тоже остановились.

— Что же вы тянули резину? Хотели неделю назад приехать...

— Да все никак вот...

— Ну, и опоздал теперь.

— Почему опоздал?

— А потому — сняли меня. Больше я не тренер «Авангарда»... — Усмехнувшись, кивает на мрачно потупившихся ребят. — Ребята вот почему-то недовольны, хотят протест писать...

— У вас сейчас есть время?

— Время? А как же. Я теперь человек свободный. Чего другого, а этого добра...

Сериков и Кизяев гуляют по аллеям.

Они остались вдвоем — ребята ушли. Проходят мимо площадки, на которой мальчишки гоняют мяч.

— Все это плешь, что вы говорите... Я бы в другой город подался, да обоз у меня большой — детишек трое... Хотя — везде одно и то же, правду сказать! — Кизяев махнул рукой. — Везде очки требуют...

— Но почему все-таки?

— Почему, почему! — с раздражением говорит Кизяев. — Почему мужья с женами расходятся, знаешь?

— По-разному это...

— По-разному-то по-разному, да суть одна. Кончилась одна маленькая малость, одна штучка-закорючка — любовь называется. И вся игра. Не потому мы разо-

шлись — я и мои шефы, — что у меня характер дурной, а он, может, и дурной, не спорю, а потому, что любовь кончилась. Верней сказать: они в футболе одно любят, а я совсем другое. Им очки нужны — и ничего больше. А мне — больше. Как выигрывать? Какими средствами? Какими людьми? Я пришел к ним в начале сезона. У меня было полгода, так? А нужно — три, чтобы слепить что-то путное, но у них терпение — пшик... Как всегда..

— Вот об этом я и пишу.

— О чем?

— Вот — об очковой мании. О том, что не хватает терпения...

— Ничего этого не надо писать! — сердито говорит Кизяев. — Миллионы людей хотят очков! Все эти крикуны, горлодеры с трибун, метатели бутылок, сидельцы у телевизоров, вся страшная рать болельщиков — и ваши писатели тоже, артисты, вся шатия-братия — хотят очков, очков, и ничего больше. И плевать им на то, каким способом очки добываются. Вот что! Ты понял?

— А если попытаться соединить — это и то? — Сериков показывает руками на площадку, где бегают мальчишки, и еще куда-то в сторону, должно быть Лужников.

— Меня из трех команд вежливо просили смотреть, потому что я пытался соединить. А, кстати, после меня команды шли в гору. И с «Авангардом» будет то же. Я унавоживаю почву — для других...

— Что ж ты собираешься делать?

— А вот с мальчишками буду... — кивнул на ребят, играющих на площадке. — Устал я от большого футбола. Надоела эта мясорубка — до чертиков. Иногда думаешь: что хорошего видел в жизни? Юность на войну ушла, бедовал, голодовал, после войны — сам знаешь... Учиться не смог, пошел играть, гастролировать... Семью тащил — ну, в общем... А все-таки хорошее было! Школа — верно ведь? Вот хорошее время!..

— Да.

— У меня-то лучше и не было ничего.

Замолчали оба. Идут к стадиону, на котором продолжаются соревнования — такие же тихие, странные.

Остановились. Смотрят на бегунов.

— Нет, было, было — вру... — говорит Кизяев. — Ты знаешь, что тут сегодня? Это областные соревнования глухонемых и незрячих спортсменов.. Ты посмотри на их лица, как они переживают... какое счастье... Это — спорт, очищенный от всего, от погони за очками, за рекордами, за какими-то благами жизни... Посмотри на того маленького, лысого!

— Я вижу.

Маленький лысый добегают первым. У финиша его обнимает и неловко целует женщина. Оба, задыхаясь, взволнованно объясняются пальцами. Второй глухонемой добежал и в изнеможении, отдав все — словно это Олимпийские игры, — падает наземь...

Сериков спрашивает:

— А здесь, думаешь, нет своих очков? Своих рекордов?

— Да, — помолчав, говорит Кизяев. — Наверное, есть...

## 19

Сериков ждет Машу перед входом в театр.

Маша выходит в группе женщин. С кем-то прощается. Увидела Серикова, подбежала — очень радостная.

— Ты давно здесь?

— Минут сорок.

— С ума сошел! — Она смеется. — Я же просила в три часа.

— А мне хотелось раньше.

Идут не торопясь.

— Ты чего улыбаешься? — спрашивает Сериков. — Получила наконец самостоятельную работу?

Маша качает головой, продолжая улыбаться.

— Нет... Просто — вижу тебя... А ты написал свою замечательную статью?

- Уже две страницы!
- Расскажи о чем.
- Ну, это неинтересно...

Они сворачивают в переулок. Пустынно, безлюдно, од-ноэтажные домишки старой Москвы.

— Нет, расскажи... Я хочу!

— Ну хорошо...— Он вздохнул.— Есть такой Гриша Кизяев. Тренер «Авангарда»... Наш знакомый, симпатич-ный человек. Но ему страшно не везет.

— Что ты!

— Да. Очень. Он не может приспособиться к совре-менному футболу, где тренер должен обладать железной властью. И хваткой! — Вдруг обнял Машу за плечи, резко придвинул к себе.— Держать команду вот так!

— Это очень приятно... Для команды...

— В современном футболе главное — очки, очки, оч-ки! Надо уметь эти очки рвать. А он не умеет. Он по-прежнему видит футбол в романтическом ореоле — как его видели в двадцатые-тридцатые годы...

— И что же его команда — проигрывает?

— Да. Мы же видели с тобой...

— Бедный! И что дальше?

— Дальше... Вот я и спрашиваю: что дальше?

Они остановились.

— Не знаю, — говорит Маша тихо. Долгая пауза. — Ты мужчина, ты должен знать, что дальше.

## 20

Из маленькой комнаты в большую перетаскиваются старинный комод Калерии Петровны, диванчик, на кото-ром спит Кира, и кровать Котика. Из большой в ма-ленькую — широкая тахта, письменный стол Маши и пи-анино. Вещи передвигает Сериков и его приятель Марты-нов. Зинаида Васильевна и Маша наблюдают за работой, командуют и путаются в ногах. Всем весело. Сериков и Мартынов, кажется, слегка «под мухой».

— Саша, вас можно поздравить? — спрашивает Маша Мартынова. — Вы уже в газете?

— Спасибо, Машенька... Третьего дня зачислен в штат... — кряхтя отвечает Мартынов. — Налево, налево, Олег! Налево заноси!.. Вот бы только московскую прописку достать. Надоело мне Фрязино. Ведь как глупо получилось: я же коренной москвич, жил на Полянке. А после войны, когда мать умерла, переехал к тетке во Фрязино и прописку потерял. Идиот!..

С неожиданной легкостью — как всё, что он делает, — Мартынов обращается к Кире:

— Кирочка, давайте поддержим хорошую инициативу. Вот Олег женится на Маше, а я, давайте, — на вас. А? — Хохочет. — Неожиданный камуфлет!

— Давайте, — соглашается Кира. — Только я вас еще мало знаю.

— Ничего, узнаете. Я очень хороший.

— А Кира, между прочим, тоже очень хорошая, — включается в разговор Зинаида Васильевна.

— Я понимаю. Мне что важно? Московская прописка..

Разговор происходит при расстановке мебели. Мужчины двигают тяжелое, Зинаида Васильевна метет маленькую комнату, а Маша складывает в шкаф белье. Кира ничего не делает — держит за помочи Котика, который ползает по полу с игрушкой. На письменном столе стоит открытая бутылка шампанского и два бокала.

— Саша, имейте в виду: наша семья отличается отсутствием юмора, — говорит Маша. — Поэтому не советую острить в таком роде.

— Бог с вами, я вовсе не остро! Деловой разговор. Кстати, я люблю людей, лишенных чувства юмора. Большею частью это люди честные, прямые..

— Ладно, деляга! Подымай и неси! — командует Сериков.

Они выносят вдвоем диванчик.

— Кира, все-таки я хотел бы жениться на вас!.. — исчезая из комнаты, успевает крикнуть Мартынов.

Сестры остались в комнате одни. Кира спрашивает вполголоса.

— Я не понимаю: он шутит или как?

— Конечно, шутит! Только глупо.

Через час, когда все расставлено, убрано, ужинают в маленькой комнате, нынешнем обиталище Серикова и Маши.

— Я хочу выпить за маму. Мамочка, за тебя! — говорит Маша. Подходит к матери и целует. Зинаида Васильевна сдержанно улыбается.

Калерия Петровна, дремлющая за столом, вдруг открыла глаза.

— Машенька, желаю тебе хорошей, большой любви...

— Ой, баба Лера! — смеется Кира. — Проснулась! Кому это нужно?

— Ну, почему так уж? — возражает, набив рот едой, Мартынов. — Это неправильно... — И, вдруг вскочив, кричит: — За здоровье молодых! Горько, горько! Горько, вам говорят!

Сериков и Маша целуются. Котик вдруг начинает плакать. Зинаида Васильевна села к пианино, играет что-то вроде «собачьего вальса». Мартынов и Кира танцуют. Еще через час в комнате не остается никого, кроме Серикова и Маши. Горит ночная лампочка над тахтой.

Олег стоит у окна и смотрит, как Маша стелет постель. И вид у него какой-то странный, оцепенелый.

— Олег!

— А?

Маша подходит к нему.

— Олег, ты меня любишь?

Он обнимает ее, прижимает к себе. Несколько мгновений стоят молча, не двигаясь. Она шепчет:

— Больше... чем ту женщину? И всех, кого ты... раньше?

— Больше, — говорит он. — Потому что я не знаю, что это было. То, что было.

— Ведь будет очень страшно, если...

Стук в дверь и деликатный голос Зинаиды Васильевны: «Машенька, вы уже легли? Я очки там оставила». «Заходи, мама»,— отвечает Маша, слегка отстранившись от Олега. Зинаида Васильевна входит в ночном халате, лицо озабоченное. Не глядя на Олега и Машу, ищет очки.

— Придется вечерами работать в коридоре. Котику свет мешает...— замечает Зинаида Васильевна.

— Олег сделает такой специальный абажур, и ты сможешь работать. Из черной бумаги... Вот твои очки!— Маша, целуя Зинаиду Васильевну, дает ей футляр.

— Ничего, не беспокойтесь.

— Олег скоро получит квартиру...

— Хорошо, хорошо! Спокойной ночи...

Зинаида Васильевна вышла. Сериков включил транзистор и слушает. Знакомый марш и голос диктора: «Передаем спортивный выпуск последних известий... На ледяных полях...» Маша делает жест: «Тише, тише. А то мама...» Олег уменьшает звук. «Первое поражение хоккеистов «Спартака». Сегодня во Дворце спорта в очередной встрече на первенство страны по хоккею...»

## 21

В понедельник большой хоккей во Дворце спорта. Футбольная страда кончилась, все забыто, отбушевало, отпылало— кажется, и месяца не прошло, а недавние страсти превратились в пыль, в газетную труху. Новый кумир возрос и чудодейственно, за каких-нибудь две недели, полонил сердца этих толп, этих тысяченогих крикунов и спорщиков, пожирателей мороженого, читателей последних страниц газет. «Шайбу! Шайбу!» Гремят борта, трещат клюшки, едут канадцы, дают интервью ветераны. И знаменитый тренер с высокомерным лицом, с маленьким ртом Наполеона кричит беззвучно на телеэкране и властным жестом посылает своих рыцарей в бой. В начале каждой зимы бывает эта юность хоккея, как и в



начале каждого лета — юность футбола, когда игра свежа, полна задора, и тайны, и неожиданностей и еще ничто никому не надоело.

Сверкают огнями, кипят, шумят, как ярмарка, громадные фойе Дворца спорта перед началом матча. Очереди у вешалок, толпы у киосков с пивом и конфетами. Беготня, крики, свидания, поиски, внезапные встречи. Все тут напоминает театр, даже скорее цирк — всеобщее возбуждение, нарядные дамы, офицеры, молодые люди с пивным румянцем на щеках, иностранцы, глотающие стаканы мороженого или со скучным видом жующие жвачку; но присмотревшись, замечаете, что публика тут своя, особенная, что нарядные дамы наряжены слишком ярко, что офицеры молоды, а те, кто постарше, мальчишки в душе, что чересчур много пуловеров и свитеров невероятной расцветки и что иностранцы, жующие жвачку, не такие уж иностранцы. Один иностранец говорит другому: «Ну, что, Толик, помажем по трешнице? Даю две шайбы и ничью...»

В этой толпе, продираясь к своему сектору, двигаются Сериков и Маша. Сериков тянет за руку своего Вовку. Сегодня у Серикова очень значительный день: в первый раз он свел Машу и Вовку, познакомив их перед входом во Дворец спорта, от чего Вовка, кажется, до сих пор не может опомниться; кроме того, сегодня играют две команды, встреча между которыми всегда вызывает у Серикова сильное сердцебиение, учащение пульса, а иногда даже необходимость принять валидол; наконец, сегодня в «Московских новостях» появилась его статья «Футбол: тренеры и меценаты», где рассказана история увольнения Кизяева. Статья мгновенно стала известна всей футбольной Москве.

Вот стоит в проходе парень из профсоюзной газеты. С честным восторгом в глазах он жмет руку Серикову: — Олег, поздравляю тебя! Прекрасная статья. Давно об этом надо было написать!

Еще один журналист спешит позвать руку Серикову:

— Смело вы запузырили!..

И еще поздравления, пожатия рук, похлопывания по плечу — пока Сериков поднимается по лесенке, на которой стоят, еще не успев рассеяться, журналисты.

Кто-то вполголоса на ухо:

— Учтите, у вас будут неприятности...

И вдруг:

— Милый Алик, ты написал глупейшую статью!

Это — старик Абрамов, известный спортивный журналист.

— Почему, Ираклий Генрихович? — Сериков остановился. Жестом показывает, куда идти Маше и Вовке. — Вон наши места! Идите садитесь, я сейчас...

Вовка независимо идет по лестнице вверх первый, за ним — Маша. Сериков остался с Абрамовым.

— Так что же, Ираклий Генрихович?

— Ну, глупости написал. Что я могу сделать? Глупости!

— А именно?

— Во-первых, название: «Тренеры и меценаты». Что за проблема? Я сорок шесть лет занимаюсь футболом и такой проблемы не знаю. Уволили Кизяева? Правильно сделали! Болтун он, бездельник...

— Неправда!

Сериков и Абрамов спорят, жестикулируя.

А в это время уже началась игра. Забегали хоккеисты. Маша и Вовка сидят рядом. Маша протягивает Вовке конфету, он отрицательно мотает головой. Вид у него непреклонный и важный. Не отрывает глаз ото льда.

— Вова, ты мне будешь объяснять, ладно? — заигрывающим голосом обращается к нему Маша. — Наверное, ты здорово в этом разбираешься. Правда?

Вовка молчит, будто не слышит. Но Маша продолжает добиваться его внимания.

— Я думаю, ты понимаешь в этом деле не хуже папы, а? Может, даже и лучше?

Не глядя на Машу, Вовка произносит сварливо:

— Не люблю, когда во время игры мешают разговорами.

— О! Какой ты строгий...

Вовка сжал губы.

Маша и Вовка молча наблюдают за игрой.

Сериков пробирается к ним по ряду, садится.

— Ну как? — Он смотрит на одного, на другого.— Все в порядке?

— Все в порядке, только Вова не хочет мне ничего объяснять,— говорит Маша.

— Вова, ты что же? Я тебе всегда объясняю, делюсь с тобой знаниями, а ты — жадный?

Вова искоса посмотрел на отца.

— А я же твой сын — правда?

— Ну и что?

— Ты и должен мне... объяснять...

— М-да! Железная логика.— Он наклоняется к Маше.— Абрамов сейчас раздолбал мою статью. Говорит, что я путаю спорт с физкультурой...

Поздним вечером перед домом, где живут Вовка с матерью, Маша, протягивая Вовке руку, говорит ласково:

— Что ж, до свидания, Вова. Пойдем еще раз на хоккей?

Вовка, глядя на отца, мотает головой. Потом произносит:

— Не.

— Да-а? — удивляется Маша.— Почему же?

— Просто так...— Помолчав, он говорит более твердо: — Вообще.

Серикову это не нравится.

— Ну ладно, брат! Иди, иди, спокойной ночи...

Вовка поворачивается и уходит.

Маша, продолжая ласково улыбаться, прощально и приветственно помахивает кистью руки. Но как только Вовка скрылся в парадном, улыбка исчезает с лица Маши.

— Мальчик славный, мне понравился. Но он меня

ненавидит,— говорит Маша,— и с этим ничего не поделаешь. Поэтому я тебя прошу не устраивать больше таких экспериментов. Зачем мне это нужно? Два часа я сидела как на иголках...

— Но я ему обещал — понимаешь? Как раз на этот матч.

— Вот и пошли бы вдвоем. Тем более что мне решительно все равно, какой матч.

Они идут по улице. Останавливаются на троллейбусной остановке. Машино недовольство все еще длится и даже как будто разгорается. Но это — внутри, незаметно для глаза.

— Так что я тебя прошу: никогда больше не своди нас,— говорит она мягко и даже с некоторой нежностью, берет Серикова под руку.— Хорошо? Ладно?

Помолчав, он говорит:

— Как хочешь...

## 22

Перед столом редактора стоят Лужанский и Сериков. Разговор «на нервах».

— Какие меценаты? Что вы произносите слова, не понимая смысла? — Сериков пытается возразить, но Грачев жестом останавливает его.— Футбол всенародная, любимейшая игра. Весь народ является у нас меценатом. И меценатом с большой буквы — вам ясно? Ну? Что вы молчите?

Сериков пожимает плечами.

— Я — хочу, но вы...

— Вы воспользовались моим отъездом и написали совсем не то! Вреднейшая статья! Какого дьявола вы вздумали защищать Кизяева? Развалил команду, занял семнадцатое место...

— Роман Романович, он пришел туда год назад,— пытается вставить слово Сериков,— а чтоб сделать команду...

Но Грачев прерывает его:

— Да и старик небось! Не тянет! У нас старики ведь какие упрямые...

— Какой старик? Сорок пять лет!

— У нас ведь старики: сам чувствует, что не может, отстал, силенок нет, культуры не хватает, а уступить не желает, цепляется до последнего... (В кабинет вошли Чаклис и еще какой-то сотрудник, остановились у двери.) А у нас мужества нет сказать: «Дорогой товарищ, пора тебе на покой». А надо бы проявлять иногда такое мужество. А? Как вы считаете, Григорий Михайлович?

— Что? Да, да... Мы попозже зайдем,— бормочет Чаклис и выходит вместе с сотрудником.

— Вот и дожидаемся по собственному малодушию, пока не случится какое-нибудь ЧП, авария или команда, понимаете, займет последнее место.

— Это вы в мой адрес? — спрашивает Лужанский. Звонит телефон.

— Почему же в ваш?

— Без конца звонят... И все — по вашей милости...

Грачев снимает трубку.

— Да? Кто? Соедините... — Пауза. — Николай Федорович? Доброго здоровья. Слушаю вас... Да, как раз сидим, обсуждаем, как дошли мы до жизни такой... — Грозит Серикову кулаком. — Я вам объясню: тут случилась накладка. Я был за рубежом, номер подписывал мой зам — Куликов, человек абсолютно чуждый спорту... Вот именно... А наш заводделом Лужанский, опытный работник, в годах, но вот проявил легкомыслие — дал материал без проверки... Да... Нет, нет! Автор заметки Сериков, но Лужанский, как заводделом, обязан был проверить факты, согласовать с федерацией... (Зажав ладонью трубку, сверля Серикова глазами, спрашивает строго: «Когда вы были у Кизяева?») Сериков: «Дней десять назад». В эту минуту в кабинет входит Мартынов и, на цыпочках пройдя к окну, останавливается там и слушает с большим

интересом.) Говорит, дней десять назад... Чем-то разжалобил, наверно... Да? Отрицает? Ну, такие факты нам пока неизвестны... Я понимаю... Доброго здоровья, Николай Федорович...

Повесил трубку и мрачно оглядел всех.

— Знаете, кто звонил? Николай Федорович Горностаев. Помощник Микулькова.

Сериков и Лужанский угрюмо молчат. Мартынов произносит:

— О-о!

Лужанский и Сериков, подавленные, выходят из редакторского кабинета. Мартынов там остался. Лужанский усмехается:

— Ты видал, на какой чепухе он меня слопал?

— Еще не слопал...

— Слопал, слопал. Такой шанс он не упустит.

— Паникер ты!

— Я не паникер, а старый воробей...

Крик из конца коридора: «Олег!»

Лужанский заходит в комнату, а Сериков идет назад и подходит к Мартынову.

— Роман Романович просил тебя поехать на выставку,— говорит Мартынов.

Сериков кивнул.

— Слушай... Ты не... это самое, не дуйся... Мы с тобой прекрасно сработаемся.

— С тобой?

— Ну да, меня же прочат на место...— кивает вдаль, по направлению большой комнаты.— Я сам немного удивлен, даже возражал, но ты же знаешь Эрэр. С ним не поспоришь. Почему-то он старика невзлюбил, а к тебе относится, между прочим, совсем даже...

Сериков слушает с застывшим лицом. Потом вдруг берет Мартынова за галстук вместе с рубашкой, смял в кулаке. Говорит тихо и отдельно:

— Милый Саша Мартынов, ты далеко пойдешь. Я вижу. Но имей в виду: так просто сгрызть Лужанского,

который проработал в газете сорок два года, вам не удастся. Имей в виду!

Мартынов, отдирая руку Серикова от своего галстука, забормотал:

— А мне-то что? Я-то что? Что ты мне-то?

## 23

Большая комната изменила облик, теперь она перегороджена занавеской, за которой в половине ближе к окну стоят кровать Котика, диванчик Киры и громадная кровать-саркофаг старухи Калерии Петровны, а в половине, ближней к двери, расположилась Зинаида Васильевна со своим шитьем, манекеном.

Воскресное белое, снежное утро. Часов десять. Зинаида Васильевна примеряет на Маше халат.

— Что с Кирой? Ты звонила в больницу?

— Звонила... Стой тихо!

Пауза. Зинаида Васильевна что-то исправляет в халате. Губы ее, с зажатыми булавками, важно надуты.

— Ну? — говорит Маша.

— Через три дня будет дома. Только, пожалуйста, ничего не рассказывай своему Олегу. Слышишь? Я совершенно этого не хочу. Почечные колики, и все.

— Я и не собираюсь... А что такого?

— Не хочу.

— Да Кира ему сама расскажет...

— Не расскажет. Твой Олег все-таки, прости меня, чужой человек. А наши беды — это наши беды. Даже ты, ее сестра, ничего ей не прощаешь — да, да я вижу! — иногда ты смотришь на нее с каким-то презрением, а ведь она...

— Я? С презрением? Ты с ума сошла!

— Я не могла ей дать того, что дала тебе, я виновата... — Подбородок Зинаиды Васильевны задергался, глаза заблестели. — Она ребенок войны, голодных лет. Какое у нее было питание?

— Мама, не в питании же дело...

Голос в коридоре. Дверь в большую комнату открылась, показалась голова Серикова — он с улицы, в шапке.

— Кто с тобой? — испуганно спрашивает Маша, набрасывая на плечи халат.

— Мартынов. Ранняя пташка. А в гастрономе жуткая очередь... — Он закрыл дверь. Слышен его голос из маленького коридорчика: — Нет, по воскресеньям ходить в гастроном, да еще утром, — не рекомендую...

Зинаида Васильевна сворачивает шитье, накрывает на стол, и через четверть часа все садятся вместе с Мартыновым за круглый стол есть. То ли это поздний завтрак, то ли ранний обед. С улицы приплетаются, нагулявшись, Калерия Петровна и Котик. Котик сразу начинает ныть: «Ба-а...»

— Туда, туда! — машет рукой Зинаида Васильевна. — В Машину комнату! А то позавтракать не даст...

Мартынов ставит на стол две бутылки шампанского.

— Что это значит? — спрашивает Маша.

— А как же: Александр Максимович назначается завотделом, — говорит Сериков. — Мой непосредственный начальник! И — такой простой, демократичный. С утра опохмеляется шампанским...

— Перестань! Какой я тебе начальник?

— Конечно, начальник.

— Кстати, надо поговорить.

— Вот мы и поговорим. Уже начали. Итак, я подымаю этот стакан кефира... — Олег налил кефир в стакан, поднял его, — за процветание нового начальника! За то, чтобы он пошел далеко. Как можно дальше.

— Ой, остряк! Ну-ну! Как можно дальше, да? — Вдруг делается серьезным. — Маша, а если по совести, то я Олегу удивляюсь. То ли по какой-то наивности, то ли по упрямству не хочет видеть нормального хода вещей. Нужно уступать место — понимаешь? — а если не будете уступать, вас заставят силой. Это закон жизни.



— Я не люблю законов жизни,— говорит Сериков.

— Это все фразы! Ты им подчиняешься, этим законам. Все подчиняются. Только одни говорят об этом честно и прямо, а другие... Вот Маша, например, честно признается, что она хочет, чтоб ей уступили место. И имеет полное право. Верно, Машенька?

— В общем-то...

— И Зинаида Васильевна мечтает, чтоб ей уступили место: чтоб соседка уехала и освободила часть коридора. А?

— Да ну! Бог с ней!— Зинаида Васильевна с внезапным вдохновением: — Но в целом я с вами согласна, Александр Максимович! Люди — это пауки. И каждый норовит подкусить другого. Это точно. Я с вами абсолютно согласна.

— Я не знала, что ты такая кровожадная,— смеется Маша.

— Я очень кровожадная. Ты не знаешь, как я умею мстить, если меня обидят.

— И все-таки вы не правы, Зинаида Васильевна,— говорит Сериков.— Не все же пауки. Есть и мухи.

— Ничего подобного! Все пауки! Сплошные пауки! Только есть громадные пауки, страшные, и есть маленькие паучки, такие слабосильные, которые и рады бы укусить, да нечем. Похожие на мух... Маша, не трогай посуду, я сама вымою.

— Мрачная картинка,— замечает Сериков.

— Почему? Это реализм. И старые мудрые пауки должны тихо уступать место, а не ждать, пока их схватят зубами за ногу!— говорит Мартынов.

— Ну, ладно, пауки пауками... О чем ты хотел?

— Сейчас. Пойдем покурим.

Они выходят в коридор. Закуривают. Вышла соседка и с умильным выражением лица ласково просит:

— Дорогие товарищи, можно вас попросить не курить в коридоре? Здесь же невозможно дышать...

Сериков и Мартынов шагают по длинному коридору,

выходят на лестничную площадку. Останавливаются перед окном, выходящим во двор. Видны заваленные снегом, покрытые брезентом машины, голые деревья, ограда и часть улицы.

— Я знаю,— говорит Мартынов,— что ты жалуешься в профком, в конфликтную комиссию, насчет Лужанского. Ты защищаешь свою статью и требуешь ее обсуждения...

— Ну? — говорит Сериков.

— Старик, я не хочу, чтоб ты выступал в роли мухи. Говорю по-товарищески. В редакцию пришло письмо от тренера Кизяева. Он пишет, что возмущен твоей статьей, что там искажены факты. Что никто его не увольнял, что он ушел по собственной воле...

— Где письмо?

— Вот. Это копия.

Сериков читает письмо, текст которого перепечатан на машинке. Прочитал. Обескураженно молчит.

— Старик, это письмо находится у меня. Дело будет закрыто,— говорит Мартынов.— Вот и все. Понимаешь? Дело будет закрыто.

## 24

— Они мне предложили команду. Так? Из класса «Б», в Минске, но условия неплохие. Даже лучше. Там большой завод, база отличная. Так? Ну, поездки будут.

— Предложили — кто? Те, кто тебя уволили?

— Ну да. Центральный совет. Да ты снимай пальто. Садись...

Сериков стоит посреди комнаты, держа шапку в руке,— только что пришел. Кизяев в синем тренировочном костюме мастера спорта, сложив руки на груди и неуверенно ухмыляясь, стоит перед ним, покачивается на носках. За столом сидят два молодых парня с насупленными лицами, смотрят на Серикова исподлобья. В глубине комнаты работает телевизор: передают детскую воскрес-

ную передачу. Перед телевизором стоит, вяло и привычно покачиваясь, крутя на бедрах обруч хула-хуп, девочка лет одиннадцати.

— Это... прости меня, как-то неспортивно,— говорит Сериков.

— Алена, выключи телевизор! — говорит Кизяев.

— Пап, ну я хочу-у...

— Я что сказал? И пойдй в свою комнату.

Девочка поворачивает ручку, но не выключает совсем. Пятясь и не сводя глаз с экрана, выходит из комнаты. Кизяев сел на стул, провел ладонью по лицу и молчит, стиснув пальцами подбородок. Теперь видно, как он сед, немолод...

— Конечно, неспортивно,— говорит он.— А что я мог сделать? Да сядь ты!

Сериков продолжает стоять.

— Это товарищ из «Московских новостей». Который статью писал «Тренеры и меценаты»,— объясняет Кизяев парням.

Те оживляются.

— Да ну? Правда? У, сила!

— Все точно написано!

Даже смеются от удовольствия.

— Кузьмин прочитал — час орал...

— Что ты... Такая дуля...

— Хоть кто-то за Григория Степановича вступился...

Сериков садится, не снимая пальто, на стул.

— Слушай, братец... но как же так?

— Да как, как... Потребовали, чтоб письмо в редакцию... А иначе, мол...

— Но ты же понимал?

— Конечно. Чего ж не понимать, так? Мне даже Клава, жена, говорила — она у меня добрая вообще-то, — человека, говорит, подведешь...

— Ты не меня, ты одного старика подвел, которого, как и тебя, турнуть хотели. Ну, ладно! Чего ж теперь. Все ясно... — Сериков нервно встает, нахлобучивает шап-

ку.— Я, честно говоря, думал, что это не ты писал. Что какая-то фальшивка.

— Нет. Я. Сам и писал... Пстой!

Он вдруг хватает Серикова, уже повернувшегося к двери, за руку.

— Подожди! Я что хочу сказать? Ты слушай...— Кизяев взволнован, потемнел лицом.— Вот ребята сидят. Они из команды уходят, в знак протеста. Подали заявления. Я их из мальчишек тянул, из футбольной школы. Что я буду с ними тут? На завалинке сидеть? «Козла» забивать?— Он все больше горячится.— Им в футбол играть надо. В большой футбол. Я им говорю, дуракам: ну, подумаешь, Жеребцов? Это им нового тренера суют, Жеребцова Саньку. Поиграете годок... Ну— Санька, ну, хрен с ним.

— Все, Григорий Степанович! Говорить не будем!

— Ладно, дело ваше. Я их в Минск беру. И еще двоих, из дубля. Понял? Я за этих людей теперь отвечаю. Как же я могу от команды отказываться— пускай в Минске, пускай класс «Б»? Значит, делай, как говорят. Вот тут что!

— Но ты же, дорогой Григорий Степанович, говорил мне,— помнишь?— что уходишь из большого футбола. Что устал, надоело...

— Эх, мало что! Ты вот журналист, статьи печатаешь в московской газете, а дать тебе стенгазетку нашего ЖЭКа— так? Редактором— так? согласишься? А-а! Да ты через неделю от тоски... Я футболом отравлен. Борьбой отравлен. Пока ноги держат, пока мотор стучит... И в Минске такую команду слеплю! А? Колюн, как считаешь?

Колюн тем временем, отойдя от стола, нашел где-то футбольный мяч и ударами головы лупит им в стенку. Второй парень не поднимается со стула, но посматривает с интересом.

— Сделаем, Григорий Степанович!— отвечает Колюн.

Нацелившись, он бьет головой по мячу, направив его в приятеля. Тот отбивает тоже головой.

— Зону выиграем! В класс «А» вотремся и еще «Авангарду» накостыляем! — Кизяев как-то вдруг изменился: стал жестким, молодым. Захлебывается словами, глаза горят зло. — Жизнь — борьба! Еще Маркс сказал, верно? Тебя душат, а ты не давайся, гнишь. Борись до последнего! Но статью ты написал очень прекрасную, — неожиданно заканчивает Кизяев.

Они выходят вдвоем в коридор.

— И ты ничего не думай, не сомневайся — статья очень полезная! — Кизяев решительно пожимает Серикову руку. — Кто тебе что скажет, а вот я говорю... Хотя польза будет минимальная. Но все равно здорово.

Сериков внезапно расхохотался.

— Ну и тип ты, Григорий Степанович!

— Какой тип? Я правильный тип. Я борюсь, борюсь, понимаешь? За ребят борюсь, за игру, за футбол, за все, что люблю и что ты любишь. А этих людей ты еще не знаешь. Вот которых мецанатами окрестил. Не знаешь, какая это сила. У-у! — Он понизил голос. — «Авангард» занял предпоследнее место. Так? Вылетает в класс «Б». Так? Но есть предложение: чтоб на будущий год играли не восемнадцать команд, а двадцать. Только затем, чтоб «Авангард» остался. Ясно тебе? Какая там сила?

— Не может быть! — Сериков потрясен.

— Тише. Ребята не знают. Так и будет, вот увидишь. Санька Жеребцов получит команду класса «А». А, ничего! Приезжай к нам в Минск.

## 25

Сквер перед зданием газетно-издательского комбината. Легкий морозец, снег. На скамейке сидит Лужанский. Быстро проходят мимо скамейки — в здание комбината и оттуда — люди. Многие здороваются с Лужанским. Какой-то старик подошел, пожал ему руку.

Бежит Сериков. Увидел Лужанского, остановился.

— Пал Саныч!

— Олег! — Лужанский поднимается со скамейки.—  
Позволь мне поздравить тебя... Ты женился?

Сериков кивает.

— Кто она?

— Хороший человек. Из Театра драмы...

— А! Артистический мир! Прекрасно, поздравляю тебя. Я знаю, ты четыре года холостяком... Я бы лично — не смог. Молодая? Двадцать? Тридцать? Великолепно! — Лужанский все это говорит якобы радостно, живо, но в действительности — механически.

— Ты ждешь кого-то? — спрашивает Сериков.

— Жену. Мы идем в ГУМ за костюмом. Мне. Говорят, там какие-то роскошные финские костюмы...

И эта выдумка — а может, и не выдумка — совсем не для Лужанского, всегдашнего неряхи и вовсе не франта.

— Ты написал заявление?

— Ах, не в этом дело! — Вся нервность Лужанского вдруг выскакивает наружу. — Вопрос практически решен...

Подходит пожилой человек, говорит вполголоса:

— Здравствуйте, Павел Александрович. Что у вас слышно?

— По-видимому, с первого числа...

— Не огорчайтесь. Будете отдыхать, ездить на рыбалку, играть в шахматы — вот тут, в сквере...

— Спасибо. Наверно, это ваш идеал.

Сконфуженный пожилой человек отходит, а Лужанский садится на скамейку и жестом предлагает сесть Серикову рядом. Тот садится.

— Честно говоря, ты меня удивил, — говорит Лужанский тихим голосом.

— Чем?

— За все эти дни ты не нашел возможным хоть раз — один раз! — зайти в редакцию и сказать два слова обо мне. Просто — свое мнение. Ведь ты работаешь в моем отделе...

— Я...

— Подожди! Ты работаешь восьмой год. Есть у тебя

какое-то отношение ко мне? Дал я тебе что-нибудь как газетчик? Помог чем-то?

— Паша, ты же знаешь, как я к тебе отношусь...

— Олег, это слова. Нужны поступки. Доказательства! И я с огорчением увидел, что у тебя — хорошего человека, отличного работника, который меня искренне, я в это верю, уважает и ценит, — не хватает мужества пойти и сказать редактору два слова в защиту... Мне очень стыдно говорить об этом. Но я разочарован... И я обязан тебе об этом сказать.

— Ты понимаешь... — Сериков необыкновенно смущен. — Если б не эта дурацкая история со статьей... — Вдруг он вскакивает. — Я пойду к нему сейчас!

— Нет! Нет! Теперь это уже не имеет смысла... Тихо, идет Вера! Я тебе ничего не говорил.

Подходит старушка с муфтой, в больших ботах.

— Здравствуй, крошка! Здравствуй, моя красоточка, мы тебя уже заждались! — преувеличенно громко и бодро говорит Лужанский. — Я побегу в бухгалтерию и через пять минут вернусь!

Лужанский быстро идет в помещение. Старушка смотрит на Серикова слегка испуганно.

— Вам Павел что-то говорил? Просил вас?

— Н-нет...

— Олег, я вас умоляю: не слушайте его! Пусть он идет на отдых! — шепчет старушка взволнованно. — Хватит с него. Я не хочу, чтоб он больше тут работал. Он отдал этой газете сорок два года жизни...

— Я знаю, Вера Ефремовна. Уволен должен быть я, если уж...

— Какие глупости! Вы — молодой человек, у вас впереди работа, карьера, вся жизнь...

— Нет! Он не должен писать заявления!

— Он непременно его напишет. Здесь он не останется...

Сериков широкими прыжками взлетает по лестнице. Почти бежит по коридору.

Вбегает в приемную Грачева. Дора смотрит на него с изумлением. Наверное, лицо Серикова очень странно.

— Там?

— Нет. Он уехал в МК... А что, очень срочно?

Сериков поворачивается к двери, и в эту минуту быстрым шагом в приемную входит Грачев — в пальто, в шляпе.

— Сериков, вы мне нужны. Зайдите на минуту.

Сериков входит вслед за Грачевым в его кабинет. Грачев снимает пальто, поправляет рукой волосы, поглядывая в створку окна — как-то по-домашнему. У него отличное настроение.

— Так вот, сударь: поедете в Англию на футбольный чемпионат. Нам дают одно место. Работать будете зверски: каждый день сто строк по телефону. Вы язык знаете?

— Немного. Слабо...

— Подучите, время есть. Будем посылать бумаги!

Так как Сериков молча стоит и как-то тупо, без всякой мысли в глазах смотрит на Грачева, тот спрашивает:

— Что вас заело?

— Ничего, просто... Я хотел тут...

— Да! Поздравляю вас! — вдруг радостно восклицает Грачев и трясет руку Серикову. — Решение федерации знаете? Число команд — двадцать, и наш «Авангард» остается в высшей лиге. Так что наше выступление было не зря! Привлекли внимание, поставили вопрос...

## 26

Удрученный, приходит Сериков в большую комнату. В углу сидит кто-то и стучит на машинке. Остальные столы пусты. Сериков бесцельно ходит от стола к столу. Лицо его выражает ненависть к самому себе. Остановился у телефона, набирает номер.

— Здравствуй. Это я... Послушай, дай Вовку, пожалуйста. Вовка дома?... Сегодня — да, очень хороший хоккей



во Дворце ЦСКА. Я ему давно обещал... В семь тридцать... Что? Почему? — Длинная пауза. С той стороны говорят что-то злое; он вздыхает, морщит лоб, рот его кривится, как от боли. Внезапно Сериков взрывается: — Но почему же, дьявол побери, я не имею права раз в месяц пойти куда-то с сыном? Неправда! Позови его к телефону... Позови сейчас же! Я не верю тебе... Ничего, подойдет.

Сериков в ожидании, пока подойдет Вовка, расхаживает у стола, держа трубку у уха. Вовка не подходит долго. Сериков закуривает.

— Вова? Здравствуй... Ну, как ты? То, что ты меня просил, я достал... Ну, клюшку... Динамовскую, да... Вовка, помнишь, мы собирались пойти во Дворец ЦСКА? Если ты хочешь и у тебя есть время... Что?.. Я буду один сегодня. По-моему, это не имеет значения... — Пауза. — Как хочешь, Вова. Что значит — никогда? Никогда не пойдешь?.. Ты повторяешь чужие слова... Ну, хорошо. Прощай!

Сериков с отчаянием кладет трубку. Опускается, обесиленный, на стул. Сидит и смотрит, улыбаясь, в окно. Человек в углу стучит на машинке.

## 27

Коридорчик в квартире Маши.

Сериков, стоя с листком бумаги у телефона, диктует редакционной стенографистке:

— ...и на шестнадцатой минуте второго периода случилось то, что должно было случиться... Что должно было случиться!.. Шайба влетает в ворота армейцев от клюшки... Петрова! — Сериков прижимается к стене, пропуская Зинаиду Васильевну, которая идет со сковородкой. — Извините, Зинаида Васильевна... Это не вам! Игра закончилась с минимальным преимуществом профсоюзных... Я говорю: игра за-кончи-лась..

Зинаида Васильевна с мрачным лицом проходит в большую комнату.

— Закончилась, закончилась,— ворчит она.— Когда они закончатся, эти игры?

Маша сидит у стола. С тревогой поглядывает на мать. Зинаида Васильевна с досадой обращается к Калерии Петровне:

— Бабушка, идите отдыхайте, ей-богу! Я уберу.

— Я сама уберу,— говорит Маша.

— Ах, оставь! Ты идешь на работу, у тебя дело... Калерия Петровна уходит за занавеску.

Входит Сериков, садится к столу.

— Передал? — спрашивает Маша.

Сериков кивает. Зинаида Васильевна накладывает блинчики в тарелки Маше и Серикову.

— Удивляюсь, сколько у нас бездельников! — говорит Зинаида Васильевна.— Иной раз видишь: со стадиона прут, рожи жуткие, пьяные... Орут, ругаются...

Сериков не отвечает. Ест блинчики.

Маша переводит разговор:

— Да, ты вот рассказывал про старика! У нас тоже с грехом пополам вывели на пенсию двух старых гримз... Конечно, их жаль... Заслуженные старушки. Танцевали канкан еще в нэповских кабачках. Кто-то за них вступался, ходили к директору в министерство... Только за чем? Какой смысл?

Сериков говорит, помолчав:

— Из людей я больше всего люблю стариков.

— Правда?— Маша засмеялась.— Я — нет...

— А знаете, кого надо любить больше всего? Близких,— говорит Зинаида Васильевна.

— Ой, мама...

— Не «ой, мама», а истинная правда. Потому что это самое трудное.

— Что ты хочешь сказать?

— Потому что,— повышает голос Зинаида Васильевна,— о чужих стариках заботиться гораздо приятней, льстит самолюбию, благородное дело, а о своих — кому это нужно? Кто заметит? Скучно, бесполезно...

— Ты хочешь сказать, что о тебе не проявляется достаточной заботы?— напрягаясь, говорит Маша.

— Э того я сказать не хочу. Прости меня, я не считаю себя старухой. Но я хочу сказать, что если имеются такие запасы человеколюбия, то почему бы не направить их на людей близких... Маша, я смотрю, как ты мучаешься в театре.

— Я вовсе не мучаюсь.

— У меня душа болит! Если не дают самостоятельной работы — значит, надо уйти, не мучиться.

— Мама, это все не так просто!

— А устроить ребенка в детсад — тоже не просто! А помочь бедной Кирке! Два месяца никуда не могла устроиться. Спасибо — чужой человек, знакомый Нины Гавриловны...

Входит Кира с полотенцем — из ванной.

— Опять про Кирку языки чешете? Ну, ничего, ничего, скоро от меня отдохнете... Бр-р. Дайте чайку!

— Как же, отдохнешь от вас...— ворчит Зинаида Васильевна, уходя с посудой в коридор.

— Олег, посоветуй: выходить за Павлика?

— Выходи.

— Ну да! Он ниже меня ростом.

— Не имеет значения.

— Ой, бесстыдники...

Сериков вышел в маленькую комнату.

Маша говорит матери вполголоса:

— Зачем ты его цепляешь?

— Никого я не цепляю.

— Зачем ты это делаешь? Зачем меня злишь?

Зинаида Васильевна после паузы выпаливает плачущим шепотом:

— Потому что я вижу, что не то, не то! Тебе нужно другое...

— Да ну тебя!— Маша сердито отмахивается, уходит.

Сериков ходит из угла в угол в своей комнате. Маша взяла его за руку. Он остановился.

Молчание. Она ждет, что он заговорит. Но Сериков молчит.

— Ну, заступись ты за этого старика! — вдруг говорит Маша зло. — Заступись! Тебе хочется? Тебе нужно? Если ты так страдаешь...

Сериков пожимает плечами.

— В театре я никогда ничего не требую, не стучу кулаком, не защищаю обиженных — потому что зачем? Я жду, жду, жду, жду... А тебе я разрешаю! Иди! Спорь с начальством, порть отношения... Если тебе хочется — для души, для спокойствия... Хотя я этого не понимаю... Но разрешаю!

— Разрешаешь... — Он усмехается. — А мне слабó. Я же слабак.

— Неправда.

— Правда.

— Нет! Я тебя увидела первый раз, когда все слабаки стояли внизу, а ты лез по трубе на третий этаж!

— Это все ерунда. Это легче.

— Что — легче?

Маша, разговаривая, быстро переодевается, чтобы идти в театр. Сериков тоже надевает пиджак.

— Лезть по трубе... Я тебя провожу.

— Зачем? Ты устал, побудь дома.

— Не хочу я б ы т ь д о м а.

Маша сухо:

— Как хочешь...

Идут по улице. Сериков несет ее чемоданчик.

Сериков вдруг:

— Давай уедем.

— Куда? — Маша изумлена.

— Все равно... Хотя бы — на другую улицу.

Маша молчит, с какой-то странной печалью глядя под ноги. Голова ее опущена. После долгого молчания, посмотрев на Серикова, она спрашивает:

— Олег, зачем ты пришел ко мне? — Голос ее дрожит.

Он тоже долго молчит.

— Трудно быть одному...

— А ты всегда будешь один.

— Почему?

— Потому, что ты — эгоист. Но особый. Ты ничего для себя не желаешь, ни к чему не стремишься... И поэтому тем, кто рядом с тобой, плохо...

— Плохо? — почти испуганно спрашивает он.

— Да. Потому что ты любишь только одно: свое качество никого и ничего не любить... И дорожишь только одним: своим умением ничем не дорожить... Поэтому — плохо. Хотя ты хороший человек.— Она берет из его рук чемоданчик. Они стоят возле входа в метро.— Ну, пока! Я приду часов в двенадцать. Дверь не запирайте.

— Я тебя встречу.

— Пока! — Она уходит.

## 28

Сериков с листом бумаги в руке быстро входит в приемную Грачева и, кивнув Доре, направляется к дверям кабинета.

— Олег, нельзя, нельзя! — испуганно восклицает Дора, выскакивая из-за стола, чтобы защитить дверь.

— А что такое?

— Там п р и е м! Немцы из ГДР!

— Ах так? «И хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж открывал свой васисдас?..» — С этими словами, ошеломляющими Дору, Сериков распахивает дверь в кабинет.

За овальным столом сидят семь человек: трое гостей, среди которых одна женщина, Грачев, его заместитель Куликов, ответственный секретарь Чаклис и девушка-переводчица. Кроме того, какой-то человек, тоже гость, стоит в углу комнаты и крутит оттуда кинокамеру. На столе скромное угощение из издательского буфета: коробка конфет, тарелка с бутербродами, яблоки, коньяк и бутылки минеральной воды.

Грачев оборвал себя на полуслове, холодно смотрит на Серикова. Он ждет, что неловкий сотрудник, увидев прием, тут же исчезнет, извинившись. Однако Сериков подходит к столу и делает общий поклон.

— Здравствуйте! Guten tag! Роман Романович, извините, тут командировка в Ногинск, подпишите...

Грачев представляет Серикова:

— Работник нашего спортивного отдела Сериков. Присаживайтесь.

Девушка переводит. Вежливые немцы встают, улыбаются, пожимая Серикову руку. Кинооператор из угла делает приветственный жест.

— А товарищи откуда? — спрашивает Сериков, беря стул и присаживаясь к столу.

— Из Берлина. Вечерняя газета... — отвечает Чаклис.

Грачев, подписав, возвращает Серикову командировку и продолжает прерванный спич:

— Так вот, наша газета недавно отпраздновала свое сорокапятилетие. Сорок пять — а? Хороший возраст! Зрелый возраст! В этом возрасте все понимают... а?.. И все могут! Ха-ха...

Он дружелюбно смеется. Девушка переводит. Немцы тоже дружелюбно смеются. Чаклис наливает Серикову коньяк в фужер и пододвигает блюдо с бутербродами. Сериков выпил. Грачев смотрит на него с некоторой опаской.

— У нас сотрудничали, начинали свой путь в литературу многие журналисты, писатели. Могу назвать хотя бы такие имена: Анатолий Свечкин, Виктор Агарышев, Козлов, Зенков... Из поэтов у нас начинали Марк Яковлев и Лазарь Марков, теперь уже известные мастера нашего поэтического цеха.

Немцы усердно записывают.

— Und Gorki nicht? — спрашивает женщина лукаво.

— Горький ниht, — говорит Грачев, разведя руками, — Горький, к сожалению ниht...

Все смеются. Немцы хохочут. Один из них сквозь смех

повторяет: «Горки г зожаленю, нихт...»— и разводит руками.

Сериков встал с бокалом в руке.

— Роман Романович, вы забыли еще одного прекрасного журналиста, который начинал в нашей газете и, можно сказать, является одним из ее создателей. Я говорю о Лужанском Павле Александровиче.

Грачев без энтузиазма кивает.

— Лужанский — наш старейший ветеран, замечательный человек.— Сериков обращается к немцам.— Он работал вместе с Анатолием Свечкиным. А Лазарь Марков, можно сказать, его ученик... Да и Марк Яковлев! Павел Александрович редактировал его куплеты еще в тридцать первом году. Ведь в тридцатые годы Павел Александрович вел литературный отдел в нашей газете...

Девушка переводит. Немцы записывают.

— Я предлагаю выпить за ветеранов нашей газеты! Немцы встают. Остальным тоже приходится встать.

— Хотите познакомиться с Лужанским? — спрашивает Сериков немцев.— Сейчас я его приведу. Айн, цвай, драй! Живая история нашей газеты... Айн момент!

Немцы кивают. Грачев кисло:

— Да стоит ли? Товарищам скоро уходить, они идут в театр...

— Nein nein! Das ist sehr interessant! — восклицает любознательная немка.

Сериков выходит в приемную и говорит Доре, что Грачев требует немедленно привести Лужанского.

Когда он возвращается к столу, Грачев разливает коньяк. Немцы грызут яблоки. Чаклис пытается вести беседу на немецком языке.

— Их бин... вар... яре... — показывает что-то пальцами.

— Да не мучайтесь вы! Девушка переведет, — говорит Грачев.

Входит Лужанский.

— Звали, Роман Романович?

— Да, собственно.. Заходите. Вот, познакомьтесь —

наш старый работник. Как раз ныне провожаем товарища на заслуженный отдых... Присаживайтесь, товарищ Лужанский!

Лужанский садится к столу, о чем-то вполголоса заговаривает с немцами. Они обрадованно откликаются. Тарахтят наперебой. Входит Мартынов, неся бутылку коньяка и три бутылки минеральной. Он ставит все это на стол и что-то говорит Грачеву на ухо. Грачев Лужанскому.

— О чем вы там буробите?

— Я спросил об одном товарище. В тридцать первом году я был в Берлине с делегацией профсоюзов... Но я его знал еще раньше...

— Ага! — кивает Грачев.— Понятно...

Но Серикову ничего не понятно, и он переспрашивает:

— Кого вы знали раньше, Пал Саныч?

— Вот этого немца. Хороший был человек. Знал его по гражданской войне, по Уралу... Он был в отряде интернационалистов...

— Да, да, да, да...— кивает Грачев.

— Нет, поразительно другое! — внезапно, точно продолжая какой-то с в о й разговор, произносит Сериков и почему-то встает.— Как мы ничего не знаем друг о друге. Вот я восемь лет работаю в отделе Пал Саныча, прекрасного газетчика, скромнейшего человека. Я знал, что он понимает эту работу лучше любого из нас. Что может научить и помочь, как никто. Что на всех собраниях он бросался кого-то защищать, а вот когда пришел день и ему самому потребовалось... Я все это знал! И знал, что без него будет неуютно в газете...

— Я тебя прошу! — говорит Лужанский, бледнея.

— Но я никогда не знал, что он участник гражданской войны!

— Ну — мальчишка был, пятнадцати лет... Ординарцем при штабе...

— Что в тридцатом году ты ездил с делегацией в Берлин! То есть до Гитлера, до всех катастроф, до вой-



ны... До того, как я родился! А вы, Роман Романович, ходили тогда в третий класс сельской школы...

— Обо мне тоже ничего не знаете,—махнул рукой Грачев.—Какая там школа! У нас полдеревни повымерло. Был же голод. Меня на баржу и в Астрахань, а оттуда в Баку, в детдом. Я же старый детдомовский бандит.

— Да? Ну вот,—говорит Сериков,—потому что не хотим делиться и не хотим знать. Потому что — равнодушие! Вот мы трещим в газете о подвигах. А что такое подвиг? Не какая-то там рекордная плавка и не какой-то штурм ледниковой, понимаете, вершины. Еще пишем: спортивный подвиг, толкнул куда-то там ядро... Подвиг это — понимание. Понимание другого. Боже мой, как это трудно! Вот мы все не можем понять, что Пал Санычу нельзя уйти из газеты, что это равносильно для него — перестать дышать, перестать жить...

Грачев, который в течение речи Серикова напряжинивался и краснел, вдруг бормочет:

— А кто его гонит? По-моему, зависит от Павла Александровича...

— Нет, я устал... — еле слышно произносит Лужанский. В эту минуту вид у него действительно смертельно усталый.

Чаклис обнимает его и восклицает с внезапной и совершенно искренней пылкостью:

— Паша, мы с тобой еще поработаем! Что значит — устал? Что за разговор?

— О-о! — Немцы вдруг начинают аплодировать. Пожимают руку Лужанскому. Чокаются. Восклицания: «Фройндшафт! Дружба!»

## 29

На лестничной площадке стоят Лужанский и Сериков.

— Не знаю, что мне делать,—дрожащим голосом говорит Лужанский.—Ругать тебя или благодарить со слезами на глазах.

Так как Сериков молчит и как-то бессмысленно, опустошенно улыбается, Лужанский говорит:

— Ты поставил меня в глупейшее положение...

— Прости, Паша. Я не хотел. Это вышло как-то... — не договорив, он делает неясный жест рукой.

### 30

Зима в Москве пролетает быстро: только что встречали Новый год, а вот уже снег исчез отовсюду, его нельзя найти ни днем, ни ночью. И однажды что-то легкое и влажное проносится над городом и происходит перемена: наутро деревья в сквере, обугленные зимой, блестя каждой своей веточкой и воздух вокруг них начинает дымиться. И молодые люди с папками под мышкой снимают шляпы и гуляют по Тверскому бульвару, жмурясь от солнца. Некоторые присаживаются на скамейки и сидят минут пятнадцать, покуривая, отдыхая от беготни и обдумывая: куда бы еще кинуться? Им кажется, что у них еще все впереди, что жизнь полна тайн и через месяц-другой наступит лето, богатое удачами.

В последнее воскресенье апреля в середине дня тысячи автомобилей со всех концов Москвы, то и дело сигнала, увязая в пробках, тянутся впритык друг к другу со скоростью погребальной процессии к стадиону «Динамо». Матч начинается в три, но уже в час проехать на такси по Ленинградскому проспекту невозможно. Самые нетерпеливые выскакивают из машин и бегут пешеходом. Так цыгане со всего мира — тоже веснами — стекаются в одно место, на юг Франции, на свои праздники. Так крепкие молодые лососи из океанов и морей приходят в реки и подымаются в заповедные места, делая сотни километров, перепрыгивая водопады. Так переселяются куда-то — неведомо зачем, но, должно быть, в силу грозной необходимости — миллионные полчища божьих коровок.

В потоке машин ползет такси, в котором сидит рядом

с шофером Сериков. Когда-то он так любил этот день: первый футбол в Москве. Так нервничал и волновался, когда застревал у светофоров. А сейчас почему-то совсем не волнуется и даже может опоздать минут на десять. Сериков одет по-летнему: в белой тенниске, в темных очках, на голове какая-то жокейская шапочка с целлулоидным козырьком. К такси прижимается темно-синяя «Волга». Водитель высовывает руку — отличный серый рукав, белоснежная манжета с запонкой, блеснувшей под солнцем, — и салютует Серикову:

— Здорово, старик!

— А, Боб! Привет...

— Ну, как? — кричит Боб Куриц. — «Спартак» или «Динамо»?

— Наверно, «Спартак».

— А может, «Динамо»?

— А может, «Динамо»...

Кто-то, сидящий на заднем сиденье темно-синего автомобиля, откручивает стекло и кричит:

— Ваш «Спартак» — не команда! — Хохочут.

— Позвони когда-нибудь! — кричит Боб. Темно-синий автомобиль укатывает вперед. — Ты все там же?

Сериков кивает. Помолчав, говорит водителю:

— Это — композитор Куриц. В одном классе учились... Большой был обалдуй...

— А сейчас, видишь, на своей «Волге» катит! А вы — в такси! — радостно говорит водитель и смеется.

Такси подъезжает к стадиону «Динамо», где полно людей и машин, как всегда перед большим матчем. Конная милиция сдерживает толпу.

Сериков идет по широкой лестнице, оглядываясь по сторонам...

### 31

Квартира Маши. Зинаида Васильевна кому-то отворяет дверь. Лицо Зинаиды Васильевны озаряется счастливой улыбкой:

— Владик!.. Маша, смотри, кто пришел!

В коридор выходит Маша, побледневшая, худая. Слабо улыбнулась.

— Владик?

— Он!

— Откуда ты?

— С милого Севера.. Откуда же?

Лицо Владика — красное, плотное, заполярное, проспиртованное, глупое и доброе. И в то же время в этом лице что-то несокрушимо преданное, собачье. Когда Владик снял шляпу, видно, как он здорово лыс. Красной дубленой рукой протягивает Маше сверток.

— А это что такое?

— Так, пустяки. В ГУМе взял.

Владик все время улыбается, не сводя с Маши глаз.

Они заходят в большую комнату. На стуле у окна сидит старушка Калерия Петровна.

— А вы все здесь? Так и не переехали никуда? — удивляется Владик, оглядывая комнату. — Бабушка, здравствуйте! Вы меня помните? Это безобразие, товарищи, что вы до сих пор не переехали! Зинаида Васильевна, за это не хвалю! Никак не хвалю!

— Владик, вы же знаете — какие мы дельцы... — Зинаида Васильевна, все еще сохраняя счастливую улыбку на лице, машет рукой. — Я пойду чайник поставлю. Будем чай пить.

Зинаида Васильевна выходит.

— Ты знаешь, я ушла из театра, — говорит Маша.

— Что ты! Куда же?

— Я сейчас заведу ателье на Таганке. Я очень довольна. Работа очень живая.

— И муж доволен?

— Мужа у меня нет. Я разошлась.

— Что ты! — Владик хохочет. — Ну ты дае-ешь! Почему же?

— Потому, что — эгоист. Думал только о себе. Ах, все вы одинаковы... А как твои дела, Владик?

— Мои-то? Мои — прекрасно. Сделал восемьсот девяносто два концерта. Вся Арктика, Камчатка, Курилы, Магаданская область. По две ставки. Купил «Москвича». Хочу купить тут квартиру в кооперативном доме. Ну, что еще? Пожалуй, все...— Обежал взглядом комнату. На глазах его блестят слезы, но, может быть, тут просто смертельное желание выпить рюмку водки.— Предлагают филармонию, Москонцерт. Что хочешь. Звучу — как из пушки. Знаешь, как звучу.

Откашлялся, запел:

«Я забыл свой край родной...»

Маша слушает в задумчивости. Пришла Зинаида Васильевна с чайником, остановилась в дверях — тоже слушает, улыбаясь. Старушка Калерия Петровна дремлет на стуле.

## 32

...Сериков поднимается по ступеням возле метро «Динамо», запруженным толпой ожидающих, покупающих мороженое, толкающихся в очереди за программкой, кричащих: «У кого Север?», «Меняю Север на Запад!», «Нужно два на Южную!» Сериков напряженно и быстро оглядывается по сторонам. И вот он видит Вовку. В лице Серикова вспыхивает радость. Но он подходит к сыну не торопясь и небрежно берет его за руку.

— Давно стоишь? Ну, идем.

— Папа, вот еще Жека...— говорит мальчик, и из-за его спины появляется Жека.

— Пошли, Жека!

— Пап, а еще Коля...

— Где Коля?

Коля возникает так же неожиданно, как Жека.

— Ребята, вы с ума сошли. Как я вас всех проведу?

— Я думал, что ты можешь,— шепчет Вовка.— Я им сказал...

— Нет, не могу.

— Тогда идите без меня! — побледнев, говорит Вовка. Сериков смотрит на него.

— Ладно! Как будто вы все — мои дети... Давайте руки. Кричите «папа».

Он берет Вовку и Жеку за руки. Вовка смотрит в сторону, махнув кому-то рукой. Сериков поглядел туда и видит стоящую в отдалении мать Вовки, наблюдающую за всей этой сценой. Рядом с нею стоит высокий мужчина в светлом костюме, в шляпе. Мужчина прислонился к крылу автомобиля.

— Кто это с твоей мамой? — спрашивает Сериков.

— Это Николай Николаевич. Он мне разрешил пойти с тобой на футбол.

— А! Спасибо ему... — кивает Сериков.

Мужчина издали делает какие-то жесты Вовке, показывая пальцем на часы и на автомобиль. Сериков ведет ребят к служебному входу. Они проталкиваются в гущу толпы. Толпа поглощает их.

---

# Размышления и картины





## Полчаса, которые потрясли стадион

---

В истории спорта есть события, которым восторженные очевидцы даровали громкие титулы вроде «матч столетия» или «забег столетия», «забег двадцатого века», «золотой забег». Фантазия болельщиков, как мы видим, не лишена размаха. Меньше чем на сто лет они никак не согласны. Таким образом, в текущем веке мы имеем десятка два «матчей столетия» и несметное число забегов того же названия.

Поэтому события, о которых пойдет речь, не будут украшены традиционными эпитетами.

Это был настоящий спорт — вот и все.

Этого не сможет забыть ни один из тех счастливых, кто сидел тогда на трибунах Большой арены. А было это в первый день Дружеских игр молодежи, в Лужниках, в очень жаркий июльский вечер.

...Если бы существовал символический флаг спорта, он состоял бы, вероятно, из трех цветов: синего (ясное небо), зеленого (зелень поля) и кирпично-рыжего (цвета секторов дорожки). Ярко пылает этот трехцветный флаг и радуется глаз болельщика. Огромный, доверху заполненный стадион надвое рассечен вечером: одна половина в тени, другая облита солнцем.

Второй час состязаются легкоатлеты многих стран, приехавшие на дружеские игры. Стадион одобрительно

гудит, с интересом следя за борьбой, но у зрителей отчетливое ощущение: все это пока увертюра, а спектакль — впереди!

Ждут забега на десять тысяч.

Однако напряжение нарастает в секторе для прыжков. Там планка установлена на высоте 2 метра 7 сантиметров. Вышли из борьбы сильные прыгуны: киевлянин Ситкин, румын Сэтер, чех Коварж и молодой спортсмен из ГДР Лейн. Сейчас состязание продолжают два советских спортсмена: рекордсмен мира Юрий Степанов, совершивший фантастический прыжок на 2 метра 16 сантиметров, и медалист Мельбурна Игорь Кашкаров.

Степанов должен был прыгать первым. Он еще не снял тренировочного костюма и, сосредоточенный, углубленный в себя, расхаживает возле кромки футбольного поля. Десятка три фотокорреспондентов и кинооператоров сгрудилась в почтительном отдалении от планки. Степанов медленно раздевается.

А на беговой дорожке в это время появляются спортсмены в синих, голубых, коричневых спортивных костюмах. Это стайеры. «Через несколько минут будет дан старт», — объявляет диктор.

Степанов стоит, приготовившись для прыжка. Он словно ждет какого-то внутреннего сигнала, покачивается на носках и нервно потряхивает кистями опущенных рук. Впрочем, впечатления эти, вероятно, обманчивы — ведь мы сидим высоко, под самой крышей, и фигуры спортсменов кажутся сверху очень маленькими, а выражение лиц можно разглядеть только в сильный бинокль. Нам чудится, например, что Кашкаров несколько тяжеловесен, у него мощная, выпуклая грудь и фигура скорее метателя, чем прыгуна, а Степанов тонок, долговяз и кажется бледнокожим рядом со смуглым Кашкаровым.

Степанов разбегается, его длинные белые ноги мелькают быстро и почти неразличимо для взгляда, как спицы крутящегося велосипедного колеса. Прыжок! Планка не дрогнула.

А бегуны на 10 000 метров уже сбросили костюмы и слегка бегают, разминаются — каждый сам по себе. Диктор называет фамилии и номера участников забега. Мы видим знакомую сухощавую фигуру Затопека (он улыбается кому-то на трибуне и машет рукой), загорелого Чернявского, атлетически сложенного Болотникова, изящного Лауренса, коренастого, с рыжеватой шевелюрой Ковача, белокурых немцев в синих с белой каймой майках. Здесь — сильнейшие стайеры мира, за исключением Куца и Пери.

Вот они стоят тесной шеренгой на старте. Замерли. Неподвижность их поз напоминает детскую игру «Замри!». Один стоит прямо, другой чуть согнулся, третий вытянул руку...

Выстрел!

И мгновенно, точно смятая ветром, шеренга теряет форму и устремляется вперед плотной беспорядочной группой. Из этой сумятицы выскакивает бегун в красной майке с номером «60». Это Петр Болотников. Не раздумывая ни секунды, он дерзко отрывается от остальных сразу метров на двадцать. Что это — рассчитанная смелость, задор малоопытного новичка или слепое подражание Куцу! Посмотрим! Болотников увеличивает разрыв... Что он делает? Хватит ли сил?.. В тридцати метрах за ним бегут четверо: Лауренс, Чернявский, Затопек и Десятчиков, а затем с интервалом следуют остальные.

Так пробегают они первый круг.

Впереди — двадцать четыре круга. Впереди — долгий, бесконечно долгий путь. Целая жизнь. О, здесь будут и беды, и радости, и неожиданные повороты судьбы — как в жизни...

На трибунах внезапно взрываются аплодисменты. Что случилось? Ах да, мы забыли о прыгунах! Кашкаров с первой попытки преодолел высоту 2 метра 7 сантиметров. Планку подымают на 3 сантиметра выше. Сейчас будет прыгать ленинградец. Вот он стоит, как прежде, в будто бы неуверенной позе и потряхивает кистями опу-

щенных рук. Разбег, прыжок — и... планка слетела. Трибуны отвечают гулким разочарованным «а-а!».

С другой стороны, справа от планки, готовится к прыжку Кашкаров.

У москвича великолепный по мощности толчок. Загорелое, мускулистое тело взмечается над планкой, огибает ее и мягко опускается наземь. Высота взята! Зрители восторженно приветствуют успех олимпийца. Кажется, совсем недавно мы сетовали на отставание наших прыгунов. Американцы были «богами». Они парили где-то на высоте 2,10 и 2,12, недостижимые для всего остального мира, а мы безнадежно топтались на пороге 2 метров. Этот рубеж казался нам заколдованным, неким «сезамом». Почему-то была уверенность: стоит преодолеть 2 метра и дальше дело пойдет. И, как ни странно, именно так и случилось. В 1955 году Владимир Ситкин взял запретную высоту — и волшебный «сезам» открылся. Дело пошло! Степанов, Ситкин и Кашкаров, попеременно лидируя, за три года подняли планку еще на 16 сантиметров вверх, и свергли американцев с их небесных высот, и сами стали «богами», недостижимыми для всего остального мира!

Вот он бежит, бледнокожий и долговязый ленинградский «бог». Легко, без напряжения он берет высоту 2 метра 10 сантиметров. На трибунах — ликование. Почти никому из ста тысяч не приходилось видеть такого чуда: два спортсмена подряд преодолели высоту 2,10.

Планка поднимается выше. 2,13!

И тут возникает волнение. Оно нарастает неудержимо. Подобно электрическому току, оно пронизывает трибуны.

Болотников бежит впереди.

Все по-прежнему, с той разницей, что лидер оторвался от четверки во главе с Лауренсом уже метров на сорок. С небольшим разрывом за Десятчиковым бегут Ковач и Янке. Замыкающая группа тоже растянулась цепочкой.

Пройдена треть пути.

Болотников увеличивает разрыв. Медленно, с огромным усилием он отделяется от австралийца. Он пробегает мимо Западной, Южной, Восточной трибун, и за ним волною катятся аплодисменты. Поразительна смелость молодого спортсмена! Ведь за его спиной — грозные соперники, опытейшие бегуны мира. И они не сказали еще последнего слова. Хватит ли сил?

Шумящая овация опоясывает стадион. Степанов с первой попытки взял 2 метра 13 сантиметров!

Лауренс усиливает темп. Чернявский преследует его по пятам. Но австралиец отрывается от него и все неуклонней, точно притягиваемый магнитом, приближается к лидеру. Пройдена половина дистанции.

Какое напряжение! Какой изумительный бег!

Ковач сошел. Худощавый темноволосый австриец бежит с высоко поднятой головой. Его бег напоминает бег Пири. Сейчас будет прыгать Кашкаров. Трибуны шумят не умолкая. Стоит невероятный грохочущий шум. Кто-то из нижних рядов все время пронзительно кричит: «Петя, давай!» Петя — это Болотников.

Петя пытается оторваться.

Но Лауренс приближается неумолимо.

Кашкаров стоит собранный для разбега.

Сто тысяч пар глаз смотрят на него. Сто тысяч человек жаждут ему помочь. Он не видит ничего, кроме планки. Он один. Одиночество на глазах у целого города.

Кашкаров прыгает.

Лауренс достал Болотникова.

Кашкаров сидит на опилках и смотрит вверх: планка не шевельнулась.

Впервые в мире два прыгуна преодолели подряд высоту 2 метра 13 сантиметров. Феноменальный успех! Безумные от счастья лица спортивных корреспондентов. Внизу, на трибунах что-то кричат. Понять невозможно.

Болотников и Лауренс бегут шаг в шаг. Они напоми-

нают тандем — так согласованны их движения. Осталось шесть кругов.

Лауренс бежит мотая головой. Он словно говорит при каждом шаге: нет! нет! нет! Он не сдастся! Чернявский сзади в пятнадцати метрах.

Болотников и Лауренс. Они бегут как склеенные.  
Остается два круга.

«Нет! Нет! Нет!» — говорит Лауренс.

Мы помним его финишный спурт на стадионе «Динамо».

Лауренс обходит Болотникова! Они поменялись местами!

Оглушительный шум.

Они опять бегут вместе, но впереди — Лауренс.

«Петя, давай! Болот-ни-ков!»

Теперь Болотников выходит вперед.

Сто тысяч зрителей поднимаются со своих мест.

«Бегуны пошли последний круг!» — гремит голос диктора, заглушаемый лавиной аплодисментов.

И по-прежнему впереди — могучий тандем: Болотников и Лауренс. Но кто же? Кто из двоих? Последняя прямая. Пятьдесят метров до финиша...

И вдруг мы видим — это как в замедленной кино-съемке: Болотников

начинает

медленно

отрываться

от Лауренса

и уходит от него все дальше, а Лауренс как будто остановился, бежит на месте. Тандем разламывается перед самым финишем.

Молодой советский бегун Петр Болотников первым рвет ленточку. Он побеждает в труднейшей, исключительно упорной борьбе, оставив позади себя знаменитого Затопека и двух медалистов Мельбурна. Что творится на стадионе! Никому из нас не забыть эти полчаса жаркого июльского вечера...

## Небывалые страдания болельщиков

---

Игры завершились, и в этом наше спасение! Еще немного, и мы протянули бы ноги от усталости и недоедания. В самом деле, ведь мы, болельщики, вели каторжную жизнь. Мы здорово осунулись, к вечеру у нас болели ноги и ломило в пояснице, а в глазах не угасал жадный, лихорадочный блеск. Питались мы мороженым и вафлями. Было бы безумием тратить время на обед, когда на баскетбольной площадке болгарки и польки разыгрывали право на выход в финал, а на ринге должен выступать олимпийский чемпион Вольфганг Берендт, а на теннисном корте играет «летающий австриец» Хубер, а в плавательном бассейне... Словом, вам ясно, почему мы питались вафлями. Мы задыхались от впечатления и гибли от собственной ненасытности.

Для примера я расскажу об одном рядовом дне. Вероятно, я ошибусь в перечислении событий, какие-то встречи были раньше, другие — позже, ибо впечатления десяти дней переплелись слишком густо, сумбурно, а на дневники и записи нас не хватало так же, как на обед. Но я попытаюсь передать то запойное, праздничное возбуждение, которое заставляло нас метаться с одного конца города на другой, жариться на солнцепеке, мокнуть под дождем и забывать обо всем, кроме очков, голов, секунд, сантиметров...

Наш день начинается с волейбола. Несмотря на ранний час, солнце печет вовсю, и трибуны стадиона «Динамо» напоминают пляж: молодые парни сидят без рубашек, сверкая медными, загорелыми спинами, повсюду белеют бумажные козырьки, обвязанные носовыми платками головы и самодельные треуголки из газет. Идет четвертая партия во встрече волейболистов Болгарии и Румынии. Счет в партиях 2:1 в пользу румын.

Решающие минуты!

Каждый успех румынской команды сопровождается

воплем восторга со стороны сидящих на трибуне румынских болельщиков. Они дружно скандируют:

— Хайда, хайда, ре-пе-ре!

Болгар на трибунах меньше. Но одна худенькая черноволосая болгарка в синем спортивном костюме отважно борется с целым румынским хором. Голос у нее необычайно пронзительный и не смолкает ни на секунду. Когда болгары выигрывают мяч, она радостно кричит: «Хай, Болгария!» — и, вскочив на скамейку, отплясывает нечто вроде канкана, а когда выигрывают румыны, она осуждающе, но не менее пронзительно кричит: «Хай, романешти!»

— Балето, балето! — весело поддразнивает ее молодой парень-румын. Он нарочно подсел к ней ближе, чтобы поддразнивать, а заодно и познакомиться с хорошенькой болельщицей.

Но юная болгарка не видит ничего, кроме игры. Она оборачивается к москвичам и жестами предлагает им кричать вместе с нею: «Бол-га-рия!» И московские мальчишки приходят к ней на помощь.

Однако счет 12:10 в пользу румын. Болгары играют небрежно и как-то вяло, обреченно. Отчаянная болельщица в синем костюме никак не может заразить их своим энтузиазмом. Они непростительно теряют три подачи подряд и проигрывают. Румыны ликуют, и русоволосый насмешник-румын подскакивает к огорченной плясунье и предлагает ей потанцевать вдвоем.

— Балето, Болгария! Балето!

Все жарче раскаляется полуденное небо. Продавщицы мороженого — нарасхват. Вот маленький толстый тренер египтянин покупает сразу десяток стаканчиков и, прижав их обеими руками к груди, пробирается через ряд к своим питомцам в лимонно-желтых костюмах. Египтяне очень любят наше мороженое. Едва успела начаться игра мужских команд СССР и Польши, как один из египтян вновь протискивается через ряд за следующей порцией мороженого. На этот раз он покупает десятка



два стаканчиков и начинает кидать их через головы зрителей. Египтяне ловят эти сливочные снаряды с поразительной ловкостью и даже вызывают аплодисменты зрителей, забывающих на минуту об игре.

А на площадке тем временем поляки отнимают у наших очко за очком. Что случилось? Неточно бьет могучий Унгурс, ошибаются в защите Андреев и Гайковой. Несколько дней назад наша команда, где дружно играют два ленинградца, два одессита и два москвича, сокрушительно разгромила болгар, но сейчас ребят не узнать. Игра явно не ладится, и трудно сказать почему.

На трибунах потихоньку начинается свист. Счет 9:3 в пользу поляков. Неужели мы проиграем эту первую финальную игру, а вместе с ней и надежды на первое место? Ребята, надо браться, очнитесь! Ведь вы же можете! Мы-то знаем, что вы можете, черт возьми!

Так бывает в спорте: какая-то странная, необъяснимая помеха тормозит действия недавно слаженного коллектива. Игра «не идет», она ковыляет, спотыкается, еле влачится. Непонятная растерянность, подобно молниеносной заразе, охватывает одного за другим всю команду. Все ошибаются, все играют плохо. И это состояние тем губительней, чем дольше оно затягивается.

Когда уже казалось, что первая партия безнадежно потеряна, кто-то из наших игроков принимает пас так «удачно», что мяч отлетает далеко в сторону, на край гаревой дорожки, и его уже готовятся поймать сидящие в первом ряду зрители. Мяч явно погиб. Это всем очевидно, так же как и то, что сегодняшняя игра «не идет».

Но вдруг мы видим, как к погибшему мячу устремляется Семен Щербаков. Он успевает догнать мяч у самой земли — и безумный человек! — пытается поднять его ударом кулака да еще перебросить через сетку. И, ко всеобщему изумлению, ему это удастся! Мяч спасен! Он поднимается высокой свечой и под очень острым углом перелетает сетку.

На трибунах — радостное движение, кто-то аплодирует. Но подождите, подождите! Поляки хладнокровно разыгрывают на три паса и вновь проводят сильнейший удар. Наш защитник принимает мяч столь же «ловко», как и полминуты назад. Мяч отлетает в сторону Белорусского вокзала. Ах, как обидно проигрывать этот чудом спасенный мяч! Но опять тот же осененный вдохновением Щербаков бросается за мячом вдогонку — так очертя голову бросаются спасать утопающего, в то время как другие стоят на берегу и оцепенело наблюдают...

Щербаков «вытаскивает» и этот мяч. Он совершает фантастическое. Он делает значительно большее, чем просто спасает мяч, — он заражает всех своим вдохновением.

Стадион ревет восторженно, изумленно. А команда, словно по сигналу, пробуждается вдруг от спячки. Все начинают играть запальчиво, зло. У всех все получается. Закржевскому удаются его хитрые обманные удары. Фасахов безошибочно бьет левой, а Унгурс сокрушает поляков пушечными подачами.

Игра «понеслась».

Первая партия выиграна в тяжелой борьбе, зато вторая несется на спринтерских скоростях. Третью партию уже неинтересно смотреть.

Со спокойной совестью мы оставляем наших волейболистов довершать разгром и отправляемся в Лужники. Наскоро пообедав вафлями, бежим в метро.

...На кортах возле Москвы-реки соревнуются спортсмены пяти континентов. Теннисная публика мечется от одной площадки к другой: везде интересно! Здесь играет Австралия, там — Куба с Москвой, а там — Ростов-на-Дону с Венесуэлой. Турнира такого масштаба в Москве не было никогда. Впрочем, и такого прекрасного теннисного городка Москва никогда не имела.

На трибунах первой площадки особенно многолюдно. Здесь играют чемпион Австрии Хубер и очень сильный индеец Кумар.

Затаив дыхание, мы следим за резкой, головокружительной игрой, полной остроумия и неожиданностей. Три-четыре удара — очко! Соперники то и дело выходят к сетке. Укороченные, резаные удары с лёта, мощные смещи и ювелирные мячи на линию следуют один за другим. Нельзя сказать, что теннисисты не ошибаются. Они ошибаются, конечно. Но их ошибки происходят не оттого, что теннисисты не могут играть точнее, а оттого, что они непрерывно идут на обострение, рискуют, комбинируют, непрерывно играют — в истинном смысле слова.

— Совсем не похоже на теннис. Какая-то другая игра! — усмехается мой сосед.

Да, к сожалению, мы не привыкли видеть на наших кортах такой теннис. Мы не подозревали, что теннис как зрелище может доставлять подобное наслаждение.

А посмотрите, как ведет себя рыжеволосый австриец на корте. В первые минуты его поведение нас с непривычки коробит.

Австриец сопровождает свою игру комичной мимикой, победоносно улыбается, когда ему удается сделать сильный удар, и с шутливым огорчением трясет головой, когда совершает промах. Он позволяет себе переговариваться со зрителями, улыбается, подмигивает или грозит им пальцем, когда зрители чересчур шумят, и даже замахивается на кого-то ракеткой. Вот Кумар проводит сильный удар, австриец хочет взять мяч с воздуха, но промахивается на миллиметр и застывает с поднятой ракеткой... Публика ахает. Но мяч благополучно опускается в ауте. Оказывается, то был не промах, а тончайший расчет и одновременно веселый трюк. Зрители смеются. Что ж, и смешно и ловко!

— Ерунда, на публику играет! — ворчит кто-то из моих соседей. — На эффект бьет...

— Что вы понимаете! Попробуйте этак поиграть! — возмущается другой. — У него же изумительная реакция!

— Все равно, слишком уж на эффект...

— Он играет, понимаете? Это игра, а не служба!

— Он чересчур развязан!

— Он обаятелен!

— Какое-то клоунство... Цирк...

— Это настоящий спорт! Это прекрасно!

Споры на трибунах не утихают. Однако неутомимый Хубер постепенно покоряет всех своей виртуозной и уморительной игрой. Во всем, что он делает, есть два великолепных качества: юмор и мастерство. Блестяще удаются ему удары слева, когда он держит ракетку двумя руками и производит резкий, неожиданный для противника удар.

Находясь у сетки, он часто перехватывает ракетку из правой руки в левую и бьет ею столь же уверенно. И вдобавок не жалеет себя. От бесконечных падений и акробатических прыжков (недаром Хубера называют «летающим человеком») он перепачкан землей, а руки и ноги его покрыты синяками и ссадинами. Да, это игра, а не служба.

Вдруг, разозлившись на себя за ошибку, Хубер бросает ракетку наземь и ногой отшвыривает ее с площадки. Таких номеров мы еще не видели! Но затем австриец берет подряд два невероятных мяча — оба раза он падает плашмя на корт и мгновенно вскакивает, точно подброшенный пружиной. И трибуны дрожат от оваций.

Ах, как часто мы видим на корте не игру, а службу — нудную, однообразную службу, без азарта, без страсти, без риска! А надо, оказывается, не служить, а играть. В этом все дело.

Хубер выигрывает полуфинальную встречу. Сейчас состоится полуфинал женской парной, но наш теннисный лимит уже истек. Пора бежать на Большую арену, где начинается легкая атлетика. Сегодня — интереснейшие забеги! Нельзя терять ни минуты! И мы бежим...

Вечерние часы доставляют нам наибольшие терзания. Одновременно происходят такие грандиозные события, как полуфинал боксеров, встреча регбистов Уэльса и

Румынии и баскетбольная игра, определяющая финалистов. Все это непременно надо увидеть. Предприятие как будто безнадежное.

«Не будем разрываться на части, — каждый вечер внушает нам голос разума. — Выберем что-либо одно...»

И, однако, каждый вечер мы разрываемся на части. Как это делается, нам и самим не вполне понятно. Это уж нечто мистическое. Но факт остается фактом, мы успеваем посмотреть и то, и другое, и третье.

С крутого склона Малой арены мы наблюдаем за фейерверком баскетбольных комбинаций. На бурлящей, переполненной, как воскресная электричка, трибуне Детского стадиона мы восхищаемся атлетической игрой регбистов. Во Дворце спорта мы кричим вместе со всеми: «Браво, Тамули!»

Шатаясь от усталости, в полночь приплетаемся домой. Не хочется ни есть, ни пить, ни читать, ни разговаривать. Жена обижено просит:

— Расскажи хоть немного. Было что-нибудь интересное?

— Все было очень интересно! — бодро начинаю я, но силы вдруг меня покидают, и я заканчиваю слабым, спазматическим голосом: — Вообще было все...

— Ну а конкретней? Кто с кем играл?

— Все играли... Со всеми...

Большого ей от меня не добиться. Через минуту я засыпаю на стуле. Мне снятся рыжий Хубер, черный Кумар, белые теннисные мячи, зеленое поле, красные рубашки регбистов, перчатки, свистки, падающие барьеры, удары гонга...

## Вместо грозы

---

Зрители на распутье: в какую сторону — на восток, на север или на юг — направить бинокль?..

В понедельник около семи часов вечера на стадионе

в Лужниках происходит одновременно следующее: Джонсон и Кузнецов, лидеры десятиборья, прыгают с шестом на высоте 3 метра 70 сантиметров; Ортур и Бабка посылают диск далеко за отметку 55 метров; знаменитые прыгуны Степанов, Кашкаров и Дюмас соревнуются на высоте 2 метра 6 сантиметров, а в секторе против Северной трибуны состязаются в толкании ядра Зыбина, Браун, Пресс... Какое созвездие имен! И все эти звезды сверкают одновременно!

Каждый миг этого незабываемого двухдневного матча держал нас в напряжении. До последних минут последнего дня был неясен исход. Эстонец Хуберт Пярнакиви под оглушительный гром трибун на последнем метре пятикилометровой дистанции коснулся ленточки чуть раньше Вильяма Деллинджера и... решил все дело. Мы победили.

Но, вспоминая два этих вечера в душной летней Москве, почему-то меньше всего думаешь об очках. Встретились, в общем, равные по силе команды. И два мировых рекорда — американца Джонсона и русского Ряховского — как бы подчеркнули это равновесие.

Но не подсчет очков, не сухая бухгалтерия волновали нас. Волнующим был сам воздух стадиона, атмосфера борьбы, азарта, напряжения и красота атлетов. Это они, атлеты, внушали нам волнение и восторг.

Трудно забыть бег Мэрчисона, хотя бы потому, что нам впервые удалось увидеть «десять и две».

Трудно забыть и победителя в прыжках с шестом Владимира Булатова. Он уже победитель, он остался один после высоты 4,50 и продолжает прыгать, весь осыпанный стружкой. Майка, руки, волосы, потное разгоряченное лицо — все в стружке, и он не отряхивается. Очень смешно выглядит Булатов, но никто не смеется, все смотрят на него любовно и с восхищением, как будто победитель такой и должен быть — весь извалявшийся в стружке.

Настоящие спортсмены отдаются борьбе целиком.

Они забывают, что на них смотрят десятки тысяч. Еще на помосте, когда их представляют зрителям, они могут кокетничать, позировать или смущаться, но вот началась борьба — и весь мир забыт.

Зеленое поле, секторы и дорожки представлялись нам огромным театром, где одновременно в стремительном и сложном переплетении шло несколько спектаклей, и не всегда удавалось уследить за каждым из них.

Мы видели растерянного, смущенно улыбающегося Олега Ряховского после его рекордного прыжка, когда судьи в красных пиджаках окружили яму с песком и по трибунам уже понеслось, как ветер: «Рекорд... Наверное, рекорд... Да! Есть!», — а прыгун отошел в сторону, еще пока в одиночестве, в мучительном неведении, но уже предчувствуя сердцем и не решаясь верить... А рядом, в соседнем секторе, разыгрывалась драма. Трагическую роль играл здесь черный прыгун Чарлз Дюмас, сломленный той легкостью, с какой рвался к победе Юрий Степанов. Видели мы и слезы радости Люсинды Уильямс, молоденькой негритянки, которая узнала о своей победе только после проявления фотопленки, когда, уже одетая, она стояла в толпе в роли зрительницы.

Специалисты по легкой атлетике будут долго еще изучать результаты матча, писать о нем статьи, брошюры и книги. Но московского зрителя поразила не столько специальная, спортивная сторона матча, сколько его прекрасная эстетическая сущность. Значение спорта в жизни человечества растет необычайно бурно. С каждым годом расширяются спортивные связи между народами. Мирное соревнование, этот идеал современности, как нельзя лучше воплощается в спортивных встречах!

Перед началом матча в воскресенье Москва весь день томилась грозой. Было душно, темно-фиолетовые тучи обложили небо. Казалось, вот-вот начнется, польет...

Сзади меня сидели три иностранца, говорившие по-немецки.

Я слышал, как один немец сказал:

— Я вам говорю, что русские изобрели средство против дождя. Видите, соревнования кончились — и сразу пошел дождь, а то они его задерживали... Только это дорого стоит...

По-видимому, после спутников наша власть над природой кажется безграничной.

Гроза переждала. Вместо грозы мы увидели мирный праздник ловкости, красоты и силы.

Вечером второго дня, когда все кончилось, когда последний раз вспыхнули на табло огненные цифры «172:170», и весь стадион был залит электрическим светом, и трава казалась темно-зеленой, и зрители, торжествуя победу, кричали, хлопали в ладоши и все ждали чего-то, хотя ждать уже было нечего, а часть зрителей бросилась на поле и окружила нового рекордсмена мира, гиганта Джонсона, — строгий порядок двух дней вдруг сломался. Судьи покинули свои посты, контролеры открыли барьеры, и все сбились в кучу, все смешались: американцы — в темно-синих костюмах, наши — в ярко-голубых, зрители, американские тренеры — в белых жокейских шапочках, судьи, мальчишки и фотокорреспонденты. И, стоя в это время наверху и глядя вниз, на толпящихся людей, мы с волнением думали о том, что в этой простой дружеской толчее, в толпе разноязыкой и пестрой сокрыт глубокий, замечательный смысл.

Пусть они почаще встречаются на стадионах. Еще чаще. Как можно чаще! И пусть самым грозным их оружием будут деревянные копья, которые отлично метает Владимир Кузнецов, и небольшие чугунные ядра, которыми командует Пэрри О'Брайен.



## История болезни...

---

Природа наших симпатий таинственна.

Сначала возникает симпатия, а потом уж мы отыскиваем причины и находим объяснения. И большей частью мы заблуждаемся: нам мерещатся чересчур благородные причины и слишком красивые объяснения.

Один, например, говорит:

— Я болею за Таля потому, что я — за молодость! За вечное обновление! Да здравствует весна!

Другой говорит:

— А я за Таля потому, что я сам человек рискованный, я, вы знаете, по натуре — хе-хе — немного флибустьер!

Задумчивый болельщик Ботвинника говорит:

— Я симпатизирую Михаилу Моисеевичу потому, что обожаю скромность. Скромность — это мой конек.

Все они обманывают себя. Тайные пружины их симпатий гораздо сложнее и туманнее, чем кажется на первый взгляд. Тут нет никаких правил: пол-Москвы болеет за рижанина, а многие рижане болеют за москвича. Пожилые люди симпатизируют молодому Талю, и есть молодежь, страстно болеющая за Ботвинника. Для того чтобы разобраться в этой путанице, я решил разобраться в себе самом: почему я болею за Ботвинника? Никогда я над этим не задумывался. Болел себе и болел. Издалека. Не заключал пари, не ходил на матч и даже, признаться, не разбирал партий — нет, кажется, посмотрел какую-то одну в самом начале...

И вот я пошел на тринадцатую партию. Накануне Таль разгромил победоносного Ботвинника, сократив разрыв до трех очков и вселив некоторую надежду в сердца своих приверженцев. К девятому ходу, когда я пришел, зал был полон на треть. Ботвинник только что разменял ферзей и предлагал размен еще одной фигуры. Я сидел в окружении знатоков. Вполголоса они предавались тому особому наслаждению, без которого наполовину теряет-

ся прелесть подобных матчей: шахматной болтовне. Они разговаривали тихо, но достаточно внятно, чтобы могли слышать соседи. Если не слышат соседи, прелесть тоже теряется значительно.

Они говорили, что Ботвинник — человек гениальной дисциплины. А Таль, говорили они, человек гениальной интуиции. В этом матче, по их мнению, столкнулись различные индивидуальности, два стиля, две шахматные натуры. И только ли шахматные? Один из знатоков упомянул о Вагнере и Фаусте. Другой напомнил Ренара: «Одну гениальную страницу может написать каждый, все дело в том, чтобы написать их триста».

Я прислушивался к разговору знатоков и примеривал их суждения к своей «болезни» за Ботвинника. Нет, я не находил в них нужного объяснения. Дисциплина? Железная воля? В этих словах было что-то пресное, жеваное.

Мир, конечно, подчиняется дисциплине, но восхищается интуицией. Вот что досадно.

— Ботвинник поправляет очки,— заявил один из знатоков.— Значит, он все продумал и сейчас сделает ход.

Таль расхаживал по сцене, заложив руки за спину, и бросал пронзительные взгляды в зал. Ботвинник чуть заметно раскачивался на стуле. Вот он записал ход, близоруко пригнувшись к бумаге, потом еще немного покачался на стуле, посмотрел на доску, еще раз поправил очки и вот наконец поднял руку и передвинул на доске фигуру. Шепот, скрип кресел рассыпались по залу. Двое юношей-демонстрантов на цыпочках поспешили с обеих сторон к столику и, остановившись на почтительнейшем, как можно более далеком, расстоянии и вытягивая шею, смотрели, какой был сделан ход. Увидев, они так же поспешно устремились к своим демонстрационным доскам.

Ботвинник двинул пешку.

Среди знатоков возникло волнение. Знатоки зажужжали, охваченные жаждой общаться. «Не понимаю, за-

чем он это сделал!» — «А почему вы должны понимать?» — «Нет, это безусловно плохой ход!» — «Я бы не сказал...» — «Но я вам говорю!»

Пока знатоки спорили, а Таль думал, я вышел из зала в фойе. Эстрадный театр, на сцене которого происходит матч, помещается в доме, где прошло мое детство. Я миновал пустынное верхнее фойе и остановился у окна.

Я увидел серые бетонированные стены огромного дома, асфальтированный двор внизу. Много лет не был я здесь. Вон окна нашей старой квартиры на пятом этаже. В каждом подъезде этого дома у меня были приятели: здесь — Олег, там — Левка, там — другой Левка. С тем, другим Левкой, Федотовым, меня связывало так много! Он был замечательный человек. Когда-нибудь я напишу о нем.

Я напишу о его храбрости, о его таланте, о его любви ко всем наукам, ко всем книгам, ко всем великим людям, ко всем искусствам. Он был смуглый, коренастый, лицом немного монгол, с золотыми славянскими волосами. Мы ходили с ним на шахматный турнир в музей имени Пушкина — через Каменный мост, еще тот, старый Каменный мост, с тонкой металлической оградой вдоль тротуаров, выложенных плитами. Нынешний мост, конечно, красивей, но тот был тоже красивый. Тот был гораздо меньше, и по нему ходили трамваи.

Мы увлекались шахматами, так же как астрономией, исследованием пещер, собиранием марок, джиу-джитсу. Нас волновали необыкновенные фамилии шахматистов: Элисказес, Лилиенталь, Левенфиш... Они звучали так же экзотически прекрасно, как, например, Гондурас и Сальвадор. Мы болели за Ботвинника. Он был наш, советский, и он приносил нам радости — побеждал! Он разделил первое место со знаменитым гроссмейстером Флором. Левка играл в шахматы хуже меня, но зато он замечательно рисовал и писал научные романы в толстых общих тетрадах.

Мы преклонялись перед талантами Левки Федотова. Он был гигантом и гордостью нашей школы.

Как-то мы шли из парка, и на нас напали ребята на Кадашевской набережной, и Левка уложил четверых при помощи джиу-джитсу. Во время испанской войны Левка Федотов, надеясь поехать добровольцем, закалял свою волю и ходил по карнизу моего балкона на пятом этаже. Он был близорук, и у него было слабое сердце. Потом я уехал из этого дома. Тогда многие уехали. Но Левка продолжал жить там же, в той же маленькой квартирке на первом этаже, вдвоем с матерью, и я приезжал к нему в гости. Я гордился дружбой с ним и знал, что он станет великим человеком. Левка погиб на войне.

Вот о чем я вспомнил, глядя из окна на мрачные бетонированные стены этого дома, такого чужого, такого далекого. И я подумал о том, что шахматы — не просто игра. Они часть нашей жизни. Часть жизни, понимаете? В том-то и дело.

Когда я вернулся в зал, Таль уже сделал свой семнадцатый ход и теперь думал Ботвинник. Я с жадностью вглядывался в его лицо. Когда-то так же жадно мы вглядывались в его лицо вместе с Левкой. Таль — феноменальный шахматист. Он мне нравится своим острым комбинационным талантом, его взлет великолепен, его будущее блестяще!

## Человек может!

---

Высокий юноша снимает синий тренировочный костюм и медленно идет к месту, где начинается разбег. Сейчас он будет прыгать. Десятки тысяч зрителей глядят на него с жадностью и нетерпением. Множество фотокорреспондентов и кинооператоров сидят на корточках, на скамейках, прямо на мокрой земле, окружив сектор для

прыжков плотным кольцом. Юноша смотрит на планку, висящую на фантастической высоте — 2 метра 24 сантиметра. Он остался один на этом поле кирпичного цвета, потемневшем от начавшегося дождя. Где-то грохочет гром. Зрители накрываются газетами и плащами. Никто не уходит. Он один, соперников нет, и у него остался последний прыжок.

Сейчас он будет прыгать.

Так завершаются соревнования легкоатлетов двух сильнейших спортивных держав — Советского Союза и Соединенных Штатов. В субботу был теплый, безветренный, идеальный для легкой атлетики день. Он принес три мировых рекорда: в мужской и женской эстафетах 4×100 (американцы) и в метании диска для женщин (Тамара Пресс).

Великолепным по красоте и напряжению был поединок советских и американских девушек в эстафете 4×100. На первом этапе спортсменка в красной майке В. Крепкина выходит вперед. В. Масловская еще более увеличивает разрыв, а третья бегунья, М. Иткина, делает нашу победу как будто несомненной — она передает эстафетную палочку Т. Щелкановой, опередив свою соперницу Б. Браун на 2 метра. Таким образом, на последнем этапе негритянка Вильма Рудольф, эта знаменитая «черная звезда», «быстроногая газель», «героиня Рима» и как она там называется еще, начинает бег с гандикапом: ее соперница впереди на 2 метра. Это большая фора на такой дистанции, как стометровка. Щелканова рванулась вперед. Жажда победы подняла на ноги тысячи зрителей Западной трибуны, которые видели этот финиш вплотную.

И вдруг они увидели феномен: в стремительный ритм, который поддерживался на трех дистанциях, врывается нечто новое. Ритм разорван. Включена какая-то неведомая, небывалая скорость. Стройная негритянка с высоко поднятой головой легчайшим бегом, напоминающим полет, догоняет Щелканову, обходит ее метра на два

и первой рвет финишную ленту. Это были секунды изумления и даже некоторого ошеломления всего стадиона, но затем шквал аплодисментов приветствовал победительниц, установивших новый рекорд мира. Советская команда установила рекорд Европы.

Компенсацией за субботний проигрыш была для Щелкановой ее воскресная победа: в первой же попытке она прыгнула в длину так далеко, как не прыгала до нее ни одна женщина в мире.

Воскресенье — этот облачный, душный день, обещавший, как и три года назад, грозу, — оказалось благоприятным для прыгунов. Вслед за Щелкановой мировой рекорд в прыжках установил американец Ральф Бостон.

И, наконец, долгожданный поединок прыгунов в высоту. Олимпийский чемпион Шавлакадзе прекратил борьбу на высоте 2 метра 5 сантиметров, на высоте 2,13 остановился чемпион Соединенных Штатов Эвант, прыгавший оригинальным способом, напоминавшим кульбит.

Остались два «старых» соперника: двадцатилетний Джон Томас и девятнадцатилетний Валерий Брумель. Соперничество новых гигантов началось лишь в прошлом году, но уже обогатило мир несколькими рекордами и потому кажется нам старым.

Две недели назад в этом же секторе Валерий Брумель установил новый мировой рекорд: 2 метра 23 сантиметра. Сейчас он с легкостью, с первой попытки преодолел одну за другой высоты 2,13, 2,16 и 2,19.

Длинноногий негр Джон Томас почти на голову выше Валерия, он кажется более стройным и гибким. Томас тоже взял все высоты вплоть до 2,19, но 2 метра 13 сантиметров он преодолел только со второй попытки.

Планка установлена на высоте мирового рекорда — 2,24. Три раза сбивал планку Томас, два раза неудачно прыгал Валерий. У него осталась последняя попытка. Какие-то три секунды, ради которых сидят под дождем затаив дыхание тысячи людей.

Погода резко испортилась как раз к этому последнему прыжку Валерия. Стало холодно, подул ветер. В перерывах между прыжками Валерий кутается в плащ. Служители накрывают брезентом землю перед планкой, где прыгун отталкивается «толчковой» ногой.

Но вот они стягивают брезент. Валерий замер перед разбегом. Замер стадион. Замерли люди у экранов телевизоров.

Разбег Валерия не стремителен, а как-то на редкость четок, сосредоточен и полон мощи. Вот прыгун взлетает над планкой, огибает ее телом и навзничь, раскинув руки, падает в яму с опилками. И — лежит, глядя на планку.

Она не шелохнулась.

Валерий вскакивает и прыгает от радости, как мальчишка. В одно мгновение он куда-то исчезает. Его нет, Он потонул в толпе фотокорреспондентов. Стадион бушует, люди орут, машут руками, шляпами, хохочут, вскакивают на скамьи. Диктор что-то говорит по радио, но невозможно расслышать, что именно.

Чему радуются эти тысячи людей? Чему радуюсь я? И чему радуются американцы, которые, высоко подняв свои фотоаппараты, бросаются в толпу, чтобы сфотографировать Брумеля?

Все радуются тому, что человек может совершить фантастическое. Он может поднять огромный вес, который еще двадцать лет назад казался сказочным. Он может покорить высоту, о которой недавно не смели и мечтать. Он может подняться в космос и смотреть оттуда на Землю. И нет предела человеку и тому, что человек может.

## Время и волейбол

---

Знатоки спорят: стал ли волейбол интереснее?

А помните, десять лет назад на стадионе «Динамо»?.. Это был, кажется, первый мировой чемпионат, проводившийся в Москве. Ходили смотреть не столько на игру, сколько на то, как все это вообще происходит. Подымают флаги, играют гимны. Французы были очень симпатичные, они напоминали хорошо сыгранную команду дома отдыха, и среди них были два русских, Шишкин и Хохлов, которых в перерыве всегда окружали зрители и спрашивали о том, о сем. Например, нравится ли им московское мороженое. Дальше мороженого идти не решались, да и то было довольно рискованно. Ну, вы помните, какое было время. Сталин еще был жив. Перед началом соревнований его называли «лучшим другом советских волейболистов». На трибунах сидели люди, которые наблюдали не за игрой, а за зрителями. За тем, например, как зрители реагируют на встречу наших с югославами или с командой Израиля. Югославы держались очень стойко. Они бились изо всех сил, стараясь не проиграть, но они, конечно, проиграли, потому что наша команда была на голову выше всех.

У нас была тогда замечательная команда: Рева, Щагин, Нефедов, Якушев, Ульянов, Пименов. Такого собрания звезд не было у нас никогда ни прежде, ни потом.

На том чемпионате происходили разные события, не имевшие отношения к спорту: например, Египет отказывался играть с Израилем. А когда играли израильцы, на трибунах всегда было много зрителей.

И вот снова — чемпионат мира в Москве. Но не под открытым небом, а во Дворце спорта, в великолепном пятнадцатитысячном театре, о котором тогда, десять лет назад, мы могли только мечтать. Прибыли туристы из многих стран. Кипит пресс-центр, толпами бродят



иностранцы, которых никто не спрашивает, как им нравится московское мороженое, работают кинокамеры, телевидение передает матчи в Киев, в Ригу, в Европу. Вот это и есть Большой спорт! Вот это и есть праздник! Шумят трибуны, ахают, аплодируют, свистят, воют, стонут, кричат, острят. Ведут себя как им нравится. И никто не косит глазом, хлопаешь ли ты, когда наша сборная выиграла мяч?

Снова приехала команда Израиля, но теперь она не собирает зрителей. Что поделаешь, она играет слабо, в первый же день «продула» новичкам — монголам. А когда начинается настоящий спорт, все остальное неинтересно. И снова приехали югославы, рослые ребята, молодые, стройные, крепконогие, тогда они были мальчишками. В них нет и помина того каменного, со стиснутыми челюстями, напряжения, которое было в тех, десять лет назад: выстоять, вырвать зубами, умереть, но не сдаться. Они улыбаются. Они не выиграли медалей, но это неважно, выступили они неплохо — вошли в число лидеров, но это тоже неважно, а важно что-то совсем другое. Наверно, они знают, что именно, потому что они улыбаются.

Ах, какая отличная вещь спорт, когда он свободен от задних мыслей! И мы даже не подозреваем того, какую роль он может и будет играть в грядущем.

Результаты турнира известны: наши мужчины завоевали золото, женщины — серебро. Мужская команда провела все встречи без поражений, показав мощную, атлетическую игру в нападении, надежную и изобретательную в защите. Если лет пять-шесть назад игроки нашей команды отчетливо делились на нападающих и защитников, что кончилось плохо, так как мы проиграли ряд международных встреч и парижский турнир 1956 года, то теперь наша сборная — монолитный коллектив, состоящий из универсалов. Каждый игрок может отлично ударить, поставить блок и принять трудный мяч сзади.

Даже могучий Чесноков, наш главный «забойщик», показал уверенную игру в защите.

Впрочем, универсальностью игроков могут похвалиться и другие ведущие команды мира. Это необходимое требование современного волейбола. Вообще уровень мирового волейбола поднялся, но вместе с тем стиль игры большинства команд унифицировался, все играют очень похоже, все поняли, что в волейболе главное — атлетизм, и разучили весь нехитрый ассортимент комбинаций. Наша команда доказала свое превосходство с некоторым трудом. Многие встречи, даже с такими недавними новичками, как японцы, мы выигрывали в упорнейшей борьбе в пяти партиях.

Сенсацией волейбола, да, пожалуй, не только волейбола, а всего мирового спорта, явилась японская женская команда. О ней много писали, не хочется повторяться. Японки играют в совершенно мужской волейбол: при своем небольшом росте они резко и высоко прыгают, производят сильнейшие удары, вытягивают, казалось бы, мертвые мячи, и не просто вытягивают, а умудряются дать пас на второй номер, принять кручную, планирующую подачу, точности которой могут позавидовать мужчины. Все это здорово и даже фантастично, но чем-то разочаровывает. Мы увидели предел волейбола. Трамвай дошел до конечной остановки. Женщины, оказывается, могут играть как мужчины, а мужчины действуют как безошибочный механизм. Все комбинации изучены, все выверено, автоматизировано, неожиданностей быть не может.

Иногда я ловил себя на мысли: как приятно, когда человек ошибается! Это как-то очень по-человечески — ошибаться.

Ну вот, я, кажется, начал критиковать современный волейбол. А мне так не хотелось этого делать. Мне хотелось сказать, что волейбол стал гораздо лучше, несравненно лучше, во много раз лучше, интересней, разнообразней, шире, свободней, гуманней и совершенней,

чем тот, который мы видели тогда, десять лет назад, на стадионе «Динамо».

## Труден путь к Олимпу

---

Все ближе год олимпийский, в котором зимой и летом развернется спортивная борьба небывалой силы. Олимпийское соперничество идет по нарастающей. Теперь уже многие страны превратились в мощные спортивные державы.

За последние пятнадцать лет, с тех пор, как наша страна впервые вышла на олимпийскую арену, мировой спорт необычайно посерьезнел. Он все заметнее превращается в серьезное, планетарного размаха дело, включающее в себя науку, промышленность, средство пропаганды.

Ветераны спорта, и нашего и зарубежного, иногда говорят: «А в наши-то времена не было ни телевидения, ни научных методов, ни электротабло, ни фотофинишей — зато с каким энтузиазмом...» Но дело в том, что в двадцатых, тридцатых и, пожалуй, сороковых годах не было соревнований такого гигантского масштаба, требующих от их участников высочайшего класса мастерства, огромного напряжения и такой ответственности, как в шестидесятых годах.

Могут спросить: а как измерить степень напряжения? Разве Николай Струнников, ставший чемпионом мира в 1910 году, совершил меньший подвиг, испытал меньшее напряжение борьбы, чем Евгений Гришин в Скво-Вэлли? Измерить можно, если взять в расчет не миг соревнования, а всю жизнь спортсмена. Бесконечно возросли годы, дни и часы тренировок. Неизмеримо увеличилась та жизненная отдача, которой требует от атлетов современный спорт.

Не считая себя истинным специалистом в области

техники, тактики и методики спорта, а полагаясь лишь на опыт болельщика, которому посчастливилось присутствовать на многих больших соревнованиях, олимпийских играх, я останавлиюсь на одной проблеме: психологии спорта.

Знатоки, болельщики спорта грешат тем, что любят рассуждать задним числом. Что поделать: предсказания в этой области затруднительны, зато рассуждать постфактум можно вволю. Стоит нашей команде выиграть какой-нибудь турнир или матч или же проиграть, как повсюду начинаются убедительные разъяснения, как и отчего это произошло и почему должно было произойти именно так, а не иначе.

Спорт, к счастью, не стал еще точной наукой, в нем много неожиданного, необъяснимого, и это, на мой взгляд, прекрасно, в этом его прелесть, происходящая от его природной, игровой сути. Да, разумеется, предвидеть и планировать в спорте трудно, но можно и нужно! Тут начинается область психологии спорта. То, что пока наименее исследовано.

Трудно научить человека отлично бегать и прыгать, но еще труднее научить каждый раз побеждать.

У нас есть институт, где занимаются психологией спорта, у нас пишутся статьи, защищаются диссертации по этим темам, но от всего этого пока, на мой взгляд, мало получили те, кому это в первую очередь необходимо,— наши практики, тренеры. А ведь умение точно определить психологическое состояние спортсмена и, что еще сложнее, психологическое состояние целого коллектива, команды есть, наверное, решающий фактор победы. В тех видах спорта, где уровень техники примерно сравнялся и возник некий средний мировой класс (как, например, в футболе), психологическое состояние решает очень многое.

Бразильцы проиграли в ' прошлом году в Англии потому, что приехали внутренне расслабленными. Зато англичане показали пример замечательной психологиче-

ской настроенности, и в этом заслуга их тренера Альфа Рамсея.

Психологическую катастрофу мы наблюдали в прошлом году в Сандерленде, когда несравненно более сильная команда Италии была выбита из четвертьфинала совсем почти неизвестной, малоопытной, но идеально подготовленной психологически командой КНДР. Итальянские асы, избалованные славой кумиры миллионов — Мацолла, Ривера, Факетти и прочие знаменитости, — не могли понять, что происходит на поле.

Мог ли итальянский тренер предотвратить катастрофу? Наверное, мог, если бы поставил на матч игроков не столь знаменитых, не столь надменно уверенных в своем превосходстве.

Тренер, лишенный психологического чутья, не умеющий угадывать душевное состояние и, более того, судьбу спортсмена, всегда в итоге потерпит неудачу, каким бы отличным тактиком и техником он ни был.

В нашем спорте есть немало тренеров, обладающих редким даром человековедения. Они есть и в футболе, и в хоккее, и в баскетболе, и в легкой атлетике, и в других видах спорта.

Кого поставить на матч? Кого посадить на скамейку запасных? С кем следует расстаться навсегда? Кто обещает стать первоклассным мастером, хотя этого не знает пока ни один человек? Эти вопросы, постоянно терзающие тренера, может по-настоящему решать только человек, способный быть глубоким психологом и, если хотите, провидцем, то есть воспитателем, умеющим угадать будущность своего ученика.

Большие турниры, где соревнуется много команд, всегда полны неожиданностей. У одних команд внезапный спад, у других, казалось бы, необъяснимые удачи, целая серия изумляющих удач. Падения и взлеты говорят о том, как неустойчиво, подвержено влияниям и подчас неуправляемо психологическое состояние многих команд.

Взять, к примеру, популярный московский «Спартак».

Не будем вспоминать недавнее прошлое, когда руководители клуба «раздарили» другим способную футбольную молодежь, что было как раз признаком отсутствия «провидческих» качеств. Нынешний сезон «Спартак» начал плохо. Затем последовал неуклонный и долгий подъем: шестнадцать туров без поражений. И — спять срыв. Разумеется, футбол есть футбол, всегда кто-то выходит вперед, кто-то срывается, часто это происходит с одной командой на протяжении сезона несколько раз. Но ведь падения и взлеты — явления внешние, а что же внутри?

«Спартак» рвался вперед в течение почти всего лета за счет огромного психологического напора. Тут безусловна заслуга тренеров, сумевших создать этот напор, организовать нужное психологическое состояние. Но вот — срыв, и очень болезненный. «Спартак» оказался в нокдауне. Что же произошло? Команда, видимо, морально не была готова к возможному поражению. А к этому тоже нужно готовиться. Поражения тоже можно предугадать, тогда они не будут столь сокрушительны.

«Спартак», кстати, одна из команд, где всегда во главу угла ставился и ставится моральный стимул. Болельщики так и называют ее — «духовая» команда. Тем обиднее видеть, когда внезапно этот дух испаряется.

Одни и те же игроки три дня назад играли прекрасно, а сегодня — никуда не годно. Понять эту загадку сможет только тот тренер, который, как говорится, заглянет в душу. Я всегда с интересом читаю интервью с Виктором Масловым, ибо тренер киевских футболистов нередко оценивает события с точки зрения спортивной психологии. Мы слишком были увлечены схемами и цифрами, а они порой заслоняли главное: душевную настроенность спортсменов.

Гренобль и Мехико потребуют от наших спортсменов большего, чем когда-либо, напряжения сил. Конкуренция

возрастет. «Средний мировой класс» распространяется постепенно на все виды спорта. В современных условиях победу может одержать только атлет, феноменально сочетающий множество разных качеств, из которых главное — сила духа. Нашим олимпийским новичкам есть с кого брать пример: с Брумеля, Власова, Болотникова, с замечательных хоккеистов, с таких неукротимых ветеранов, как Гришин, Михайлов и многие другие, чьи имена известны всем. Они воплотили в себе лучшие качества советского спортсмена: трудолюбие, целеустремленность, волю к победе, чувство ответственности перед Родиной.

Истинная сила духа скрыта от взглядов, но в решающие мгновения она видима всем. И в большом спорте, где события разворачиваются на глазах тысяч и даже миллионов людей, эта зримость, эта материализация духа впечатляет особенно. В спорте нет незаметных героев, как и нет незаметных малодушных. Тут все на виду. Мы знаем и помним, как Николай Тищенко со сломанной ключицей продолжал борьбу на мельбурнском стадионе и с его подачи был забит решающий гол; мы помним мужество Роберта Шавлакадзе, победившего в Риме прославленных прыгунов, и бесконечную стойкость Вячеслава Иванова, который уже в 11 раз выступает за сборную и не намерен сдаваться; мы помним игру с канадскими хоккеистами в Стокгольме в 1963 году, когда канадцы поклялись у нас выиграть, но наши ребята перебороли и сломили их громадным подъемом духа.

И мы верим, что в Гренобле и Мехико спортсмены в алых майках покажут новые примеры истинной силы духа и умение побеждать.

## Два слова о спортивных рассказах

---

Всякий жанр постепенно обрастает традициями. Эти традиции — шелуха былых удач — осложняют настоящую работу, засоряют рабочее место, связывают движения. В некоторых жанрах, имеющих многовековую историю, таких, например, как роман, басня, поэма или путевой очерк, накопились горы традиционного мусора, пробиться через которые нелегко. Истинный талант должен, как танк, прошибать себе путь сквозь вавилонские башни литературщины, столетних или позавчерашних штампов. Как алмаз превращается в уголь, так литература в литературщину. И даже в таком юном жанре, как спортивный рассказ... Впрочем, жанр ли это? Пожалуй, да. К сожалению. Появились особые традиции, своя особая, спортивно-рассказная шелуха, значит — сформировался жанр.

Громадное большинство рассказов (всего их пришло около четырехсот), присланных на конкурс «Советского спорта», сочинены по готовым образцам. Одни с большей умелостью, другие совсем неумело, но выбор образцов примерно одинаков. Боксерский рассказ: закрылся, открылся, ушел, нырнул, и внутрь всего этого засунута какая-нибудь тощая психологическая схема. Рассказ о зазнавшемся чемпионе. Или же — о чемпионе, который не выдерживает морального испытания. Большой популярностью пользуется сюжет о старом тренере или школьном преподавателе физкультуры, который чаще всего умирает в конце рассказа. Каждый из названных сюжетов во множестве вариантов был представлен на конкурсе. Один из рассказов о старом тренере, который умирает («Маэстро»), по мнению жюри, даже заслужил премию (автор рассказа Святослав Рыбас получил вторую премию на конкурсе. — О. Т., А. Ш.). Рассказ написан точно, достоверно, возникли живые фигуры, и — схема исчезла. Это еще раз доказывает, что банальных



сюжетов не существует. Есть лишь банальное исполнение.

Но вступающим на эту стезю все-таки хочется дать совет: не начинайте с банальных сюжетов! Не идите в литературу от литературы. Рассказывайте простые истории, которые случились с вами, вашими друзьями, дальними родственниками, врагами, соперниками и соседями по лестничной клетке. Плохие спортивные рассказы образовали жанр спортивных рассказов. Хорошие спортивные рассказы принадлежат великому жанру, в котором работали Гоголь, Чехов, Мопассан.

Надо описывать характеры, страсти и чувства людей, и чем точнее вы будете в этих описаниях, тем удачнее будут ваши спортивные рассказы.

## **В первые часы творенья**

---

Секрет телевидения еще не разгадан.

Роль голубого экрана на столике в комнате и его влияние на нашу жизнь, привычки, настроение, характер гораздо более основательно, чем теперь, будут выяснены социологами, когда пройдут несколько поколений, возвращенных телевидением. Пока что мы экспериментируем на себе. А что получится из телечеловечества — увидим через сто лет.

Телевидение — это другая жизнь. Она вторгается в нашу повседневность, в наши квадратные метры, заботы, огорчения, болезни, удачи, в наше счастье и горе. И вторгается могущественно, с сознанием своей власти. Тут не просто кино на дому или стадион в кресле, тут нечто большее — другая жизнь приращивается к нашей собственной, единственной, и продлевает, расширяет ее, заполняет все пустые пространства, все, что можно заполнить. А может, укорачивает... Кто знает? В общем, делает что-то серьезное с нашей жизнью.

Спорт по телевидению — тоже другой спорт.

В 1966 году летом в Сандерленде я смотрел на стадионе какой-то малоинтересный матч нашей подгруппы, то есть подгруппы, в которую входила сборная СССР, боровшаяся за выход в четвертьфинал. Кажется, играли итальянцы с чилийцами. Чилийцы уже были обречены. Но в это же время в другом городе встречались фавориты: Венгрия и Португалия. Мне пришло в голову, что было бы разумней не томить себя нудным зрелищем второсортного футбола, а подняться в пресс-центр и там, в уютном пресс-баре, в окружении солидных пресс-мэнов насладиться игрой футбольных асов, которую наверняка передают по телевидению. Довольный своей сообразительностью и не сказав приятелям ни слова, я тихо поднялся со своего места и побежал по ступеням вверх, в пресс-центр.

Все произошло точно так, как я предвидел. Старенький «ашер» в униформе проверил мою пресс-карту, и я получил доступ в респектабельный, синий от сигарного дыма пресс-бар, где несколько солидных джентльменов сидели в креслах перед телевизором. Я сел на свободное место и приготовился наслаждаться. Впрочем, венгры и португальцы играли так же посредственно, как наши «сандерлендцы». Такие же вялые пробежки, ленивые удары. И стадион был точной копией нашего стадиона, одного из старейших и заслуженных английских стадионов, построенных специально для футбола, без гаревой дорожки, без секторов, где трибуны круто спускались к самой кромке поля. Во время войны сандерлендский стадион пострадал от прямого попадания немецкой бомбы и был заново перестроен. Я увидел точно такой же козырек над Северной трибуной, а вот и знакомая надпись: «Пресс-центр»... Но что это? Я подозрительно поглядел на джентльменов. Они невозмутимо и как будто с интересом смотрели на экран, где бегали футболисты, чрезвычайно похожие на итальянцев и чилийцев.

Наконец, подавив в себе ложное самолюбие — ведь глупо спрашивать, просидев у телевизора десять минут! — я все-таки спросил: «Это что... Италия и Чили?» Один из джентльменов кивнул.

Живая игра в ясный солнечный день происходила за стеной, но джентльмены предпочитали сидеть в прокуренном кабаке и смотреть в ящик. Почему? Ошеломленный, я выбрался из пресс-центра и вернулся на свое место в девятом ряду. Может, джентльменам было лень пройти несколько ступенек вниз по лестнице? Может, их раздражали выкрики и грубый смех некоторых зрителей, из тех, что занимают дешевые стоячие места внизу, курят вонючие сигареты и носят крохотные клетчатые кепочки, едва налезавшие на макушку?

А может, джентльмены хотели увидеть другой футбол?

Как я потом узнал, телевизор в баре сандерлендского стадиона передает только матчи, которые играют на этом стадионе. И маститые члены сандерлендского футбольного клуба, имеющего, кстати, почти вековую историю, очень любят в своем кругу — вот уж это непременно, чужаки тут нежелательны! — следить за игрой, шум которой прекрасно слышен сквозь дверь.

Таким образом, спорт по телевидению — это не просто лучший выход при отсутствии денег на билет или невозможности поехать на стадион, но зрелище, доставляющее особое, сложное и, я бы сказал, многослойное удовольствие. Джентльмены получали удовольствие: а) от вида самой игры, которая их в некотором роде все же интересовала, так как за одну из команд были поставлены фунты; б) от мягких кресел и возможности тут же в баре заказать сигару, кофе, виски со льдом и просто сосиску с каплей горьковато-сладкой горчицы на краешке рифленной, из тонкого белого картона тарелки; в) от приятного сознания того, что они находятся в своем кругу, что никто не осмеливается им помешать, за исключением одного дурно воспитанного иностранца,

который ворвался, ни с кем не поздоровавшись, шлепнулся в кресло и через десять минут, спросив, кто играет, вскочил и убежал; г) от тонких, со знанием дела, замечаний мистера «Х» во время игры, от забавных комментариев мистера «У» и от молчания мистера «З»; д) от возможности, не отрываясь от футбола, следить по телефону, который тут же, под рукой, и по радио за событиями, происходящими на бирже и на стадионе для собачьих бегов, где на «грейхаундов» тоже поставлены фунты; е) и, наконец, от разговора, который вел с экрана неподражаемый, единственный в своем роде, чертовски остроумный и понимающий толк во всем и всегда мистер Бобсон.

Итак, мистер Бобсон.

Его роль громадна: он один из творцов другого футбола, о котором говорилось выше, другой жизни. Он должен, стало быть, обладать талантом и могуществом бога Саваофа. Он обязан творить!

Так как секрет телевидения не разгадан, истинных творцов пока нет. Английских «мистеров Бобсонов» мне узнать не удалось по той причине, что знания языка хватало лишь на то, чтобы спросить: «Сколько стоит эта газета?» Возможно, там и были местные боги Саваофы. Во всяком случае, мне так казалось. Но то, что я не понимал их быстрого небрежного английского языка, было как раз удачно: они меня не раздражали. Я мог считать их гениальными комментаторами. Я слышал, как они журчали, посмеивались, вдруг умолкали, вдруг восклицали: «О-о!» — и это было так многозначительно, так приятно!

Главное свойство нынешних телекомментаторов — тех, которые вынуждены за отсутствием творцов нести эту непосильную для них ношу, — то, что они здорово умеют раздражать. Иногда хочется, чтоб они говорили по-английски или — еще лучше — по-кафрски. Потому что совсем выключить звук жаль: нужны шум игры, волнение стадиона. Разумеется, я раздраженно шучу. Звук

необходим, ибо необходима информация, хотя бы минимальная.

Однажды я решил внимательно проследить за трансляцией футбольного матча по телевидению, чтобы понять откуда, из чего, из каких мелочей накапливается раздражение. Транслировался первый матч в Лужниках. Играли «Спартак» и «Торпедо». То есть это был не заурядный футбол, а всесоюзное торжество, премьеры в Москве. Сто две тысячи зрителей — на трибунах, миллионы болельщиков — у телевизоров. Вел репортаж один из популярнейших спортивных комментаторов. Основным и, надо сказать, немаловажным достоинством этого комментатора является непринужденность. В эфире он чувствует себя на редкость легко. Говорит быстро, свободно, без натуги, без запинки... Это будто бы само собой разумеющееся и азбучное качество спортивного комментатора нам, телезрителям, приходится высоко ценить потому, что есть комментаторы, которые над каждой фразой задумываются, как над шахматным ходом в серьезной партии.

И вот в своей излюбленной манере, небрежно и весело, популярный комментатор начал репортаж. Я — старый болельщик «Спартака». Матч меня волновал, и я приготовился к напряженному переживанию. «Дай бог, чтоб он ничем меня не раздражал! Не испортил бы... — то была невольная мольба болельщика, вдруг заслонившая задачу, которую я себе поставил как исследователь спортивного телерепортажа. — В конце концов, можно заняться анализом раздражения на каком-нибудь другом матче!»

Но почти с первых минут популярный комментатор взялся за свое черное дело. Начал с того, что перепутал фамилии игроков. Ну, бывает! Каждый может ошибиться. Это по-человечески — ошибаться... Затем комментатор совершил явную оплошность, произнеся укоризненно во время назначения судьей штрафного удара:

— Ну за что же? По-моему, ничего не было! Но судье, как говорится, видней...

Дело в том, что телевидение позволяет зрителям присутствовать на поле, видеть игроков вблизи, наблюдать все тонкости борьбы, выражения лиц и т. д. Прошло то время, когда радиокомментатору Вадиму Синявскому мы верили на слово. И вот перед моими глазами крупный план — торпедовский защитник зацепил ногой прорвавшегося Осянина, и тот упал — это было очень четко видно, — и я, естественно, возмутился репликой: «Ну за что же?!» Вместе со мной возмутились миллионы телезрителей, которые видели эпизод так же хорошо, как я. Комментатор мог не видеть, он сидит высоко. Но, зная об этом, зная также, что не обладает орлиным зрением и что судья находится в тридцать раз ближе к игровому эпизоду, чем он, сидящий на верхотуре, он не имел права столь безапелляционно восклицать: «Ну за что же?!» Раздражение стало расти.

Уже не желая того, пытаюсь выкинуть из головы источник раздражения — голос комментатора, — я невольно начал прислушиваться к нему, ловить все фонетические, грамматические и логические ошибки, которыми пестрела речь «телезвезды». Все было кончено! Я больше не мог следить за игрой. Я переключился на комментатора. Он поработил меня. С болезненным упорством я вслушивался в назойливый высокий голос, отмечая все его промахи, ляпсусы, нелепости... Вот он произнес: «Играет значение», от чего я вздрогнул, будто меня проткнули иглой. В другом случае я бы, наверно, пропустил милое выраженьице мимо ушей, но тут, когда все во мне наболело и сочилось раздражением... Вот он спутал Янеца с Янкиным. Оговорка. И даже смешная! Но меня всего передернуло. Нет, я уже не воспринимал юмора. Раздражение кипело. Я вскочил со стула и начал ходить перед телевизором. Тут он принялся читать что-то заранее заготовленное — судя по округлым и совершенно бесцветным фразам, — и это округло-бесцвет-

ное относилось к «истории встреч двух играющих сегодня команд». Мне казалось, что все это именно в таких выражениях я слышал много раз.

Игра шла неярко, счет был ноль-ноль. «Команды больше думают об обороне, чем... Я бы сказал, что встретились равные соперники... Но мяч, как говорится, круглый...» — вот что сопровождало бесплодную беготню на поле.

Мне пришла в голову мысль о том, что нулевой футбол находится в какой-то мистической связи с нулевым комментированием. Одно влияет на другое. Но, впрочем, это слишком смелая, если не сказать безумная, мысль, и я не берусь обосновывать ее подробно.

Популярному комментатору казалось, что он еще не добил меня. Тогда он произнес фразу, от которой я, как болельщик, весь напрягнулся.

— Да, кстати, — сказал он, — дублеры играющих сегодня команд встретились вчера на стадионе «Спартак» в Тарасовке. Игра закончилась...

Тут он умолк... Он, видно, следил за тем, что происходит на поле. Кто-то стал продвигаться к чьим-то воротам, и это заинтересовало комментатора. Он забыл, что начал говорить о дублерах. Происходившее на поле было ему гораздо интереснее, тем более что само он результат матча дублеров знал.

Прошло довольно много времени, прежде чем он заговорил вновь:

— Да, кстати, о дебютантах. Сегодня в «Спартаке» дебютирует молодой защитник Ловчев... Сейчас вы видите, как он...

После рассказа о Ловчеве он заговорил о другом дебютанте, вообще о дебютах, затем сказал несколько добрых слов о ветеранах. Я метался между телевизором и телефоном, лихорадочно соображая: кому позвонить? Кто может знать, как сыграли дублеры?.. Но вот мой мучитель вспомнил, что не закончил фразы,— а может

быть, кто-то из сидящих рядом напомнил ему — и очень непринужденно произнес:

— Мы тут говорили о матче дублеров... Так вот, он окончился вничью, ноль-ноль...

Когда истекла девяностая минута и мне уже стало казаться, что свою порцию раздражения я получил сполна, ничего больше, слава богу, не произойдет, мне пришлось, однако, пережить еще кое-что. Комментатор сказал:

— Итак, ничья, ноль-ноль! Осталось теперь узнать, кого из игроков сегодняшнего матча жюри признает лучшим и кто получит приз. Интересно, кто же? Жюри состоит из авторитетных специалистов...

Он замолчал. Игроки шли к центру поля, куда направлялся и судья, державший мяч. Я вжался в кресло. Предчувствие недоброго овладело мной. Да, комментатор молчал. Капитаны пожали руки судье, друг другу. Молчание длилось. Заиграли марш Блантера. «Ну, кто же? Кто?? Кто??? — все стонало во мне.— Кого жюри, состоящее из авторитетных специалистов...» Бац! Стадион исчез, вместо него возникла картинка Москвы. Это значило — все. Конец. Я никогда не услышу, кто же признан лучшим игроком матча, а мне было так необходимо — не знаю уж зачем, — так смертельно важно услышать это!

Кстати, такое обрубание концов сделалось дурной традицией спортивных передач. Во время трансляции финальных боев боксеров из Бухареста после слов комментатора: «Итак, остался последний бой! Встреча тяжеловесов решит, кто же одержал командную победу» — передача внезапно прекратилась. Бой тяжеловесов был обрублен, и телезрителям пришлось ждать утра, чтобы узнать имя команды-победительницы из газет. Что же, кроме недоумения и сердитого разочарования, могут вызывать подобные спортивные передачи? Во время передачи легкоатлетического матча на приз газеты «Правда» точно так же был обрублен интересный — пожалуй,



интереснейший! — забег на 10 тысяч метров. Причем диктор успел раздражить наше любопытство, сказав, что сейчас предстоит наиболее увлекательный забег, в котором собраны наши лучшие стайеры, а также гость из ГДР, сильнейший стайер Европы, — вон он, в темной майке под номером...

А через минуту вполне непринужденно было сказано, что «наша передача подошла к концу». Все это свидетельствует лишь о малом уважении к нам, телезрителям.

Работа спортивного телекомментатора — дело титанической трудности. Поэтому обыкновенные люди, даже обладающие величайшей непринужденностью, тут не годятся. Нужны титаны. Я старался вспомнить, когда я получал от телеспорта наибольшее удовольствие? Однажды в той же футбольной Англии, в 1966 году, на лондонской квартире корреспондента АПН я смотрел по телевизору матч СССР — ФРГ, происходивший в другом городе.

Комментировали матч сразу четверо: Андрей Старостин, Николай Старостин, Михаил Якушин и корреспондент АПН, фамилию которого я, к сожалению, не помню. Каждый вносил в разговор свое. Андрей Старостин — глубокое понимание психологии игры, Николай Старостин — четкую информацию, знание во всех подробностях хода и механизма чемпионата, Михаил Якушин — насмешливое, меткое остроумие, корреспондент АПН — осведомленность во всей политической, культурной, бытовой атмосфере вокруг турнира, во всем, что писали газеты, что говорили лондонцы. Истинный комментатор должен сочетать четыре ипостаси: понимание, информацию, остроумие и культуру.

Теперь — о стиле репортажей.

Это относится не только к телевидению, но и к спортивной прессе. Многими телекомментаторами и спортивными журналистами усвоен невыносимо приподнятый, трескучий стиль, больше напоминающий о военных па-

радах, чем о мирных состязаниях на зеленом газоне или в спортивном зале. Особенно, когда дело касается международных встреч и наших побед. Степени только превосходные, эпитеты — максимальные, образы — космические, героические, исторические, а также из мира драгоценных металлов, драгоценных камней. То и дело в связи с какими-то спортивными успехами употребляются слова: «герои», «богатыри», «подвиг», «небывалый», «феноменальный», «великий».

А как истерлось и совершенно обесценилось, погибло когда-то столь выразительное русское слово «подвиг»! Им швыряются налево и направо. Уже не осталось, кажется, ни одного мало-мальски известного спортсмена, который когда-либо не совершил «подвиг» и не величался «героем».

Раскрываю газету «Советский спорт» и читаю на первой полосе крупными буквами: «Спортивный подвиг всегда вызывает уважение. Если этот подвиг совершен в немыслимо короткие сроки, если он связан с покорением невиданного рубежа — такой подвиг вызывает и восхищение...» Далее в таком же барабанном стиле сообщалось о мировом рекорде в толкании ядра. Надежда Чижова показала действительно выдающийся результат. Но при чем тут подвиг? Разве Надежда Чижова победила смертельную опасность, рисковала жизнью, пожертвовала своим здоровьем или здоровьем своей семьи, толкнув ядро на девятнадцать метров семьдесят два сантиметра? Может быть, она поставила на карту все свое будущее, вступив в сектор для метания? Полагаю, что нет.

Полагаю, что Надежда Чижова хорошо подготовилась, много и упорно тренировалась и, обладая завидными физическими данными, сумела в один прекрасный день совершить столь удачный толчок.

Радоваться рекорду, разумеется, можно, это вполне естественно, тем более что рекорд после годичного перерыва вернулся на Родину, но не надо при этом

заниматься девальвацией понятий. В русском языке слово «подвиг» означает нечто другое. В том же номере газеты, перевернув страницу, я прочитал статью о велосипедисте Викторе Капитонове. Называлась статья «Рыцарь терпения». Начиналась так: «Последние секунды его спортивного подвига...» Ну хорошо, согласимся: спортсмены — герои, а то, что они делают, — подвиги. Но как же мы назовем тогда истинных героев, совершающих настоящие подвиги? Где взять слова, чтобы обозначить различия? Надо же как-то различать тех и других! А если так, то бросок ядра за отметку рекорда — подвиг, а бросок Матросова на амбразуру — достижение? Хоккеисты, выигравшие чемпионат мира, совершили подвиг, а панфиловцы, погибшие при обороне Москвы, добились выдающихся результатов? Полет прыгуна с шестом над планкой — подвиг, а полет космонавта в космической бездне — спортивный успех?

В этой путанице понятий кроется еще и другая бестактность. Если победивший в спортивном состязании — герой, богатырь, доблестный сын Отечества, то кто же проигравший? Кто полярная противоположность герою — ничтожество, трус? Ну это, может, сказано слишком сильно, но, во всяком случае, субъект подозрительный... Вот что получается, когда смещаются значения слов.

В спорте и победитель и побежденный почти всегда одинаково достойны уважения, и поэтому не стоит чрезмерным возвеличиванием одних унижать других. К тому же дешевые похвалы и стереотипные восторги оказывают подчас роковое действие: у иных богатырей «темечко не выдерживает». И, глядишь, вчерашний «герой», Геракл двадцатого века, совершает совсем другие «подвиги», и его приходится исключать из сборной и лишать звания заслуженного мастера спорта. Так что будем осторожнее с русским языком! Должен признать, что и автор этих строк не без греха: немало в свое время натрещал и набарабанил по случаю спортивных побед. А ведь о

спорте надо говорить спокойно, четко и точно, как того требует сам спорт, измеряемый в метрах, очках и секундах.

Все шире спорт завоевывает эфир. Благодаря телевидению мощно возросло число ценителей спорта, поклонников хоккея, футбола, гимнастики, фигурного катания. Я знаю пожилых, далеких от спорта людей, кабинетных интеллигентов, которые за последние год-два превратились в отчаянных болельщиков. «Как вам нравится Старшинов? — говорят они при встрече. — Подумайте, не забить такой шайбы!» Еще недавно они не знали, что такое шайба.

Спортивное телевидение — редкая область, которая дает нам возможность увидеть мир, далекие страны, города, людей. То нам показывают Швецию, то Францию, то Японию, то Мексику... Ведь передачи из Мексики, с Олимпийских игр, были удивительно интересны! И как часто, к сожалению, они сопровождались маловыразительным репортажем. Помню, как кто-то комментировал парад открытия на стадионе в Мехико: говорил только о костюмах. У кого какие куртки, какие шляпы. Было похоже, что идет репортаж не с Олимпийских игр, а с выставки мод. Неужели было не ясно, что телезрители ждут другого? Но комментатор был не готов к другому. Он ничего не знал и ничего не мог рассказать о спортсменах многих стран, кроме того, что было перед его глазами: в какие цвета они были одеты. Современный спортивный телекомментатор должен быть энциклопедически образован, должен знать предмет досконально. У нас есть несколько талантливых комментаторов — Ростислав Орлов, например, великолепно знающий легкую атлетику; грузинский футбольный комментатор Котэ Махарадзе, на редкость спокойно, объективно ведущий свои репортажи; Виктор Набутов, ну и, конечно, Николай Озеров, — но это недопустимо мало для такой страны и для

такого спорта, как наш. Да и не в количестве дело. Талантливыми мы называем комментаторов, которые ищут и могут. Лучшие из них пока находятся в стадии поисков. Иногда бывают удачными репортажи, которые ведут спортсмены. Интересно, на мой взгляд, комментировал бои боксеров Геннадий Шатков. Однако отдельные удачи не могут скрыть общей картины: уровень мастерства спортивного репортажа заметно отстает от уровня мастерства тех, о ком идет речь,— спортсменов мирового класса.

Спортивное телевидение — часть огромного и пока еще неизведанного мира, который творится на наших глазах. Мы присутствуем при первых часах творенья.

## Планетарное увлечение

---

Что же это такое — спорт, спорт, спорт? Игра? Развлечение? Может быть, работа? Изнурительный труд? Искусство? Что-то вроде театра, цирка? А может быть, вот что — могучее средство воспитания молодежи? Пожалуй, да. Этого не отнимешь. Но почему же из-за этого средства воспитания миллионы людей как бы сходят с ума, делаются безумцами, возникают крупные межгосударственные конфликты и даже войны (Гондурас — Сальвадор)? Может быть, спорт, спорт, спорт — это всего лишь наваждение двадцатого века? Нечто вроде всемирного психического заболевания? Недаром же понятие «болельщик» входит в слова: болельщик, фан, тифози...

В жаркий день конца июля поднимался с толпой на холм Уэмбли, где должен был состояться финальный матч лондонского чемпионата мира по футболу. В финал вышли команды Англии и ФРГ. Десятки тысяч немцев приехали на эту игру с континента. Операция «Морской лев», которая не удалась немцам во время второй мировой войны, прекрасно осуществлялась во время войны футболбольной — тысячи автомобилей и автобусов перебрались

через Ламанш, оккупировали лондонские предместья, за-топили улицы каркающей немецкой толпой. Немецкие песни, немецкие красные лица. «Хох! Хох! Зиг хайль!» Они ходили шеренгами, взявшись за руки. И вот все это, полухмельное, возбужденное, со знаменами и флагами, с дудками, пистолетами и барабанами, перемешанное с такой же возбужденной толпой англичан, которые тоже несли флаги и пели хором про святых, идущих в рай, поднималось странной, как бы ползущей вспять лавиной на холм стадиона Уэмбли. Стояла библейская жара, которой никто не замечал. У подножия стадиона я увидел маленького, невзрачно одетого человека с белым лицом идиота. Размахивая руками, он что-то кричал навстречу идущим. Он пытался остановить толпу. «Опомнитесь! — кричал он. — Чем вы занимаетесь? Куда вы идете? Страшный суд грядет! Мир на грани конца! По слову Апокалипсиса...» Толпа обтекала кричавшего. Никто даже не смотрел на него. Один спросил: «А кто сегодня выиграет, ты не знаешь?»

— Меня это не интересует! — быстрым жестом отмахнулся человек с белым лицом.

Толпа проглотила его, поволокла наверх, на трибуны. Там, на поле, уже маршировал военный оркестр, публика шумела, редела, жрала пиво и сэндвичи, дым от десятков тысяч сигарет поднимался в небо и свивался гигантским табачным облаком. Все торопились жить, узнать: кто, кто, кто? Через два с половиной часа узнали: англичане. Ну и что? Немцы сели в автобусы и автомобили и поехали назад в свой фатерланд. Доннерветтер, реванш не удался даже здесь, на зеленом газоне.

Так может быть, спорт, спорт, спорт — пустое сотрясение воздуха? Какая-то отдушина, куда вылетают клубы некоего неблаговонного пара, называемого национализмом?

Было и другое. Помню: синее небо Отрана в Савойских Альпах, и многотысячная толпа у подножия трамплина. Все смотрели наверх и ждали, как зачарованные, ког-

да появится прыгун. Он возникал внезапно на синем экране неба, одну секунду парил и затем с поразительной ловкостью хлопался на крутой склон, несся снарядами вниз. Не помню, кто тогда выиграл. Там были финны, чехи, норвежцы, наши ребята, канадцы, поляки, французы, американцы. Но отчетливо помню общее впечатление: во всех странах есть изумительные смельчаки!

И была радость — за всех, гордость — всеми, человечеством.

В фильме, о котором пойдет речь, Белла Ахмадулина читает такие стихи:

Ты человек, не баловень природы,  
Ты в ней возник, в ее добре, тепле.  
Возьми себе урок ее свободы,  
Не обмани ее в любви к тебе.

Страдает и желает совершенства  
Души твоей таинственная суть.  
Так в совпадение муки и блаженства  
Вершит земля свой непреложный путь.

Ты созидает сам себя и лепишь,  
И никому не видимым резцом  
Ты форму от бесформенности лечишь  
И сам себе приходишься творцом.

Да, да, и это тоже — сотворение совершенства.

Понять и исследовать феномен двадцатого века — Спорт с большой буквы — задача для художника бесконечно сложная, увлекательная, неясная и новая, как сам предмет исследования. Режиссер Э. Климов и автор сценария Г. Климов создали картину с открытиями. Многое им удалось сказать впервые.

Главное — серьезность подхода, взгляд на спорт с больших вершин, философских, исторических. Не всегда этот стиль выдерживается, но в лучших местах картины, там, где он существует, возникает стиль высокой пробы: правда, глубина, осмысление.

Авторы картины сразу находят точный, документально-правдивый тон — как бы в пику множеству развлекательно-живописных картинок, показывающих лакированную спортивную жизнь. Тяготы спорта! Горечь! Трагедии! Не правда ли, мы этого нигде никогда не видим: ни в кино, ни в спортивных газетах и журналах и уж тем более — в телевидении. Но ведь спорта без трагического не существует. Каждый спортсмен неизбежно переживает трагедии: в течение спортивной карьеры — поражения, а в конце ее — уход из спорта. Ни один, самый величайший, не избежал трагедии конца. Тут происходят страшные вещи, иногда не видимые для постороннего глаза, но порой вырывающиеся наружу с вулканической силой.

В фильме Климова, может быть, и нет этой конкретной темы, но есть ощущение внутренней трагичности спорта — и одно это правдиво и ново! Мы видим с первых же кадров: падает на ипподроме лошадь со всадником, жесточайшая свалка у футбольных ворот, падают, столкнувшись, хоккеисты, в отчаянном броске падает на лед хоккейный вратарь, искаженное напряжением лицо боксера, схватка на ринге, разбитое изуродованное лицо, мотоциклист втаскивает из последних сил свою тяжеленную машину по жидкой грязи на холм — и силы покидают его, мотоцикл вырывается из рук и падает, переворачиваясь...

Очень трудно в большом спорте. Неимоверно трудно — победить.

Одна из лучших новелл фильма — о Брумеле. Всеветную славу этого прыгуна можно сравнить со славой Джесси Оуэнса, который, кстати, тоже присутствует в фильме. Трагическая тема конца есть и в новелле о Брумеле, но здесь причина не возраст, а — рок, несчастье.

Плоть трагедии та же: внезапное прекращение привычной, прекрасной жизни — на подмостках мира, под светом юпитеров — уход в тень, в толпу.



Чем поразителен Брумел? Мы видим ничем не выдающегося молодого человека, который может быть студентом, шофером, электросварщиком, инженером. Он симпатичен, ординарен. Его рост — средний, ноги — никакие не дьявольские пружины, обыкновенные. Кто-то за кадром рассказывает: «Хилый, худой, слабый. Сибиряк он был. Привык к трудностям. Была большая семья, впроголодь жили...»

Еще кто-то: «Если он сел только первый раз за руль, так он должен ехать быстрее всех».

И еще голос: «Он всегда любил так: вызов бросить всему. Людям, условностям, обстоятельствам — ну, всему!»

Разные люди говорят о Брумеле разное. Мы даже слышим первое впечатление первого тренера Дьячкова: «Да, пружина редкая, но говорит — совершеннейший дуб!» и дальше: «Он мне задавал столько вопросов, когда мы начали с ним работать, что я за всю свою жизнь, как педагог, не имел столько вопросов в сумме!» Потом, когда в кадре сцены матча с легкоатлетами Америки, задумчивый голос произносит: «Честолюбие у него... Это честолюбие развито уже с детских лет до невероятности».

И вот возникает объем, возникает характер, душа — живой человек. Не герой, не ангел, не феномен, но с чем-то внутри безусловно феноменальным. Человек, обреченный от природы всегда побеждать! И сам уверившийся в этом, привыкший к этому. Не мыслящий иного. Что же делать, если — природа велела побеждать? Ну, труд, конечно, бесконечные прыжки, тренировки до седьмого пота — прыжки, прыжки, прыжки, прыжки. На пустых стадионах, в холода, в зиму, в дождь. В фильме все это есть. Труд показан. Но ведь все трудятся. Все прыгают до седьмого пота. Миллионы прыгунов во всех странах совершают без усталости миллионы прыжков, на что-то надеясь, веря в свое героическое трудолюбие.

Но только один — Брумель. Два метра двадцать восемь.

И вдруг все кончается. Мировые чемпионы — представители новой, небывалой породы людей. Они дышат не кислородом, а шумом трибун, рукоплесканиями, тем дурманящим запахом, который источает победа. Когда все это исчезает, — нечем дышать. Пережить собственную славу так же трудно, как выкарабкаться из тяжелейшей болезни. На Брумеля обрушилось сразу и то и другое — конец славы и болезнь. И он начинает бороться. Мы видим — он выкарабкивается!

Феноменальность, заложенная в этом спортсмене, еще ярче проявляется именно теперь — когда мир с жадностью махнул на него рукой.

«Моя правая нога была сильно искалечена, — рассказывает Брумель о катастрофе под Дворцовым мостом. — Торчали обломки наружу. Ну, я подобрал... эту ногу в руку и при помощи двух товарищей допрыгал до остановившегося «Запорожца»... Затем — два с половиной года мытарств по клиникам и наконец встреча с доктором Илизаровым.

Брумель встал на ноги. Прыгает... Да, прыгает снова. Он мне разрубил голень в двух местах, ну вот... поставил свой аппарат, и...»

Прыжки, совершенные Брумелем после несчастья, после того, как все похоронили его как спортсмена, все до единого, даже бывший тренер, намного выше его рекордных. Он боролся теперь не с высотой и не с планкой, а — с роком.

Он пытался перепрыгнуть рок! И это ему почти удалось. Да, удалось. Можно сказать, он вышел в отчаянной последней борьбе победителем.

Мрачный голос специалиста за кадром: «Мне кажется, никаких перспектив нет. Не сможет он прыгнуть! Ну, два двадцать восемь — это никогда. Два пятнадцать — под большим вопросом... Ну, остальные прыжки, думаю, не интересуют ни его, ни вас. Никого!»

На фоне этого казенного пророчества показаны прыжки Брумеля. На совершенно пустом стадионе. Действительно — не интересуют никого. Показаны семнадцать планов неудачных прыжков.

Восемнадцатый план. Брумель лежит в яме с опилками и смотрит на планку: она осталась на месте.

Этот незаметный прыжок на безлюдном стадионе — великий прыжок. Человек не знает всех своих возможностей. И человечество — не знает. Прыжок несчастного бывшего чемпиона есть одно из маленьких открытий — нет, не фильма, а Брумеля и нас вместе с ним — еще не изведанной страны возможностей человека.

Заслуга режиссера: так рассказать, что мы делаем это открытие вместе с прыгуном.

Кажется, я слишком надолго остановился на рассказе о Брумеле. А в фильме есть и другие удачи. Например, просто и красиво излагается бесхитростный сюжетик — занятия детской школы плавания. Тут нет глубоких проблем. Милые детские лица, красивая молодая женщина — тренер, блондинка в очень красивом красном тренировочном костюме, красивая зелень парка, красивая вода в бассейне, красивая песенка: «В нашем доме поселился замечательный сосед». И все это было бы совсем знакомой лакированной картинкой, если бы... девочка Таня, юная пловчиха, не была бы снята медленно, подробно и беспощадно во время обычного тренировочного заплыва. Мы видим нарастающее утомление, краснеющие белки глаз, тяжелое дыхание — нет, красота снаружи, а внутри тяжесть, бесконечные усилия. Труд в спорте начинается вот в таком юном возрасте.

Красные глаза Тани и ее нежное, измученное лицо — лишь пролог, слабое обещание того, что предстоит.

Например, той драмы, которая рассказана в другом, наверное самом сильном, сюжете фильма. Забег на десять тысяч метров в Филадельфии во время легкоатлетического матча СССР — США в 1959 году. У любителей

спорта этот эпизод остался в памяти как «подвиг Пярнакиви». Я знал об этой истории раньше. Но кинорассказ производит ошеломляющее впечатление.

Гавриил Коробков, тренер советской сборной, рассказывает: «Бег происходил в июле месяце, когда улицы Филадельфии были больше похожи на реки, а машины на лодки. Жара была тридцать четыре... Это была парная...»

Ну, вы помните, конечно? Американцы и наши шли очко в очко. Перед последним номером программы — десять тысяч — американцы впереди на два очка, 75:73. Американец Боб Сот делает рывок. Трагическая ошибка: при такой духоте и влажности никаких рывков делать нельзя! Последовало возмездие. Мы видим, как американец вдруг начинает бежать на месте. Совершенно потрясающее зрелище. Похоже на бег во сне. Тысячи зрителей встают со скамеек и смотрят, как несчастный Боб Сот семенит ногами и не двигается с места. Его шатает то в одну сторону, то в другую. Он напоминает бабочку, трепещущую под ветром. И вдруг — падает. К нему хотят подбежать, врачи, одним из первых — наш врач Петров, но судьи не дают никому приблизиться к Соту. Он еще на дистанции, и он еще должен и может подняться!

Стадион в отчаянии наблюдает, как в человеке борются смерть и долг. Никто не может ему помочь. Все это какое-то безумие. Сот поднимается. Это довольно страшно: поднимается не человек, а остов, бессознательная, умирающая плоть, в которой не существует ни сил, ни мыслей, ни чувств, ничего, кроме воли.

Сделав несколько шагов, Сот падает замертво.

Коробков говорит: «У Сота не было уже солей в организме и в мозгу... Не было кислорода... Все вышло, выпотело, вылетело... В общем, он почти потерял жизнь в тот день».

И то же самое происходит с Хубертом Пярнакиви. И он тоже бежит почти на месте. Нет, он двигается! Он

все-таки продвигается, шатаясь, зигзагами, высоко поднимая колени, но — вперед, вперед. Его лицо слепо. Он бежит без сознания. И тоже падает замертво, на руки друзей, — но уже за финишной чертой.

Тысячи американцев плакали, наблюдая бег.

Героем был наш железный бегун Десятчиков. Он победил и даже — по вине судей, которые совсем потеряли голову, видя этот кошмар, — пробежал лишний круг, лишние четыреста метров.

Героями были все: и Пярнакиви, и Сот.

И странно после этой драмы, вокруг которой витала смерть, услышать голос за кадром: «От того, добежит ли Хуберт, зависело все... Выиграет ли матч советская команда или нет...»

Что ж это — все? Какие-то там три очка, два очка? Одно очко? Ей-богу, ради этого все же не стоило огород городить и показывать нам такие душераздирающие сцены.

Никто не помнит теперь, через одиннадцать лет, с каким счетом окончился тот матч. Два очка в ту сторону или в эту не имеют значения. Это интересно, может быть, только спортивным статистикам. Но в памяти навсегда остались бегущий зигзагами в полубреду Пярнакиви и умирающий и встающий Боб Сот.

Десятчиков — замечательный атлет. Его физические возможности оказались выше всяких похвал. Но ведь он не вел схватку со смертью, он вел борьбу за спортивную победу и за медаль, а Пярнакиви и Боб Сот сражались на грани жизни и смерти — кто же победитель и над кем? Не следовало в этой сцене вспоминать про очки. Очки — труха, сено для статистиков и чиновников.

Хотелось бы, чтобы в отличном фильме — отличном, несмотря на просчеты и уязвимости, — было бы больше общечеловеческой, глубинной сути спорта, той сути, которая помогает раскрыть человека как творение природы, homo sapiens. Ибо победить себя может только homo

sapiens. В филаделфийском эпизоде было самое время поразмышлять об этом.

Уместно включены в фильм эпизоды Берлинской олимпиады 1936 года. Мы видим немецких болельщиков на трибунах, их жадные, восторженные, орущие лица. Через три года эти молодые люди, скандирующие самозабвенно «Дойчланд фор!», набросятся на Европу, разорвут Польшу, а потом Данию, Бельгию, Францию. Площадное ликование в честь побед на гаревой дорожке — того же состава, из тех же молекул, что и ликование по поводу пленения Варшавы и захвата Парижа.

Большой спорт формирует человечество, объединяет народы. Но Слишком Большой спорт народы разъединяет.

Говоря о Слишком Большом спорте, я имею в виду спорт, раздувшийся от самодовольства, гордыни, национального чванства и сознания того, что побеждает только сила, одна сила, ничего, кроме силы.

Поединок Гитлера и Джесси Оуэнса многозначителен. В этом маленьком эпизоде — песчинка того урагана, который навис и вскоре пронесся, прорыдал над Европой, — заложены большой смысл и пророчество. Гитлер был обречен. Он проиграл в самом начале. Джесси Оуэнс выступил от лица человечества.

Ну что ж, пришла пора поговорить о просчетах.

Фильм «Спорт, спорт, спорт» тяжеловат и разностилен. Его можно было бы назвать: «Все о спорте» и еще «Всем — о спорте». Он напоминает рыхлый праздничный концерт, где есть номера на всякий вкус, на любого зрителя. Есть серьезное чтение вроде отрывков из «Войны и мира» или «Анны Карениной», есть прекрасный классический балет, есть романсы Рахманинова, украинский гопак и есть какие-нибудь пошлые эстрадные штучки, так называемые юмористические рассказы, унылые жонглеры и непременно — болтливый конферансье. Есть такой конферансье и в фильме «Спорт, спорт, спорт». Это старый массажист дядя Володя, в возрасте примерно

Мафусаила, потому что — по его рассказам — работал массажистом еще до мировой войны 1914 года. И первый рассказ дяди Володи довольно забавен — о том, как он помогал французскому бегуну Жану Буэну. Используются кадры старинной спортивной хроники. Действительно, забавно — спортсмены вовсе не спортивной внешности, уса-чи, бегут нескладно, публика нескладно «болеет». Все это смешно само по себе. А нужно ли добавлять смеху еще репризами дяди Володи?

Репризы такого стиля:

«— Да, кого же только не массирует дядя Володя!  
— Ну, как кого? Э... шахматистов не массирует. Чего у них массировать-то? Хе-хе... ты подумай!

— Ха-ха... В общем, да!»

В зрительном зале наверняка смех. Но ведь, если один клоун ударит другого галошей по физиономии, тоже засмеются.

Дядя Володя однообразен, и — много его, чересчур много. Конферансье должен знать меру. Есть одна натушная новелла — юмористический рассказ — о том, как дядя Володя парился где-то за границей в бане. Ну, вроде должно быть и смешно, и остро, и с какими-то намеками. И кто-то будет смеяться. А кому-то будет скучно. Западный, разлагающийся мир изображен таким, каков он есть в шаблонном представлении дяди Володи. Авторы фильма заняты как бы благой целью: поиздеваться над шаблонными представлениями. Но дядя Володя при этом превращается в дурака.

А если дурак, — тогда скучно, тогда перебор.

Выпадения вкуса есть и в других местах фильма, например в новелле о баскетболисте, от которого в ужасе шарахается лошадь. Это тем более недопустимо, что баскетболист — известный, заслуженный спортсмен, его сразу узнают зрители. Решительно не понравилась мне буффонада, устроенная авторами, — опять же с помощью дяди Володи — по мотивам лермонтовского «Купца Калашникова». Великое произведение переделано в капуст-

ник. Я не пурист, не стараюсь выставить себя неким хранителем огня — если бы получилось смешно, с удовольствием бы посмеялся. Но когда смешного нет, а есть натуга, претензия, тогда возникает протест: не трогайте Лермонтова! Где-нибудь в новогоднем капустнике на «Мосфильме» это и можно показать, но не надо тащить домашнюю буффонаду на глаза миллионам зрителей.

Тем более что дядя Володя и здесь выглядит дураком.

Но наверняка и эта безвкусная сцена кому-то понравится, где-то вызовет смех, аплодисменты. Вот почему я сказал, что фильм можно назвать «Все м — о спорте». Разностильность имеет свои преимущества: позволяет доходить до самых разных слоев, вкусов. Не то, так это. Каждый найдет что-нибудь для себя. В статье «Иван Тургенев» Мопассан писал:

«Когда Тургеневу рассказывали о том, в каком количестве расходятся известные книги соблазнительного жанра, он говорил:

— Людей пошлого склада ума гораздо больше, чем людей, одаренных умом утонченным. Все зависит от уровня той интеллектуальности, к которой вы обращаетесь. Книга, нравящаяся толпе, чаще всего нам вовсе не нравится. А если она нравится нам, как и толпе, то будьте уверены, что это происходит по совершенно противоположным причинам».

Что же такое — фильм «Спорт, спорт, спорт»?

Серьезное киноразмышление? Капустник? Концерт? Попытка исследования? Документальный очерк? Лирический фильм? Наверно, это и то, и другое, и третье, и четвертое. Много личин, много граней — как в самом спорте, этом странном планетарном увлечении двадцатого века. В одном месте авторы фильма вполне резонно сближают спорт с искусством. Вперемешку со стройными фигурами спортсменов мелькают знаменитые картины, скульптуры. Их, правда, многовато, опять же без чувства меры: мелькают Дега, Леонардо, Египет, Пикассо, Бот-



тичелли, Петров-Водкин, Дюрер, Микеланджело, Сальвадор Дали (Сальвадор Дали рифмуется со спортивным уродством, кетчем, что есть некоторый примитив и нагрузка.) Но дело не в этом.

Искусство и спорт на самом деле чем-то глубоко, природно близки. Не будем повторять общеизвестного — воспитание, красота и т. д. Но есть еще одно гораздо более общее о б щ е е. Как выяснилось, человечество не может существовать без искусства, а теперь уже — и без спорта. Поэтому серьезные раздумья на эту тему все больше привлекают художников, умеющих мыслить. Недаром один из лучших современных кинорежиссеров Франции Клод Лелюш увлекся темой мирового спорта и снял замечательную картину об Олимпиаде в Гренобле.

Климов в фильме «Спорт, спорт, спорт» добился многого. Он поймал и выразил гигантское многообразие спорта. Он увидел красоту, и опасности, и трагизм, и смешное. Еще нет художественного обобщения, без чего, как известно, не возникают шедевры. Но обобщения — будут. Надо привыкнуть, присмотреться, обжиться в новом краю: его же только осваивают! Может быть, к общению придут другие, с помощью Климова.

Этот фильм, отталкивающийся от легкомудрия и пошлой спортивной комедийности — хотя с родимыми пятнами того и другого, — торит большую дорогу.

## Из жизни гигантов

---

Спорт — область в чем-то необозримо расширяющаяся, но в чем-то крайне узкая, ограниченная рамками. Расширяется она в одном направлении — рекорды, очки, секунды, метры. Тут происходит непрерывный и головокружительный прогресс, которому не видно конца. (Как раз сегодня прочитал в газете слова Яна Тальтса о том,

что тяжеловесы скоро достигнут 700-килограммового рубежа. Это заявление, которое еще пять лет назад показалось бы фантастическим, набрано скромненько и почти потерялось в длинной, скучной статье. А дальше что ж — 800? И где-то вскоре — тысяча? Да разве люди могут поднимать такие нечеловеческие веса? Как видно, могут! Но зато форма выражения этой фантастики ограничена канонами, однообразна. Тот же бег, те же прыжки, метания копья, диска, те же кряхтящие на ковре борцы, те же атлеты со вздутыми жилами, отрывающие от земли тяжести, — что и две тысячи лет назад.

Так вот, что касается кино... Хотя кинематограф — молодой вид искусства, а спорт — бесконечно древний (искусство или игра, не будем спорить), кино уже несколько надоело иметь дело со спортом. Ибо кино как раз занимается формами выражения, а они тут, увы, традиционны. Каждый год происходит множество соревнований разных видов и рангов. Каждый год снимаются документальные ленты о соревнованиях, непременно цветные. И каждый год мы видим на экране сумбурно бегающих футболистов, кричащих зрителей на трибунах, плавающих в воздухе — снятых рапидом — прыгунов. «Все это было, было, было...» А куда денешься? Существуют правила игры, и все происходит в этих железных клетках. О да, фильмы о спорте пользуются неизменным успехом: они красочны, динамичны, в них есть борьба, сюжет. В них фигурируют знаменитости.

Очень трудно сказать в этой области новое.

Легче установить феноменальный мировой рекорд, чем снять мало-мальски свежую картину о спорте.

Нечто новое сказано, на мой взгляд, в картине «Трудные старты Мехико». В этой картине есть настроение, что бывает крайне редко в фильмах такого жанра. Представьте, что вы смотрите футбольный матч — великолепный, острый, на высочайшем уровне мастерства — и одновременно со спортивными прелестями наслаждаетесь лирическим настроением, которое внушается вам произ-

ведениями искусства, музыкой, стихами. И в какой-то миг настроение, внушаемое вам, становится столь могущественным, что результат матча перестает интересовать. Трудно себе представить? Что-то подобное сказал Лелюш в своей замечательной картине о Гренобльской олимпиаде. Спорт превратился в искусство при помощи кино. Не важно, кто участвовал, а важно, какой смысл во всем этом для деревень, расположенных в горных долинах, для маленьких старых городов, для людей, для тебя. Лелюш создал картину о спорте, где спорт не главное. И это мудро, ибо человечество выдумало спорт для чего-то большего. Лелюш к нему прикоснулся, к этому большему.

«Трудные старты Мехико» — картина об Олимпиаде. Благодаря своей поэтичности, напряженному лиризму эта картина выходит за пределы рассказа об Олимпиаде. Здесь много драматизма. Много обнаженной и суровой правды о спорте. На Олимпиаде в Мехико советская команда, как известно, несмотря на блестящие победы в отдельных видах спорта, потерпела в общем зачете поражение. Мы привыкли к победам, но огорчаться и изумляться не следовало. Были причины, и главная — небывало тяжелые климатические условия Мексики, подкосившие европейцев. Гораздо успешнее приспособились к климату атлеты американского континента, среди которых много негров, а также атлеты Азии и Африки. Даже спортсмены Австралии, с успехом выступавшие на прежних олимпиадах, особенно в легкой атлетике и в плавании, на мексиканской земле не стяжали лавров, а знаменитый Рон Кларк проиграл коронную дистанцию — мексиканские условия оказались непереносимы и для них.

Борьба в большом спорте происходит ныне на пределе физических возможностей человека. Когда же к этой борьбе присоединяется еще борьба с высотой, с разреженным воздухом, то все вместе становится почти нечеловеческим испытанием. И вот это-то зрелище мучи-

тельно тяжелой борьбы мы видим в ярких, впечатляющих кадрах фильма «Трудные старты Мехико». Ни в одной из прежних документальных и научных лент о спорте я не видел таких истерзанных напряжением лиц, такого полнейшего изнеможения, таких странных конвульсивных движений.

Гребцы после финиша обессиленно опрокидываются навзничь, а те, кто сидит сзади, подставляют колени, но сами тоже валятся спиной назад, ловят ртом воздух, глаза их закатываются — и это довольно страшно. Прозуменщикова после заплыва в обмороке. Ее закутывают в одеяло, несут на руках. Крупное бледное лицо в белокуром венчике безжизненно запрокинулось — сколько раз на фотографиях мы видели это лицо улыбающимся! В довершение к жалкому виду Прозуменщикова еще и проиграла. Но и победители не выглядят победительно. Голубничий на последних метрах вырывает победу у мексиканца, и в то время как мексиканец совершенно подетски обнаруживает свое отчаяние, чемпион нелепо и бессмысленно кружит по траве — его лицо не выражает ни счастья, ни радости, никакой мысли — сознание отсутствует, силы тоже. Вот она: жестокая маска победы!

Да, это не лакированный спорт с обложки иллюстрированного журнала. В фильме уловлена суть большого спорта: победитель должен на минуту почти умереть для того, чтобы победить.

Человек с нормальными физическими данными, с обычной волей, обычной нервной системой ничего не смог бы добиться на олимпиадах шестидесятых годов и уж наверняка ничего не добьется на олимпиадах будущего. Это занятие становится личным делом гигантов. Гиганты разыгрывают медали между собой. А обыкновенные люди смотрят на гигантов по телевизору.

В фильме, о котором идет речь, гиганты показаны крупным планом. Мы видим выражения их лиц, ощущаем их непередаваемое хладнокровие, исполнинскую мускулату-

ру их воли; впрочем, иногда искусные операторы дают возможность увидеть — едва шевелящееся, хорошо упакованное — волнение гигантов: Ромуальд Клим и Дьюла Живоцки, два метателя молота, два гиганта с мировыми именами, соревнуются в напряженном молчании. Их стокилограммовые тела совершают поразительные по легкости пируэты в тесном круге для метания, их чугунные плечи выбрасывают молот с такой силой, что судьи — обыкновенные штатские люди с чахлыми бицепсами, — трепеща от почтительности, бегут скорей-скорей измерять расстояние. Гигант в очках Эдуард Гуцин и гигант с маленьким мальчишеским ротиком американец Мадсон толкают ядро. Видно, как им тяжело, беднягам: они ведь тоже действуют на пределе своих возможностей, хотя и гигантских.

Леонида Жаботинского снимают как-то снизу, отчего еще выразительней его громадность. Он поднимает, как обычно, железную гору. Потом на площади, вечером, раздаёт автографы. Проектор освещает его в толпе. Он похож на маяк в море, на каменную башню, о которую бьются волны. Наверное, он мог бы поднять сразу всех этих лилипутов, окруживших его, льнущих к нему, желающих его потрогать, пощупать: человек ли это?

Картина «Трудные старты Мехико» отличается от многих иных тем, что в ней отсутствуют надоедливый барабанный стиль победы, герои, подвиги — изрядно опостылевшие всем, кто по-настоящему любит и ценит спорт. На Олимпиаде было очень трудно. Но в картине нет трескотни по этому поводу. Правдиво показано: большой спорт постепенно переходит на другую территорию, где живут и действуют гиганты. Что же, грустно. Но ничего не поделаешь, это факт. А нам остается массовая физкультура. И это тоже прекрасно!

Налет некоторой элегичности, атмосфера грусти есть в картине — что подчеркнуто, кстати, отличной музыкой Е. Стихина и песней А. Пахмутовой, которая мгновенно

сделалась популярной,— и эта тональность, необычная для фильмов о спорте, придает картине особую выразительность. Надо отметить талантливую работу создателей картины операторов Д. Гасюка и Б. Головни, которые проделали весь этот гигантский — опять гигантский! — труд вдвоем. Лелюшу помогали более сотни операторов.

Итак, всем, кто любит спорт, музыку, путешествия, дальние страны, экзотические костюмы, красивых девушек, могучих мужчин, кто любит грустно размышлять, глядя на веселое представление, будет чрезвычайно интересно посмотреть эту картину из жизни гигантов.

---

**О футболе...**





## Клуб... болельщиков

---

В Москве есть множество клубов, принадлежащих различным ведомствам. Есть клуб писателей, Дом архитекторов, Центральный шахматный клуб, клуб милиции... Всех не перечислишь! Никто не обижен.

И одна только категория москвичей — огромная, многотысячная армия футбольных болельщиков — не имеет своего клуба. А уж как он им нужен!

Ведь футбольный болельщик — существо общественное. В одиночестве он не живет. Он умирает от одиночества. Ему надо постоянно с кем-то общаться, делиться своими восторгами, кому-то что-то доказывать, перед кем-то щеголять своей осведомленностью. Ему необходимы массы других болельщиков — слушателей, спорщиков и крикунов, таких же, как он.

И вот великая страсть и тяга к общению делает чудеса. Клуб болельщиков создан! В нем нет ни столов, ни стульев, ни даже крыши. Это — клуб под открытым небом. Он расположен на участке асфальта возле ограды стадиона «Динамо». Где вывешен щит с результатами футбольного первенства.

В течение всего сезона, с апреля по ноябрь, возле ограды толпятся болельщики. Клуб работает без выходных, с утра до вечера. Одни подходят, другие уходят. Часами разговаривают о футболе. Стоят в июльскую

жару на солнцепеке. Стоят под дождем. Стоят в промозглую ноябрьскую сырость. Попробуйте пройти мимо стадиона в двенадцатом часу ночи — стоят. Разговаривают. Хрипло доказывают, что «Спартак» забил гол с офсайда. Многих ждут дома дети, любимые женщины, взволнованные родители — все равно стоят...

Здесь, в клубе болельщиков, нет деления по возрастным, профессиональным или каким-либо другим признакам. Седовласые счетоводы, юные пионеры, рабочие с фабрики «Ява», шоферы такси, студенты, пенсионеры, продавцы, генералы в отставке — все равны перед лицом страсти. Все шумят, спорят, изрекают прописные истины, воздают хвалу, мечут громы, молнии и предсказывают будущее команд с одинаковым рвением.

Состав членов клуба меняется в зависимости от конъюнктуры. В середине минувшего сезона, например, в толпе болельщиков преобладали поклонники «Спартака». Они чувствовали себя хозяевами положения, неумеренно ликовали и с надменностью учили уму-разуму своих соперников. Динамовских болельщиков что-то не было видно. Они как будто ушли в подполье. Ждали своего часа. И ко всеобщему изумлению — дождались! Выигрывая матч за матчем, московские динамовцы стали неуклонно приближаться к лидеру, и после каждой победы в клуб под открытым небом вливались все новые силы динамовских болельщиков, полных мстительной радости.

А уж когда атмосфера накалилась и «Спартак» проиграл «Динамо», клуб болельщиков превратился в бурлящий котел. В дни матчей возле ограды собирались такие тучи спорщиков, что прекращалось движение автомашин. А тут еще Кубок! Игры ветеранов! Встреча с Англией! Все эти события требовали немедленного и подробнейшего обсуждения.

Наконец под аплодисменты и свист выявился чемпион, утихли страсти, облетели листья в динамовском парке и опустела асфальтовая площадка.

До апреля месяца закрывается клуб болельщиков.

Но с первым футбольным матчем он вновь распахнет свои незримые двери, и вновь тысячи бескорыстных, отчаянных футбольных болельщиков заполнят его просторные залы и вновь будут спорить, мечтать, восторгаться и доказывать, что «Спартак» забил гол с офсайда...

## **О тайне успеха и о московской команде «Торпедо»**

---

Всегда волнует тайна успеха. Все стремятся раскусить ее, проникнуть в ее нутро, найти объяснение. И, может быть, оправдание.

После того как в 1958 году бразильцы выиграли чемпионат мира по футболу, неудачники разных стран стали применять бразильскую систему расстановки игроков: 1+4+2+4. Одним это как будто пошло на пользу, другие так и остались неудачниками, а третьи опустились еще ниже. Это было как с настоем шиповника, который применяют при болезнях обмена: некоторым вроде немного помогает, другим вроде нет. Понять трудно. И если помогает, то неизвестно, что именно помогло — шиповник или что-нибудь еще.

Футбол постепенно перестает быть «игрой» в истинном значении этого слова. Это огорчительно, потому что у игры есть волшебные, ни с чем не сравнимые свойства: неожиданные повороты сюжета, колебания счастья и невезения, в которых бьется темный пульс судьбы.

Флобер сказал о шахматах: «Это слишком серьезно для игры, слишком легкомысленно для науки». По своему жанру футбол в какой-то степени приближается к шахматам. В то время как футболисты занимаются «игрой», футбольные тренеры пытаются создавать «науку» — из усилий тех и других возникает нечто среднее. Написаны горы книг о футболе, с каждым годом эти горы растут. Иные футбольные сочинения невозможно читать неспе-

циалисту — так сложно, научнообразно, с привлечением множества цифр и схем они написаны.

После Стокгольма долго спорили о том, что играет главную роль в современном футболе: техника, тактика или же физическая подготовка? По существу, это был спор о том, чего не хватает советскому футболу, на что в первую очередь следует обратить внимание. Спор велся солидно, глубоко научно. Бразильский успех представлялся спорщикам наподобие таинственной заводной игрушки, которую надо было взломать и разобрать по винтику.

Дыму было много. Когда дым рассеялся, оказалось, что все спорщики утверждают одно и то же: главную роль в футболе играют техника, тактика и физическая подготовка вместе взятые. Бразильцы, как выяснилось, обладали тем, и другим, и третьим в полной мере.

И, однако, как ни справедлив и ни подкреплен наукой был этот вывод, он не объяснял бразильского успеха — и любого другого футбольного успеха — исчерпывающим образом. Тут было что-то еще, неуловимое. И это «что-то» коренилось в игровой сути футбола — в истинной, природной сути футбола, наполовину задушенной наукообразными и разными другими наслоениями и все же не уничтоженной до конца, непобедимой.

Это «что-то» лежало в области психологии.

Мысли, которые будут высказаны ниже о возможных причинах успеха в футболе, — мысли дилетанта, и настоящие знатоки и доктора футбольных наук с ними вправе не согласиться. Не рискуя касаться таких сугубо теоретических сфер, как техника, тактика и физическая подготовка, ограничим себя вопросами психологии. То есть, отрешившись от «науки», сосредоточимся на «игре».

Сначала несколько слов о первенстве страны этого года. Оно закончилось победой московской команды «Торпедо». В течение семи месяцев торпедовцы выступали на редкость ровно и сильно, и уже после предварительных игр все объективные наблюдатели независимо

от своих симпатий и антипатий должны были признать, что московское «Торпедо» — лучшая советская команда 1960 года. Система первенства, введенная впервые в этом году, потребовала от футболистов огромного напряжения. Это была громоздкая система и, при всех ее достоинствах, во многом несправедливая. Одной из таких несправедливостей было, например, то, что очки, заработанные командами во время предварительных игр, никак не учитывались в финальной пульке. Особенно пострадала на этом команда «Торпедо». Предварительные игры — долгое, двухкруговое состязание одиннадцати команд — торпедовцы провели великолепно и финишировали с отрывом от ближайшего конкурента на семь (1) очков. Какую премию получили они за это выдающееся достижение? Никакой! В финале они скромно встали в один ряд с другими командами, которые еле-еле, с грехом пополам вползли в «пульку шести».

В будущем, если такая система розыгрыша сохранится, следует учитывать результаты матчей между собой тех участников предварительных игр, которые добьются права игры в финале.

Итак, торпедовцам было трудно. Слишком много сил, азарта, нервной энергии потратили они на первом этапе. И уже раздавались голоса предсказателей о том, что автозаводцы, мол, не выдержат финала, «сломаются», не хватит дыхания и чемпионами по традиции станут московские динамовцы, потихоньку усилившие игру, или же киевские, которые сейчас в отличной форме. Да, торпедовцы устали. Особенно заметно сдали их лучшие игроки Иванов и Метревели, которые в составе сборной Союза провели победоносные игры во Франции на Кубок Европы. Кроме того, торпедовцы в августе выступали в Западной Германии: из трех встреч с сильными западногерманскими клубами они одну свели вничью и две выиграли в блестящем стиле.

Однако первые же матчи финала опровергли предсказателей. Торпедовцы не желали отдавать лидерство.

Одного за другим они сокрушали своих грозных противников (неслыханно, четырежды за сезон они побеждали московское «Динамо») и, переборов всех, вторично доказали, что являются сильнейшими. По существу, торпедовцы за один сезон выиграли два труднейших турнира.

В чем причина успеха «Торпедо»? Мы подходим к тому, с чего начали.

Повторяю, разбор технической и тактической стороны дела предоставим специалистам. Вкратце можно сказать: «Торпедо» показало современный футбол, гибкую комбинационную игру на больших скоростях. «Торпедо» — очень молодая команда по возрасту игроков, самая молодая из команд класса «А». (Но одной молодости недостаточно!) Торпедовцы прошли хорошую школу. Они обладают высокой, а многие из них даже виртуозной техникой. (Динамовцы Тбилиси не уступают по технике автозаводцам, однако они не попали в финал.) Торпедовцев выручил хороший резерв, позволяющий маневрировать. (Разве у динамовцев или армейцев Москвы резервы хуже?) Торпедовцев отличает тонкое взаимопонимание, большая сыгранность... Вот тут, кажется, мы нащупываем нечто важное.

Для победы нужно то, и другое, и третье, и еще «что-то».

Сейчас везде играют в современный футбол. Прошло время, когда футболисты одних стран славились как «тихоходы», другие увлекались индивидуальной игрой и о них было принято говорить, презрительно кривя рот: «Да, конечно, у них высокая техника, но нет духа коллективизма», а третьи упорно держались старомодных тактических схем.

Сейчас во всех футбольных странах играют хорошо. Играют быстро, грамотно, на высоком техническом уровне. Разница — в деталях, в почерке. Поэтому решающую роль в достижении победы играет то самое «что-то», о котором я говорил выше.

«Что-то» — это слитность индивидуальностей, которые все вместе создают живое целое.

Это сложно и редко. Одиннадцать человек должны совпадать всеми углами и впадинами, должны войти друг в друга, как шестеренка в шестеренку. Происходит как бы рождение нового организма, рождение «души команды», и, если оно действительно происходит, — счастлива команда! Она будет побеждать.

Я убежден, что все знаменитые футбольные команды не что иное, как гениальные сочетания нескольких хороших игроков. Искусственно такие сочетания не создаются. Они возникают неизвестно как. Вырастают сами на доброй футбольной почве. Вряд ли они смогут сейчас возникнуть в Камбодже или на Мадагаскаре, но в Венгрии, в Уругвае, в Италии, в Советском Союзе — да, могут.

Возникновение таких команд-ансамблей, обладающих как бы единой душой, часто происходит неожиданно для футбольного мира — именно таким было появление в этом году сборной Дании, ставшей сенсацией Олимпийских игр. Я видел датчан на римском стадионе «Фламинио». В их рядах не было ни одного игрока со сколько-нибудь известным именем, и вот эти «одиннадцать неизвестных» поставили на колени фаворитов — сборные Польши, Аргентины и Венгрии. Чем они победили маститых венгров? Не техникой, не выносливостью и не какой-нибудь тактической хитростью, а исключительно тем, что их окрыляло «что-то». Они играли вдохновенно. Венгры были сильнее, но их мастерство было академично, холодно, они работали на поле, а датчане играли.

Когда создается слитность, когда рождается «душа команды» (умные тренеры интуитивно помогают этому процессу), тогда на команду будет нисходить вдохновение.

На одиннадцать разрозненных душ может нисходить лишь разрозненное вдохновение, от которого мало толку.

А без вдохновения побеждать нельзя. Оно и есть «что-то». Оно осеняло армейцев Москвы в их лучшие послевоенные годы, оно осеняло венгерскую сборную шесть лет назад и команду «Спартак» немного позже, и сборную Бразилии на последнем чемпионате. Вдохновением были отмечены многие матчи нынешнего чемпионата страны — команды «Торпедо».

В спорте, как и в искусстве, побеждает то, что согрето душой, что исполнено с вдохновением. Побеждает «чуть-чуть» и «что-то». Бедный человеческий язык, неспособный объяснить необъяснимое!

В общем, побеждать очень просто: надо быть сильнее всех — вот и все.

## Признание в любви

---

Я часто задумываюсь: имеет ли моя любовь к футболу какую-то цель? И не только моя, а любовь к футболу Лени, Алеша, Сидора, Ивана и еще ста тысяч других поклонников кожаного мяча. В чем корень нашего увлечения? Я, например, никогда не играл в футбол. Один раз в жизни в пионерлагере меня силой заставили играть левого защитника, но, так как я был не очень подвижен и редко попадал по мячу, меня заменили в начале первого тайма. И точно так же не играли в футбол ни Леня, ни Алеша, ни Сидор, ни Иван — никто из десятков тысяч других поклонников кожаного мяча. Они играли примерно так же, как я в пионерлагере. И даже еще хуже.

В чем же дело? Почему мы так любим смотреть с высоты двадцатого ряда на беготню маленьких проворных человечков по зеленому полю? Ей-богу, это загадочное дело. Можно год ломать себе голову — и ничего не придумаешь. У нас ведь нет футбольного тотализатора, мы не заинтересованы в выигрыше или в проигрыше так, как



заинтересованы посетители ипподрома,— наша любовь чиста и бескорыстна. Иногда я думаю: «Ну, хорошо, выиграет «Спартак» — ну и что дальше? Мне-то что с того? Может, у меня перестанут болеть зубы? Или прибавится страница в ненаписанном романе? Или, может, уменьшатся мои долги?»

«Спартак» выигрывает, я счастлив, но зубы болят по-прежнему. И роман — ни с места. Я бы назвал нашу любовь к футболу платонической, от которой, как известно, нет никаких выгод.

Среди болельщиков существует легенда, что какой-то человек умер на стадионе во время игры. Говорят, он был сердечник и очень переживал за свою любимую команду, чуть ли не за «Спартак». И вот от волнения, наблюдая, как вратарь вынимает очередной мяч из сетки ворот, он умер. Конечно, он все же переборщил. Умирать на стадионе, где все кругом кипит здоровьем, бодростью, где играет музыка, едят мороженое, как-то ни к чему.

Впрочем, болельщики и соврут — недорого возьмут. Но что-то похожее было. Он, может быть, не до конца умер, а получил только первый инфаркт и свалился без сознания. Может, ему голову напекло. Или, возможно, попался сосед, динамовский болельщик, который всю игру раздражал его своими ехидными и остроумными замечаниями.

Но факт серьезный. Он говорит о том, что мы, болельщики, действительно бодем и можем даже умереть при случае, и с этим надо считаться. Если подойти к вопросу с научной точки зрения, то можно наговорить тут сорок бочек арестантов: и насчет психологии масс, и насчет самой сути игры, философии игры, что ли, и так далее.

Но не надо говорить о футболе научно. Невыносимо читать футбольные статьи и отчеты, написанные примерно в таком стиле: «Кривая попадания во втором тайме резко регрессировала за счет турбулентности дейст-

вий квинтета нападающих, наступательный потенциал которых...» Я понимаю, что некоторым футбольным специалистам не терпится обнаружить свою широкую образованность, но нам-то, читателям, каково?

И потом не надо думать, что в футболе все можно понять и научно объяснить. В футболе есть вещи необъяснимые, так же как и в нашей любви к нему. Французы говорят: «Я люблю потому, что люблю».

К этой же области — желание все до конца понять и научно объяснить — относится мучительный спор насчет того, в чем красота футбола. Одни считают, что красота в количестве забитых мячей, другие видят ее в изящной, композиционной борьбе, третьи простодушно признавались, что для них красота — в победе, пусть даже в один мяч, забитый с сомнительного пенальти.

Можно бесконечно продолжать этот спор. Правы все, и не прав никто.

Красота футбола вот в чем: в ясном голубом небе раннего лета, когда сочно и опьяняюще пахнет свежая зелень, и трава промыта недавним дождем, и скамейки еще не совсем просохли, и мы подстилаем газеты и садимся, и футболисты с белыми, еще не загорелыми ногами, в ярких футболках первые минуты поскальзываются на сырой траве, но потом все налаживается, игра идет ни шатко ни валко, по-весеннему, кто-то забивает случайный гол, и зрители шумят и аплодируют, взлетает вверх голубь, кто-то свистит, и вратарь в кепке с большим козырьком лениво разбегается, бьет по мячу, и гулкий кожаный стук разносится далеко и четко. И в сером дождливом небе тоже есть красота, когда мы сидим накрывшись втроем одним плащом, и мокрые зонты отливают свинцово, и так же свинцово блестят лужи на поле, и футболисты грязны с головы до ног, и вид у них отчаянный и ожесточенный, и, когда они выходят во втором тайме, на них те же грязные, мокрые насквозь футболки, потому что у них не было времени переодеться — весь перерыв они спорили и винули друг дру-

га — и не было охоты. И в июльском палящем жарком небе тоже есть красота, когда солнце сверкает на трубах оркестра, и звуки гимна, рваные от ветра, разносятся над стадионом, и тысячи людей встают одновременно, и сердце сжимается от радостного нетерпения...

«Снова весна», — говорит художник, глядя на обнаженную землю с рыжей и влажной прошлогодней листвой.

«И снова любовь», — говорит девушка, которой надо готовиться к экзамену по теории права.

«И снова футбол», — говорит человек, купивший зонтик в магазине, и радуется неизвестно чему.

## Подобно музыке

---

Писать о начале футбольного сезона так же трудно, как описывать весну. Ну что нового можно сказать о весне? Какие слова могут передать хоть частицу той свежести, которую источает один молодой зеленый листок? И какие слова могут передать хоть частицу того волнения, которое испытывает болельщик при виде первой атаки на прозрачно-зеленом поле, по-весеннему не очень складной, — кто-то запаздывает, кто-то чересчур спешит, — и слыша первый тугий стук по мячу, направленному в сторону ворот и обычно не достигающему цели?

Но не надо подробностей. Не надо описаний, запахов, красок, метафор. Достаточно сказать просто: «Наступила весна». Или же: «И вот пришло время футбола».

Да, пришло время его, и повсюду говорят о нем. Во всем мире говорят о нем. Даже в клубе Союза писателей недавно зашел разговор о футболе. Мой друг поэт Константин Ваншенкин и я оказались в окружении людей, ничего не понимающих в футболе и относящихся к нему в лучшем случае равнодушно. Они иронизи-

ровали над нами. Они говорили, что мы им надоели. Быть болельщиком, говорили они, это несерьезно.

Их было человек восемь, а нас двое. Но мы смело оборонялись и наносили им чувствительные удары.

Что такое футбол? Это средство объединения людей, это эсперанто, это язык, понятный всем, подобно музыке.

Есть отдаленные страны, говорили мы, где-нибудь в Южной или в Центральной Америке, где одними из первых посланцев Советской страны, пионерами советской культуры были наши футболисты. Там не слышали ваших стихов, дорогой Икс, и не читали ваших рассказов, дорогой Игрек, но зато видели московских спартаковцев и тбилисских динамовцев и благодаря этому имеют представление о советских людях. Вот что такое футбол!

Так продолжали мы с ними спорить, пока они не встали и не ушли, и тогда мы возобновили разговор о футболе.

Мы с Ваншенкиным — лютые соперники: он болеет за армейцев, я — за спартаковцев, но, когда нужно, мы объединяемся.

Мы говорили о необычайном сезоне, который нас ожидает. Необычайность его состоит в том, что он начинается с апогея. Обычно напряженность футбольных страстей нарастает постепенно к осени, а теперь все решится в первой половине июня. Я имею в виду чемпионат мира в Чили, на фоне которого меркнут прочие футбольные интересы.

— Мамыкин сейчас в порядке,— сказал Ваншенкин.

— Игорь, говорят, тоже в порядке,— сказал я.

— Да, Игорь тоже.

— Игорь в очень большом порядке...

— И Мамыкин, говорят, тоже...

— А Число?

— Число вроде тоже ничего. В порядке...

Так мы разговаривали долго. Это была замечательная беседа. Примерно такие же беседы шли в тот вечер в

Будапеште, на берегу Дуная, где столики кафе стоят на набережной под полосатым тентом, и в Софии, где варят крепчайший кофе «по-турски», и в римских trattoriaх, и в Лондоне, и в Киеве, и повсюду, где любят футбол. А его любят во всем мире.

Мне вспомнилось, как осенью я прилетел в Софию и меня встречал один журналист, сотрудник газеты «Литературен фронт», который не знал меня, а я не знал его. Накануне по телефону из Москвы я условился с ним, что выйду из самолета держа в руках желтый чемодан. Но чемодан пришлось сдать в багаж. Минут сорок мы искали друг друга в толпе аэропорта, а когда наконец нашли, то знакомство вышло натянутым, потому что мы оба устали и были несколько раздражены. Он сухо предложил сесть в машину. Мы сели и поехали в город. Разговор долго не вязался. Он сказал, что у него мало времени, он торопится на стадион, а я спросил, за кого он болеет.

— Я? Конечно, за «Левски»! — сказал он и как-то вдруг выпрямился, улыбнулся и посмотрел на меня светлыми молодыми глазами.— У нас говорят: «Само «Левски»!», то есть «Только «Левски»!» Вы увидите такие надписи на домах. Да, «Левски» — великая команда! Все порядочные люди болеют за «Левски». Конечно, у нас сейчас слабая защита, но нападение неплохое: у нас есть Илиев, есть молодой Аспарухов...

Через четверть часа мы обедали в ресторане «Крым» и разговаривали, как лучшие друзья после долгой разлуки. Он оказался отличным парнем. И я потом много раз ходил на стадион, и видел матчи «Левски» со «Славией», с софийским «Локомотивом», с пловдивским «Спартакком», и огорчался вместе с ним, потому что команда играла не очень удачно. Зато мой друг радовался со мною, когда мы узнавали из газет и по радио о победах московского «Спартака».

Нет, это не шутка и не красное словцо — футбол в самом деле сближает народы.

## Новая эстетика футбола

---

Нынешний футбольный сезон во многих отношениях замечателен. Он останется в футбольной истории, во-первых, как сезон чилийской неудачи, во-вторых, как сезон выдающейся по своим странностям системы розыгрыша, в-третьих, как сезон массового дружного перехода к бразильской системе 4+2+4. Не много ли для одного сезона?

Во всяком случае, ясно одно: любители футбола сезон 1962 года вряд ли забудут. Внуки будут помнить этот удивительный сезон по рассказам дедушек: «Это было в том году, когда в некоторых случаях — вот смеху-то! — для того, чтобы выиграть очко, надо было проиграть матч». А футбольные статистики грядущих времен, авторы всякого рода «калейдоскопов» и «забавных смесей» будут экзаменовать любителей футбола девяностых годов такими вопросами: «В каком году произошел и в чем заключался знаменитый «парадокс «Кайрата»?»

Словом, нам будет что вспомнить. И все же самым знаменательным явлением текущего сезона, тем явлением, которое делает этот сезон переломным в истории нашего футбола, является уже упомянутый нами переход к новой, прогрессивной системе 4+2+4. Некоторые коллективы перестраивались так поспешно и бурно, что физиономия команды менялась буквально на глазах у зрителей. Так произошло, например, с московским «Спартаком», который в первом круге предварительных встреч играл по старой, привычной схеме, играл плохо-вато, но знакомо — он напоминал старого приятеля, который несколько захирел, ослаб, пообтрепался, но, если его подкормить, послать на курорт, он быстро восстановит силы и станет прежним добрым малым; а во втором круге «Спартак» вдруг совершенно преобразился: не то, чтобы он стал играть гораздо лучше, но он стал играть по-другому. Это был не старый приятель, пускай немно-

го опустившийся, а какой-то незнакомый человек. К нему присматривались, как к чужому.

Надо сказать, что эта новая шкура, в которую влез «Спартак», пошла ему на пользу. Но не сразу, не сразу!

Все новое вызывает споры и противодействие. Первая половина нынешнего сезона, когда система 4+2+4 еще только принималась на вооружение, еще только осваивалась, примерялась, дала нам порядочно бесцветных и невразумительных матчей. В ряде случаев мы наблюдали вялый, тусклый футбол, который можно было назвать стоячим футболом. Массированная защита превращала футбольные ряды в некое болото, в котором вязли и безнадежно гибли усилия нападающих. Иногда мы видели соревнования двух таких болот — это было уж вовсе безотрадное зрелище. Одно болото силилось перехлестнуть другое. Могучие разрушительные силы защиты уничтожали не только малейшие комбинации атаки, но и само футбольное творчество, саму красоту футбола.

Поневоле закрадывалось сомнение: «Неужели бразильцы играют вот по этой тупой, мертвящей все живое схеме? Нет, тут что-то не так!» Некоторые решительно заявляли: то, что хорошо для бразильцев, не подходит нам. Нельзя слепо подражать иностранцам. У них, мол, высока индивидуальная техника, и это делает бразильскую систему эффективной, а у нас есть свой, отечественный стиль игры. У нас был блестящий послевоенный армейский ансамбль! У нас был «Спартак» образца 1955—56 года! Коллективные действия! Игра в одно касание.

Все это великолепно и правильно, но все это было давно, а сейчас на повестке дня стоит загадочная бразильская схема, которая где-то там, за тридевять земель, принесла сказочные результаты, а на нашей почве превращается в нечто нудное, утомительное и раздражающее — в какой-то антифутбол.

Такие мысли навевали на нас, зрителей, некоторые

матчи нынешнего сезона. И, однако, даже в начале лета было несколько игр, в которых проявилось что-то совсем-совсем иное, что-то «бразильское». А затем мы увидели изящные игры динамовцев Киева и Тбилиси, где не было никакой робости, никакого антифутбола, а были гибкость, блеск техники, игра ума.

Стало ясно, что обращаться с системой 4+2+4 не так просто, как кажется. В первую очередь надо дорасти до нее. Она требует филигранной техники нападающих, и те команды, которые обладали такими первоклассными нападающими, оказались на высоте задачи. Легче всего было усвоить первую, разрушительную, часть бразильской формулы — четыре защитника — и гораздо труднее вторую часть, созидательную, — четыре нападающих. Потому что дело заключалось не в числе нападающих, а в их качественном измерении. Их могло быть не четыре, а три. Могло быть пять, могло быть два. Но каждый из них обязан был обладать таким отточенным игровым мышлением, которое позволяло бы ему интуитивно чувствовать партнеров и каким-то непостижимым, может быть телепатическим, способом поддерживать связь с ними, а при случае действовать смело и независимо, на свой страх и риск, наподобие того, как действует одинокий корсар во вражеских водах. Иными словами, новая система рассчитана на талантливых исполнителей — на артистов футбола.

Все это довольно очевидно. Нас занимает другое: изменилась ли в связи с новой тактической схемой, принятой повсеместно, зрелищная сторона футбола? Что принесла новая система нам, зрителям? Стали ли матчи интереснее?

Там, где дело касается не очков, не турнирных побед, не чемпионских званий, а эстетической стороны дела, то есть того, что приближает футбол к искусству, там, разумеется, не может быть единства взглядов и вкусов. Одни говорят, что футбол как зрелище зачах, другим кажется, что он, наоборот, расцветает.



Нам кажется, что футбол расцветает. Нам кажется, что футбол как зрелище поднялся на новую, высшую ступень. С футболом происходит нечто похожее на то, что происходит с театром. Старый театр, с его сюжетностью, сентиментальностью, романтизмом, угасает, и на его место приходит ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ театр, где властвует мысль.

И футбол, который возникает на наших глазах, рождается на развалинах старой, доброй и бесхитростной «дубль-ве», можно назвать ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ футболом. Ведь самое интересное, за чем мы сейчас следим, сидя на трибуне, это не сюжетная сторона игры, не то, как забивается мяч, а то, как противоборствуют мысли, как пульсирует интеллект. Если раньше мы с восхищением следили за действиями крайнего нападающего, например Татушина, который мчался как молния по краю и, обойдя защитника, точно навешивал мяч на голову Паршину или Симоняну — и следовал хрестоматийный гол, то сейчас мы с неменьшим, а может быть, даже с большим восхищением следим за напряженнейшей, иногда медленной, иногда стремительной, взрывчатой игрой Лобановского, который стремится быть не столько быстрее, мощнее или техничнее своего противника, сколько умнее его. Техникой сейчас не удивишь. Удивляет мысль, интеллект.

В этом отношении было несколько удивительных по своему содержанию тонких, захватывающих матчей, например ЦСКА — «Динамо» (Киев) в Москве, «Спартак» — «Торпедо» и некоторые другие, где внешние скромные показатели игры не соответствовали той интереснейшей подспудной борьбе, которая разворачивалась на наших глазах на поле. Но это лишь начало. Таких матчей, знаменующих возникновение ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО футбола, должно быть больше, гораздо больше.

Мы находимся на пороге рождения новой футбольной эстетики. Мы наслаждаемся футбольной игрой «с подтекстом», где красота не во внешнем сюжете и не в

голах, а в том, как разворачивается психологическая, интеллектуальная драма. Разумеется, без забитых мячей не может быть футбола. Это все равно что еда без соли. Но ведь никто не скажет, что главное в еде — это соль!

Итак, футбол как зрелище становится, на наш взгляд, интереснее. Не отдаляясь от спорта, он в то же время все более приближается к искусству. Но есть простая вещь, которая безжалостно разрушает иллюзию превращения футбола в искусство. Это грубость на поле. Об этом стоит поговорить особо. В связи с тем, что футбол меняется, становится все более тонким, более содержательным, факты грубости на поле делаются совершенно невыносимыми.

В самом деле, разве не больно видеть, как хороший защитник Логофет, обладающий скоростью, дриблингом и высоким игровым мышлением, бьет своего подопечного по ногам! Разве не больно видеть, как остроумнейшая многоходовая комбинация прерывается элементарной игрой «в кость» и стремительный форвард, только что восхищавший стадион, начинает беспомощно хромать, а то и вовсе покидает поле! Разве не больно видеть, как упавший в столкновении Царев, прежде чем подняться, на всякий случай сильно дрыгает ногами, надеясь попасть в стоящего сзади Амбарцумяна!

Так же отвратительно выглядят разные мелкие пакости, которые футболисты делают друг другу во время игры. Например, при выигрышном счете начинают «тянуть время». Ставят мяч для штрафного обязательно ближе того места, где произошло нарушение, а игрок, допустивший нарушение, обязательно откинет мяч подальше.

Футболисты, может быть, думают, что зрители не замечают все эти мелкие уловки, но они ошибаются. Зрители все замечают, все понимают и огорчаются. Сервантес однажды сказал: «Ничто не стоит нам так дешево и ничто не ценится так дорого, как вежливость».

Корректность на футбольном поле ценится нами, зрителями, чрезвычайно дорого, потому что отсутствие ее уничтожает футбол-зрелище, футбол-праздник, подрывает основы того замечательного интеллектуального футбола, который рождается в поисках, в спорах на наших глазах.

## Опыт футбольного портрета

---

Слава в футболе, как и в любом другом искусстве, приходит по-разному. Есть счастливицы, которых она окружает с первого их появления на сцене, а других заставляет ждать долго, подвергает утомительному многолетнему испытанию, понуждает исправить то-то, изменить то-то, отказаться от того-то, прежде чем соизволит приблизиться и приласкать. Многие наши известные мастера, едва появившись, сразу завоевали сердца болельщиков. Помните дебют А. Исаева, Б. Татушина, А. Масленкина? А великолепное появление М. Месхи и В. Лобановского? Эти футболисты, кажется, никогда не были начинающими и молодыми. Они сразу откуда-то из неизвестности, из «небытия» шагнули на эстраду, озаренную миллионами огней,— в большой футбол, к всесоюзной славе.

Но десятки других; иногда не менее одаренных, но в чем-то менее удачливых, зритель просто не замечает — они составляют как бы фон большого футбола, темно-синюю подкладку небосклона, на котором сверкают отдельные яркие звезды. И вот выделиться из этого фона и стать звездой гораздо труднее, чем в первый раз взлететь над горизонтом, сразу обратив на себя внимание. Иногда нужен толчок со стороны, чтобы зрители рассеяли установившееся мнение.

Так случилось с Анатолием Крутиковым, одним из лучших защитников нашего футбола. Несколько лет

Крутиков играл в армейской команде, заслужил репутацию прочного силового футболиста, который если чем и выделялся, то резкой, несколько грубоватой игрой. Однако таких резких, грубоватых защитников в те годы было полным-полно, много их и сейчас. Так что ничего выдающегося зрители долгое время в Крутикове не находили. Видимо, не находили этого и руководители армейской команды, легко расставшиеся с футболистом.

Итак, после дебюта в московском «Химике», команде класса «Б», и после нескольких лет игры в ЦСКА Анатолий Крутиков пришел в московский «Спартак». Впрочем, дебют Крутикова произошел еще раньше — в команде Дорогомиловского химзавода. В то время Анатолий был еще школьником, он пришел как-то на игру заводской команды «поболеть» за товарища. Один из игроков захворал, и ребята предложили Крутикову: «Толь, сыграй». Он сыграл и на месте левого крайнего забил два мяча. И с того раза стал играть в команде дорогомиловского «Химика». А потом — год игры в классе «Б», и тоже в нападении.

И вот «Спартак», 1959 год. Это был трудный и переломный год для популярного клуба. Свершив в предыдущем году «футбольный подвиг», завоевав дубль, что потребовало огромного напряжения сил, спартаковцы сильно сдали в пятьдесят девятом. Прекратили выступления, дойдя до возрастного предела, несколько ведущих ветеранов, понесла команда и другие незапланированные и очень чувствительные потери, а пришедшая из дубля молодежь заметно уступала истинным спартаковцам в классе. Словом, это был трудный сезон для «Спартака», и зрители восприняли приход в команду недавнего армейца Крутикова как поспешную попытку «залатать прорехи».

Болельщикам «Спартака» казалось, что Крутиков вряд ли продержится в команде долго: он игрок другого стиля, взят временно, из-за нужды. Пока «подойдут»

ребята из дубля, придется, ничего не поделаешь, мириться с чужеродным стилем.

Я намекаю, разумеется, не на стиль знаменитой армейской команды до ее трагического разгона в 1952 году и не на тот интересный, мягкий и своеобразный игровой почерк, который возник у команды в те годы, когда ею руководил К. Бесков, а на стиль, господствовавший в промежутке между роспуском и последними двумя годами,— стиль грубой силы, навала, бейбеги. Именно в те годы среди некоторых футбольных авторитетов была в моде теория «всепобеждающего атлетизма», навеянная победой западных немцев в Швейцарии. Потом эту теорию похоронили, и, надо думать, навсегда, бразильцы в Стокгольме.

Анатолий Крутиков неожиданно легко и быстро вошел в потрепанный, спешно перелицованный спартаковский ансамбль. Уже в конце сезона он играл так, точно всю жизнь стоял рядом с А. Масленкиным и И. Нетто. Каждый матч, проведенный Крутиковым в содружестве с этими опытными, высококлассными футболистами, обогащал его, шлифовал технику, развивал и оттачивал игровое мышление. «Армейский» стиль постепенно сменялся «спартаковским», хотя по-прежнему отличительными чертами защитника Анатолия Крутикова оставались резкость, быстрота и агрессивность. Но резкость в рамках дозволенного, быстрота в нужный момент и агрессивность с оглядкой.

Сейчас, вспоминая о своей репутации резкого и даже подчас грубого игрока, Крутиков говорит: «Молодой был... Логофет тоже иногда чересчур резок, играет в корпус, на снос, но это пройдет. Это от молодости».

У Крутикова это прошло. Зрители твердо укрепились во мнении, что он вполне надежен и полезен, но никто не считал его игроком очень высокого класса. «Хороший футболист, надежный,— говорили о нем.— Такие всегда нужны. Настоящий боец».

И даже когда в 1960 году Крутикова взяли в сборную,

которая готовилась к играм на Кубок Европы, знатоки и болельщики сочувственно качали головами: «Ну да, Крутикова... А кого еще? Лучше нету».

Толчок со стороны, раскрывший глаза на подлинное положение дел, произвел тренер испанской сборной Эррера. Он приехал в Москву на матч СССР — Польша, который, как известно, поляки проиграли с разгромным счетом — 1:7. Эррера заявил, что открытием для него был Крутиков. Он назвал Крутикова игроком экстракласса. Все были несколько озадачены этой характеристикой. Но Крутиков вскоре подтвердил похвалу гостя, отлично сыграв в составе нашей сборной, завоевавшей почетный трофей — Кубок Европы.

Настоящая футбольная слава пришла к Анатолию Крутикову в последние полтора года. Еще прошлой осенью, когда «Спартак» удивил нас своим замечательным финишным спуртом, немалую роль сыграл Крутиков: его неиссякаемый задор и темперамент бойца много сделали для спартаковских побед. Но еще более удачно провел Крутиков нынешний сезон.

Пожалуй, нет в нашей футбольной истории примеров того, чтобы защитник становился такой грозной атакующей силой, какой является четвертый номер московского «Спартака». Как только Крутиков берет мяч и идет вперед, стадион начинает волноваться: что-то будет! Вот Крутиков перешел среднюю линию, продвигается дальше — трибуны грохочут, грозный, лавиноподобный шум нарастает! Его все еще не атакуют, защитники боятся оставить своих подопечных, секунды ошеломления, Крутиков идет еще дальше, вклинивается в оборону, кто-то отчаянно бросается ему навстречу, но Анатолий резко обходит его финтом, резко врывается в штрафную и наносит резкий, кинжальный удар. Он все делает резко — ведь он такой резкий игрок!

Нет в футболе ничего более неожиданного, редкого, незабываемого и приводящего в восторг зрителей, чем гол защитника. В нынешнем сезоне Крутиков шесть

раз заставлял вратарей вынимать мяч из сетки: три раза в играх на первенство, однажды в международной встрече с «Сампдорией» и два раза в важной игре на Кубок с командой ЦСКА.

Не все выходы Крутикова кончаются голом, но все они предвещают грозу, создают напряжение, вызывают смятение у ворот противника, и именно это чувствуют зрители, начинающие волноваться задолго до того, как Крутиков доходит до средней линии. Немало мячей было забито спартаковскими нападающими с точных и неожиданных передач и штрафных ударов, виртуозно исполненных Крутиковым.

Талант Крутикова, представляющий собой сочетание искусства защитника и нападающего, особенно расцвел в нынешнем сезоне, когда в «Спартаке», как и повсюду, принята на вооружение система четырех защитников. При этой системе и при той плотной обороне, которую сейчас применяют все команды, рейды защитников и внезапные удары издали стали играть внушительную роль в состязаниях. Несколько важных мячей было забито защитниками на чилийском турнире. Итак, именно сейчас как никогда наступило время Крутикова.

А что же сам Анатолий? Каковы его планы? Ему сейчас 29 лет, пора зрелости. Он полон сил и по-прежнему остается одним из быстрейших игроков советского футбола: стометровку пробегает за 11,2. Таким результатом не могут похвалиться нападающие. По-прежнему он остается надежным беком и грозным форвардом «Спартака».

— Боюсь,— смеется Анатолий,— что еще надоем болельщикам «Спартака».

Пожалуй, Анатолий Крутиков в какой-то мере олицетворяет образ футболиста будущего — универсала, одинаково уверенно играющего впереди и сзади. То, что произошло в волейболе и баскетболе, неизбежно произойдет и в футболе. Наступает эра универсалов. Система 1+4+2+4, получившая название «бразильской», за-

мечательно не усилением обороны или ослаблением нападения, а тем, что она дает возможность маневрировать универсальными игроками.

## Исполнение надежд

---

Жизнь болельщика проходит в ожидании. Болельщик всегда чего-то ждет: начала сезона, конца сезона, какого-то решающего матча, выхода на поле знаменитого игрока, который был болен, или, наконец, он ждет первенства мира, которое бывает раз в четыре года. В общем, его вечно томит ожидание. Никогда не бывает так, чтоб болельщик сказал: «Ну, все! Я дождался всего, чего хотел, и могу успокоиться...» Даже после того, как любимая команда выигрывает одновременно Кубок и первенство, болельщик не испытывает окончательной радости: где-то в глубине души он мается в ожидании нового сезона, его гложет беспокойство по поводу будущих игр, и ему не терпится заглянуть вдаль.

Всю зиму мы ждали 31 марта. Казалось, приход этого числа принесет небывалую радость! И вот она пришла. На улице сыро, похоже на весну, похоже на вчера и на позавчера. Ничто не напоминает о том, что сегодня необыкновенный, всеболельщичский праздник. Сегодня мы будем слушать первый в этом году репортаж, впишем в таблицу первые нули, единицы и двойки. Мы ждали этот день с таким же нетерпением, с каким в детстве ждут собственный день рождения.

Но вот наступит вечер, и мы, насытившись новостями, отдадимся новому ожиданию следующего календарного дня, когда любимая команда будет играть свой второй матч, не менее важный, а может быть, даже более важный, чем первый. Разумеется, ведь первый матч — это увертюра, опера еще не началась, по первому матчу ни о чем судить нельзя, а вот по второму матчу уже



можно делать выводы. Второй матч имеет принципиальное значение. Так же как настоящий писатель начинается после второй книги, так и настоящий футбол начинается после второго тура. Вот почему сразу же после 31 марта нас начнет мучить ожидание следующего тура. И он придет в положенный срок. И, как бы ни закончились матчи второго тура, вечером нас начнет лихорадить ожидание третьего тура, ибо только третий тур может внести какую-то ясность. Ведь что такое второй тур? Команды берут разгон, сыгрываются, налаживают связи. Игры второго тура могут дать лишь приблизительное представление о силе команд, о том, кто в форме, кто нет, а вот третий тур — это серьезное дело. Тут уж без дураков. Все станет на свои места...

Итак, вечное ожидание. Вечное исполнение и неисполнение надежд! Пройдет и третий тур, и четвертый, и восьмой, и восемнадцатый, а мы будем все ждать чего-то и нетерпеливо смотреть в календарь и подгонять время. Для болельщика главный день всегда впереди.

Иногда я задумываюсь: вот я болею за московский «Спартак» и хочу, чтобы он был сильнее всех, чтобы всегда выигрывал, всегда был чемпионом. Ну а что было бы, если бы мое страстное желание исполнилось? Была бы невозможная скучища! Меня бы перестало томить ожидание, потому что я знал бы наверняка: «Спартак» выиграет. И я... перестал бы ходить на футбол.

Ожидание неизвестного, раскрытие тайны — вот в чем прелесть игры. Когда игра полна тайн и загадок, тогда есть смысл подгонять время, а когда результат известен заранее — стоит ли торопиться?

Одним из самых неинтересных первенств по футболу много лет было первенство Болгарии. Из года в год звание чемпиона выигрывала команда ЦДНА, которая забирала из других команд лучших игроков. Никто не мог соперничать с армейским клубом, и болгары иронически называли свое первенство «вторенством», ибо борьба шла только за второе место. Болельщики в Бол-

гари называются «заполянку». Бедные «заполянку» клуба ЦДНА! Они всегда побеждали. Получить золотые медали в конце сезона было для них делом таким же обязательным, как праздновать Новый год или же 8 Марта. Их не мучило ожидание, не терзали тревоги, сомнения и беспокойство, а ведь без всего этого жизнь болельщика теряет смысл.

Куда более счастливы те «заполянку», которые не покидали свои команды в самые тяжелые времена, в дни разброда и немощи. Потому что даже в черные дни у них непременно бывали минуты радости. Когда мир прекрасен и команда лидирует, болельщик гордится своей командой, а когда дело плохо, команда в хвосте, проигрывает матч за матчем, тогда болельщик гордится своей преданностью. Он всегда найдет, чем гордиться. В крайнем случае, как горьковский Барон, он будет гордиться прошлым.

Мой друг болгарский поэт Банчо Банов, поклонник клуба «Левски», рассказывал об одном своем знакомом, старом «официанте», который однажды сказал ему:

— Наши сегодня опять проиграют.

— Почему ты так думаешь? — спросил Банчо.

— Я видел во сне, что они выиграли. Значит, проиграют. Это уж точно. Мои сны действуют наоборот.

— Черт возьми, почему бы тебе не увидеть во сне, как наши проигрывают?

Старик печально вздохнул.

— Если б ты знал, как я стараюсь увидеть такой сон! Ничего не получается. Иногда мне удается увидеть, как наши продувают со счетом ноль — пять, но в конце сна они обязательно выигрывают шесть — пять...

## Размышления во время скучного матча

---

Когда матч протекает скучно, зрители начинают развлекать себя сами. Они разговаривают. Чем скучнее матч, тем больше разговоров на трибунах. В воскресенье во время матча сборной клубов страны и бразильской команды «Фламенго» разговоры почти не прекращались. Разговаривали сидевшие сзади меня, сидевшие рядом, и к ним то и дело присоединялись те, кто сидел внизу, и даже те, кто находился по другую сторону прохода. Много спорили, много смеялись и шутили. Высказывали разные острые мысли и саркастические замечания по адресу Федерации футбола. Иногда увлечение разговором достигало такой степени, что минут пять никто не смотрел на поле.

А там, между прочим, играли футболисты нашей сборной и знаменитого бразильского клуба. Но смотреть на них было невыносимо. Футбол — это такая область, где специалисты — все сто тысяч, что присутствуют на матче, и еще несколько миллионов, которые слушают репортаж по радио. Каждый из этих нескольких миллионов с готовностью согласится немедленно стать тренером сборной: у него уже готов состав, имеются кое-какие тактические схемы и твердые принципы воспитания футболистов. Какие только планы не высказывались в воскресенье на Западной трибуне в Лужниках! Какие только рецепты не давались!

В том-то и заключается сложность футбола, что в нем все всё понимают. Любой футболист, прекративший выступления, может стать тренером сборной. Любой из ста тысяч зрителей может написать сносный спортивный отчет в газету.

После такой преамбулы как-то неловко говорить по существу. Впрочем, чем я хуже всех остальных, которые рассуждают так легко и отважно? У меня ведь тоже есть свой состав, свои схемы...

Вся эта буря футбольных разговоров вызвана слабыми выступлениями нашей сборной и неинтересным ходом первенства. За месяцы игры москвичи почти не видели увлекательных матчей. Забить мяч в ворота стало невероятно трудно. Мне кажется, увлечение бразильской системой происходит у нас однобоко. Я не имею в виду расстановку игроков, что само по себе лишь глубоко внешнее и приблизительное выражение бразильской схемы, и не имею в виду усиление обороны.

Я не имею в виду однобокость в игре нападения. Мы шарахнулись в новую крайность: стремимся создавать линию нападения из острых «индивидуалистов», способных прорываться к воротам противника в одиночку, используя высокую технику. В матче с «Фламенго» в линии нападения выступали четыре крайних нападающих: Фадеев, Хусаинов, Численко и Метревели! Эти игроки очень сильны индивидуально, наиболее техничны в своих командах и приносят там большую пользу, но, собранные вместе, они показали на редкость сумбурную и безрезультативную игру. Индивидуальности есть, а коллектива не чувствуется. Некоторое время назад дело обстояло наоборот.

Высокое индивидуальное мастерство предполагает как элемент глубокое понимание коллективной игры. Футболистов такого класса в нашем футболе всего, пожалуй, четыре человека: Иванов, Лобановский, Месхи и Нетто. Причем Месхи часто грешит индивидуализмом, и это снижает класс его игры. Когда все четыре нападающих и два полузащитника достигнут такого же высокого класса, как упомянутые трое, тогда не надо будет заботиться о создании коллективной игры — она возникнет сама. Пока же забвение принципов коллективной игры приносит нам неудачи.

Интеллектуальный футбол, первые признаки которого мы радостно приветствовали в прошлом году, переживает трудности роста. Не надо впадать в уныние от срывов и неудач. Но надо помнить, что интеллектуальный

футбол предполагает не только высокий интеллект игроков, но более высокий уровень тренеров. И еще несравненно более высокий уровень руководства футболом в стране. И, конечно, этот особый футбол предполагает высокий интеллектуальный уровень спортивных журналистов, пишущих о футболе, и, если хотите знать, интеллект сотен тысяч заполняющих трибуны.

## О футболе

---

Субъективные заметки

### 1. Звезды, которые украшают футбол.

Почти два года назад в Сандерленде произошла одна из самых замечательных игр футбольной истории: встреча команд Италии и КНДР. Итальянцы приехали в Англию за «Золотой богиней». Гороскопы, электронно-вычислительные машины и знатоки предрекали итальянцам звание чемпионов мира: они провели блестящую серию предварительных игр, в их составе находились прославленные, как кинозвезды, Ривера, Маццола, Факетти! Корейцы ничем не блистали. К ним относились снисходительно, как к новичкам и счастливицам, которым чудом удалось пробиться в финал.

Но корейцы думали о себе совсем иначе. Они не посчитались с авторитетами футбольных звезд и переиграли, перебежали, деклассировали сверкающую «Скуадру адзуру».

Почему я вспомнил об этой игре? Потому что об этой игре нужно помнить всегда. Тогдашнего итальянского тренера Фаббри винили за отбор игроков. Он сам признавался в том, что разочарован в звездах. Ривера, Маццола, Факетти оказались не приспособленными к жестокой игре чемпионата, к схваткам «не на жизнь,

а на смерть». Ну а что может сказать о них Валькарреджи, нынешний тренер итальянцев, теперь, спустя два года? В матче с нашей командой сравнительно активным был Факетти, но Маццола и Ривера абсолютно повторили себя в сандерлендском варианте: их НЕ БЫЛО ВИДНО.

Сверхзвезды футбола, по-видимому, не годятся для матчей, где происходит не футбольная игра, а футбольная война. Мы помним, как интересен был Стрельцов в Будапеште. Мы видели беспомощность Эдуарда в Москве. И вот теперь на стадионе в Неаполе наблюдали поразительную слабость Риверы и Маццолы, а два часа спустя видели, как во Флоренции закатились гордые звезды Альбиона — Чарльтон, Питтерс, Болл и компания.

Тренер югославов Митич отказался от услуг наиболее прославленных своих соотечественников, таких, как Скоблар, Шекуларец и другие, игравших за иностранные клубы, и сделал ставку на молодежь. Митич показал, что успех ему могут принести неизвестные молодые футболисты, а не утомленные славой асы. И оказался прав.

Чем выше квалификация футболиста, тем больше он бережет ноги.

## **2. И незвезды, которые делают футбол**

Неаполитанский матч мы ожидали с тревогой. Мы — миллионы советских любителей спорта, смотревших по телевизору матч в Острове.

Молодая чехословацкая команда вчистую переиграла нас: сначала в Москве, где невероятное везенье помогло питомцам Якушина с трудом выиграть 3:2, и затем в Острове, где в острой игре чехи победили нашу команду 3:0.

Многие полагали, что советская сборная, подавленная проигрышем и лишившаяся к тому же ведущих игроков — Численко, Аничкина, Хурцилавы, травмированных в Острове, Стрельцова, Сабо и Медвидя, отчисленных по разным причинам из сборной, и несчастного Воронина, по-

павшего в автокатастрофу,— будет в Неаполе лишь «жертвой вечерней». Итальянцы, о которых, как два года назад, трубили во всех газетах, опять были в фаворитах. Но на деле произошло обратное. Наша наспех скроенная, молодая команда совершенно истерзала итальянцев и по праву должна была победить. Жребий решил иначе, но футбольный мир видел, в ЧЬИ ВОРОТА шла игра. Итальянцы едва ноги унесли от поражения.

В советской команде, игравшей в Неаполе, не было звезд, знаменитостей, входящих в европейские «десятки», символические сборные и так далее. Игнали отличная, прочная линия защиты, средние по своим возможностям игроки полузащиты и ничем не выдающееся нападение. Из нападающих один Бышовец представлял собой заметную футбольную индивидуальность — он прекрасный дриблер, игрок цепкий, изворотливый и пробойный, но неважно играющий в пас и недостаточно широко видящий поле. В одиночку он может творить чудеса, но там, где необходимо действовать вкупе с партнерами, он не так уж великолепен. Бышовец молод и еще станет высококлассным футболистом, в этом нет сомнения.

Словом, в советской сборной не было громких имен. И, однако, она показала поистине большой футбол. Дух и настрой — это и есть то, что превращает обычных игроков в гигантов. Дух и настрой заставляют игроков использовать все силы до капли, до последнего, окончательного предела, а это самое трудное в спорте.

И задача тренера сборной заключается, наверно, не столько в том, чтобы лепить, создавать игроков, сколько в том, чтобы уметь вселять в них побеждающий дух.

Вот этого духа, страстного и сокрушительного желания победы не хватало нашей команде в матче с англичанами. Разумеется, английская команда очень сильна. Может быть, это сейчас сильнейшая команда мира. Наши футболисты не отнеслись к этому факту с достаточным почтением — решили играть с ними на равных, техника на технику, пытались победить методами «класси-

ческого футбола». Но только ураганный «югославский» темп, только беззаветное и почти отчаянное мужество каждого игрока могли сломить эту машину! Когда смотрели по телевизору оба матча с участием югославы, было полное впечатление, будто после современного фильма нам вдруг показывают допотопную киноленту, где человечки бегают с неестественной быстротой, вдвое быстрее обычного.

### 3. Надежды и разочарования

Именно из этого — надежд и разочарований — состоит обыкновенная жизнь любителей футбола. Надежд и разочарований гораздо больше, чем радостей. С некоторыми надеждами нам пришлось с горечью распрощаться, а надежды были вполне, я бы сказал, скромные и нимало не фантастические: добиться того, чего мы однажды уже добивались. Например, стать участниками олимпийского футбольного турнира. Скромно? Более чем! Ведь мы были однажды даже чемпионами, а не то что просто участниками, и вот уже двенадцать лет не можем пробиться в финальную пультку из шестнадцати команд. Это поразительно, если учесть, что от нашей страны соревновалась за выход в финал не какая-нибудь молодая, малоопытная команда, а полновесная национальная сборная, которая отнюдь не на последнем месте в Европе.

В чем же дело? По-видимому, ошибочным был расчет одним махом «собрать весь урожай», то есть одной командой бороться и в европейском первенстве, и за путевки в Мексику. У нас существовала неплохая олимпийская сборная, созданная специально с прицелом на Мексику. Там были молодые, перспективные игроки, составлявшие как бы резерв сборной. Возглавляли олимпийскую команду опытные тренеры Качалин и Симонян. Год назад эту сборную ликвидировали, навели экономию. Результаты известны: измученная тяжелой борьбой с венграми, наша команда ринулась в не менее тяже-



люю борьбу со СВЕЖЕЙ чехословацкой сборной и тут же, едва переведя дух и не залечив ран, помчалась в Италию, где ее ждала опять-таки СВЕЖАЯ, готовая к бою «Скуадра адзура». Мы проявили совершенно никчемную и не приличествующую нашему рангу суету.

Солидные футбольные державы посылают на олимпийские турниры молодых футболистов. Если те и проигрывают — не обидно, зато набираются опыта. И нам следовало поступать так же, тем более что выбор игроков у нас неизмеримо больше, чем во многих странах.

#### **4. Переменчивость футбольной фортуны**

Футбол — страна, которая вечно бурлит, в ней постоянно меняются местами «короли» и «подданные», происходит непрерывная переоценка ценностей. Еще недавно бразильцы казались несокрушимыми, они были образцами — и притом недостижимыми — для всех. Восемь лет длилось бразильское «правление» в стране футбола, и в один день оно рухнуло на прохладном английском газоне от удара венгров, не побоявшихся поднять руку на «королей».

Бразильцы были очень удивлены. Как? Венгры осмеливаются сопротивляться? Точно так же были удивлены англичане во Флоренции. Как? Югославы почему-то не сдаются? Да что они, с ума сошли — еще, может, надеются выиграть?

Вот за это мы и любим страну Футбол — за то, что в ней ничего не известно наперед и все может быть.

## Это — игра!

---

### Заметки с чемпионата мира по футболу

Вечером 30 июля, часов в восемь, я вышел на улицу. Мы жили на Кромвек-Род, в тихом и скучном районе отелей. Здесь всегда было безлюдно. Ни магазинов, ни баров, ни ресторанов поблизости—ничто не должно было тревожить покоя полубедняков, полуаристократов, поселяющихся во всех этих бесчисленных вандербильдтах, сорбоннах и роялях, до тошноты похожих друг на друга, с типовыми величественными порталами о четырех колоннах с высоким крыльцом и железной оградой, символически отделяющей от улицы первый этаж. Какой-то странный шум доносился в нашу захолустную, отельную глушь со стороны главной улицы Кенсингтон-Род; было похоже, что там то ли движется демонстрация, то ли произошла авария, возникла пробка: машины непрерывно сигналили.

Через несколько минут, миновав две-три пустынные, как кладбищенские аллеи, улицы, я вышел на Кенсингтон-Род. И вдруг понял, что Лондон ликует! Не было никаких сомнений в том, что англичане действительно веселились и некоторые даже плясали от радости. Многие пели все ту же, одну-единственную песню, которую они пели всегда на трибунах: про святых, идущих в рай. Многие размахивали флагами и кричали «Инглэнд!». Из окон автомобилей тоже высывались флаги и раздавались глухие крики. Все это было несколько неожиданно и очень приятно, ибо говорилось о том, что исход чемпионата волновал Англию, оказывается, ничуть не меньше, чем результат воскресных скачек и последних собачьих бегов.

В Сандерленде мы этого не заметили. Сандерлендский стадион «Рокер-Парк» и стадион «Эйрсом-Парк» в

Мидлсбро ни разу не были заполнены до отказа. Даже на таких матчах, как СССР — Италия и СССР — Венгрия. Почти каждый день набегали тучи, лил дождь, становилось вдруг холодно, и, конечно, гораздо приятней было сидеть в первом этаже своего дома, в гостиной, рядом с камином, и, потягивая сигару, смотреть в телевизор. Но ведь следующий чемпионат мира по футболу придет в Сандерленд не раньше чем через тысячу лет! Я полагал вначале, что любовь к каминам и телевизорам объясняется просто желанием англичан смотреть свою английскую команду, игравшую в Лондоне. И это, конечно, было правдой, но правдой не до конца. Однажды в Мидлсбро, во время матча Чили с Кореей на «Эйрсом-Парке», я попытался узнать, нет ли где-нибудь на стадионе телевизора и нельзя ли хоть краем глаза посмотреть на то, что происходит в основном матче этого дня — Венгрия — Бразилия. Как потом выяснилось, то был действительно самый потрясающий матч чемпионата. «О, изс! — сказал старенький ашер \* в жокейской шапочке. — Все пресс-мены могут пойти в пресс-бар по своим пресс-картам, и там есть телевизор. That is all right!»\*\*.

В начале второго тайма я осторожно поднялся со своего пресс-места в пресс-ложе и, проверив ощупью карман, на месте ли пресс-карта, отправился разыскивать пресс-бар. Я уже предвкушал, как перехитрю своих приятелей, скучавших на корейско-чилийском матче, посмотрю настоящий бой. В баре было чудесно. Великолепный телевизор стоял на высоком столике, так что отовсюду было отлично видно. Пресс-мены сидели в мягких креслах, потягивали сигары, попивали виски, джин или кока-колу и в тишине наблюдали за игрой. Я сел в свободное кресло и тоже стал наблюдать. Все было так чудесно, как даже трудно себе представить. По телевизору футбол выглядел не очень-то ярко, ничуть не ярче, чем

---

\* «Ашер» (usher) — билетер, капельдинер.

\*\* That is all right — все правильно.

у нас в «Эйрсом-Парке», а может быть, мне так показалось в первую минуту. Я взял за шиллинг кока-колу в бумажном стаканчике и заставил себя сосредоточиться и приготовиться к наслаждению тонкой игрой знаменитых звезд. Прошло минуты две, прежде чем я понял, что смотрю игру Чили — Корея.

Переключить на другую программу было невозможно: телевизор показывал лишь то, что происходило на поле «Эйрсом-Парка». О черт! Но зачем же, господа, сидеть в прокуренной комнате и портить глаза у телевизора, когда рядом, за стенкой,— живая игра, крики, воздух, шум трибун?

Я ушел из пресс-бара в крайнем возмущении. Тогда еще я кое-чем возмущался. Потом перестал обращать внимание.

На каждом шагу нам подчеркивали: «Вы находитесь в Англии, и не забудьте, что это Англия и что все здесь будет происходить именно так, как это происходит в Англии, а не где-нибудь в другом месте!».

## I

Ни один англичанин ни на минуту не сомневался в том, что Англия выиграет Кубок, и, наверное, поэтому ни один англичанин по-настоящему не волновался. Им казалось, что дело уже сделано, они уже выиграли.

Второй по уверенности была команда демократической Кореи. Корейцы были твердо убеждены, что дойдут по крайней мере до четвертьфинала. И, как выяснилось, уверенность в себе — фактор наиважнейший, подчас решающий в соревнованиях такой длительности и такого напряжения, как футбольный чемпионат мира. Корейцы преподнесли всему миру сенсацию, а англичане благодаря громадному запасу уверенности в себе, не иссякшему даже после рокового гола Вебера, сумели сломать такую машину, как сборная ФРГ.

«Ни на одну минуту во время этой трудной игры не поколебалась моя вера в нашу победу»,— заявил после матча Альф Рамсей. Похоже на то, что он сказал правду.

Вера в свои силы или, лучше сказать, предчувствие победы— свойство неуловимое, подчас необъяснимое, целиком относящееся к области психики. Выработать это свойство, подготовить его не всегда бывает возможно: это не технический прием и не какая-нибудь тактическая новинка. Оно как бы нисходит свыше, возникает как озарение. Не надо улыбаться, я говорю всерьез.

Предчувствие победы— фактор гигантской силы. Сила его не только в том, что оно окрыляет команду, но и в том, что передается, как психическая зараза, противнику— правда, с обратным знаком. Сила превращается в бессилие, вера— в неуверенность.

Мы ощущали это предчувствие победы с первых секунд игры нашей сборной с Венгрией. И его не было, оно пропало через день, в понедельник, когда наши вышли играть с немцами. Впрочем, все это относится к области интуиции и предположений. Иные читатели могут сказать, что они ощущали все по-иному, и я не стану спорить. Я говорю лишь о том, что чувствовали мы— я и два-три моих соотечественника, сидевшие рядом на влажных и грязноватых скамейках английских стадионов.

## II

Сюжет этого чемпионата— волнующего, драматичного и несколько странного— представляется мне пьесой в трех актах с прологом. Жанр пьесы? Отвечаю без колебаний: трагедия. Слишком много катастроф, крушений и слез мы видели в этой пьесе, чтобы причислить ее к какому-либо иному жанру, кроме трагедийного. Был свергнут кумир, которому молились последние восемь лет, и падение его было оглушительным и внезапным.

Вместе с ним рухнуло несколько малых кумиров. Словом, на мировой футбольной сцене произошла полная смена декораций.

Прологом пьесы был первый турнирный день. Он принес разочарование. Англия провела бездарный, нулевой матч с Уругваем; ФРГ разгромила (5:0), на мой взгляд, случайно пробившуюся на чемпионат команду Швейцарии; Бразилия неубедительно и с трудом одолела Болгарию; наша команда хотя и победила корейскую, но играла крайне нетехнично, нервно. Многие зрители поспешили заявить, что чемпионат в Англии по творческому уровню, по мастерству команд будет значительно ниже прежних чемпионатов.

Таков был удручающий пролог. Он был совершенно лишним, как большинство прологов к большинству самых лучших пьес.

Затем стал разворачиваться первый акт пьесы, и уже запахло настоящей трагедией. В какой-то миг сделалось ясно, что футбол перестает быть просто игрой. Он становится чем-то более важным и могущественным, и это происходит с неудержимой, все растущей и, если хотите, пугающей силой. Неизвестно, что будет с футболом через десяток лет. Изменения, происходящие в самой природе этой игры (будем пока что называть футбол игрой, пока не найдено более точного слова), находят свое отражение в тактике, мастерстве и прочих элементарных вещах, о которых так много пишут спортивные обозреватели.

В первый день пребывания в Сандерленде я познакомился с одним чилийцем по имени Алехандре, приехавшим в Англию в числе нескольких сот чилийских болельщиков. Это был толстый молодой человек с лицом усатого ребенка. Он назвал себя промышленником. Не знаю, чем он промышлял, но, наверное, имел неплохой бизнес, потому что поездка сюда из Чили стоит дорого.

Алехандре был лидером чилийских фанатиков на сан-

дерлендском стадионе. Он размахивал чилийским флагом и, выпучивая круглые детские глаза и делаясь багровым от безумного напряжения, дирижировал хором и сам кричал: «Си-си-си! Ли-ли-ли! Сили, сили, Вива!» В первый день он сказал, что Чили наверняка войдет в финальную четверку. Потом я встретил его после матча с Кореей, закончившегося вничью. Он был пьян и приставал на улице к девушкам, повторяя одну фразу: «Май нэйм из Алехандре!» Затем чилийцы проиграли второму, экспериментальному, составу нашей сборной и выбыли из розыгрыша.

После матча на одной из улиц «Рокер-Парка», где стояли автомобили, где тротуары были завалены бумажным мусором, где полисмены в черных мундирах, черных касках и с белыми нарукавниками направляли толпу зрителей и командовали медленно двигающимися в этой толпе автобусами, я увидел Алехандре. Он сидел пригорюнясь в маленьком «фольксвагене», сплошь изрисованном и облепленном надписями и плакатами: «Чили, вперед!», «Чили чемпион!» — и кого-то ждал. Может быть, ждал шофера, чтобы немедленно и навсегда уехать из этого «отвратительного, гнусного, гнилого, сырого Сандерленда», а может быть, друга, чтобы пойти в «Локарно» и выпить до чертиков. Лицо Алехандре выражало такую тоску, что я не решился подойти, но он заметил меня и окликнул.

— Вы не можете себе представить, какой это удар для меня,— сказал он.— К чему было все мое путешествие?

Пожалуй, действительно было глупо ехать сюда из Чили, чтобы смотреть посредственную игру в «Рокер-Парке».

Но безвестный чилиец с лицом усатого ребенка выражал лишь частицу того отчаяния, которое охватило целые страны. В Сан-Паулу, когда кончилась трансляция по радио матча Бразилия — Португалия, вспыхнули драки на Главной Кафедральной площади, где сотни бразильцев

стали избивать португальцев. Полиция с трудом предотвратила побоище. В Рио-де-Жанейро толпа ворвалась на стоявший в порту португальский корабль, хозяин которого ракетами приветствовал победу португальской команды, и принялась ломать его.

Там же, в Рио-де-Жанейро, демонстранты вышли на улицы, неся виселицы с изображениями членов комиссии по контролю над сборной командой. А вы говорите — игра. Какая уж тут игра!

В Мидлсбро рухнул еще один фаворит — команда Италии. Немедленно все итальянские газеты стали требовать увольнения Эдмондо Фаббри. «Мессаджеро» писала: «Он упрямо отказывался слушать тех, кто предупреждал его, что Маццола и Ривера не годятся для игр на чемпионате мира».

«Темпо» назвала игру итальянцев с КНДР постыдной: «Трудно сказать, чего в ней было больше — смехотворности или трагизма».

Трагизма! Безусловно — трагизма! Трагизмом была насыщена пресс-конференция, которую потребовали от Фаббри корреспонденты трех десятков крупнейших итальянских газет. Это происходило наутро после игры с Кореей в пресс-центре Сандерленда — в студенческом общежитии на Честер-Роу, где мы жили. Фаббри приехал в сопровождении своего помощника. Он был мрачен и молчалив, а помощник встречал журналистов, шутил, улыбался, старался держаться молодцом.

Внезапно один старик ударил карандашом по столу и закричал:

— Как вы смеете улыбаться, когда вся нация плачет?!

Нация в лице нескольких сот болельщиков встретила футболистов на аэровокзале в Генуе проклятиями и гнилыми помидорами. Судьба Фаббри пока неясна. Итальянская футбольная федерация еще перед чемпионатом продлила контракт с ним на четыре года вперед — жест небывалый во взаимоотношениях федерации с тренера-



ми. Уж слишком блестящи были предварительные встречи итальянской сборной! Теперь, если федерация откажется от услуг Фаббри, ей придется выплатить ему 60 тыс. фунтов стерлингов.

Но ведь чего не сделаешь, на какие жертвы не пойдешь, когда «нация плачет»!

В лондонском аэропорту, ожидая самолета в Москву, мы встретили грустного, усталого толстого человека, когда-то знаменитого футбольного стратега, а теперь — просто одного из лондонских неудачников. Тренер бразильцев Феола не спешил возвращаться на родину. Он хотел побыть некоторое время в Европе, в Италии, где у него были дела. Мы понимали, что главное из этих дел — подольше не показываться на глаза своим разъяренным соотечественникам. Феола не сдавался, он еще рассуждал, спорил, объяснял, он еще оправдывался и обвинял. Но кого это теперь интересовало! Все было ясно и так. Его слушали из пустого любопытства. Он был уже человеком из прошлого, из музея футбольной истории.

### III

Первый трагический акт пьесы длился до субботы 23 июля, когда разыгрывались четвертьфиналы. Старый, добрый футбол — футбол-искусство, футбол-игра — готовился отдать концы. Пульс его едва прослушивался.

Что же шло ему на смену? Футбол-машина? Футбол-война? Немцы и англичане перли вперед, как два танка. Аргентинцы позорно покинули поле боя. Уругвайцы были бессильны. Португалия, казавшаяся лучшей командой мира, сдавалась под натиском неведомой и непонятной силы.

Лишь у нас в Сандерленде, где встречались сборные Советского Союза и Венгрии, игра была хоть и острой, суровой, но по-настоящему спортивной и без всякой

мистики. Наша команда после победы над Италией чувствовала себя уверенно. Венгры оказались слабее по всем статьям: и в тактике, и в моральной подготовленности, и в физической. Сенсационная победа над Бразилией (эта игра была, наверное, лучшей в чемпионате, лучшей по драматизму, по силе эмоционального воздействия) отняла у венгров слишком много сил, и они стали для нас нетрудной добычей. Отлично провели матч Воронин, Яшин, Численко, молодой Паркуян.

Во время матча по трибунам «Рокер-Парка» несколько раз прокатывался веселый шум. Это было, когда приходили вести из Ливерпуля. «Корея выигрывает один — ноль... Корея ведет два — ноль...» Я сидел в первом ряду, перед оградой, за которой стояли обычные сандерлендские зрители, пожилые джентльмены в пиджаках из твида, молодые краснолицые парни в маленьких клетчатых кепочках, курильщики трубок, моряки, шахтеры, клерки, приказчики, искушенные во всякого рода пари, лотереях и тотализаторах. Они то и дело с изумлением оглядывались на нас, журналистов, как бы спрашивая: «Неужели это правда?» Мы сами долго не верили. Кто-то даже позвонил в Лондон, в отделение ТАСС, и оттуда подтвердили: да, Корея ведет.

А в это время на стадионе в Ливерпуле под рев толпы, скандировавшей: «Мы хотим третий! Мы хотим третий!», корейцы действительно забили третий гол. Но подвело отсутствие опыта. Вместо того чтобы сконцентрироваться на защите, они продолжали упоенно атаковать, и тут начал свою партию солист, который является, без сомнения, самым блистательным игроком чемпионата — Эйсебио.

Вопреки всем прогнозам (Корея в тот день стояла у букмекеров на последнем месте, пятьсот к одному), смуглые маленькие парни из далекой страны совершили фантастическое и почти повергли на колени мирового фаворита, но затем еще более фантастическое совершил негр из Мозамбика по кличке Черная пантера, который

один переломил ход игры и забил четыре гола противнику.

С первого ответного гола Эйсебио начался второй акт пьесы. Репутация футбола как искусства, футбола как игры была спасена.

Игра — это непредвиденное, это то, чего нельзя предсказать, нельзя рассчитать никакими формулами и кибернетическими машинами, это вечные провалы пророков, недоумения знатоков, восторг и ошеломление зрителей. Весь матч Португалия — Корея был воплощением этой игровой сущности футбола.

А потом мы видели прекрасный футбол Португалия — Англия. И, наконец, третьим отдельным актом была финальная встреча Англия — ФРГ, по насыщенности событиями, по напряжению, разнообразию как бы равная целому чемпионату.

Наша команда от игры к игре выступала лучше. Проигрыш немцам? Что ж, мы уступили очень сильной команде, игравшей к тому же крайне жестко. Чемпионат был не только соревнованием, но и университетом, и мы его прошли от начала и до конца и даже получили диплом, что удалось немногим.

Чемпионат поднял много проблем, которые будут обсуждаться в течение ближайших четырех лет. Старый спор Европы и Америки завершился на этот раз в пользу Европы. Но закончен ли спор? Чемпионат показал, что такие игроки, как Пеле и Эйсебио, являются по-прежнему исключением в футбольном мире. Ими можно восхищаться, но вряд ли удастся им подражать. Обозреватель «Санди экспресс» Алан Хоби заявил, что Эйсебио превосходит Пеле, что его удары обладают «невероятной скоростью и силой». И даже сетовал на то, что у англичан нет сейчас игроков такого класса, хотя еще несколько лет назад были, например Стенли Мэтьюз. Он писал далее, что среди молодых футболистов есть яркие дарования, но, когда они попадают в клубные команды, напоминающие машины-автоматы, когда начинают участво-

вать в жестоких и однообразных календарных матчах по субботам, они утрачивают индивидуальность. Самое страшное, что угрожает футболу,— механизация.

Но пока есть Эйсебио, пока есть Яшин, пока есть такие игроки, как Чарльтон, Бене, Воронин, еще не сломленный до конца неподражаемый Пеле, пока есть замечательные индивидуальности со своими страстями, ошибками, триумфами и трагедиями,— до тех пор будет существовать эта великая игра, только игра и ничто более как игра!

---

# Стадионы и страны



---

## Первая заграница

Советский человек, разъезжая по своей огромной стране, привык к длинным путешествиям, к неторопливому вагонному обиходу с чайком, преферансом, бесконечными разговорами, а главное, к лежачему положению. У нас ведь так и говорят: «Ничего, в вагоне отоспимся!» Поэтому для многих из нас был необычен венгерский поезд, пришедший на пограничную станцию Чоп: в нем оказались места только для сидения.

Границу с Венгрией пересекли в полночь. Это обидно, так как уже на рассвете мы должны быть в Будапеште,— значит, всю дорогу ехать ночью — ничего не увидишь. Дизельный экспресс мчится со скоростью сто километров в час. В ресторане нас кормят первым венгерским завтраком. Вагон качается, потрескивает деревянная облицовка, расплескивается кофе из чашек. Дизель гонит без остановок. Мы бродим по коридору, держась за стенки, и пытаемся что-либо разглядеть за окном. Но видим лишь свои разочарованные физиономии, отразившиеся в черном стекле...

А ведь многие из нас, и я в том числе, впервые едут за границу!

В путеводителе венгерского агентства по обслуживанию иностранных туристов сказано, что с 25 сентября по 5 октября в Будапеште обычно стоит теплая, солнечная

погода, «бабье лето». Мы приезжаем в столицу Венгрии воскресным утром 25 сентября. Путеводитель не ошибся: ясно-голубое небо предвещает по-летнему жаркий день.

Первый день в Будапеште — это день футбола.

Многие из нашей туристической группы принадлежат к племени футбольных болельщиков. Всю дорогу обсуждались составы команд и возможный исход встречи сборных команд Советского Союза и Венгрии. В прошлом году в Москве была ничья — кто же победит сегодня?

Будапешт живет ожиданием матча. Напротив гостиницы «Астория», где мы поселились, расположена одна из конторок «тото» — футбольного тотализатора. Рядом — кафе. Столики стоят под открытым небом, и все они заняты болельщиками. Здесь торопливо заполняют бланки «тото», спорят, волнуются и делают скоропалительные прогнозы. В толпе болельщиков есть и женщины, и старики, и совсем юные подростки. Кто-то узнал, что мы русские. Нас тотчас берут в кольцо. Разговор ведется на ломаном немецком языке.

— Будет ли играть Татушин?

— Это верно, что вашему Стрельцову шестнадцать лет?

— О нет! — отвечаем мы. — Ему уже восемнадцать!

— Но вы действительно надеетесь выиграть? — спрашивает кто-то не без ехидства.

Венгры чрезвычайно гордятся своей командой и считают ее сильнейшей в мире. Малоудачные выступления венгров против советских футболистов здесь долгое время объясняли просто: «Не везет». Ну что ж, посмотрим, повезет ли сегодня...

В субботу иностранные туристы провели своеобразный референдум об исходе матча. Чехословаки, болгары, румыны и итальянцы предсказывали победу советской команде со счетом 6:4 или 4:2. Швейцарцы, австрийцы и немцы из Федеративной Республики склонялись к тому, что выиграют венгры со счетом 3:1 или 3:2.



Итак, мы приехали в город, наэлектризованный ожиданием!

В течение всего дня к Народному стадиону стекаются зрители. Трамваи, обросшие гроздьями пассажиров, напоминают Москву дотроллейбусного периода.

Центральная встреча состоится в пять часов. До ее начала будут проведены еще две игры: юноши Будапешта встретятся с юношами Шопрона и молодежная команда страны — с резервом сборной. Мы приезжаем на вторую игру. Пять вместительных автобусов подкатывают к просторной площади перед стадионом.

«Неп-стадион» еще не завершен окончательно, но и сейчас он представляет собой грандиозное сооружение. Северная трибуна почти вдвое выше Южной. Она вздымается к небу гигантским полуцилиндром. Ложа прессы размещена на Южной трибуне. Стадион заполняется постепенно: часть зрителей пришла на первую игру, часть — на вторую, основная масса нахлынула к пяти часам.

Надо сказать, все мы, советские туристы и болельщики, изрядно волнуемся. Это волнение усиливается, когда выходит судья с помощниками и стадион подает свой тысячеустый вулканический голос. Пока это просто гудение. Но вот — команды еще не вышли на поле — кто-то пронзительно кричит снизу, из гущи стоячих рядов:

— Хайра, мадьярок! (Вперед, венгры!)

Игроки выбегают на поле, и сто тысяч зрителей восклицают громоподобно:

— Хай-ра, мадья-рок!

Будапешт подбадривает своих. А что делать нам? Мы ждем начала игры и минуты затишья. В дороге обнаружился крупный пробел в нашем «болельщицком» деле: у нас нет традиционного возгласа. Московские болельщики слишком добродушны и гостеприимны, они чаще подбадривают гостей, чем своих. Пришлось на ходу выдумывать. Но в спешке, как известно, ничего хорошего

не придумаешь, поэтому остановились на посредственном: «Давай гол!» Это мы и кричим в тот момент, когда сто тысяч венгров на минуту переводят дух.

В самом начале второго тайма на электрическом щите вспыхивает первая надпись: «1:0. Кузнецов». В дальнейшем игра идет со все нарастающим напряжением. Венгры стремятся уйти от поражения и отквитать хотя бы один гол. Это удается им за три минуты до конца благодаря сомнительному пенальти: Пушкин, сбитый за два метра от линии, ухитрился упасть в штрафную площадку.

Итак, снова ничья — 1:1. Но на сей раз уже мы вправе считать, что советским футболистам «не повезло»...

Первый день в Будапеште так насыщен впечатлениями, мы так переволновались на матче, что кажется — сейчас же после ужина ляжем спать, тем более что и ночью не спали.

Однако после ужина никто почему-то не расходится по комнатам. И усталость как будто исчезла. Жадное любопытство гонит нас из дома. Забыв о бессонной ночи, мы выходим на шумную улицу Кошута и разбредаемся по вечернему Будапешту. Футбол футболом, но незнакомый город, незнакомая жизнь и люди, люди — это куда интересней...

...По дороге на озеро Балатон наш экскурсионный автобус «забарахлил», пришлось остановиться на шоссе. Пока шофер, бледный от огорчения, спеша и нервничая, налаживал машину, мы решили пойти по шоссе вперед.

Ясный, безветренный день «бабьего лета». С обеих сторон шоссе, озаренная солнцем и чуть желтеющая, расстилается до горизонта холмистая равнина. Рощицы, виноградники и холмы, холмы... Тишина и покой опустелых осенних полей. Венгерский пейзаж! Он тоже национальная гордость, как и музыка Листа, стихи Петефи и токайские вина. На этих холмах рождались мягкие, сумеречные полотна Меднянского и солнечные эффекты зеленой травы П. Синей-Мерше...

Несколько крестьян медленно обгоняют нас на вело-

сипедах и долго с любопытством оглядываются через плечо. Солнце лениво поблескивает на спицах колес. Молодой парень в рабочей спецовке, деловито крутя педали, мчится навстречу, громыкает прикрученный к багажнику ящик с инструментами. И вновь пустое шоссе. Мы где-то в самых недрах, в глубинке венгерской земли, вдали от туристских контор и шума отелей, успевших порядочно утомить нас.

Подходим к деревне. Каменные домики прячутся в зелени садов за прочной оградой. Непонятные надписи на воротах, непонятные звонкие голоса... Перед калиткой одного дома стоит пожилая женщина и вопросительно смотрит на нас. Пытаемся завести разговор — тщетные усилия. Венгерского языка мы не знаем, а по-русски и по-немецки крестьянка не понимает. Наша переводчица осталась с основной группой у автобуса.

Женщина улыбнулась: она поняла, что мы из Советского Союза, и энергичными жестами приглашает нас в дом. В саду — прохладная тень от широких ветвей яблонь. Чуть хмельной, сладковатый яблочный запах — мы привыкли к нему на улицах Будапешта — томится в воздухе. Неестественно алые яблоки сверкают в листве. Они такие пухлые и громоздкие, что кажутся квадратными. Гуськом заходим в комнату: очень чисто и просторно, низкая современная мебель, на буфете строем стоят расписные венгерские кувшинчики...

— Шандор! — кричит женщина, открыв дверь в соседнюю комнату.

Появляется смуглый долговязый юноша в клетчатой рубашке с короткими рукавами. С минуту он смотрит на нас с недоумением, потом тихо говорит:

— Здравствуйте, товарищи...

— Вы говорите по-русски?! — в один голос восклицаем мы.

— Говорю, да. Я учусь в Ленинграде, — более смело отвечает Шандор и, улыбаясь, открывает зубы, белые и плотные, как зерна в кукурузном початке.

Мы набрасываемся на Шандора с расспросами. Шандор отвечает, добросовестно обдумывая и старательно выговаривая каждое слово. Вид у него очень серьезный и напряженный, как на экзамене.

Отец Шандора — агроном местного сельскохозяйственного кооператива. Шандор учится в Ленинградском университете. Он уже «старый ленинградец» — пятикурсник. С увлечением рассказывает о Ленинграде: Шандор влюблен в него и считает его красивей Москвы, где он бывал на экскурсиях. Он рассказывает о профессорах, читающих лекции в университете (у нас находятся общие знакомые), о стадионе имени С. М. Кирова, который немного похож на будапештский «Неп-стадион», и о летней студенческой практике на Черноморском побережье, в Батуми.

Нам казалось, что мы встретили земляка. Через два дня Шандор собирался ехать в Советский Союз.

Мать Шандора поставила на стол большую тарелку яблок, и Шандор перевел нам ее слова о том, что в нынешнем году урожай фруктов обильный, но яблоки почему-то не такие сладкие, как обычно.

К сожалению, мы не успели всласть ни поговорить с Шандором, ни поесть яблок. Издали донесся рыкающий сигнал нашего автобуса, и мы выскочили из дома на шоссе: зарубежный турист живет в вечном страхе отстать от автобуса. Перед этим страхом меркнет все.

А что случилось, если бы мы остались в этой деревне? Она уже не казалась нам такой чужой и непонятной, как прежде. Что-то уже связало с ней наши сердца.

Братство народов не рождается на пустом месте, по воле отдельных личностей или силой дипломатических пактов. Юный Шандор был мальчишкой, когда Советская Армия вырвала Венгрию из фашистской неволи. Но родители его помнят Венгерскую революцию 1919 года — героический и пылкий ответ рабочего класса Венгрии на Октябрьский переворот в России. И мы помним и ни-

когда не забудем, что «семя, посеянное русской революцией», впервые взошло на земле этой придунайской страны.

Мы помним ученика Ленина мужественного венгерского коммуниста Бела Куна, который создавал Венгерскую компартию, а затем был руководителем Венгерского советского правительства; мы помним блестящего писателя-воина Мате Залка и других венгерских героев революции, гражданской войны и борьбы с фашизмом.

В 1941 году продажное правительство буржуазной Венгрии втянуло народ в войну против Советского Союза. Десятки тысяч венгерских юношей угонялись на фронт. В Венгрии сейчас немало молодых мужчин, которые говорят по-русски,— это бывшие военнопленные...

— Но я был не самый лучший солдат для Гитлера,— усмехаясь, говорил Андраш П., сутуловатый невысокий человек с тихим голосом и кроткими черными глазами. Он сотрудник одной из будапештских газет.— Я сдался в плен через неделю после того, как попал на передовую.

В подвальном ресторанчике «Матяш-Пинце», что неподалеку от Дуная, Андраш рассказывает свою историю.

Еще до войны, работая в конторе завода, Андраш примкнул к рабочему движению. Он был не то что коммунистом, но, как говорится, сочувствующим.

В русском плену Андраш пробыл четыре года. Последние полгода лагерь, где он находился, перевели из северной части России в Азербайджан. Однажды его вместе с двумя другими военнопленными направили в Баку: там была организована выставка кустарных и живописных работ военнопленных, и Андраш сопровождал машину с экспонатами.

Он провел в Баку три дня и встретил там русскую девушку Олю. Он полюбил эту Олю. Кажется невозможным полюбить человека за три дня знакомства, но, во-первых, в жизни бывают иногда времена, когда совершаются невозможные вещи, а во-вторых, эта Оля, по

словам Андраша, была удивительной и прекрасной девушкой. Это произошло накануне его отъезда на родину. Оля просила его остаться в России, и он хотел остаться, потому что очень сильно полюбил эту Олю. Но в Будапеште была мать, о которой Андраш ничего не знал много лет...

Поезд с военнопленными тащился до Венгрии ужасно медленно, а может быть, так казалось Андрашу. Поезда на родину всегда тащатся ужасно медленно. Наконец они приехали в Будапешт и увидели разрушенный город. Дворцы Буды лежали в развалинах, не уцелело ни одного моста через Дунай. И дом Андраша был разрушен, и мать погибла.

— Если б я знал, что мама погибла, я бы, наверно, остался в Баку,— говорит Андраш.— Я очень любил эту Олю...

Он все время называет ее «эта Оля».

Мы выходим из подвала на улицу. Вечер очень теплый, и мужчины ходят в светлых летних рубашках. В переулке, где дрожит неоновая вывеска ресторана «Ереван», несколько молодых людей и девушек топчутся у подъезда. Привратник за стеклянной дверью разводит руками; мест нет. Толпы людей бурлят у входа в кинотеатр. Непрерывно вертятся озаренные изнутри двери «экспрессо» — будапештских кафе. И даже хрупкие столики, вынесенные на улицу, заняты. Сегодня суббота.

Мы поворачиваем к Дунаю.

Андраш написал бы этой Оле письмо, если бы знал ее фамилию и адрес. Но он ничего не знает, кроме того, что ее звали Олей и что она из Новосибирска, а в Баку попала случайно во время войны.

— Кем она работала?

— Она работала пожарником.

Пауза. Я молча киваю.

— Пожарником на одном столярном заводе,— говорит он, глядя на меня серьезно своими кроткими черными глазами.

Вот и Дунай. Над угольно-черным полотнищем реки протянулись цепочки огней: это восстановленные знаменитые мосты Будапешта. Холмы Буды темнеют на противоположном берегу, заслоняя звезды. Все дворцы, расположенные на этих холмах, теперь восстановлены, кроме одного — бывшего дворца Хорти. Пустоглазый и мертвый, он как бы олицетворяет разгромленный фашизм.

Наш переводчик Янош Р., рослый тридцатипятилетний мужчина, — один из тех отважных венгерских коммунистов, кто прошел испытание подпольной борьбой с фашизмом. Жгучий кареглазый брюнет (настоящий театральный мадьяр из оперетты Кальмана), он кажется даже чересчур красивым для борца движения Сопротивления.

Янош отлично говорит по-русски. Но он выучил русский язык не в плену, и не в школе, и не на курсах, каких сейчас много в Венгрии. Янош начал изучать русский язык еще до войны, когда был простым рабочим парнем.

Началась война, молодежь забирали в армию, и для Яноша наступила тревожная скитальческая жизнь. Он был дезертиром. Никакая сила не могла заставить его служить в фашистской армии. Янош стал членом подпольной антифашистской организации.

Скрываясь однажды в каком-то доме, Янош случайно нашел растрепанную русскую книжку: собрание пословиц и поговорок. Эту книжку он выучил наизусть. Она была его азбукой, и грамматикой, и хрестоматией одновременно.

И когда весной 1945 года советские танки ворвались на улицы Будапешта, какой-то оборванный, худой и небритый человек встречал их, размахивая руками и крича с упоением:

— Не красна изба углами, а красна пирогами! Ура-а!  
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ура-а!  
Не все коту масленица! Ура-а!

Его окружили наши солдаты, удивлялись, смеялись, а он продолжал поспешно, восторженно сыпать пословицами...

Чехословакия, 1959

---

## Белая болезнь

У чешского писателя Карела Чапека есть фантастическая пьеса «Белая болезнь», где рассказывается о страшном эпидемическом заболевании, охватившем человечество.

Своего рода «белая болезнь», или, лучше сказать, «ледяная хоккейная болезнь», охватила Чехословакию в первую половину марта нынешнего года. Мы наблюдали симптомы этой болезни в горных деревушках, в маленьких городах и на железнодорожных станциях — на всем пути от Высоких Татр до Праги. Плакаты с изображением хоккеиста, таблицы первенства и флаги стран-участниц украшают витрины магазинов и ресторанов. Выпущены модные галстуки с «хоккейным» узором и к ним специальные зажимы в виде клюшки. Береты, чемоданы, почтовые наборы отмечены эмблемой чемпионата. Даже на карандаше, которым я пишу эти строки, резвятся пестрые фигуры хоккеистов и написано: «Прага, 1959 г.»

Из окна вагона по дороге в Прагу мы любовались прекрасными рощами и лугами Чехии, бледно-зелеными от прошлогодней травы, уже без снега. В Братиславе, на берегу Дуная, было совсем тепло. Яркое солнце, свежий запах земли и теплый весенний воздух — все это никак не вязалось с нашим представлением о хоккее. Скорее это была атмосфера футбола, первых апрельских матчей.

И, однако, в стране бушевала «ледяная хоккейная болезнь». Вот что значит 30 искусственных катков!

Первый хоккейный матч мы смотрим в Братиславе.



В предварительных играх встречаются Канада и Чехословакия. С точки зрения формальной, игра ничего не дает ни тем, ни другим: обе команды вышли в финал. Тем не менее превосходный братиславский стадион (он удобней и современной пражского «Зимнего») набит битком. Заполнены все места для стояния на верхнем ярусе. Как только на лед выезжают хоккеисты, раздается громовое: «До-то-го!»

Когда канадцы забивают первую шайбу, могучий хор скандирует:

— Ви-ров-няты! Ви-ров-няты!

Вскоре счет становится 3:0, но хор все с тем же энтузиазмом требует «вировнять».

Отчаянная поддержка тринадцати тысяч не приносит успеха хозяевам поля. Канадцы добиваются легкой победы — 7:2. Игра проходит несколько странно: чехи уклоняются от силовой борьбы, а канадцы, наоборот, грубят вовсю. Они как бы задались целью показать жителям Братиславы настоящую канадскую игру — пресловутую «пауэр плей». Свиристствует гигантский защитник Дьюсбери, снискавший себе впоследствии славу «грубиян номер один». В общей сложности он отсидел на скамье оштрафованных только в эту игру двадцать минут, то есть целый период. Остальные канадцы не грубят так откровенно, но демонстрируют игру жесткую, быструю и решительную. Пожалуй, канадцы поставили перед собой одну задачу: запугать чехов «впрок», на будущее. Огромный розовощекий, вечно жующий резинку Дьюсбери справляется с этой задачей отлично. Чешские нападающие сторонятся его как чумы. Кто-то из моих соседей довольно метко называет Дьюсбери «смертью с косой».

Финальный свисток. Молча расходятся со стадиона разочарованные братиславские болельщики. Рассеиваются толпы на улицах, где игру смотрели в телевизорах, выставленных в витринах. Общее уныние. Канадцы кажутся несокрушимыми. Где найти динамит, могучий

взорвать такую скалу, как Дьюсбери? Как остановить ураган канадских атак? Но самые дальновидные зрители успокаивают пессимистов: не торопитесь с выводами! В финале чехи будут играть по-другому...

В первый день финальных соревнований, 9 марта, мы находимся еще не в Праге, а в Брно. В то время как Канада с некоторым трудом и удивлением разламывает упорство финнов, мы осматриваем старинный замок; костел Святого Якуба, моравский музей и прочие достопримечательности моравской столицы. Не забываем посетить и каток, где недавно закончились предварительные соревнования, в которых принимала участие наша команда. Над трибунами еще реют флаги. Но трибуны пусты. Еще вчера на этом льду кипели хоккейные битвы, а сегодня... Что это? Мальчики и девочки в ярких спортивных костюмах заполняют весь каток. Они тут полностью хозяйничают. Шум, визг, веселая беготня. Одни на маленькой площадке между синей линией и бортом гоняют шайбу, другие носятся на коньках по кругу, третьи в соседнем секторе с увлечением разыгрывают конькобежную эстафету. С каждой группой занимается свой преподаватель, и все три преподавателя — солидные, седовласые люди, по-видимому, опытные спортсмены. Перед нами обычные занятия школьной физкультурой. Стадион не должен пустовать ни минуту — как это правильно! Если на катке нет спортсменов, на льду сейчас же появляются дети.

От Брно до Праги поезд идет около четырех часов. В три часа в Праге начинается первый финальный матч советской команды: наши играют с американцами. Подъезжаем к Праге. На какой-то железнодорожной станции мы узнаем счет: 2:0, наши ведут. Прямо с вокзала, бросив чемоданы на перроне, спешим на «Зимний стадион». Автобус мчится по выложенным брусчаткой пражским улицам, мелькают темные большие дома, старинные соборы, витрины, толпа, одетая по-весеннему... Руководитель нашей группы стучит в окно.

— Товарищи, вон ваша гостиница. Запомните! Когда будете возвращаться со стадиона...

Но нам не до того. Идет уже третий период. Перед нами — Влтава, автобус переезжает через мост на остров и резко тормозит возле входа на стадион. Жадно кидаемся к контролерам.

— Ну как?

Пожилые чехи успокоительно улыбаются:

— Добре, добре! Два — нула... Еще будут!

Едва только мы расположились на скамейках, едва отдышались, сразу начинаем кричать: «Шай-бу! Шай-бу!» Наши хоккеисты рассказывали потом, что этот боевой клич, раздавшийся в начале третьего периода, неожиданно и мощно вдохновил их. Ребята устремляются в атаку и, как бы в ответ на наше приветствие, забивают третью шайбу. Впрочем, американцы сейчас же сквитывают одну шайбу, а вскоре затем наши остаются вчетвером против шести американцев. Напряженнейшие минуты. Американцы штурмуют домик Пучкова, но наши защитники и чудобогатырь Коля Пучков обороняются героически. Чехи поддерживают нас: «Советик, до-то-го!»

Выдержали! Окончательный результат матча — 5:1 в пользу советской команды.

Нет смысла рассказывать о всех перипетиях пражского турнира. Они достаточно хорошо известны из газетных отчетов. В журнальной статье, которая появится через несколько недель после события, должны быть изложены какие-то общие наблюдения. Эти общие наблюдения, не претендующие на глубокий анализ специалиста, я разбиваю на три раздела: 1) как выглядели наши противники, 2) как выглядела наша команда и 3) кое-что о красоте игры в хоккей.

Канадцы заслуженно завоевали первое место. Грубость — не главное качество «Кленовых листьев». Да, впрочем, когда мы говорим о грубости, мы вспоминаем только двух-трех игроков: того же Дьюсбери, Бенуа и Маклеланда. Канадцы играют на большой скорости, при

первой возможности сильно обстреливают ворота, а комбинации их просты, энергичны и устремлены к цели кратчайшим путем. Особенно поражает в игре канадцев абсолютное, выработанное годами и, я бы сказал, механическое бесстрашие. Каждый игрок готов в любую минуту ринуться в гущу свалки, упасть под шайбу, встретить грудью противника.

Лучшим нападающим чемпионата был, на наш взгляд, не американец Клири, а молодой рыжеволосый канадец Беренсон, который, кстати, оказался чемпионом турнира по забитым шайбам. О последней игре канадцев, которую они проиграли, я расскажу ниже.

Чехословацкая команда — молодой дружный коллектив, у которого все впереди. В будущем году чехи станут еще сильнее. Шведы выступили слабо из-за отсутствия трех асов в нападении и еще потому, что защитники Бьерн и Штольц заметно снизили класс. Американцы играли ровно и хорошо, иногда даже великолепно (во встрече с Чехословакией) и по стилю напоминали скорее европейскую школу, чем канадскую. Сенсацией турнира оказалось выступление финской команды. Никто не ожидал, что финны так резко повысят класс игры.

Наша команда выступила, в общем, удачно: первое место в Европе, второе в мире. Наблюдая игры советской команды перед поездкой в Чехословакию, не многие знатоки рассчитывали на такой успех. И все же завоеванные нами «серебро» и «золото» не должны слепить глаза и мешать видеть некоторые существенные наши недостатки. Тройка нападения, считавшаяся тройкой асов (Локтев, Александров, Пантюхов), оказалась самой малоэффективной в Праге, а лучшей была тройка, составленная из игроков трех разных клубов: Крылов («Динамо»), Грошев («Крылья Советов») и Якушев («Локомотив»). Она играла надежно, напористо и смело.

В общем, наша сборная выглядела слабее всех предыдущих лет, а относительный ее успех был обеспечен

неимоверным напряжением защитных линий и блестящей игрой Пучкова, то есть успех обеспечили ветераны. Надо думать, наши слабости — слабости роста. Корифеи сошли по возрасту, а молодежь еще не обрела опыта.

И, наконец, о красоте игры в хоккей.

Да, хоккей — это в первую очередь игра. Игра на бешеной скорости, игра, полная неожиданностей, азарта и риска. И напрасны попытки делать из игры мероприятие, тяжелую работу, некий комплекс коллективных механических действий. Самая виртуозная техника, самая совершенная тактика не в силах отнять у хоккея его душу — игру, которая есть его глубинная сущность.

Последний матч чемпионата, в котором встретились Канада и Чехословакия, был воплощением этой игровой сущности хоккея.

Чехи показали фантастическую игру. Они сделали невозможное — и единственное, что могло вернуть им утерянную любовь тысяч болельщиков «Зимнего стадиона», любовь всей Праги, всей Чехословакии. О психическом состоянии противников, которое менялось в ходе игры, о накаленной атмосфере последнего дня, о робкой надежде, которая чуть теплилась вначале, а затем все разгоралась, все крепла и превращалась в уверенность, в восторг, — обо всем этом можно написать много страниц. По странной иронии судьбы эта игра как будто напоминала первую встречу обеих команд. Распределение мест казалось делом решенным, а сама игра, так же как в Братиславе, приобретала характер показательного матча. Так полагали знатоки. Так полагали, видимо, и канадцы. Но молодые чешские парни, которых обуревало неистовое желание играть и выиграть во имя чисто спортивного интереса, опрокинули все расчеты. Если бы вы видели, как целовали друг друга чехословацкие спортсмены после каждой шайбы в ворота Белла!

Я помню непрекращающийся шум на трибунах «Зимнего стадиона», пушечные выкрики «До-то-гол!», размахивание флагами и внезапную тишину, когда у тысяч людей

вдруг замирало дыхание: был такой момент в конце третьего периода, когда при счете 4:3 в пользу чехов канадский тренер снял вратаря и выпустил на лед шестого нападающего и канадцы заперли чехов в зоне, стремясь во что бы то ни стало сравнять счет. Но вдруг, за несколько секунд до финального свистка, шайбой овладел Влах и сделал дальний бросок. Все, кто присутствовал на стадионе,— хоккеисты, судьи, фотокорреспонденты, зрители,— на миг оцепенев, глядели, как шайба одиноко и даже не очень быстро двигалась по пустому льду, но уже никто не мог догнать ее, и она мягко, беспрепятственно вкатилась в ворота. И тут же раздался финальный свисток. Что тут началось! Все повскакивали с мест, стали орать, кидать вверх шапки, какие-то люди прыгали через борт и бросались обнимать хоккеистов. А хоккеисты подхватили своего тренера Сикору — очень молодого худощавого человека в очках, больше похожего на ученого, чем на спортсмена,— и на руках унесли с катка...

Нельзя сказать, что канадцы не хотели выиграть. Нет, они очень хотели выиграть и в третьем периоде даже злились и лезли в драку от злости. Но чехи сокрушили их невероятным подъемом духа. Вот в этом подъеме духа, творящем чудеса, и заключается сокровенная красота хоккея, как, впрочем, и всякой другой спортивной игры.

Италия, 1960

---

## Один день олимпийского туриста

Автобус идет по вечернему Риму. Он именно идет — не мчится, не едет, а идет пешком. Улицы забиты автомобилями. На перекрестках медленно вращаются водвороты машин. Светофоров почти нет, машины движутся

с наивным простодушием пешеходов, обгоняют когда вздумается, поворачивают куда хотят. Поток машин напоминает ледоход, а наш автобус подобен огромному бревну, которое неуклюже разворачивается на стрежне, загоразивая общее движение, и льдины обтекают его с обеих сторон. Мы застряли на площади Венеции. Нам надо поворачивать налево.

— Данте, дорогой, мы опаздываем! — кричит кто-то из самых нетерпеливых. — Престо, престо, Данте!

Данте — наш шофер, миланец. Что он может сделать в этом городе, который сошел с ума! Вот если бы Олимпиада проводилась в Милане, там был бы образцовый порядок. Здесь, в Риме, сейчас двести тысяч туристов, из них, наверное, четверть приехала на своих машинах — разве римские полицейские, эти «буффоне», могут справиться с такой армадой!

Некоторые в нашем автобусе дремлют, другие, наоборот, возбуждены, громко разговаривают. Мы встали сегодня в шесть утра. Осматривали город, были в парке Монте-Пинчио, в галерее Боргезе, потом на Олимпийском стадионе, потом на площади Испании и в маленьком кафе «Греко», где бывал Гоголь. А сейчас едем в «Палатцо делло спорт», где идет баскетбол. Зарубежный турист должен обладать выносливостью марафонца. Все перемешалось в голове. Целый день нас терзала жара, и многие, конечно, не выдержали и свалились тут же, в автобусе. Однако, очнувшись на минуту и едва разлепив глаза, они кричат, что мы опаздываем, и требуют ехать быстрее.

Наконец Данте выруливает на улицу Фори Империали; справа возвышается озаренный прожекторами монумент Виктору-Эммануилу — чудовищное нагромождение белых колонн и лестниц, — слева видны руины форума Траяна. Проехали базилику Масценция, где недавно соревновались борцы. Прямо перед нами — Колизей. Гигантские развалины ярко освещены; туристы бродят там днем и ночью, причем в отличие от других римских развалин

по Колизею можно гулять бесплатно. Автобус ускоряет движение. Мы едем по самому центру античного Рима, и вот уже впереди справа возникают циклопические стены Терм Каракаллы. Они празднично иллюминированы, на многих реют флаги стран, принимающих участие в соревнованиях по гимнастике.

И снова — скопление машин, толпы бегущих людей, регулировщик в белой каске иступленно размахивает руками в белых перчатках. Нас опять заклинило. В Термах Каракаллы — аншлаг! Ну да, сегодня решающий день у гимнасток — произвольная программа. Наши девочки начинают поздно, в одиннадцать. За них можно не волноваться — никого не подпустят близко. Интересно только кто: Астахова или Латынина? Сегодня везде решающий день. На «Форо Олимпико», где мы пеклись на солнце в течение нескольких часов, отлично пробежал Болотников — какой был финиш! А Цыбуленко «вдруг» взял и выиграл копье. Американцы так расстроились, что даже нарушили правила в эстафете 4×100 метров — отдали верные золотые...

Сегодня везде решающий день. И на баскетболе тоже. Только бы приехать вовремя: наши и бразильцы встречаются первыми. От нетерпения, усталости и жары в автобусе то и дело вспыхивают нервные перепалки:

— Данте, мы опаздываем!

— Не кричите! Зачем вы нервируете шофера?

— Во-первых, мы не опаздываем...

— В «Палацетто» места не нумерованы, надо занять места.

— Во-первых, мы едем не в «Палацетто», а в «Палаццо»...

— Алло, алло! Товарищи! — Кто-то хлопает в ладоши. — Давайте лучше подумаем, как провести Данте. У него нет билета.

— Приготовьте значки! При помощи значков!

Автобус тем временем миновал границы античного Рима. Мы мчимся по широкой автостраде. Виа Кристо-



форов Коломбо. По сторонам мелькают гигантские — в древнеримских масштабах — рекламные щиты с названиями коньяков и вин. Через двенадцать минут мы на месте. Сотни легковых машин и автобусов уже раскинули лагерь вокруг «Палаццо делло спорт», обложив его плотным кольцом. Данте отыскивает место в автобусном ряду, мы спрыгиваем на землю и пробегаем мимо вереницы пустых автобусов с надписями «Канада», «Лиссабон», «Европейский тур», «Югославский путник», «Дойчес райзебюро», «Балкантурист». Пассажиры этих машин уже в «Палаццо» и заняли, как нам кажется, лучшие места. Семь минут до начала. На бегу вырабатываем план, как протащить Данте. Тот, кто будет идти первым, даст контролеру все тринадцать билетов. Данте пойдет в середине, а замыкающий, ни слова не говоря, сунет контролеру значки.

На всякий случай один из нас дает Данте пиджак, чтобы шофер в своей черной итальянской рубашке не отличался от нас. Итак, вперед! Контролеры ошеломлены натиском, один пытается нас пересчитать, но его тут же нокаутируют кучей значков. Пока он их рассматривает, мы проскакиваем. Вот мы уже на лестнице. Данте — с нами. И вдруг сзади раздаются крики. Контролер в голубой олимпийской униформе что-то сердито кричит и повелительно машет рукой: «Назад! Назад!»

Николай Михайлович — тот, кто замыкал шествие и совал значки, — с убитым видом возвращается к месту преступления, а мы стоим на лестнице и ждем. Бедняга Данте уже снимает чужой пиджак. Через минуту Николай Михайлович радостно бежит обратно: оказывается, одному из контролеров не хватило значка — только и всего.

«Палаццо делло спорт» — создание Нерви, того самого, который построил знаменитый римский вокзал Термини. Это лучшие образцы современной архитектуры. Никакой вычурности, все легко, просторно, прозрачно. Архитектура не подавляет монументальностью (хотя и

вокзал Термини и «Палаццо» — здания очень больших объемов), не раздражает пышностью и дороговизной, не стремится удивить, потрясти. Успокоительно возвышается над круглым залом матовый, освещенный изнутри купол, своей рифленой поверхностью и величественными размерами напоминающий купол Пантеона.

Когда сидишь в зале дворца, ощущение такое, будто над головой — огромное перистое облако, сквозь которое мягко просвечивает солнце.

Но вот включены дополнительные софиты. Полный свет! Ярко вспыхнул цветной настил площадки, и под шум аплодисментов выбегают команды СССР и Бразилии. Один из решающих матчей финальной пультки, победитель которого наверняка выигрывает «серебро».

Отсюда, сверху (мы сидим в ярусе второго класса, довольно высоко), баскетболисты не кажутся очень высокими, но мы-то знаем их настоящий рост. Наши начинают в таком составе: Валдманис, Минашвили, Семенов, Зубков, Корнеев. Оба великана, Круминьш и Петров, пока сидят на скамейке.

Несколько дней назад советская и бразильская команды уже встречались в предварительной игре. Бразильцы, носящие звание чемпионов мира, тогда выиграли (58:54), и это придает особый психологический колер сегодняшней игре. Бразильцы чувствуют себя фаворитами, они спокойны, уверены, а наши волнуются. Очень волнуются. Так волнуются, что, глядя на них, мы тоже начинаем волноваться. У них сейчас то состояние, которое немцы называют «лампенфибер», лихорадка от света рампы, а у нас в Москве это называется «мандраж». Ребята играют вдвое хуже обычного. Неточные броски, потери мяча, примитивные комбинации, которые мгновенно разгадываются. К шестой минуте счет 13:3 в пользу бразильцев — все три наших очка забиты со штрафных. Ни одного удачного броска с игры!

Все это похоже на катастрофу. С ужасом гляжу на нашего тренера Спандаряна: мне кажется, он должен

немедленно вмешаться, взять минуту, что-то сказать ребятам, взбодрить их, ввести Круминьша, наконец! В самом деле, почему он не вводит Круминьша? О чем он думает?

Тренер сидит спокойно на скамейке и смотрит.

Посмотреть есть на что. У бразильцев все идет как по писаному. Атака, четкая комбинация, бросок со средней дистанции — два очка. И каждый раз это встречается ликованием на трибунах. Неужели все итальянцы болеют за Бразилию? Приглядевшись, замечаю, что по меньшей мере половину зала составляют иностранцы: американцы, немцы, скандинавы... Особенно много западно-германских немцев. Их тут много везде. На стадионах они садятся плотными рядами и хором выкрикивают свой отрывистый, трехсложный клич (нечто вроде «Gay! Gay! Gay!»), по улицам и музеям они тоже ходят толпами, у всех планы, каталоги, путеводители, и все что-то старательно записывают, и вид у них деловой и самодовольный, как у первых учеников. Настоящее германское нашествие, как полторы тысячи лет назад.

Болеют они с чисто немецким усердием. За Бразилию, конечно.

Высокий класс показывает лидер бразильцев Пасос. Вот он бросает издали — попал. Сидящий рядом со мной американец в белой нейлоновой рубашке (в зале жарко, многие сняли пиджаки) кричит изо всех сил по-итальянски:

— Белло! Белло!

Он кричит все время, то тише, то громче, умолкая только затем, чтобы пожевать резинку.

И вообще, тут все кричат, каждый — свое. Когда зрителям не нравится решение судьи, они кричат: «Эй, буффоне!» Наступая на ноги, ходят по рядам продавцы мороженого и напитков и тоже кричат свое: «Оранжеда! Кока-кола! Бирра!»

Опять ломается робкая комбинация наших, мяч перехватывает бразильский нападающий. Вот он проскальзы-

ваает к нашему щиту, обманное движение, прыжок — два очка. «Белло!» — ревет мой сосед. «Брави!» — восторгаются итальянцы. «Гау! Гау! Гау!» — выкрикивают немцы. А у нас, советских туристов, никак не налаживается хоровой клич. Вначале пытались кричать «давай!», но ребята быстро теряли мяч или бросали неточно, и наш крик застревал в горле. Кроме того, у нас нет согласованности. Один говорит, что надо кричать «давай очко!», другой — просто «давай!», третий настаивает на «молодцы», а четвертый сердито заявляет, что «молодцы» не годится, потому что они не молодцы, а сапожники — не могут переломить игру, — и надо кричать «сапожники!»

И, наконец, тот товарищ, который просил не нервировать шофера, говорит, что лучше совсем не кричать, потому что нервирuem игроков.

Однако мы кричим. Кричим изо всех сил, когда красные попадают в корзину. Кричим что попало: «ура!», «даешь!» и просто радостное, ревущее «а-а-а!» или «э-э-э!».

У нас замены. Вместо Семенова вышел Петров, вместо Корнеева — Вольнов. Преимущество бразильцев уменьшилось, разрыв достиг шести очков, и все же мы — сзади, никак не можем догнать. Почему не вводят Круминьша? Последние секунды первого тайма отсчитывает электрическое табло. Усилиями Вольнова и Петрова еще два очка. Тайм! Счет 32:38 в пользу Бразилии.

Второй тайм насыщен драматизмом. Напряжение растет с каждой минутой. Ничего более захватывающего я не видел на баскетбольных площадках. Наши ребята уже полностью победили свое волнение, они играют так же свободно, изобретательно и остро, как бразильцы, но ведь этого мало, мало игры на равных. Надо еще «прибавить», надо догнать, переломить игру — вот что не получается. Бразильцы сохраняют просвет.

Ожесточенный поединок двух равных по силе первоклассных команд. Чем меньше остается времени до

конца, тем запальчивей, злей играют баскетболисты. Обоюдные резкости. Кто-то сбивает Вольнова, он вскакивает и замахивается на бразильского защитника, и сразу, как по команде, поднимаются со скамейки все бразильские запасные — мгновенная вспышка, она тут же гаснет, и игра продолжается в рамках корректности, но это показывает, до какого предела напряжены нервы спортсменов.

Бразильцы продолжают лидировать. Восемь, десять, четырнадцать минут второго тайма они впереди. Разрыв минимальный — два очка. Не умолкая бурлят трибуны. «Белло!» — орет совершенно охрипший американец, а когда бразильцам удастся особенно эффектный бросок, он специально для нас кричит: «Очень ка-ра-шо!»

И вот выходит Круминьш.

Шум усиливается. Одни аплодируют, другие гудят: «У-у-у!»

Медленно, как стенобитная машина, которой в старину разбивали крепостные ворота, Круминьш приближается к бразильскому щиту. Именно в эти секунды, еще не заметный для глаза, не зафиксированный на электрическом табло, происходит перелом.

Безмерно уставшие бразильцы не выдерживают психологического удара — появления Круминьша.

На 36-й минуте наша команда выходит вперед. Правда, бразильцы тут же вновь выправляют счет в свою пользу, но они уже дрогнули. За полторы минуты до конца Круминьш опять выводит нас вперед — 62:61. Еще одно очко прибавляет Муйжниекс — четко забрасывает штрафной, несмотря на то, что половина зала гудит и улюлюкает, стараясь ему помешать. Потом один штрафной забивает нам Пасос. Двадцать секунд до финала! Вавилонский шум! Все вскочили на ноги, все кричат! У нас преимущество в одно очко! От волнения не могу понять, что происходит на площадке. Десять секунд! Восемь!.. Судья поднимает руку и что-то показывает Петрову. Ага, тот становится перед бразильским кольцом.

Штрафной. Попал! 64:62! Семь секунд... Три... Финал!

Победили! Победили в жесточайшей борьбе, на последних минутах, вытащили, казалось бы, совсем гиблую игру. И мы вдруг вскакиваем на ноги и начинаем махать руками и яростным безголосым хором, не сговариваясь, но очень дружно, кричим:

— Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!

И сидящие впереди, улыбаясь, оглядываются на нас, потому что интересно посмотреть, как радуются русские «тиффози». А на площадку уже выбежали участники следующей финальной встречи: американцы и итальянцы.

В первом часу ночи мы приезжаем домой, на виа Маджента. Пошатываясь и едва не засыпая от усталости, стоим перед запертой дверью. Пансионат «Каиро Комфорт модерн», где мы живем, расположен на пятом этаже большого старого дома. Пока хозяйка услышит звонок, проснется на своем диванчике в проходной комнате, потом будет искать туфли и шаль и спускаться вниз, пройдет порядочно времени. Надо приготовить пятьдесят лир. Вот она гремит ключами, распахивает дверь.

— Послушайте, вы собираетесь спать? — вдруг спрашивает один из нас изумленно.

— Да, конечно...

— Мы уже спим...

— Вы с ума сошли! Вы просто «буффоне»! Скоро вы будете спать у себя на Беговой, вы — на Юго-Западе, а вы — в своем Спиридоновском переулке. А пока что вы в Вечном городе! В олимпийском Риме! Очнитесь! Идемте к фонтану Треви!

И, поколебавшись немного, мы идем к фонтану Треви. Это километра два отсюда, в сторону Тибра. Остальные, кому уж очень плохо, взбираются пешком на пятый этаж: лифт не работает...

## Факелы на Фламинио

---

Когда подходишь издали к стадиону «Фламинио», он поражает легкостью и изяществом своих форм, но кажется не очень вместительным. Это впечатление обманчиво. Стадион «Фламинио» вмещает 55 000 зрителей (из них 8000 — под козырьком) — это почти вдвое больше, чем вмещал старый стадион «Торино Стадиум», на месте которого знаменитые архитекторы Нерви и Луиджи создали этот великолепный современнейший цирк для футбольных баталий. «Фламинио» — стадион специально для футбола. На нем отлично видно отовсюду, с любой точки, и поле максимально приближено к зрителю, ибо трибуны круто взмывают вверх возле самой кромки поля.

Сегодня, в день финального матча, у нас билеты на торцовую трибуну, где стоячие места. Опытные римские «тиффози» советуют нам прийти пораньше и занять места наверху и сбоку, где, по их словам, все равно все будут стоять. Места на этой трибуне не нумерованы. Мы приходим за сорок минут до начала. И правда, мы одни из первых, раньше нас пришла только большая группа немцев. Немцы уже сидят, постелив на каменные ступени газеты. На соседней трибуне появляются югославы. Они идут колонной, как на демонстрации, неся впереди большое знамя, и садятся все вместе. Датчане тоже садятся кучно и размахивают маленькими национальными флажками.

Выбегают на разминку футболисты в синих футболках и белых трусах — датчане. Зрители их бурно приветствуют, они здесь любимцы, одна из римских сенсаций. Команда, которую мало кто принимал всерьез, опередила опытных поляков, команду Аргентины и сокрушила общепризнанного фаворита — команду Венгрии. Почти все болеют за этого Давида, победившего подряд трех Голиафов.

Выбегают югославы, рослые, длинноногие, все в белом. Стадион встречает их сухо. Только соотечественники размахивают огромным знаменем и что-то кричат. Итальянцы не могут относиться к югославам с симпатией: ведь они «выбили из седла» прекрасную итальянскую команду — не победив ее, а волею жребия.

Вспыхивают на полную мощность прожекторы на мачтах. Изумрудно загорается трава. Вот и судья — итальянец синьор Лобелло — решительными шагами идет к центру поля.

Датские болельщики разматывают какой-то длинный лозунг и поднимают его на вытянутых руках. Стадион почти полон. Нет, не до отказа: как ни говорите, а римляне жестоко уязвлены неудачей своей команды. Это второе всенародное разочарование итальянцев — после капитоновской победы на шоссе.

Ого, датчане начали резво! При помощи быстрых мелких пасов они стремительно продвигаются вперед, к воротам, которые ближе к нам. Отлично виден правый край датчан Педерсен — молоденький белобрысый парень, который терзает югославского защитника, обманывает его, обходит, остроумно пасует... Пас перехвачен. Ничего, этот парень еще себя покажет. Стадион удовлетворенно гудит. Датчане атакуют. Кажется, они твердо решили сегодня выиграть, а югославы... что же, югославы привыкли к «серебру»...

И снова атакуют сине-белые, хотя и не очень остро, но массированно, и кто-то из них бьет по воротам. Высокий и худой Виденич спокойно забирает мяч. Датские болельщики потрясают своим лозунгом и машут флажками. Весь стадион подбадривает датчан. Немцы, сидящие вокруг нас, кричат хором: «Да-не-марк! Да-не-марк!»

И вдруг атака югославов, сильный удар Галича довольно издали в «девятку» — гол! Неожиданно. Растерянная тишина среди зрителей, и только на другом конце стадиона неистово мотается знамя и кричат югославы.



Что они кричат? Ах, вот что, просто «Галич». Центрфорвард югославов — герой турнира. Это он и забил все три мяча в ворота болгар в решающем матче в подгруппе.

Первый мяч, забитый так внезапно и красиво, потрясает датчан. Они вновь пытаются наладить атаки, но нападающие суетятся, нервничают, а полузащитники, которые в прежних матчах помогали нападению, сейчас нерешительны и больше заботятся об обороне. Нет, у сине-белых игра явно не клеится. Ничего похожего на тот динамичный, комбинационный и острый футбол, который они показали в полуфинале с венграми. «Неладно что-то в датском королевстве...» Проходит несколько минут, и вновь сквозь сумятицу потерявших равновесие датских защитников следует мощный, как удар ножа, прорыв югославов, и счет становится 2:0.

Теперь уже полностью доминируют югославы. Они хозяева положения. Датчане так явно сникли, что на трибунах кое-где раздается свист. Никто не ожидал такого внезапного краха датчан, и игра, по-видимому, уже не будет представлять интереса.

Но на 36-й минуте происходит событие, коренным образом меняющее обстановку на поле. Югославская машина нападения действует безотказно. Правый крайний Анкович вырывается к воротам, передает мяч мгновенно освободившемуся Галичу, и тот забивает третий гол... Но нет, нет! Судья машет руками. Он определил «вне игры». Гол не засчитан. Югославы очень азартно спорят, и в результате короткой словесной схватки между Галичем и синьором Лобелло югославский центрфорвард вынужден покинуть поле. Проходит минута-другая суматохи, криков, заламывания рук и прочих жестов отчаяния, но синьор Лобелло непреклонен. Черноволосый серб не оглядываясь уходит с поля и спускается в подземный туннель. Итак, югославы остаются вдесятером. Как ни плохо играют сегодня датчане, но у них при новой ситуации возникает шанс.

Вновь датские болельщики обретают дар голоса и трясут своим лозунгом и флажками. Последние минуты первого тайма проходят сумбурно. Датчане пока не нашли способа использовать преимущество, югославы же еще не знают, какой тактики держаться.

Свисток. Все решится после перерыва.

Зрители встают, чтобы размять ноги. По рядам ходят разносчики в белых комбинезонах и кричат резкими, трескучими голосами, предлагая пиво и оранжад. Впрочем, так же бесцеремонно они кричат и ходят по ногам во время игры.

После случившегося с Галичем настроение на трибунах заметно меняется. Хотя югославы ведут 2:0, но они очень ослаблены, играть вдесятером трудно, а футбольные «тиффози» на всех стадионах мира всегда сочувствуют командам, которые оказываются в подобном печальном положении.

И когда вновь зажигаются прожекторы на мачтах и югославы появляются на поле, их встречают аплодисментами.

Странное дело, датчане играют в своей прежней манере — нерешительно и неостро. Комбинационной игры нет. И вовсе нет ощущения, что югославов меньше: они подолгу контролируют мяч, точно пасуют и даже время от времени сами устремляются в атаку. Нервозность датчан и спокойствие югославов, характерные для первого тайма, продолжают и сейчас. Проходит десять, двадцать минут — датчане все еще никак не могут начать штурм.

А в середине второго тайма одна из редких атак югославов завершается прорывом быстрого левого крайнего Костица и его точным ударом — 3:0. Теперь уже весь стадион аплодирует югославам — и немцы, и шведы, и итальянцы. Датчане сворачивают свое полотнище. Игра сделана.

Последние двадцать минут матча не представляют интереса. В последнюю минуту датчанам удается забить

гол, который вряд ли приносит им даже маленькое утешение. А на противоположной от нас трибуне, там, где сидят югославы, начинают зажигаться факелы. Ликующие югославы жгут газеты, программы, бумажные козырьки — все, что попадает под руку. И немцы рядом с ними тоже зажигают факелы из газет, на которых сидели...

Молодая команда Югославии заслуженно победила — ей вручаются золотые медали. «Серебро» получают датчане — и, наверное, остаются довольны: подобный успех у них был почти полвека назад. «Бронзу» завоевали венгры. И в то время, когда победителям вручаются медали, тысячи зрителей, неисправимых итальянских «тиффози», скандируют: «И-та-ли-а! И-та-ли-а!» — желая этим сказать, что их родная молодежная «Скуадра адзура» оказалась вовсе не слабей победителей...

Нам, советским туристам, немножко грустно смотреть на все это торжество. Ведь наших ребят не было на турнире. Для утешения думаем о том, что совсем недавно, в Париже, сборная СССР выиграла Кубок Европы, победив вот эту же самую мощную югославскую сборную.

**Швейцария, 1961**

---

## **Путешествие в страну часов**

Никогда я не испытывал так сильно гнет времени, как в дни этой поездки в страну часов. Началось с того, что я опоздал на десять минут на самолет, отлетавший в Прагу. Когда я подъехал на машине к зданию Шереметьевского аэровокзала, через ограду был еще виден огромный ТУ-104 с заведенными моторами. Он поднялся у меня на глазах. Это было ужасное зрелище. Я представлял себе, как смеялись двадцать два спор-

тивных журналиста, сидевшие там, наверху, в мягких креслах.

Следующий самолет уходил на другой день утром, но из-за дурной погоды он вылетел только в три часа дня, и это оказалось решающим: самолет из Праги в Цюрих я тоже прозевал. Пришлось ночевать в Праге. Первый матч чемпионата я смотрел в пражском отеле «Интернациональ», в нижнем фойе, где возле телевизора собралось человек пятьдесят — одни мужчины. Они смотрели матч Канада — Швеция с молчаливым и угрюмым вниманием. Никто не говорил ни слова. В их настороженности и молчании я угадывал одно: они не верили в то, что чемпионат принесет им радость. Чехи — слишком страстные болельщики и патриоты для того, чтобы увлекаться спортом «вообще»; болеют прежде всего за свою команду. А она не внушала надежд. Целый ряд неприятностей обрушился на сборную Чехословакии: накануне турнира погиб в автомобильной катастрофе тренер, накануне чемпионата произошли изменения в составе команды — ветераны ослабили игру, потеряли скорость, и их пришлось заменить молодежью.

В общем, чехи мало надеялись на успех. И потому так пасмурно и не празднично было в первый день чемпионата в Праге, в отеле «Интернациональ», где зрители стояли молчаливой толпой перед телевизором и воздух был душный от табачного дыма.

Утром я улетел в Цюрих. Там было гораздо теплее, чем в Праге, и пахло весной. Из Цюриха в Женеву поезд мчится около четырех часов. Это все равно что приехать из Германии во Францию: там все говорят по-немецки, здесь — по-французски. Но ни там, ни здесь не говорят о хоккее. За четыре часа, которые я провел в вагоне первого класса, много разных пассажиров входило и выходило на остановках в Бадене, Берне, Фрейбурге, но никто из них не говорил о хоккее. Молодой господин с отечным лицом, сидевший напротив меня, всю дорогу читал роман Сименона. Старик в клетчатом пальто дер-

жал в руках маленький транзистор, шнур от которого он вставил в ухо, и, наверное, слушал музыку. Загорелая девушка, выкрашенная в седину, в короткой юбке, открывавшей длинные загорелые ноги, перелистывала журнал мод, и читатель Сименона, перевернув страницу, каждый раз автоматически бросал взгляд на ее ноги, а бородатый парень рядом со мной жевал жвачку.

За большим квадратным окном проносилась Швейцария. Смутно-зеленые, коричневые поля, черепичные кровли, туннели, старые города, новые здания из стекла и алюминия. Горы маячили в отдалении. Поезд бежал в долине, пересекая почти всю Швейцарию с севера на юг. Лишь один раз на стене дома мелькнула синяя афиша с клюшками — весть о хоккейном чемпионате.

Стало совсем темно, когда поезд примчался к Женевскому озеру. Внезапно из темноты возникла груда огней, желтых, розовых, голубых: это была Лозанна. Она лежала внизу, на краю черного озера, а поезд летел к ней сверху, спускаясь с горы.

В Лозанне сошли старые пассажиры и вошли новые. Все новые говорили по-французски. Но в их речи я не улавливал знакомых слов «чемпионат» и «хоккей». Многие говорили о Пежо. Газеты в эти дни были полны сообщений о поимке вымогателей, похитивших сына французского миллионера Пежо.

Через сорок минут после Лозанны поезд остановился на Женевском вокзале. Это была конечная станция. Меня и двух других москвичей встречал переводчик, долговязый господин в желтом пальто, у которого я спросил:

— Кажется, Швейцария не слишком увлечена хоккеем?

— О! — сказал он, улыбаясь. — Мы, швейцарцы, большие спортсмены!

— Да, но почему нет афиш, флагов?..

— О, у нас так всегда! У нас всегда весело.

В таком же духе он отвечал на вопросы и впослед-

ствии. Может быть, он действительно плохо понимал по-русски, а может быть, только делал вид. Он говорил, что он бывший балетный артист.

На другой день утром я увидел первый хоккейный матч. Около одиннадцати часов утра по пути в пресс-центр, который помещался в здании зимнего стадиона «Верне», я зашел на трибуны. Меня заинтересовал шум зрителей — непрерывный шум многих кричащих голосов, преимущественно женских. Играли команды Голландии и Югославии. Голландцы были совсем беспомощны, югославы чуть лучше. И те и другие были озабочены главным образом тем, чтобы при сильном разгоне удержаться на ногах. Так как югославы держались на льду немного увереннее, они забросали голландцев шайбами. Зрители вопили не умолкая. Приглядевшись, я увидел, что на трибунах нет ни одного взрослого человека, это все были дети.

Служитель в униформе сказал, что на дневные матчи бесплатно пускают школьников.

Фотокорреспондент, живущий со мной в одном номере, показал серебряную монету, которую ему дали в магазине: два франка, отчеканенные в 1905 году. Что только не происходило в мире за последние пятьдесят лет! Войны, революции, крушение мировых систем, рождение новых государств, а монетка в два франка со старомодным узором из веточек — в стиле начала века — продолжала ходить из рук в руки, и на нее продолжали покупать шоколад «Нестле», сыры в серебряной обертке, часы фирмы «Лонжин» и открытки с видами Женевского озера. Во время последней войны были, вероятно, перебои с апельсинами, но потом это наладилось. А вокруг швейцарских границ, в соседних странах, миллионы людей умирали от бомб, гибли от голода и в газовых камерах.

Все это не имеет отношения к хоккею. Просто мне думается, что хоккей — слишком нервная и беспокойная игра для швейцарцев. Они любят тишину. Они не любят

криков, суматохи, быстрых движений и ничего такого, что напоминало бы драку. А хоккеей иногда напоминает драку — правда, только внешне, потому что по существу это игра в высшей степени рыцарская и благородная.

Швейцарцы любят игру в кегли и футбол на велосипедах.

Большинство матчей чемпионата проходит при полупустых трибунах. Даже свою собственную команду швейцарцы не балуют вниманием и почти не посещают матчи с ее участием. Они иронизируют над своей командой и изображают ее карикатурно в газетах: например, в виде коровы, стоящей на коньках на льду. Но матчи фаворитов — Канады и Советского Союза — делают полный сбор.

Вечером были две интересные игры в Лозанне. Первыми встречались команды Канады и Западной Германии. Наибольшее впечатление у меня осталось от канадских туристов. Они сидели как раз сзади меня: человек двадцать мужчин и две женщины. Они все были пьяные и продолжали пить во время матча. Два парня то и дело вскакивали и что-то оралы, размахивая бутылками. Они были недовольны тем, что немцы сопротивляются. Потом один из них свалился и заснул, и приятель держал его на руках, продолжая орать и прикладываться к бутылке. Канадцы выиграли без особого напряжения.

В Лозанне было холодно. Каток «Моншаузи» расположен возле самого озера, под открытым небом. Летом здесь бассейн, и над катком стоит вышка для прыжков в воду, которую теперь использовали фотокорреспонденты. Вторым матчем того вечера была встреча Швеции и Советского Союза. Трибуны были переполнены. Многие болели за нас, но еще больше — против. И это было понятно: в Швейцарии почти не было туристов из стран народной демократии.

На трибуне кто-то поднял самодельное белое полотнище с надписью «СССР», затем рядом появилось еще одно: «Привет советским игрокам». Потом мы узнали, что

там стояли товарищи из общества «Швейцария — СССР». В перерыве какие-то хулиганы пытались отнять плакат с надписью «Привет советским игрокам» и даже сломали древко, но швейцарцы, державшие плакат, отразили нападение: один парень схватил сломанное древко и стал бить им хулиганов по головам. После минутного смятения плакат появился вновь.

В матче со шведами, который выиграли наши хоккеисты, лучше всех играла тройка братьев Майоровых. И в дальнейшем ходе чемпионата выяснилось, что спартаковская тройка — Борис и Евгений Майоровы и Вячеслав Старшинов — оказались наиболее боевой и результативной. Способным хоккеистам, к сожалению, не всегда удавалось сдерживать свой пыл, и они чаще, чем другие наши хоккеисты, гостили на скамье оштрафованных.

Забегая вперед, скажу, что, приехав в Москву, я был очень огорчен, узнав о неспортивном поведении спартаковцев в играх на Кубок. Молодым хоккеистам не хватает умения обуздывать свой темперамент, а без этого не может быть классных игроков.

Но из песни, как говорится, слова не выбросишь. В Швейцарии спартаковцы играли хорошо. Хорошо проявили они себя и в злополучной игре с чехами. Если бы две другие тройки действовали хотя бы вполсилы с таким азартом, с такой спортивной злостью, как тройка Майоровых, мы бы выиграли этот матч. Я не видел матча более нелепого и драматичного, чем игра с чехами на женевском катке «Верне».

Началось с того, что, придя на каток, мы не узнали наших игроков: они были в желтых рубашках, а чехи — в красных и в белых рубашках, придававших им очень воинственный вид. У наших сразу игра не заладилась. Было похоже на то, что они отнеслись к матчу не слишком серьезно — и тут же поплатились за это. Перестроиться во время игры трудно. Странные манипуляции Сологубова в своей зоне привели к тому, что чех Старши забил одну и через несколько минут вторую шайбу.



На трибунах возникло изумленное и радостное движение. Зрители как будто проснулись — запахло сенсацией! Чехи еще не верили, что могут победить, а наши вдруг почувствовали, что положение серьезно и грозит бедой, но находились в состоянии непобедимой растерянности, какого-то морального оцепенения, вывести из которого их мог только чей-то решительный поступок. Коллективной игры не получалось — тут нужен был личный пример. Его показал Старшинов. Он прорвался в зону чехов, обошел одного защитника, другого и из трудного положения самостоятельно — или, как пишут в здешних протоколах, «соло» — забил шайбу. Это случилось за минуту до конца первого периода. Счет стал 2:1 в пользу чехов, но главное заключалось в том, что Старшинов исцелил свою команду от неуверенности.

Сразу после перерыва советские хоккеисты ринулись в бой, и Евгений Майоров с подачи брата забросил вторую шайбу, а вскоре затем Якушев в свалке у ворот толкнул третью. Мы повели в счете, и чехи уже как будто смирились со всем происходящим, и зрители тоже успокоились, решив, что сенсации не будет. Но тут случилась несуразная оплошность у нашего молодого вратаря Чинова — оплошность, ставшая роковой для всего матча. Чинов неудачно принял шайбу, и она отскочила в сетку. Счет стал 3:3. Вновь ошеломление в наших рядах, вспышка небывалой энергии у чехов, вновь ошибка наших защитников — и... гол.

Чехи опять впереди. Ни один режиссер не мог бы срежиссировать этот спектакль лучше. Зрители получали истинное наслаждение от игры, полной такого напряжения и неожиданностей, но нам, болельщикам советской команды, было невесело.

Третий период начался с шайбы Евгения Майорова, которую судья не засчитал. Все приходилось начинать сначала. Снова догонять, снова взбадривать упавший боевой дух. И опять спартаковская тройка выручила команду: Борис Майоров забросил четвертую шайбу. Тут были

ликование, объятья, Евгений целовал Бориса, и всем нам казалось, что опять произошел перелом и сейчас все наладится, но опять случилось непредвиденное: у чешского вратаря сломался конек, и игру прекратили. Чехи отдышались. Перерыв был им на руку. Последние минуты игра шла под громовой шум трибун. Чешские болельщики, размахивая красно-сине-белыми флажками, кричали: «Ви-дер-жать! Ви-дер-жать!» По-прежнему никто не верил в то, что чехам удастся избежать поражения. Ничью все расценивали как их победу.

И вдруг — в который раз! — грубейший промах Со-логубова, прорыв чешского нападающего, и пятая шайба влетает в наши ворота.

Чешские игроки, сидевшие в это время на скамейке, вскочили со своих мест, стали бросать в воздух рукавицы, бумажные стаканчики, из которых они пили воду, а самые горячие изо всей силы барабанили клюшками по борту. Чехи на трибунах хором кричали: «Доб-же! Доб-же!»

В хоккее учитывается только «чистое» время. Стрелка секундомера бежит по циферблату лишь в те секунды, когда на поле идет игра. Хоккейное время сурово, оно не расходуется на пустяки. И оно беспощадно. Его нельзя «тянуть», как в футболе, и нельзя останавливать ни на минуту, прося об отдыхе, как в баскетболе.

С отчаянием следили мы за тем, как двигалась по громадному циферблату часов «Лонжин» длинная красная стрелка, отсчитывавшая секунды. Чехи ложились под шайбу. Падали друг на друга. Их вратарь Миколас совершал акробатические прыжки. В общем, они играли великолепно и даже героически. За минуту до конца мы сняли своего вратаря и поставили шестого нападающего, но это не помогло.

Звук финальной sireны слился с криком восторга победителей. Медленно пополз по флагштоку флаг Чехословацкой Социалистической Республики, оркестр заиграл гимн, и чешские хоккеисты начали петь слова гимна,

сначала робко и невнятно, потом все громче и громче, и чехи на трибунах стали петь тоже. Последние слова они пропели довольно громко и дружно. Можно себе представить, как они были счастливы в эти минуты!

Сенсация все же совершилась. Ни один спортивный специалист, ни одна газета не давали Чехословакии каких-либо шансов рядом с двумя лидерами — Канадой и Советским Союзом. И вот теперь положение обострилось.

...В воскресенье нам надо было успеть побывать на двух играх, и обе были решающими. Днем в Лозанне играли чехи со шведами, а вечером в Женеве советские хоккеисты встречались с канадцами. Судьба чемпионата решалась в один день на двух катках. Утром мы мчались из Женевы в Лозанну — семьдесят километров по шоссе вдоль озера, мимо старинных маленьких городков, мимо одиноких вилл, где на окнах были спущены жалюзи, открытые террасы имели нежилой вид, к каменным стенам лепились голые сетки плюща, — и не замечали великолепной весенней природы, морского запаха, который шел от озера и врвался сквозь открытые окна в наш автобус, не замечали гор на горизонте.

Мы разговаривали о хоккее. Все были убеждены в том, что чехи отдадут последние силы, чтобы вырвать победу у шведов, потому что в случае выигрыша у канадцев они становятся чемпионами мира.

В Лозанне было солнечно и жарко. Представители прессы сидели на солнцепеке, сняв пиджаки и даже закатав рукава рубашек. Шведы бегали в два раза медленнее чехов, и в десять раз меньше им нужна была победа. Поэтому они проиграли.

Через два с половиной часа по той же дороге мы ехали обратно в Женеву, по-прежнему не замечая ничего вокруг. Много машин вместе с нами мчалось в Женеву. В конце чемпионата интерес швейцарцев к хоккею несколько повысился, и площадь перед зданием закрытого стадиона напоминала порядочную площадь

порядочного стадиона во время больших состязаний. Она вся была заставлена автомобилями, и много людей с нервными, обеспокоенными лицами толпилось у входа, спрашивая билеты. Перед началом игры болельщики канадской команды, которых было довольно много на трибунах, кричали хором какие-то слова и размахивали самодельными флажками. Многие из канадцев, зрители, были почему-то в белых ковбойских шляпах. А когда на поле выехали хоккеисты, эти болельщики-фанатики, или «фаны», как их называют в Западной Европе, подняли такой шум, такой свист и трезвон колокольчиками, что заглушили голос судьи-информатора, говорившего в микрофон.

Мы проиграли с малоприятным счетом 1:5. Мы играли значительно хуже канадцев и, что особенно обидно, значительно хуже того, как мы играли обычно. Слабо, как и все матчи турнира, играли защитники и вратарь Чинов. Из нападающих лучшей тройкой и в этой игре оказалась спартаковская. Борис Майоров, лучший снайпер турнира, забил единственную шайбу.

...Часы фирмы «Лонжин» бесстрастно отсчитывали время. Завыла финальная сирена. Ее отвратительный трубный голос — так воют сирены «скорой помощи» и пожарные машины — прозвучал для нас как голос несчастья. Итак, канадцы заняли первое место, чехи — второе, мы оказались лишь на третьем.

Поздно вечером я шел через весь город домой в свой отель рядом с вокзалом и думал о том, как мало стоят все наши прогнозы и предположения. Настоящий ответ дает время. На пустынных улицах Женевы сверкали залитые огнями витрины. Каждый третий магазин был часовой. Каких только часов тут не было, и каких фирм, и каких расцветок.

Я останавливался перед витринами с деревянными ходиками в виде маленьких, ярко раскрашенных избушек. Эти дешевые часы, продающиеся здесь как сувениры, были различной величины, и у них были различные

маятники: одни двигались медленно и плавно, другие торопились, а самые маленькие дергались в бешеном темпе. И все это создавало впечатление какой-то фантастики, нереальности, перепутанного времени...

В самолете, на котором я летел из Цюриха в Прагу, возвращались домой чехословацкие хоккеисты. Когда самолет опустился на пражском аэродроме, к нему издали бросилась большая толпа людей. Впереди бежали дети, сотни мальчишек и девочек, с цветами, с флагами, с какими-то бумажками и блокнотами. Подрулить к аэровокзалу пилот не рисковал. Приехал трактор и медленно потащил самолет поближе к перрону. Взрослые образовали живую цепь вокруг самолета, чтобы не подпускать детей. Мы не могли выйти из кабины минут сорок. Наконец мы вышли. Нас тоже приветствовали. Но когда появились хоккеисты в ярко-синих пальто, в красных шарфах, впереди — Бубник с Кубком чемпионов Европы, вся огромная толпа пришла в движение, люди кричали, махали руками, вставали на цыпочки, поднимали над головами детей. День был такой же ветреный, холодный, с серым небом, как две недели назад, но как изменились лица! Тут были рабочие, военные, женщины с хозяйственными сумками, люди в очках, старики, старухи. Это было настоящее, неподдельное народное торжество.

А мы молча стояли, затертые со своими чемоданами в этой толпе, и радовались за наших друзей.

Болгария, 1961

---

## Костры и дождь

Это была удивительная ночь, состоявшая из дождя, песен, блуждания в темноте по склону горы, из разговоров, которые я почти не понимал, и всеобщего волнения, которое чувствовал отчетливо. Двухэтажная дере-

вянная хижина была одна, и люди расположились в палатках вокруг. Веселин Андреев предложил подняться наверх, где был костер и где нас ждал Данчо.

Мы пошли вшестером, Веселин — впереди, карабкаясь по крутому склону в совершеннейшей темноте. Натыкались на деревья. Пролезали сквозь заросли крапивы высотой в человеческий рост. Шли долго, все выше и выше, но костра не было видно, и уже пропали огни хижины внизу, откуда мы начали подниматься. Огонь возник высоко слева, значительно выше нас. Мы опять влезли в заросли громадной крапивы, потом кто-то крикнул: «Осторожно, тут вода!» Ручей журчал, но мы не видели его, даже когда подошли совсем близко. Прыгали наугад. Возле костра стояла одна палатка, а другую мужчина устанавливал. Какая-то женщина в белой кофте держала на огне сковородку, на которой жарились маленькие куски сала, и смотрела на нас удивленно. Услышав голоса, из палатки вышел мальчик, жевавший виноград. Никакого Данчо тут не было. Эти люди пришли из Мирково. Они сказали, что завтра из Мирково придет много людей на автобусах. Немного выше, сказали они, есть еще один костер — может быть, там мы найдем Данчо. Эти люди были не партизаны и не ятаки\*, они просто пришли на праздник.

Мы поднялись выше и действительно увидели костер, но добраться до него оказалось еще труднее. Земля тут была почему-то вся изрыта ямами. Мы держались друг за друга, шли медленно, и только Веселин шел отдельно и впереди всех. Он первый попадал в ямы и кричал нам, предупреждая об опасности.

Веселин был тут самый главный. Это он придумал все насчет костра и насчет Данчо. Все хотели быть с Веселином, но он выбрал нас пятерых: Христо, Марию, ее мужа Альберта, который повсюду ходил с гитарой, Любомира и меня. И мы шли за ним в темноте. Иногда

---

\* Ятаки — партизанские связные.

мы останавливались, чтобы отхлебнуть «гъмзы», но Веселин не останавливался и первый подошел к костру. Мы услышали, как он смеется. Тут тоже не было Данчо.

Возле костра сидели туристы из Етрополе, две девушки и два парня. Все четверо были в коротких штанах, и даже при свете костра было видно, какие у них загорелые ноги. Они объяснили нам, как спуститься к хижине. Мы постояли у костра, грея руки, хотя было тепло и даже парило, как перед дождем. Веселин о чем-то разговаривал и смеялся с парнями и девушками, а Любомир смотрел на них исподлобья. Потом мы долго, почти ощупью, делая маленькие шажки, спускались сквозь темную чащу вниз. Любомир ворчал по дороге:

— Зачем эти, с голыми ногами, приходят на наши встречи? Потеряли стыд...

Большой костер на поляне возле хижины все еще горел, и какие-то люди танцевали «хоро». Генерал тоже танцевал «хоро». Я стоял и смотрел на танцующих, которые, взявшись за руки, большим кругом кружились вокруг костра. Был ветер, пламя костра кренилось, и в одну сторону летели искры, и танцующие отворачивали лица или нагибали головы, спасаясь от искр, но не разжимали рук. Среди танцующих были женщины и одна девочка лет двенадцати. Женщины хохотали и взвизгивали, когда проносились мимо того места, где летели искры. Но генерал не отворачивал лица и высоко поднимал руки, поддерживая своих соседей справа и слева, и устремлялся навстречу пламени, из которого сыпались искры, и лицо его было красным от жара. И все лица танцующих были красными от жара. Но самым красным, и непреклонным, и молодым было лицо генерала.

Духовой оркестр, состоявший из четырех солдат-музыкантов, яростно играл одно и то же. Потом музыка прекратилась, и один маленький солдат вышел вперед и стал петь. Он пел народную македонскую песню:

У кого жена толстая,  
Тому бочка не нужна.

У кого жена худая,  
Тому жердь не нужна...

После каждого куплета все смеялись, а Мария переводила мне:

У кого жена некрасивая,  
Тому пугало не нужно...

Певец был очень серьезен и пел не улыбаясь. Мария слушала его с удивлением. Она была филологом, знала много старых болгарских, македонских и родопских песен, но эту слышала впервые.

У кого жена красивая...

Все затихли, ожидая, что скажет македонец:

Тому ярмарка не нужна!

Муж Марии засмеялся и ударил по гитаре. В это время подошел Веселин и сказал, что нашел Данчо возле хижины. Мы пошли от костра к хижине. Возле стола, за которым продавалось вино, толпились люди. Все разговаривали наперебой, смеялись очень громко, обнимались, шутливо толкали друг друга, некоторые сидели на земле, другие стояли кружком и пили вино из горлышек, запрокидывая бутылки. Только один человек среди всего этого шума безмолвно сидел на столе и, понурив голову, спал. Мне сказали, что этот человек не пьян, а неизлечимо болен, у него сонная болезнь, и все же он каждый год приезжает сюда, на партизанские встречи. Никто не подходил к человеку, больному сонной болезнью. Он сидел один, слегка покачиваясь, голова его клонилась на грудь все ниже и ниже, потом он вдруг вздрагивал и немного выпрямлялся во сне, и снова голова его начинала медленно клониться.

Здесь же, в толпе людей, которые пили вино из горлышка, стоял Данчо и разговаривал с каким-то низеньким черным горбоносим человеком в очках. Веселин сказал, что этого человека в очках зовут Илия, он тоже партизан, был в отряде «Чавдар», а сейчас работает чернорабочим в деревне. Он и тогда, семнадцать лет назад, работал чернорабочим в деревне. У него очень большая



близорукость, очки минус пятнадцать, и многие возражали против того, чтобы принимать его в отряд, но все-таки его приняли, и он хорошо воевал. Очки он прикрывал веревками намертво к голове. Илия был знаменитым рассказчиком «вицов» и «хуморесок». Он и теперь рассказывал что-то смешное, и Данчо смеялся.

Потом мы опять стали карабкаться в гору — тем же самым путем, сквозь заросли крапивы. Но теперь впереди шел Данчо, а он знал дорогу. Вскоре мы подошли к костру. Это был настоящий костер, тот самый, который мы с Веселином не могли найти. Горел огромный буквый пень, на него были наложены сучья, и все это горело сильно, пламя было высокое и трещало. Такой пень мог гореть до утра.

На земле вокруг костра устроились трое крестьян и одна черноволосая, очень полная, с румяным лицом женщина. Они что-то ели и запивали водой из бутылки. Эти люди были родственники или, может быть, знакомые Данчо из соседней деревни. Мы сели на землю. И в это время начался дождь.

Сначала это был маленький дождик, на который никто не обращал внимания. Партизаны пели песни, вспоминали разные истории, случившиеся семнадцать лет назад, когда они были молоды и воевали в этих горах. Партизанские песни оказались нашими советскими песнями. Они пели «Темную ночь», «Синий платочек», «Три танкиста» и частушки: «Я чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала».

И все это они пели с одинаковым удовольствием и даже с восторгом, и было видно, что с этими песнями, частушками и с «Я чай пила, самоварничала» связано необыкновенно много в их жизни. Крестьяне и ятаки молча слушали, а партизаны пели. Пела Мария, пел Христо, пели Веселин, Данчо и маленький очкастый Илия, и мне тоже хотелось петь, но я не решался. Потом пели партизанскую: «Гей, Балкан, Балкан, ты родина...»

Дождь усиливался. Веселин сказал, что так бывает

каждый год: дождя нет много недель, но на праздник Девятого сентября польет обязательно. Мы накрылись одеялами, которые кто-то принес из хижины, потом появились два больших куска брезента, и под одним из них спрятались Мария с мужем, а другим накрылись я, Веселин и Христо. Через четверть часа брезент промок насквозь, и лежать под ним сделалось невозможно. Я сбросил его и сел. Дождь лил так же сильно. Вокруг костра сидело несколько новых людей, это были крестьяне из Мирково и Бунов. Никто из них не укрывался от дождя, а костер горел так ярко, как ни в чем не бывало.

Партизаны и вновь пришедшие крестьяне подкладывали сучья в огонь, жарили небольшими ломтиками сыр кашкавал, держа его на палочках над огнем, и непрерывно разговаривали и шутили. Был уже второй час ночи, и так или иначе надо было заснуть. Я снова натянул на себя мокрый брезент и закрыл глаза. На миг меня охватило ощущение какой-то пронзительной недостоверности происходящего.

Все началось так внезапно. Еще вчера я не мог даже предположить, что буду коротать эту ночь на высоте полторы тысячи метров, под дождем, вместе с болгарскими партизанами. Дорога из Софии шла в предгорьях Старой Планины, мимо рыжих покатых полей, мимо букowych и дубовых рощ и пожелтевших кустов дикой сливы, медленно, обширными петлями поднимаясь вверх, в прохладу, в постепенно все более голые и каменистые склоны, кое-где поросшие бором, где шумел ветер и носился сырой запах облаков. Проезжая мимо деревень, похожих на маленькие старые города, партизаны вспоминали разные сражения и «акции», связанные с этими названиями. Там они захватили склад, здесь перебили жандармов...

Когда поднялись наверх, стало совсем темно. Сели ужинать в большой нижней комнате «хижи», тускло освещенной, набитой людьми, которые тесно сидели на скамейках вокруг длинных дубовых столов. Ничего нельзя

было понять: где тут партизаны, где крестьяне, где туристы — все были одеты одинаково, по-походному. Многие пришли с детьми, и дети сидели тут же и пили минеральную горнобанскую воду, а мы пили «гъмзу» и ели белый овечий сыр, огромные огурцы, томаты и колбасу луканку. Подошел генерал, но я не знал, что это генерал, мне сказали позже. Он был молод, с темными усами и одет так же, как все. Он поздоровался с Веселином и о чем-то заговорил с ним не садясь, потому что за столом не было ни одного свободного места и все были заняты едой. Разговаривая, генерал протягивал руку через головы сидящих и брал со стола то огурец, то кусок сыра. Семнадцать лет назад этот генерал командовал отрядом «Чавдар». Сейчас он был заместителем министра обороны.

Мне показалось, что я знаком с ним давно. И всех остальных, казалось мне, Христо, Марию, Веселина и Любомира, я знаю давно, и они изумительные люди, и это проверено долгой жизнью. Все они прекрасные люди, думал я, но уж очень они любят сидеть под дождем.

Сквозь брезент я слышал голос Илии, который что-то рассказывал, и когда он замолчал, все засмеялись.

— Что он рассказывал? — спросил я, отдергивая брезент.

— Народный виц,— сказал Веселин.— Прошло сорок лет после войны, когда турок прогнали из Болгарии, и вот один болгарин пришел в Царьград, и какой-то турчин его спросил: «Ты откуда?» — «Из Болгарии». — «Из какого места?» — «Из Етрополе». «Скажи,— спросил турчин,— там все еще идет дождь?»

Дождь все еще шел. Я ждал, что наконец-то лопнет терпение у самых закаленных партизан и ятаков и они встанут и пойдут под крышу или хотя бы под деревья. Но все продолжали сидеть, только изредка поворачивались к огню то спиной, то боками. Одежда на всех дымилась. Костер горел великолепно, и моим ногам, вытянутым к огню, было жарко, и я поджимал их, зато спина

мерзла и верхней частью туловища я ощущал озноб. Опять пели песни, что-то вспоминали, рассказывали вицы и смеялись, и так продолжалось до трех часов ночи, когда дождь стал проливным и Веселин дал команду уходить.

И мы снова спустились вниз, к хижине. Все окна были темные, по каменным ступеням крыльца барабанил дождь. На втором этаже спали дети и женщины, а внизу, в большой комнате, люди спали на столах, на скамейках, вповалку на полу. Только человек, больной сонной болезнью, почему-то не спал и бродил между столами. Люди спали в палатках на поляне и в шалашах под деревьями, в кабинах грузовиков и в автобусах, спали бывшие партизаны и их дети, которые были сейчас в возрасте своих отцов, когда те воевали с фашизмом, и спали ятаки из городов и сел Старой Планины, спали музыканты духового оркестра, весь вечер неутомимо игравшие «хоро».

И спали в своих походных, туристических палатках — а может быть, и не спали, я не ручаюсь — туристы из Софии, из Етрополе и Пирдопа, молодые парни и девчата, для которых партизанская война была историей и которые веселились просто от молодости, от избытка сил, и танцевали у костра какие-то легкомысленно-современные танцы, и пели под гитару что-то не совсем подходящее моменту. Все было правильно. Семнадцать лет назад все делалось ради этих девчат и парней. Ради того, чтоб они веселились.

Перешагивая через спящих, мы прошли в маленькую комнату с цементным полом и стали развешивать свои мокрые плащи.

Утром я встретил двух партизан, с которыми сидел у костра, и спросил их, где они ночевали. Они сказали, что просидели у костра всю ночь. И всю ночь лил дождь. А костер, сказали они, горит до сих пор.

---

## Где пел Орфей

Вьется по склону грифельное шоссе, слева голубеет пропасть, справа уходит в синеву зеленое тело горы, курчавое, дремотное, пронизанное запахом вянущей листвы,— вот дорога в Родопах. Иногда зеленые склоны обступают с обеих сторон. Иногда открывается даль. И тогда видны ближние горные цепи, или, как болгары говорят, «вериги», и дальние цепи, и совсем отдаленные вершины, синие-синие в прозрачно-голубом воздухе.

На этих вершинах, по преданию, жили вакханки — те самые, что растерзали Орфея. И сам Орфей был местный, родопский, тут он вырос, научился играть на кифаре и стал известным певцом. Лишь однажды он уехал отсюда, когда погибла Эвридика и он решил проникнуть в подземное царство через одну пещеру на юге Греции (Греция тут недалеко, за горами), но потом снова вернулся в Родопы. И здесь, на этих скалах, его убили разъяренные вакханки, они разодрали его тело на куски, а голову и кифару бросили в воды Гебра, нынешней Марицы. Вот что тут было в мифические времена, несколько тысячелетий назад. А что было потом? Потом в эти края, населенные фракийцами, пришли македонцы, потом — римляне, готы, славяне, болгары. Потом византийцы воевали с болгарами, болгары — с византийцами, а турки покорили тех и других. И сели тут ненадолго, лет на пятьсот. А потом их прогнали. И осталось их немного; они тихонько выращивают табак на зеленых родопских склонах.

Грифельное шоссе взбирается на вершину. Справа наверху виден одинокий памятник: мавзолей с куполом и высокий обелиск рядом. Шофер останавливает машину, и мы выходим. К мавзолею ведет широкая каменная лестница, усыпанная желтой листвой. Запах опавшей листвы — сладкий запах тлена — окружает нас, пока мы поднимаемся со ступеньки на ступеньку.

Кто-то жжет наверху опавшие листья в костре. На встречу нам по ступенькам спускается старик. Это охранитель музея крестьянин Иван Христов. Ему семьдесят лет, он небольшого роста, сухонький, согбенный, у него темное, длинное, иссеченное множеством мелких морщин лицо и ясный голубой взгляд анахорета. А что это, собственно, за музей? И зачем его охранять?

Болгары очень любят старину, памятники, обелиски. Оказывается, этот каменный мавзолей воздвигнут в честь полковника Серафимова, участника болгаро-турецкой войны 1912 года. Полковник Серафимов в неравном бою сдерживал наступление превосходящей турецкой армии и прикрывал отступление болгарской. Он сказал: «Я освободил эти земли, меня встречали болгарские матери, и я не отступлю отсюда!» Тогда царь Борис дал ему приказ отступить, но он не послушался, и царю пришлось выслать полковнику Серафимову помощь. И полковник Серафимов отстоял позиции. Однако заслушание приказа царь не произвел полковника Серафимова в генералы. Говорят, царь не любил полковника еще и потому, что тот окончил военную академию в Петербурге и слыл русофилом, а царь, как известно, придерживался немецкой ориентации.

Все это рассказывает хриплым, кричащим голосом Иван Христов. Он был солдатом у полковника Серафимова и участвовал во всех трех войнах века: в 1912, в 1917 и в 1944 годах. Когда в 1925 году начали строить памятник, он поселился здесь и стал его охранителем. У старика есть ключ, он показывает проезжим людям музей и рассказывает, как было дело. Ведь никто лучше него не знает, как было дело,— он живой современник.

И он кричит, грозно тараща глаза, размахивая темными худыми руками:

— Тука бяха турска, тука болгарска!

Почему он так кричит? Кажется, он плоховато слышит. А может, привычка не соразмерять голос возникла от отшельнической жизни— много ли людей проезжает

по этой горной дороге. И многие ли из тех, кто проезжает, останавливаются возле памятника...

Старик вынимает из кармана ключ, подходит к железной двери, на которой висит большой замок. Наступает торжественная минута. Старик занят делом, за которое он получает зарплату в шестьдесят левов. Со скрежетом отворяется железная дверь, и мы входим в низкую сводчатую комнату музея. Вот портрет храброго полковника Серафимова, вот знамена тех лет, вот отбитое у турок оружие: ружья, штыки. И здесь же небольшие портреты героев недавней войны с фашистами, местных партизан. Все это слегка запылилось и так же, как опавшие листья, пахнет тленом.

Возле двери в застекленном шкафу лежат аккуратно сложенные кости погибших в бою с турками болгарских воинов. Кости одинакового, грязновато-желтого цвета; на нижней полке лежат кости рук и ног, на верхней — черепа. В болгарских музеях довольно часто выставляются кости погибших. В музее Батака я видел под стеклом пирамиду черепов со следами ударов ятаганами. Среди черепов взрослых были совсем маленькие детские черепа, расколотые надвое: это были черепа жертв батакской резни 1878 года.

Железная дверь затворяется. Старик возится с замком, а мы спускаемся, шурша листвой, по лестнице. Воздух здесь, на вершине, пронзительно свеж и ясен, дали особенно глубоки.

Иван Христов что-то кричит по-болгарски моему спутнику. Я немного понимаю: его жена, старуха, живет в деревне, выращивает табак, но он не любит деревенской работы. Ведь он солдат. И никто, кроме него, не может рассказать, как было дело.

— Тука турска, тука болгарска!.. — возбужденно кричит он, размахивая руками.

И еще ему хочется что-то рассказать нам, но мы спешим. Машина медленно съезжает вниз, а он остается там, на вершине, среди облетевших буков с черными

стволами. Когда, спустившись глубоко вниз, перед поворотом я оглядываюсь, уже не видно старика, не видно обелиска на вершине, и только струя дыма от костра поднимается в небо.

Снова вьется грифельная дорога, ветер метет по ней желтые листья и с той стороны, где пропасть, отбегают назад белые столбики со стеклянными глазками.

И так продолжается долго. Поворот направо, поворот налево. Поворот направо, еще направо, потом резко налево, потом направо. Перед каждым поворотом водитель обязан сигналить, и наш водитель сигналил, но почему-то не перед каждым, и это кажется мне недопустимой небрежностью. Но сказать об этом я не решаюсь, чтобы он не подумал, что меня это чересчур волнует. В конце концов, он отвечает за то, чтобы мы не сверзлись. И он, наверное, ездил тут не раз. Хотя он живет в Софии. Дорога ныряет с непонятной причудливостью. Ее зигзаги лишены всякого смысла. Зачем ей надо влезать по такой крутизне в высоту, а потом стремительно валиться вниз, все ниже и ниже.

Иногда навстречу выкатывают тяжелые дизельные «камионы», груженные лесом или белым строительным камнем, и, если это случается на повороте — а чаще всего это случается именно там, — всегда бывает какой-то миг оцепенения, но потом это проходит. Оба водителя выжимают тормозные педали (я тоже инстинктивно жму левой ногой в пол), и машины медленно разъезжаются.

Но большей частью дорога пустынна.

День идет к закату, вершины гор розовеют, а в расщелинах уже сумеречно. Второй день я плыву в Родопах. Не еду, не мчусь на автомобиле, а плыву сквозь эту зеленовато-голубую, смолистую, замершую в прозрачном воздухе красоту, которая невыносима, от которой тупеешь и перестаешь замечать ее. Это началось со вчерашнего дня, когда пошли предгорья.

После Пещеры была холмистая долина, вся в яблоневых, ореховых садах. Ветви яблонь лежали на земле, де-



ревья казались приземистыми от гнувшей их тяжести. Четверо крестьян сидели на корточках на обочине дороги и чистили орехи. Мы вышли из машины и подошли к ним. Шофер Коля присел на корточки. Был теплый, парной вечер, и какая-то ясная, удивительная тишина стояла над дорогой, над садами, в которых кто-то ходил и тихо разговаривал, а в воздухе был густ запах яблок. Нечистые орехи лежали горой, кожура их была сочной, ярко-зеленой, цвета болотной ряски. Крестьяне быстро брали зеленые шары, одним движением ножа срезали кожуру и бросали сыроватые, белые, еще не успевшие загореть и запачкаться орехи в большую корзину. Пальцы чистильщиков от сока кожуры были черные. Крестьяне были работниками совхоза, а рядом, в яблоневом саду, работали женщины-колхозницы: собирали яблоки. Нам дали три пригоршни орехов. Один из крестьян сказал:

— В эту годину плод исключительно много!

Незабываемы покой этого вечера, запах яблок, черные пальцы крестьян и их быстрые, ловкие движения: разговаривая с нами, четверо ни на миг не прекращали работу. Потом было село Кричим, где магазины, кафе, киоски закрывались перед нашим носом. Все бежали на стадион. Играла команда из Пловдива, в ее составе был знаменитый Диев. Потом приехали в Дивин, где ужинали поздно вечером на открытом воздухе возле реки, от которой тянуло холодом, ели салат по-шопски, помидоры с зеленым перцем, посыпанные тертой брызгой, и пили сливовицу, чтобы согреться. Было очень холодно. А мы поднимались все выше и ночевали в Пампорово, на высоте почти двух тысяч метров. Отель был открыт неделю назад, еще пахло краской, еще не было горячей воды, и в номерах не топили, и мы накрывались ночью двумя одеялами. Одеял было сколько угодно. Мы трое были единственными постояльцами во всем огромном отеле.

А сегодня утром... Разве сегодня? Ну да, сегодня утром мы спустились из Пампорово в долину, и от косо-

солнца вся даль, все горные цепи казались четкими и объемными: на ближайших склонах, поросших бором, можно было разглядеть верхушку каждой ели в отдельности, а на более отдаленных лес курчавился густым дымчато-зеленым руном.

Потом, спустившись вниз, остановились в селе Проглед. Там жил писатель Янтай Ковалов, бывший сельский учитель. Мы встретили его на дороге, он шел на молотьбу, рослый, крепко загорелый человек лет шестидесяти, одетый по-крестьянски. На нем была куртка, высокие, грубой вязки шерстяные носки и галоши. Янтай Ковалов очень нам обрадовался и смутился, стал объяснять, почему он в таком рабочем виде. Пригласил в дом. У него библиотека в пять тысяч томов. Неделю назад в софийской газете «Литературен фронт» я читал три рассказа Ковалова о партизанах. В кабинете Янтая Ковалова висят портреты родопских общественных деятелей и «книжников» — пожилых усатых людей в старомодных очках, во фраках, с бабочками. Многих из них Ковалов знал лично, с другими переписывался.

Янтай Ковалов написал историю своего села. Это толстая книга с подробнейшим описанием местоположения, быта, родословной села Проглед, с фотографиями жителей, стариков, невест, новобранцев, школьников, с нотами и текстом песен, с загадками, с детскими считалками, со списками умерших и родившихся по годам. Село Проглед возникло шестьдесят восемь лет назад. Его основали несколько болгар, бежавших через границу из Турции.

Янтаю Ковалову хотелось нас чем-нибудь угостить, но его жена ушла в лес за малиной, а сам он собирался идти молотить хлеб, и наш приезд был некстати, хотя в то же время он ужасно растрогал Янтая Ковалова и взбудоражил. Мы долго сидели в тесном кабинетике, в мансарде трехэтажного — высокого и длинного, как скворешник, — дома. В окна сочилась свежесть полутораклометровой высоты. Мы говорили о Ремарке, о Стефане

Цвейге, о Горьком, о Паустовском, о Назыме Хикмете. Янтай рассказывал о родопских партизанах, о докторе Шукерове, погибшем за пять дней до освобождения.

А потом мы навсегда простились с седым загорелым писателем, опоздавшим из-за нас на молотьбу,— никогда в миг прощания не понимаешь, что прощаешься навсегда, это понимаешь после, и по-настоящему грустно становится после,— и вновь окунулась в зеленый сумрак, пошла виться дорога, побежали назад столбы.

Был жаркий день, был Смолян, толпы людей на узких ступенчатых улицах, раскаленных солнцем, и потом подъем на вершину, памятник полковнику Серафимову, и вот уже день погас.

В сумерках, при свете первых звезд, въезжаем в Рудозем.

Сейчас Рудозем — большой промышленный город, напоминающий новые города Кавказа или Средней Азии. Широкие площади, большие, несколько тяжеловесные, без особого вкуса, но прочно построенные дома (стиль десятилетней давности), деловой рабочий люд на улицах. А еще двадцать лет назад Рудозем был обыкновенным родопским селом, населенным «помаками», болгарами-магометанами — потомками тех болгар, которых двести лет назад турки насильно обратили в магометанство.

Заходим в дом к Петеру Колоферову, бригадиру строителей. Нас угощают «мастикой», сладковатой водкой, которую болгары разбавляют водой, отчего она становится белой и по вкусу напоминает детскую микстуру от кашля. Потом выходим на улицу и долго гуляем.

Вечерняя жизнь Рудозема сосредоточена на площади перед кинотеатром. Здесь на асфальте топчутся, покуривают, подшучивают над девушками молодые парни, стоящие группами. Одеты они так же, как одеваются софийские парни. В узких брюках, в черных свитерах. Это рабочие с фабрики, шахтеры с цинковых и оловянных рудников. А фабрика дымит и дышит даже сейчас, позд-

ним вечером. У подножия огромных труб трепещет полотно, освещенное прожекторами: «Фабрика рожба на болгаро советска дружба», то есть эта фабрика является детищем болгаро-советской дружбы. Тут работали наши специалисты.

Старожил Рудозема Христо Иванов рассказывает, как возник город. Христо работает начальником вентиляционной службы. Ему лет сорок, он смугл, коренаст, нетороплив в движениях и чем-то отдаленно, как все родопчане, напоминает турка. Родился он в селе неподалеку отсюда, а в Рудозем приехал в первый раз в 1935 году — тут была сельская школа, где он учился.

Ну, что тут было раньше? Глушь, нищета. Женщины занимались табаком, сажали картофель, а мужчины шли батрачить в Хасково, Райково. Здесь проходит дорога на Эгейское море — Беломорье, как говорят болгары, — по ней гнали овец зимовать в Турцию. Люди были настолько бедны, что в магазине могли купить только соль и керосин, а вместо обуви носили, как их предки фракийцы, сыромятную кожу.

Эта жизнь хорошо памятна Христо, хотя он не старый человек. Он родом из села Полковниково Серафимово. Да, это рядом с тем местом, где было сражение с турками. Там есть музей, совершенно верно. А село внизу, в долине. Внезапно выясняется, что Христо Иванов — сын того самого старика, охранителя музея Ивана Христова, с которым мы знакомы.

Эта новость нас нисколько не изумляет. Может быть, потому, что двенадцатый час ночи, мы утомлены и хотим спать. И мы идем в гостиницу.

А утром — сине, солнечно, холод сползает с гор, режут груженные «камионы», сотрясая асфальт, и девочки в форменных, из черного блестящего шелка, платьях бегут в школу.

## И доля спортивного счастья

### 1

Может быть, на меня подействовало неудачное для нас начало чемпионата, но Стокгольм показался мне довольно мрачным, холодным и каким-то, да простят мне шведы это слово, казенным городом. Я понимаю, конечно, что это не так. Стокгольм, наверно, очень красив, в нем много великолепных зданий, много скульптур и памятников; особенно прекрасна, я помню, скульптура «Музыка» знаменитого Миллеса; шведы чрезвычайно хорошо воспитаны, «шведский стол» восхитителен и для русского человека просто опасен, в кинотеатрах идут фильмы о нудистах, а в музеях вы можете увидеть все, что угодно, от Рембрандта до Джексона Полока, и все же — стоял такой ужасный март, был такой холод, так отвратительно дул ветер с Балтики, и мы так скверно начали турнир...

Восьмого марта мы ехали в «туннельбане» на матч СССР — Швеция. Поезд метро был набит аккуратно одетыми мужчинами и мальчиками со здоровым цветом лица; все они ехали на «Ис-стадион». Никто не разговаривал, не смеялся, не спорил, не читал газет. Мужчины и мальчики стояли неподвижно, в полном молчании, и было такое ощущение, что они едут не на матч, а на похороны.

Матч проходил очень напряженно. На трибунах были свободные места, и это могло показаться удивительным в любом городе, но не в Стокгольме. Специальный дирижер, размахивая большим желто-голубым шведским флагом, дирижировал хором так называемых хейяклакеров — зрителей, кричавших подбадривающий боевой клич: «Хейя, хейя! Фрискт хумор!» — что значит приблизительно: «Давай, давай! Больше жизни!»

Многотысячный мужской хор исправно слушался дирижера. По временам казалось, что рухнет потолок. И это кричали те самые, что ехали в метро, как на похороны! Когда Лундвалл и Нильссон забили во втором периоде две шайбы, огромная, круто уходящая вверх трибуна передо мною, совершенно черная от мужских пальто, внезапно взбурлила, взволновалась, зарябила мелкой белой рябью: тысячи мужчин подняли вверх руки, аплодируя, и обнаружили тысячи белых манжет.

Шведы, конечно, не ожидали победы своей команды. Они радовались во всю меру своего темперамента.

Через двадцать минут мы шли в толпе недавних зрителей к «туннельбану», и вновь эта толпа молчала и двигалась гуськом, не спеша, очень медленно, потому что проход к метро был узок, а народу собралось несколько тысяч. Вновь не было слышно никаких разговоров, ни споров, ни смеха. И мы шли в этой толпе так же медленно, аккуратно, делая такие же маленькие шажки, как остальные, и размышляли: в чем дело? А если бы вместо Александра играл Парамошкин? А почему не взять кого-то из Горького? Или, например, из воскресенского «Химика»? Ребята играют прилично, согоньком... Шведская толпа несла нас вниз, в ущелье «туннельбана», прорубленное в скалах, а мы все перебирали в уме разные доводы и объяснения.

Объяснение может быть одно: у шведов сложилась сейчас довольно сильная и ровная команда, у нас тоже довольно сильная и ровная команда, а в подобных случаях побеждают те, кому лишний раз улыбнется счастье. На шестнадцатой минуте второго тайма, когда Нильссон воспользовался ошибкой нашей защиты и прорвался к воротам Коноваленко и тот отчаянно, трагически нерасчетливо бросился ему навстречу, в этот миг счастье улыбнулось шведам. Но улыбка счастья может помочь выиграть матч, а не турнир. Главные битвы впереди.

Календарь турнира наполнен событиями, анекдотами

и сенсациями. Истинную сенсацию произвели спортсмены из ГДР, которые в игре с Канадой в первом тайме вели 4:0. Шведы на трибунах с энтузиазмом болели за немцев. Канадцы тут вообще не в почете. В воскресенье «Экспрессен» сообщила об очередном скандале: канадец Росс Ковальчук, хорошо известный москвичам, устроил драку в гостинице «Мальмен» и избил швейцара, который не позволил ему в поздний час привести женщину. Подоспевший портье, парень огромного роста, в свою очередь, избил Ковальчука, которого отвезли в больницу. Вот так-то.

## 2

С каждым днем атмосфера турнира все больше накаляется. Игра чехов с канадцами, окончившаяся вничью, не разрешила загадок, а лишь еще более сгустила тучи. Что можно сказать о канадцах? Они очень сильны, но, на мой взгляд, в Швейцарии они были сильнее. Костяк «глотателей дыма» остался прежним, однако все они, кроме, пожалуй, Смита и Тамбеллини, немного сбавили — стали старше на два года, а ведь все они не очень молодые ребята. Выдающийся игрок команды — неуязвимый защитник Смит. Среди всех хоккеистов турнира он обладает самым высоким классом, и, что особенно привлекательно в игре Смита, он безукоризненно корректен. Вообще канадцы пока, я подчеркиваю — пока, делают над собой гигантские усилия, чтобы играть в рамках правил. Это им дается нелегко. Но они стараются. Единственным игроком, которого подвели нервы в матче с чехами, был защитник Фергюсон, ослабивший свою команду больше чем на двенадцать минут. Грубость Фергюсона и неудача Макинтайра, который получил травму, стоили канадцам потери очка.

Чехи играли великолепно, очень смело и напористо. Ни одной секунды не чувствовалось в их команде какого-либо колебания, страха перед канадцами. Они лезли, давили, играли, как говорят хоккеисты, «в свою игру».

И все же не смогли победить — в этом заслуга в первую очередь канадских защитников и вратаря Мартина. Говоря попросту, канадцы едва унесли ноги от поражения.

Перед вчерашней игрой большинство журналистов полагало, что чехи нас победят. Уж очень бодро они выглядели в игре с канадцами. Для нас же вчерашний матч был последним шансом как-то поправить дела. И ребята выехали на лед именно с этим ощущением последнего шанса. Весь первый период их не покидало волнение. Даже альметовская шайба, забитая на пятой минуте, не избавила наших от волнения, тем более что через десять минут Потш сравнял счет. Чехи играли несколько академично. Они не лезли, не жали, не давили, как в матче с канадцами, надеясь, видимо, переиграть нас на чистой технике, и в результате им не удалось играть с нами «в свою игру».

В конце второго периода спартаковской тройке удалось забить вторую шайбу. Мы ведем — 2:1!

Третий начался бурно. Чехи бросаются на штурм. Весь период проходит в непрерывных обоюдных атаках. Но инициатива — у нас. На девятнадцатой минуте удален чешский защитник Тикал. Спартаковская тройка устраивает свою знаменитую кутерьму на пяточке чехов, и Старшинов, который, кстати, замечательно провел весь матч и проявил себя совершенно бесстрашным, неутомимым бойцом, забрасывает последнюю, третью, шайбу.

Это происходит за тридцать секунд до сирены.

Одержана очень важная победа. Положение на турнире становится еще более запутанным, но нас эта запутанность устраивает: она вливает в нас новые силы и надежды.

### 3

На нижней ступеньке прохода, разделяющего ложу прессы, лихорадочно срывали коньки победители и бежали по лестнице наверх. Они бежали мимо нас, журна-



листов. Мы видели их разгоряченные лица и блуждающие, ничего не видящие от волнения глаза.

В пятницу, пятнадцатого, по этой лестнице бежали Стернер и Тумба после победы над канадцами. Под вспышки блицев их целовал восьмидесятилетний король. В воскресенье по этой же лестнице бежал Борис Майоров — мимо королевской ложи, на самый верх, к микрофону нашего Всесоюзного радио.

Признаюсь, я не смог победить искушения и, растолкав каких-то финских и шведских журналистов, ринулся к проходу и успел хлопнуть Майорова по спине и крикнуть: «Боря, молодец!» Мы не были с ним знакомы, это фамильярное восклицание вырвалось у меня совершенно произвольно и внезапно. Но он, кажется, меня не заметил и не расслышал. Все мы плохо соображали в эти минуты. Позади был одиннадцатидневный невероятный по драматизму, неожиданный по своему сюжету хоккейный спор, который разрешился в буквальном смысле на последних секундах.

Еще утром мало кто верил, что день закончится так счастливо. Если б еще все зависело от нас! Но ведь нам должны были помочь наши друзья из Германской Демократической Республики и Чехословакии, без их удачи не могло быть удачи у нас.

Накануне в отеле «Мальмен» я разговаривал с Бубником. Ветеран чехословацкого хоккея и футбола сказал:

— Не думайте, что мы пали духом и откажемся от борьбы. Со шведами мы будем играть изо всех сил и постараемся выиграть — это важно не только нам, но и вам!

Для шведов эти настроения чешской команды не должны были оказаться тайной. В газете «Дагенс нюхетер» накануне решающих воскресных игр появилась заметка, рассказывающая о думах и настроениях чехов. Называлась заметка так: «Победа над Швецией простит нам все!» Там говорилось, что имеется только одна воз-

возможность «вновь начистить свой щит» — это победить Швецию.

И чехам удалось показать привычную им быструю, свободную, полную импровизации и блеска игру, которая расшатала, раздробила мощную защиту шведов и принесла чехам победу, а нам — огромную надежду. Для шведов поражение в этом матче было полнейшей неожиданностью. После своей триумфальной победы над канадцами они на 99 процентов уверились в том, что защитят титул чемпиона. И на лед они выехали сохраняя достоинство и степенность чемпионов мира. И эта степенность их сгубила.

В четыре часа дня в воскресенье вся Швеция гремела громоподобным хором: «Хейя, хейя, Канада!» А совсем недавно вся Швеция с яростью болела против канадцев, считая их главными врагами и возмущаясь их грубостью. Впрочем, канадская грубость проявилась в основном до турнира, во время гетеборгских матчей. Тот же самый парень в шляпе и желтой куртке размахивал флагом и дирижировал хором, от которого сотрясались стены. Ах, как хотелось шведам, чтобы эти ужасные заокеанские грубияны победили «совьет»! Или хотя бы сыграли с «совьетом» вничью!

Но после шайбы Альметова шведский хор немного утих, после броска Иванова он стал еще тише, а во втором периоде его совсем почти не стало слышно. Советская команда играла замечательно. Это была лучшая игра нашей сборной за последние годы. Ребята выкладывались до предела, отдавая все силы без остатка. Трудно выделить лучших. Агрессивно и смело, с техническим изяществом играл Александров. Как всегда, самоотверженно действовала спартаковская тройка, а динамовская давила противника мощным прессингом.

Обе пары защитников показали удивительный рост за время турнира — они играли значительно более зрело, мощно и результативно, чем десять дней назад. Уверенно стоял в воротах Коноваленко, и в третьем периоде,

когда стадион понял, что дело проиграно, и к шведам вернулась их обычная спортивная объективность, они не раз награждали нашего вратаря аплодисментами.

Особо мне хочется сказать об Александре Альметове. Я говорил с несколькими иностранными журналистами: большинство считало, что Альметова по праву надо было признать лучшим нападающим турнира. Однако жюри решило иначе: лучшим нападающим признан чех Влак, лучшим защитником — швед Штольц и лучшим вратарем — канадец Мартин. Всё, кроме Мартина, представляется мне спорным.

Итак, после семилетнего перерыва советская команда вновь завоевала звание чемпиона мира. В нашей победе было все, что должно быть в настоящей спортивной победе: большой труд, мужество, умение бороться до конца и не гнуться от неудач, и доля спортивного счастья.

## Воспоминание о Дженцано

---

Посвящаю Нине

Древняя Аппиева дорога, та самая, знаменитая «Via Appia», построенная Аппием Клавдием две тысячи триста лет назад, мощенная камнем от Рима до Капуи и, может быть, единственная в мире сохранившаяся до наших дней дорога древности, шла все время справа от автостреды. Сквозь стекло автобуса я пытался разглядеть развалины гробниц и храмов на ее обочинах, но почти ничего не видел. Иногда мелькало на горизонте что-то похожее на развалины, но, возможно, это были купы деревьев. Слева возникал на экране синего неба и вдруг исчезал скелет гигантского полуобрушенного акведука.

Две дороги, античную и современную, разделяло несколько сот метров земли, поросшей рыжей, пыльной травой. Была осень. Автобус мчался на юг. Нас ждал го-

родок Дженцано, один из так называемых костелло-романи, римских городков-крепостей, расположенных в окрестностях Вечного города. Через несколько километров автострада пересекла древнюю Аппиеву дорогу, и я увидел ее лысые фиолетовые булыжники, отполированные веками, и по сторонам, в зелени, невзрачные обломки каких-то белых камней, очень белых, похожих на старые, промытые дождями кости или на лошадиные черепа, попадающиеся иногда на наших лугах в высокой траве. Это были остатки фундаментов когда-то великолепных зданий. Все они давно разрушились временем, но дорога еще живет. Она сохранилась так же, как эта земля, холмистая, рыжая, в лиловых подпалинах осени. Сколько колесниц гремело по этим камням! По ним ехал несчастный поэт, изгнанный из Рима загадочным гневом императора. Эти лиловые холмы провожали колесницу поэта, и он смотрел на них с болью, но без отчаяния, еще веря в то, что он вернется, не зная того, что он прощается с ними навсегда...

Сидевшие сзади меня люди разговаривали о футболе. Они спорили уже полчаса, от самого Рима.

— Если б не Сальников, который к вам перешел...— говорил один голос.

— А что Сальников? — говорил другой.— Сальников начинал в нашем клубе.

— Во-первых, он начинал в «Зените»...

Шофер автобуса пел, не умолкая, разные итальянские песни. «Арриведерчи, Рома» и другие. Он пел в микрофон, это было довольно громко. В общем, он пел неплохо, но хотелось, чтобы он немного отдохнул. Он совершенно не делал пауз, пел одну песню за другой, как радиола, заряженная на двенадцать пластинок. По-видимому, он считал своим долгом петь для иностранных туристов и, кроме того, наверно, получал за это прибавку к зарплате. И он старался вовсю. Иногда его голос звучал так громко, что заглушал шум мотора, но сидевших сзади меня это не останавливало — они непрерывно раз-

говаривали о футболе. Автострада миновала древнюю дорогу, теперь Аппиа Антика оказалась слева. Она убежала в сторону, все дальше к горизонту, и я больше не видел ее фиолетовых камней, круглых, грибообразных пиний на ее обочинах, потомков тех пиний, которые так же кругло и грибообразно возвышались здесь две тысячи лет назад. Из них тесали кресты, на которых были распяты сторонники Спартака вдоль всей дороги от Капуи до Рима. Все это началось южнее, в Капуе, в гладиаторской школе, охватило всю Кампанию, всю южную Италию, а кончилось здесь, на дороге. Я помню, как в шестом или пятом классе, когда я увлекался «Спартакoм» Джованьоли, я нарисовал акварельными красками эту дорогу, и по странной случайности рисунок сохранился до сих пор. Ничто не сохранилось из моих школьных рисунков, тетрадей и дневников, а этот рисунок цел. Как будто я знал тогда, что через четверть века увижу эту дорогу и сравню ее с той, воображаемой, которую я когда-то рисовал, и поражусь ее небольшой ширине, ее тихой невзрачности и какому-то глубокому неземному спокойствию, каким обладают только моря и кладбища.

Люди сзади меня все еще разговаривали о футболе. Теперь они говорили раздраженно:

— В этом сезоне вас только и спасали пенальти!

— Ну и что ж? Не надо нарушать.

— Надо играть! Вот что надо!

— А вы считаете, у вас нет костоломов?

Слева промчался назад городок Кастельгандольфо, за которым мелькнуло вдаль Альбанское озеро. Автострада поднималась: лиловые холмы, обширные зеленые равнины все просторней и дальше расстилались по обе стороны. Прошло еще несколько минут, и автобус остановился на площади Дженцано.

Этот городок, сказали нам, живет производством вина и цветов. Мэр города был коммунистом. Нас приняли в мэрии, где над столом висело маленькое распятие. Мэр и кто-то из наших туристов говорили речи, и все

стояли, и слушали, и, улыбаясь, смотрели друг на друга, мы — на итальянцев; а итальянцы — на нас, и хлопали с большим азартом, и все время подходили новые люди, помещение мэрии набивалось, становилось душно, пришло откуда-то много детей, мы давали им значки и открытки, и они шепотом говорили «грацие», все разговаривали шепотом, потому что там, впереди, в толкучке возле стола, все еще произносились речи. Крестьяне были одеты по-праздничному, мужчины были в костюмах, в белых рубашках, с галстуками и с цветками в петлицах.

Ко мне подошел крестьянин лет пятидесяти, сухопарый, небольшого роста: он назвал себя Томазо Бьянки и, улыбаясь, протянул мне огромную ладонь, твердую и шершавую, как дерево. Он, как и другие, был в белоснежной нейлоновой рубашке; воротник ее был такой белизны, что казался даже грубоватым, а из воротника торчала совершенно коричневая от солнца, изрубленная морщинами шея. Томазо Бьянки показал мне удостоверение Общества итало-советской дружбы. Почти все крестьяне с гордостью показывали нам эти книжечки, а некоторые просили нас на них расписаться для памяти.

Потом все вышли на улицу. Улицы в этом городе, или, лучше сказать, в этой деревне, были узенькие и горбатые, вымощены старыми камнями. Нас вели на праздничный обед в тратторию. Это был небольшой ресторан, наверное лучший в Дженцано; он назывался траттория «Пистаментуччия» и был украшен внутри и снаружи охотничьими трофеями, чучелами лис, кабанов, зайцев и головами оленей. На длинных столах в траттории уже стояли бутылки вина, лежал сыр на тарелках и круглые белые булки, и повсюду на столах стояли вазы с цветами. Мы расселись как попало, вперемешку. Официанты в коротких курточках носились между столами, кидая блюда с котлетами и спагетти. Это был настоящий деревенский обед в деревенской траттории, и три человека на маленькой эстраде, пианист, гитарист и певец, с

деревенским энтузиазмом исполняли те же самые песни, которые пел наш водитель автобуса. Через полчаса мы пели их хором и, сцепив руки за спинами друг друга, качались на скамейках в такт пению.

Мы долго пели, много ели, пили, и когда все кончилось и я вышел на улицу, было совсем темно. Воздух был очень теплый и насыщен запахом цветов. Цветы виднелись всюду: на грядках и клумбах вдоль тротуаров, в деревянных низеньких кадках, в плетеных корзинках, стоявших прямо на камнях улицы. У меня кружилась голова. Он был такой густой и сладкий, этот запах цветов, и создавал ощущение духоты. Но для людей, которые населяли эту старую каменную деревню, это был запах их цеха, их работы: они ведь жили производством цветов. Меня почему-то это сместило. Мне казалось забавным и удивительным, что взрослые мужчины с такими твердыми шершавыми руками занимаются только тем, что делают цветы. Одни цветы — и больше ничего. Для всего Рима, для всего мира — только цветы. Господи, думал я, когда люди перестанут заниматься пустяками? А те двое, что всю дорогу в автобусе говорили о футболе? Можно подумать, что они ездят в Италию, как на дачу в Малаховку. И ничто, кроме футбола, их не занимает. И, кстати, они путают: Сальников начинал не в «Зените», а в «Спартаке». Можно подумать, что у них нет забот, нет болезней, нет неприятностей по службе, нет тяжелой и долгой жизни за плечами, нет войны, которую они мучительно пережили и в которой наверняка потеряли кого-то из близких. У них нет мечты и нет надежды увидеть однажды что-то сокровенное, недостижимое. У них нет ничего, кроме футбола. Вот счастливыц! Они похожи на жителей Дженцано, производителей цветов. И на тех, кто эти цветы покупает, а их покупает весь мир. Ведь здесь, на лиловых холмах вокруг Дженцано, не растет ничего, кроме цветов. Здесь никогда не было войны, отсюда не угоняли молодых парней на север, и они не возвращались калеками из

концлагерей, из плена. Можно подумать, что здесь никогда не было фашизма, не было ночных облав, людей никогда не арестовывали и их родные никогда не рыдали на рассвете...

Ничего не было, кроме запаха цветов, от которого трудно дышать.

Я с жадностью вдыхал воздух и быстрыми шагами шел вниз по горбатой улице, к площади, где было много огней, толпились люди и откуда доносились звуки музыки. Мои друзья где-то отстали. Я не знаю, куда я шел и зачем так спешил. Я шел в толпе итальянцев: среди них было много детей и женщин, и все они спешили вниз, к площади. Там что-то происходило — небо над площадью то и дело озарялось фейерверком.

Под открытым небом стояли столики, очень тесно, за ними так же тесно сидели люди, пили пиво, кианти и кока-колу; звуки многих голосов, смех, шарканье ног по камням и треск передвигаемых плетеных стульев гулом стояли над площадью, и в этот гул врывались оглушительное хлопанье и шипенье ракет, и вся площадь, лица сидящих, столы, клубы сигаретного дыма над столами освещались вдруг то красноватым светом, то оранжевым, то зеленым. И в тот миг, когда взлетал фейерверк, сидевшие за столами дружно аплодировали и что-то кричали. Было похоже, что они выкрикивали какое-то имя — Бернардо или Леонардо. «Браво, Леонардо!» — кричала вся площадь, когда шутихи, тресца и разбрызгивая рубиновые искры, взлетали в темное небо и начинали вертеться там каруселью. Я вдруг увидел моего знакомого Томазо Бьянки, который издали махал мне руками, приглашая за свой столик. С ним сидели четверо таких же пожилых, как он, темнолицых, захмелевших крестьян, которые что-то радостно кричали мне, хлопали меня по плечу и наливали кианти. Но тут взорвался новый фейерверк, и крестьяне, забыв обо мне, повскакали с мест, и, глядя в небо, кричали: «О! Белло, белло!», «Браво, маэстро!», «Браво, Паскуале!» Над площадью вертелась ка-



кая-то огненная чертовщина, взлетали и опускались пылающие головешки с хвостами искр, как будто невидимый великан жонглировал ими в черном небе, и все это лопалось, шипело, трещало, как мотоцикл, и пахло серой. Соревновались пиротехники. Я попал на соревнование самых знаменитых пиротехников города Дженцано. А все это вместе называлось праздником урожая. И скоро я тоже стал вскакивать, хлопать в ладоши и кричать: «Белло, белло! Браво, маэстро Джиованни!» Я увидел сверкающий мальтийский крест, крутившийся с необыкновенной скоростью, наподобие пропеллера, потом я увидел «пальмы», созданные маэстро Нино, и «китайские колеса», и восьмиконечные звезды, целые созвездия восьмиконечных звезд, осколки которых падали на площадь, на столы и на головы, была всеобщая суматоха, мужчины хохотали, а женщины пронзительно вскрикивали.

Томазо Бьянки куда-то исчез, но вскоре появился, ведя с собой небольшого толстенького человечка в белой курточке официанта. Крестьяне оживились, увидев его, стали кричать: «Руссо! Руссо!» Бьянки привел его специально ко мне, и он поклонился почтительно, быстро и низко, как кланяются официанты, и сказал, улыбаясь:

— Дра-твуй-те! Добри ден!

Все захохотали, поглядывая на меня лукаво. У этого Руссо было красное, лоснящееся, расширяющееся книзу лицо, похожее на кувшин, маленький лоб, мохнатые черные брови и черные, блестящие от бриолина волосы. Он был у нас в плену. В Архангельске.

— Ну как дела? — спросил я. — Хорошо?

— Харашо! Харашо! — закивал он, продолжая улыбаться. Зубы у него были очень крупные, белые, наверное вставные. — Ар-кан-гельск! Ха-ра-шо!

И он сделал жест, изображающий человека, который пилит дрова.

Все снова захохотали. Он сел за стол, ему налили кианти, и он стал рассказывать. Ему очень хотелось рассказывать, но он знал всего десяток русских слов и рас-

сказывал по-итальянски. Не знаю почему, но я его понимал. В Архангельске было очень холодно. Один его друг заболел воспалением легких и умер. Но он выдержал все, он был молодой и крепкий и от морозов стал еще крепче. Когда он вернулся домой, отца уже не было в живых, младшего брата расстреляли фашисты, а жена Руссо изменила ему с одним немцем, уехала в Вену, и он нашел дома только старуху мать, которая немного помешалась от всего этого. Через два года жена вернулась с маленьким мальчишкой на руках. Что было делать? Пришлось взять их; жена была совсем слабая, больная, не оставаться же им на улице. А сейчас все в порядке, о'кей, они живут вчетвером, жена поправилась, стала такая полная, красивая; она работает в ателье, где делают плетеные корзинки для цветов. А мальчишка играет в футбольной команде Дженцано. И, может быть, его пригласят в Рим: тут приезжал недавно тренер одной римской команды...

Через три стола от нас сидел этот парень. Руссо показал его издали. Я увидел высокого блондина в черном свитере. Он сидел за большим столом в компании мужчин, которые о чем-то шумно и возбужденно спорили, не обращая ни на кого внимания. Фейерверк их не интересовал.

— О чем они спорят? — спросил я.

— А! — Томазо Бьянки махнул рукой. — О футболе, наверно. Выиграет ли «Сампдория» у «Ювентуса»...

Откуда-то сверху, с горбатой улицы, где стоял наш автобус, слышались сигналы. Я не сразу догадался, что это зовут меня. Когда я подошел к автобусу, все уже сидели на местах и сердито кричали, что это безобразие — заставлять всех ждать одного. Я сел на самое неудобное заднее сиденье, и автобус медленно тронулся. Последний раз оглянувшись назад, я увидел кроваво-красный фейерверк над площадью, заполненной людьми, а потом началась дорога, темнота, ночь...

## Из австрийского дневника

---

### ЗАВИСТЬ

Одному своему товарищу в Москве я прислал из Инсбрука открытку, где писал, что завидую ему: он может увидеть по телевизору гораздо больше, чем я. Это не пустые слова. Я все время боролся с искушением остаться на один день в нашем отеле в Шёнберге и посмотреть однажды всю программу целиком, как ее показывали по телевидению: лыжи, бобслей, слалом, коньки и хоккей — все сразу. Но было как-то глупо оставаться в отеле, когда все уезжали. И поэтому я не оставался. В самом деле, что мог увидеть журналист, даже обладающий собственным вертолетом, если соревнования происходили одновременно в самых разных местах! Лыжи — в Зеефельде, в 25 километрах от Инсбрука, скоростной спуск и бобслей — в Игльсе, в 8 километрах, слалом — в Лицуме, совсем в другом месте, и тоже довольно далеко от Инсбрука. А телевизор у нас в отеле был отличный...

### ГОРОД

Я видел дома Инсбрука, улицы, набережные, но кто населяет Инсбрук, чем живут эти люди, чем дышат — этого не понял. Мы жили в олимпийской столице, а не в старом тирольском городе. Сюда прикатили на своих машинах тысячи западных немцев. Мюнхен — рядом, это все равно что приехать из Москвы в Калинин. Кроме немцев было много скандинавов, американцев, французов, чехов и нас. И еще полторы тысячи журналистов. И больше тысячи полицейских, прибывший из Вены. По узким улицам Инсбрука толпами слонялись туристы и спортсмены, разглядывая витрины и лавки с сувенирами. Рестораны и закусочные (Imbiss stube) были полны. Когда

я спрашивал кого-нибудь на улице, как пройти туда-то, чаще всего слышал в ответ: «Простите, я здесь чужой». Зато в тирольском «Ландесмузее» было тихо и пусто, как на кладбище. Я один скрипел половицами в пустынных залах и ловил на себе тоскливые взгляды одиноких стариков униформистов, которым хотелось хоть о чем-нибудь поговорить со мной. Там была великолепная средневековая деревянная скульптура.

По вечерам, когда мы поднимались на автобусе в гору, Инсбрук сиял внизу, как маленький Чикаго. Но мне бы хотелось побывать в нем еще раз, когда праздник кончится и начнется обыкновенная жизнь.

## СИСТЕМА

День начинался с пресс-центра. Мы приезжали на автобусе и погружались в царство информации, бумаг, цифр, фактов, новостей. Кипы бумаг окружали нас. Тысячи журналистов и миллион бумаг вели между собой отчаянную ежедневную битву. И чаще всего бумаги побеждали. Журналисты, сдавались, они были не в силах проглотить эти горы бумажной пищи. В последние дни кипы бумаг оставались лежать на столах нетронутыми. Кроме того, журналистов одолевали подарки. Организация подарочного дела была продумана с величайшей немецкой тщательностью. Была специальная комната для подарков, где специальная девушка проверяла у журналистов специальные карточки, на которых двумя особыми закорючками она зачеркивала специальные талоны, после чего специально выделенный солдат бундесхеера вручал журналисту «гешенк». Подарки были разнообразные, начиная от пустяковых карандашей и зубной пасты и кончая настольной лампой фирмы «Люфтганза» в огромной картонной коробке. Так же отчаянно, как они боролись с бумагой, и так же безнадежно, журналисты вели тяжелую нравственную борьбу со своей вековой и в общем-то очень человеческой страстью получить

подарки. В первые дни они стеснялись друг друга, они насмеялись над теми, кто очень торопился получить свою папку или кусок мыла, но затем они втянулись в это дело и покорно выстаивали в длинных очередях в «гешенк-циммер». А к концу Олимпиады многие уже говорили сварливо: «Какого черта нам подарили эту фляжку? Дали бы лучше шерстяной тренировочный костюм» — «Или пару лыж, наконец!» — «В самом деле, о чем они думают? Мне, например, нужна хорошая ручка...» А один американец так рассердился, когда ему подарили настольную лампу, что в сердцах бросил коробку на пол. Но ее, между прочим, тут же подобрали.

Эта забавная процедура с «гешенками» была омрачена лишь однажды, когда журналистам вручили подарок западногерманской фирмы «Мерседес-Бенц» — путеводитель по дорогам Европы. Атлас был составлен явными реваншистами: Западная Польша и Восточная Пруссия были включены в состав Германии. Последовал протест нескольких делегаций, в том числе советской, а шикарные атласы полетели в корзину.

## ГОРДОСТЬ

Австрийцы любили смотреть те виды спорта, где они сильны и могли надеяться на медаль. Это свойственно человеку. Мы любим делать то, что у нас получается, что может доставить нам удовольствие. Канадский тренер по хоккею Линн Патрик рассказывал в своей книге о двух хоккеистах, один из которых великолепно бегал на коньках, но слабо бросал шайбу, а другой, наоборот, был силен в бросках, но плохо бегал. Он дал им тренировочное задание: положил на лед две автомобильные покрышки и одного хоккеиста (того, кто плохо бегал на коньках) заставил делать «восьмерку», тренируясь в поворотах, а того, кто плохо бросал, привел к тренировочной стенке и велел отрабатывать броски. На некоторое время тренера вызвали к телефону, а когда он вер-

нулся на каток, то увидел, что роли переменялись: тот, кто должен был тренировать броски, с энтузиазмом крутил «восьмерку» на льду, а его товарищ бодро, с удовольствием кидал шайбу.

Так и австрийцы: они валом валяли туда, где у них «получалось», а иные соревнования смотрели лишь по телевизору. Большинство хоккейных матчей, например, собирало неполные трибуны. Зато на скоростной спуск, на слалом, на фигурное катание устремлялся, кажется, весь город. Билеты на фигурное катание в «Айс-стадион» стоили невероятно дорого — 250 шиллингов, то есть 10 долларов.

Австрийцы — глубокие знатоки «айсkunstлауфа», фигурного катания. Они, можно сказать, влюблены в этот вид спорта, в нем отлично разбираются и дети и старики. Вот почему самой большой нашей победой — с австрийской точки зрения — была победа Белоусовой и Протопопова. Эта победа потрясла австрийцев, и особенно поразил знатоков благородный, ювелирно точный и чистый стиль выступления наших фигуристов.

Часто я слышал от австрийцев такой лукавый вопрос:

— Ну как, вам нравится Инсбрук?

— Да. Нравится.

— Еще бы он вам не нравился! Вы забрали столько золотых медалей... Но Белоусов — Протопопов — дас вар вундербар! Прима! Мы знали, что вы победите в силовых видах спорта, в хоккее, но победить у нас в нашем исконном «айсkunstлауфе»... Дас вар вундербар!

## ГОЛОСА

Звукооператору было бы интересно записать голоса и шум во время хоккейных матчей. Западные немцы приехали с какими-то дудками, трещотками и звонками и устраивали настоящую какофонию во время игр немецкой команды. Наиболее дисциплинированные, они выкрикивали очень дружно свой боевой клич:

— Дойчленд, фор! Нох ейн тор!

Что значит: «Германия, вперед! Еще один гол!»

Чехи скандировали свое знаменитое «До-то-го!», что означает «вперед!», а когда чешская команда отставала, кричали: «Ви-ров-нять!» Третий чешский лозунг выкрикивался в те минуты, когда партнеры Бубника и Влаха оставались вчетвером: «Вы-дер-жать!» Вообще в смысле дружности и громкости кричания чехи были на втором месте после немцев. Ну, с немцами соперничать не мог никто — они вместе с австрийцами, которые, что там ни говори, все-таки тоже немцы, составляли восемьдесят процентов зрителей.

Немногие американцы кричали обычно просто: «Ю-эя-эй!» Зато канадцев трибуны подбадривали очень мощно: «Го, кэнэда, го!» Шведы и вместе с ними все прочие скандинавы восклицали стандартное: «Хейя! Хейя! Фрискт хумор!»

А что кричали наши? Советские туристы сидели слева от ложи прессы и на противоположной трибуне. Нам, журналистам, кричать было как-то неловко, в ложе прессы царила сдержанная тишина, но наши туристы работали на совесть. «Молодцы!» и «Шайбу!» звучало под сводами «Айс-стадиона» могуче. Кроме того, на противоположной стороне сидел кто-то с мегафоном и время от времени говорил деловитым голосом массовика:

— Ребята, ребята, бодрее! Взяли! Подтянулись!

Однажды, когда на льду была старшиновская тройка, я вдруг услышал хрипкое сокольническое:

— «Спартак», дави-и!

И как-то сразу повеяло родным, я подумал о жене, о дочке и вспомнил про открытку, которую написал, но забыл отправить...

## КРИСТИАН

Немецкая команда добилась права участия в хоккейном турнире сениоров в последний момент, после тя-

желого матча с поляками. В этой игре немцы потратили много сил и следующие матчи стали подряд проигрывать. Впрочем, они и по классу были ниже остальных сениоров, не считая Швейцарии, которая попала в эту восьмерку чисто случайно. Итак, немцы проигрывали. Проигрывали несмотря ни на что — несмотря на рьяную поддержку трибун, на рычание возбужденных пивом баварцев, несмотря на все старание и азарт игроков, которые играли, как говорят, «на всю железку». Местные газеты насмешливо называли немецкую сборную «прыгелькнабе», что значит «мальчик для битья».

На играх немецкой команды, когда ее проигрыш становился ясен и трибуны, уставшие от крика, безнадежно замолкали, мы всегда слышали один упорный медный звук с противоположной трибуны: какой-то болельщик не терял надежды и продолжал подбадривать своих. Этот медный голос звучал одиноко, но твердо. Никакой самый разрушительный счет не мог заставить его замолчать. Чем достигался этот звук? И что был за человек, его производивший? Арбузов считал, что бьют в большое ведро, а мне казалось, что стучат чем-то вроде медного пестика в медной ступке.

Что бы там ни было, но этот зритель был настоящий «фанатик», или, как говорят на Украине, «фанат», а в Европе просто «фан». Он был своего рода достопримечательностью «Айс-стадиона». Он не пропускал ни одной игры, и мне даже стало казаться, что это один из контролеров. И вот однажды я с ним встретился. Совершенно случайно. На Главном вокзале.

Поздно вечером я стоял на остановке загородного автобуса, собираясь ехать в свой отель в деревню Шёнберг. Автобусы ходили туда редко. Собралась довольно большая очередь. Рядом со мной стоял парень в куртке, в тирольской шляпе, коренастый и смуглый, держа в руке какой-то странный квадратный предмет. Когда он переложил его из одной руки в другую, предмет издал медный звук — я сразу узнал его.



Да, это был он, наш знаменитый фанатик. Его звали Кристиан. Он работал электриком на ферме в двадцати трех километрах от Инсбрука — туда, на юг, в сторону Бреннерского перевала, к итальянской границе. Нам было по дороге. Мы сели рядом и долго разговаривали, пока он не заснул. Он был очень усталый. Каждый вечер после работы он приезжает сюда на автобусе, идет на хоккей и стучит в свою медную колотушку, потом долго едет обратно, а в шесть утра надо вставать. А что это такое? Можно взглянуть? Пожалуйста. Ничего особенного. Это просто такой колокол, его привязывают коровам на шею. Ого, он весит килограмма полтора! Я был доволен: я все-таки оказался более прав, чем Арбузов.

— Послушайте, Кристиан,— сказал я,— а вы читаете какие-нибудь книги? Кто вам нравится из писателей?

— Мне некогда читать. Я много работаю.

— Ходите в кино?

— Редко. Я должен зарабатывать, понимаете? У меня большая семья.

— Но вы же находите время для поездок в Инсбрук...

— Олимпиада в Инсбруке бывает один раз в две тысячи лет! Могу я упустить такой шанс?

Я вдруг подумал: да, да, он прав, все это происходит единственный раз в жизни и больше никогда не повторится. Я никогда больше не приеду в Инсбрук. Никогда больше не буду разговаривать с этим Кристианом, сидя в темном автобусе, который медленно поднимается по горной дороге. Никогда не увижу вот этой горстки огней на вершине, где приютился какой-нибудь отель или санаторий. Все это — никогда больше.

— А в России есть горы?

— Конечно,— сказал я,— в России много гор.

Потом он заснул, и колокол со звоном упал на пол. Я сошел в Шёнберге, а ему надо было ехать еще километров восемь. Больше я с ним не встречался, но 8 февраля, когда наши хоккеисты играли с канадцами и

игра была нервной, мучительной, трибуны болели против нас, мы пропустили шайбу, и все как-то страшно заколебалось, и когда Евгений Майоров в невероятной суматохе протолкнул решающую, спасительную, все мгновенно перевернувшую шайбу,— я вдруг услышал с противоположной трибуны звон коровьего колокола. Кристиан приветствовал нас и нашу победу.

## ДЕЛА

Мы жили в отеле «Ягерхоф», в горной деревне Шёнберг, примерно в пятнадцати километрах от Инсбрука. Эта местность называлась Штубаиталь. Летом тут было, вероятно, очень красиво. Да и зимой тоже: удивительно тихо и ясно, и на расстоянии многих километров отчетливо видно каждое дерево на снежном склоне. Горы Норджетте висели в синем небе, как гигантская декорация.

Каждое утро мы уезжали на автобусе в Инсбрук, а поздно вечером возвращались. Мы проезжали «Мост Европы», открытый несколько месяцев назад, громадный, перекинутый между двумя склонами виадук на необыкновенно длинных опорах, уходящих глубоко вниз, в пропасть. Утром, когда бывал туман, казалось, что автобус медленно движется в облаках, а вечерами, когда на виадуке загорались длинные, вмонтированные в тротуар фонари, было похоже, что мы едем в тоннеле. Этот мост был главной приманкой нашего отеля: «Из окон дома открывается полный великолепия вид на Эуропабрюкке».

Хозяин нашего отеля Бауэр был высокий лысоватый господин с желчным лицом. Он все время сидел за конторкой, что-то писал или же расхаживал по коридору с чрезвычайно озабоченным видом. Его жена казалась моложе его лет на двадцать. Это была полная дама с пышным бюстом, с высокой прической в стиле восемнадцатого века и сухими ногами, и в ее лице с маленьким

узким ротиком была какая-то сухость, какая бывает в лицах молодых женщин, которые выходят замуж за стариков. Она проводила все время на кухне.

Господин Бауэр старался с нами не общаться. Мы чувствовали, что все двенадцать дней он живет в напряжении. Он делал над собой усилие, чтобы сказать нам «морген» или «волен зи цу телефон?».

В гостиной отеля я нашел три толстых переплетенных в кожу фолианта: это были «гестебюхер», то, что у нас называется «книга отзывов». Первая начиналась, кажется, с тридцатого года. Все отзывы были довольно однообразны: восхваления природы Штубаиталья, хорошего обслуживания, обедов, вина, милых официанток. Большинство записей было сделано почему-то в стихах. Мне не терпелось дойти до фатальных времен: вот приход Гитлера, вот аншлюсс, вот начало войны... Что за черт? Все те же стихи о природе, о милых девушках, о шампанском. Только где-то в начале сорок первого мелькнула запись: «Alles wagen, England schlagen!», то есть «Рискнуть всем, побить Англию!» Рядом стояла надпись, сделанная, очевидно, много позже: «Но Англия, однако, вас крепко побила» — и рядом еще одна, маленькая, карандашиком: «К сожалению».

Война кончилась, и снова — стихи, стихи. Долины, ручьи, лыжи, шампанское, девушки...

Господин Бауэр ни разу не ездил в Инсбрук на соревнования. Он даже не выходил в фойе посмотреть телевизор. Он был занят делами: сидел за конторкой или бегал по коридору, отдавая распоряжения. В двенадцатом часу ночи, когда мы возвращались из города усталые и голодные, врывались шумной толпой в столовую, он делал над собой усилие и говорил нам: «Абенд!» Первый раз он улыбался, прощаясь с нами утром 10 февраля, и выражение напряженности исчезло с его лица. И мы тоже с радостью трясли ему руку.

Мы тоже думали о делах, о совсем других делах, которые ждали нас дома, в Москве.

## Травничек и хоккей

Впервые про Травничека я узнал из какой-то венской газеты. Иронически описывалась церемония открытия хоккейного чемпионата в Штадтхалле перед почти пустыми трибунами. Из трех тысяч зрителей не меньше половины были иностранцы. «Was brauch j dös?» — говорит Травничек («Зачем мне это нужно?»). Я не знал, кто такой Травничек, спросил, мне объяснили: венский Травничек — примерно то же, что берлинский Михель, неумирующий господин, больше всего на свете он любит швахатское пиво и шницель по-венски. Когда Травничек путешествует (у него иногда водятся деньги), он оценивает страны и города по тому, как там варят пиво и делают венский шницель. Травничек говорит на таком дьявольском диалекте, что понять его бывает невозможно.

Вскоре я познакомился с Травничеком. Его звали Руди. Он водитель автобуса. Он высок, тяжел, его рыжие с сединой волосы всегда гладко зализаны, лицо цветом напоминает заветрившуюся ветчину, а в голубых глазах неизменно равнодушное сочувствие. Говорит он мало и невнятно. Однажды сказал: «У вас в России есть прекрасный Эслов». Никто не мог понять, что значит «эслов». Думали, что чья-то фамилия. Пытались догадаться. Может быть, Попов? Бобров? Руди сердился, крутил пальцами: «Эслов, эслов!» Потом оказалось, что так чудовищно Руди произносит «айслауф» — фигурное катание.

Когда Руди проезжает мимо своего дома (он живет за Гюртелем, в квартале рабочих пятиэтажных домов), он всегда, скорчив гримасу, говорит: «Жена сейчас дома!» — и нарочно прибавляет газ. В автобусе смеются. Может, эти шуточки тоже входят в программу обслуживания туристов, но скорей всего — нет. Это Травничек.

— Руди, посоветуйте, на какой пойти фильм?

— К сожалению, не знаю. Я в кино не хожу.

— Почему?

— Меня это не интересует. Я уже десять лет не был в кино...

Возле Музея искусства XX века Руди остается в автобусе. «Руди, идите с нами!» Лукаво улыбаясь, он покачивает головой: «О, nein! Dort sind die verriickte Dingel» («Там есть сумасшедшие вещи».) Вид у него такой, будто он всех перехитрил: идите, идите, а я уж не пойду, не на таковского напали. Но и возле Музея истории искусств на площади Марии-Терезии, где Рембрандт, Ван-Дейк, Брейгель, Руди не собирается выходить из автобуса. «Да, да, все правильно. Здесь есть прекрасные вещи. Die fantastische Dinge. Я знаю. Я был здесь в пятьдесят четвертом году.

И долго, пока мы в музее, он дремлет на сиденье или вылезет на солнцепек и, заложив руки за спину, расхаживает по асфальту вокруг автобуса. Его щеки цвета заветрившейся ветчины опущены, лицо сосредоточенно и полно думы.

Наконец-то похоже на то, что Травничеки заинтересовались хоккеем. На улице возле Штадтхалле плотно выстраиваются автомобили, полицейские прогоняют не успевшие припарковаться машины в переулки, гудят автобусы, бегут, ныряя перед радиаторами, те, у кого еще нет билетов. Но в кассах пусто, все продано. Сегодня будет сеча! Полтора часа назад окончился самый поразительный матч чемпионата. Чехи в первом периоде вели против шведов 4:1, потом с громадным трудом добились ничьей — 5:5. Чехи упустили победу из-за легкомыслия и нервозности, шведы почти победили благодаря своему хладнокровию.

Шведское хладнокровие ни с чем не сравнимо. При счете 1:4 игроки в желтых фуфайках так спокойно, без суеты, разыгрывали шайбу, как будто они, а не чехи ве-

ли в счете и до конца игры оставалось пять минут. Хладнокровие есть признак глубокого душевного здоровья. Оно награждает истинных любителей спорта, которые не ставят в игре никаких сверхзадач, кроме простой задачи: играть как можно лучше.

Шведы никогда не готовятся к чемпионатам чересчур рьяно, с так называемой звериной серьезностью, как выражаются немцы. Все эти механики, техники, страховые агенты, продавцы, владельцы магазинов собираются вместе незадолго до начала чемпионата и играют вначале значительно слабее, чем на финише. Они разогреваются слишком медленно. Папа Штольц в первых матчах выглядел готовым пенсионером, а в матче с чехами был надежным и мощным, как всегда.

...Зал снова полон. Все места журналистов — редкий случай! — заняты. Некоторые сидят на ступеньках лестницы. И вот, сопровождаемые шумом, криком трибун, возгласами «шайбу!», свистом, выезжают на лед для разминки хоккеисты. Сначала наши, в красных фуфайках. Они катятся лениво, спокойно, может быть, слишком спокойно: к такому спокойствию их обязывает положение лидера — ни одного потерянного очка. Коноваленко встал в ворота, пригнулся. Полетели шайбы. Кто-то дал скорость. Кто-то хлобыстнул в борт что есть силы. Вот и канадцы. Снова шум, топот ног, крики, свист. Развернулись там и сям транспаранты, замелькали наши и канадские флаги. Машина еще не двинулась, но мотор уже заработал. Карусель красных и белых пошла вертеться на серебристо-матовом льду...

Сейчас будет главный матч первенства. «Сумеет ли канадский молот разбить советскую комбинационную машину?» — спрашивали утром газеты. Слово «машина» встречается в газетах часто. Нашу команду называют «катком», «дробильной машиной», «паровым прессом». По-видимому, в самой структуре хоккея, в его нечеловеческой стремительности, в его математических узорах — бесконечных прямых, кругах, полукружьях, треугольни-

ках, ромбах — спрятана некая механическая сущность. Удивительно, как унифицируются позы, движения, жесты, даже проявления чувств на льду. Молниеносность игры не оставляет времени для вариаций. В матче Канада — США меня поразил эпизод: Мотт с подачи Хакка забил вторую канадскую шайбу. Джонстон в порыве радости поднял руки, и игроки стали обниматься. Канадцы тогда играли в красном. И вот все элементы этого двухсекундного эпизода — миг напряжения, победа, бурная радость, чувства благодарности и любви друг к другу — выражались так стереотипно, что мне померещилось, что на льду вовсе и не канадцы, а наша спартаковская тройка. Те же поднятые вверх руки, те же объятия...

В кинотеатре «Табор» на Таборштрассе, рядом с нашим отелем, идет фильм «Профессор Гольдфут и его бикини-машина». Фильм новый, его рекламируют в Штадтхалле в перерывах между периодами хоккея. «Профессор Гольдфут! Девушки в бикини управляются по радио! Вы получите истинное наслаждение...» Суть вот в чем: некий профессор изобрел машину, которая штампует юных красоток в трусиках-бикини. Красотки в готовом виде, лежа на противне, катящемся по рельсам, выезжают из жерла громадной печи, подобно только что испеченным булкам. Девушки полны очарования, но они лишь роботы. Машины любви. Они подчиняются приказам, которые отдает профессор Гольдфут по радио. Профессор выглядит явным сумасшедшим, у него безумные глаза, сатанинский хохот, но идеи, буруевающие его, вполне реалистические: девушки по его приказу влюбляют в себя богатых людей, женят на себе и заставляют переписывать на свое имя все состояние, которое затем переходит профессору Гольдфуту. Каким образом происходит эта последняя операция, не совсем ясно, но это и не важно, важна идея: машины любви превращаются в машины, добывающие золото. Не помню, чем дело кончается, — прошло уже три дня, как я смотрел картину, — но кажется, торжеством героя и наказанием профессора,

который гибнет, сорвавшись с автомобилем в пропасть.

Несмотря на то что фильм только что вышел, в зале было полупусто. Кто-то приходил, кто-то уходил в середине действия. Иногда раздавался легкий смех, иногда кто-то вздыхал с досадой: «О, Gott!» Ерунда, подобная этой, могла бы увлечь, может быть, школьников, но для них фильм под запретом. И, однако, что-то было в этой дурацкой «бикини-машине» нестерпимо печальное. Я почувствовал это не сразу. Ощущение беспредельной «механизации», от которой нельзя защититься и некуда спрятаться, охватило внезапно, как приступ тоски. На Кертнерштрассе все крутилось, сверкало, ошеломляло, било в глаза и приглашало радоваться жизни. Все было озарено, все залито дешевыми электрическими помоями, кроме собора Святого Стефана, который стоял сумеречной скалой, и его простая прелесть была невидима в этой ночи. Он стоял тихий, как дерево. Все, что было внизу, что сверкало и крутилось вокруг его темного подножия, его не касалось. Между собором и Оперой возле затопленных светом витрин, на углах, прислонясь к стенам домов, стояли в небрежных позах или церемонно прохаживались девушки, которые всегда стоят вечерами на Кертнерштрассе. Девушки были не в бикини, а в длинных, широких внизу брюках ярких цветов или, кто победнее, в брюках-эластик, уже вышедших из моды, которые надевают теперь для работы в саду или для прогулок в горы. Этих девушек изобрели задолго до профессора Гольдфута. Мужчины подходили к ним с деловым и спокойным видом, разговор был минимальный, иногда просто жест, кивок головы, и вот они уже шли, взявшись, как дети, за руки, мимо оранжевых витрин, сквозь день, который на самом деле был ночью.

Несколько пьяных канадцев бежали, толкаясь, по тротуару и кричали: «Го, Канада, го!» Девушки смотрели на них без улыбки. Они не понимали, что значат эти крики, и не старались их понять. У витрины книжного магазина



стоял задумчивый пожилой человек и рассматривал обложку книги «Искусство любви в Японии». Вертелось колесо в Пратере, где уничтожалась ночь. Машины Пратера вырабатывали веселье. Машины Кертнерштрассе вырабатывали любовь. Машины в пивных и гриль-барах за один шиллинг вырабатывали прекрасную музыку, и в кафе «Пикколо» под эту музыку два Травничека играли в бильярд, пенсионер пил пиво, сидя за маленьким квадратным столиком, похожим на подставку для цветов, и несколько Травничеков играли в скат, но потом, когда я зашел, музыка прекратилась, хозяин включил телевизор, и все стали смотреть бой Клея с Фоллеем. Бой происходил вчера в Нью-Йорке, результат был известен из утренних газет — Клей выиграл нокаутом в седьмом раунде, — но вот они вышли, еще ничего не зная, два здоровенных негра, тела их лоснились, Клей улыбался, у Фоллея был вид обреченного. Фоллей старше Клея на шесть лет, у него восемь детей. Для старика это был последний шанс стать чемпионом мира, шанс, равный нулю.

Комментатор сообщил, что в «Мэдисон сквер-гардене» последний бой на звание абсолютного чемпиона мира происходил шестнадцать лет назад. Он назвал фамилии выступавших тогда боксеров, но я не расслышал. Два первых раунда Фоллей атаковал. Клей, танцуя, уходил от ударов, но дважды или трижды он пропустил тяжелые удары в голову, хотя даже не дрогнул. Он напоминал могучего легковеса. В четвертом раунде Фоллей оказался в нокдауне, поднялся при счете «девять», но уже все стало ясно. Изображение было очень четкое, хорошо были видны физиономии улыбающихся людей, сидевших в первом ряду за канатами. Остальные лица терялись в темноте, освещен был только ринг. Пиво стоило три шиллинга, сэндвич — четыре шиллинга. Смотреть на негров, один из которых был великим Кассиусом Клеем, было очень приятно; единственным, что омрачало удовольствие, было то, что результат известен из газет.

Я был такой же Травничек, как другие. Мы разговари-

вали, попивая пиво: «Хорошо!», «Ого!», «Вот это удар!» В тысячах кафе во всем мире Травничеки говорили то же самое. В шестом раунде Клей плясал вокруг старика, опустив перчатки, предлагая: бей меня, ну бей же! Но бедняга Зора Фоллей, сутулый и жилистый, как старый измотавшийся полотер, уже ничего не мог, он ждал своей минуты, которая наступила в середине седьмого раунда. Удар Клея был кратким и внезапным, как телеграмма о несчастье. Лысый негр упал лицом в пол. Все кончилось. Кто-то бросил шиллинг в музыкальную машину, и раздались звуки венского вальса.

В утреннем выпуске газеты «Курир» был такой заголовок о бое: «Джентльменов просят в кассу!» Вчера Фоллей лежал раздавленный, а сегодня ему было хорошо. Никогда в жизни он не зарабатывал так много денег.

Машины, добывающие победу, все равно какую победу, но непременно великую победу, такую великую, что к ней можно примазаться, ее хватит на всех, так что получится, что это вроде и твоя победа, они рано или поздно превращаются в машины, добывающие золото. Мне показалось, что Клей мог свалить старика (Фоллею тридцать четыре года, но для бокса он старик) раньше, чем в седьмом раунде. Мне показалось, что все это просто «шоу». Если не на сто, то на тридцать процентов «шоу». Вино, в котором на тридцать процентов воды, уже не пьянит по-настоящему. Я вышел трезвый на улицу, где было холодно, с Дунайского канала дул ветер, и на углу Ротертурмштрассе и набережной купил вечерний «Экспресс». Двадцатитрехлетний итальянец Скамбронне в припадке ревности стрелял в свою невесту, австрийку, на улице Вены, но убил не ее, а двух случайных прохожих, двух тяжело ранил и тут же на улице застрелил себя. Вчера он приехал на автомобиле из Италии, узнав, что невеста изменила ему. На первой полосе была фотография женщины, сидит, закрыв руками лицо.

Снова слухи о том, что Мартин Борман жив, возглавляет тайную нацистскую организацию в Бразилии. Доктор

Визенталь, тот самый, что организовал поимку Эйхмана, вылетел из Вены в Нью-Йорк...

...Первая тройка канадцев — Харгривс, Бурбоннэ, Тамбелини, в защите — Бэгг и Бревер. Вторая минута матча, истекающая в шуме трибун. Шум такой, будто игра кончается. Наша тройка — Александров, Альметов, Виктор Якушев, и в защите — Зайцев и Никитин. Канадский напор с первых же секунд. Выезжают спартаковцы. Что с ними случилось в этом турнире? После матча со шведами Чернышев на этот мой вопрос ответил: «Спартаковцы сыграли хорошо». — «Не забив ни одной шайбы?» — «Не в этом дело. Они играли против сильнейшего звена Нильсена и нейтрализовали его». Возможно, но раньше спартаковцы отличались не столько в нейтрализации, сколько в реализации. Старшинов в Стокгольме накануне первенства забил шведам четыре шайбы, а в Вене, в игре, когда у нас все легко получалось, — ни одной.

Страшнейшая спартаковская кутерьма в канадской зоне. Как будто что-то... вот-вот!... Пас Кузькину, сильный удар. Штанга! Канадцы спокойно переживали атаку, вырвались из зоны, сами рванулись к нам. Непрерывный «форчекинг». Два канадца бешено крутятся возле ворот Коноваленко, трое остальных ждут у линии, готовясь поймать шайбу, — не просто ждут, а тоже крутятся, нападают, давят. Бревер играет очень жестко. Небывало жестко... И все канадцы неузнаваемы. Когда Бреверу нужно отнять шайбу, он впивается противнику в глаза, гипнотизирует его. Но если судья не видит, он может ударить клюшкой, локтем, схватить за шею. Пахнет дракой. Травнички на трибунах ликуют: «Го, Канада, го!»

Отчетливое ощущение: это серьезней, чем все, что было прежде. Самое серьезное. Вот тут будет проверка. Еще нет ничего конкретного, счет ноль-ноль, нет причин предаваться панике, но тревога растет. Совсем другие канадцы. Может, они просто притворялись в предыдущих

играх, а теперь заиграли по-настоящему? Посмотрите на Боуэнса: он был таким неуклюжим пять дней назад, а сейчас его рыжая голова ныряет то здесь, то там, и он мгновенно врезается в каждую свалку и лупит от синей линии, как из катапульты. Вот сильнейший удар рыжего отбивает наш Коноваленко. Еще один канадец перехватывает шайбу в средней зоне — какая оплошность! — проскакивает защитника, другого, вот он уже в углу, в свободном углу, где есть возможность мгновенно оглядеться и дать прицельный пас, — ну, нельзя же так теряться, ребята! — и шайба летит Харгривсу, который появляется неизвестно откуда прямо перед воротами. Все это происходит в секунду, молниеносный замах клюшки Харгривса, сейчас может быть — нет, ничего, удар мимо шайбы, случайность, смертельная случайность, — но нельзя же так, черт знает как, совсем не держать подопечных и давать им разгуливаться.

Наш защитник торопится прижать шайбу. На него бомбой летит канадец. Работа боками, локтями, Второй канадец — сюда же. Удар кулаком в шею. Судья, раздвинув ноги треугольником, катится к месту стычки и судорожно машет руками. Но в иучу уже бросается с разгона Рагулин, кого-то он впечатал в борт, кто-то хватает его за шею, кого-то погребли внизу... Свисток! Куча кое-как разваливается, игроки с красными от напряжения и злости лицами разъезжаются по своим дверцам, возле которых с такими же красными, напряженными лицами стоят тренеры и что-то сердито кричат. Зрители аплодируют. Это аплодисменты канадцам. За то, что они дают.

На шестой минуте... Неужели только шесть минут? Нелепое происшествие: судья удаляет игрока за то, что на льду оказалось наших шестеро. На две минуты удален Ярославцев. Канадцы забрасывают шайбу. Это сделал Хакк с подачи Бревера. Еще через пять минут удаляется за подножку Полупанов — в неразберихе, которая творилась в канадской зоне, подножку углядеть было трудно, но судья углядел. Канадцы еще более взвинчивают

свою «пауэрплей»: силовую атакующую игру. Непонятно, что происходит. Наша игра рвется «форчекингом». Но сегодняшний канадский «форчекинг» совсем не похож на то, что было позавчера: это не просто «давиловка», а мощная комбинационная игра, в которой все получается. Канадцы жаждут забросить еще одну шайбу в этом периоде. И они близки. Если б не Коноваленко, не Рагулин... Не выдерживают нервы у Иванова: две минуты за удар клюшкой.

Кто-то из канадцев в суматохе сбил с ног судью Дэйли. Американец упал в середине поля как подкошенный. Затылком о лед. Лежит. Над ним нагибаются, тормошат его, пытаются поднять. Второй судья, швед Викинг, жестом зовет врача. Семеня по льду, бежит господин с чемоданчиком. Эта история на руку канадцам: они отдыхают. Единственное, что канадцев страшит,— это то, что не хватит сил. Через минуту или две Дэйли встает, ему аплодируют за мужество или просто за то, что он доставил удовольствие своим комическим падением, ударом затылка о лед; если бы он при этом еще разбил нос в кровь, аплодисменты, наверно, были бы еще жарче. Отдохнув, канадцы бросаются в бой со свежей яростью. Советские туристы с противоположной трибуны поддерживают наших, но крики «шай-бу! шай-бу!» заглушаются хоровым «го, Канада, гол» почти всего стадиона. (Австрийские газеты почему-то вместо «шайбу, шайбу» пишут «рагу, рагу». «И под сводами Штатдхалле опять загремело знаменитое русское «рагу-рагу-рагу». То ли Травничкам везде мерещатся шницели и рагу, то ли Рагулин не дает покоя.) Три минуты до конца периода. Вновь — драка. Кого-то должны удалять. Спор, крики, жестикуляция, судьи подъезжают к судейскому директорату, что-то объясняют, перегибаясь через борт. Нервность и озлобление витают в воздухе. Наконец из невнятицы и сумбура возникает конкретность: Иванов получает дисциплинарный штраф десять минут. Трибуны гремят.

Сзади, над моей головой, кто-то орет особенно ис-

тошно. Я сижу в самом верхнем ряду ложи прессы. За спиной — толстый стеклянный барьер, бетонированный проход и крутая стена третьего яруса. Там сидят австрийцы, немцы, канадцы, итальянцы, чехи, шведы. Больше всего немцев из Баварии. Вот один из них — а может, это тиролоец, он в зеленой шляпе, в дорогой замшевой куртке, к отворотам которой приколото множество значков, — прижался к барьеру, выкрикивает, багровея, стекленея глазами, одно хриплое «*gol gol gol*».

Сегодня днем во время игры шведов с чехами на этом месте стояла инвалидная коляска и в ней — молоденький белобрысый швед, больной полиомиелитом. Он был совершенно недвижим, как хорошо одетая кукла, только бледное личико подергивалось и в голубых глазах сверкала та же бешеная, стеклянная страсть, что и в глазах баварца. Иногда он пытался что-то крикнуть, шея его напрягалась, вытягивалась, рот открывался, но из горла вырывалось лишь невнятное клокотанье. Иногда к больному мальчику склонялись краснолицые шведы, обнимали его мимоходом, что-то говорили на ухо, похлопывали по плечу, он был всеобщим шведским любимцем. Может, его и привезли специально из Стокгольма как талисман. В его бедной жизни не было ничего прекраснее этого серебристого поля, по которому метались такие же, как он, белобрысые парни с тремя синими коронами на желтых рубашках. Когда шведы забили чехам пятую шайбу, часть зрителей запела шведский гимн, я оглянулся на мальчика: ему было плохо, по щекам текли слезы.

Наверно, ему стало очень плохо, потому что вечером его не привезли. Вместо него у барьера стоял баварский Травничек и кричал, багровея: «*Gol Gol Gol*» Мне вспомнился июль прошлого года, стадион «Уэмбли», душный день, возбуждение тысяч людей перед матчем, десятки автобусов с плакатами: «Дортмунд приветствует немецкую команду!», «Оснабрюк желает победы!», «Мюнхен приветствует Англию и немецкую команду!» Повсюду

были немцы. Они стояли кучами вокруг киосков, где продавалось пиво, они ходили, взявшись за руки, загораживая тротуар. Они пели песни. Их загорелые, красные, здоровые лица сразу узнавались на улице или в толпе среди бледных англичан. Их было утрашающе много, и они почему-то никогда не ходили в одиночку, а всегда массами, по десять, пятнадцать человек. И все они жаждали реванша: вновь хотели стать чемпионами мира, как в 1954 году.

Венский лес тянулся по холмам, он был редковат, утомителен, в нем была какая-то заброшенность. Венцы перестали ездить сюда, они предпочитают Тироль, Италию, горы. Через час снегопад кончился, небо очистилось. Справа на кручах возникали старые замки, и по ним, как по вешкам, угадывался Дунай. Прошло еще полтора часа, проехали Эннс и, покинув «бан», по узкой провинциальной дороге повернули на север.

Руди со своим чудовищным произношением вчера поставил всех в тупик. «Завтра,— сказал он,— когда мы поедем к матросам...» — «К каким матросам?» «Завтра мы едем к матросам,— повторил он.— Одевайтесь потеплее. В горах будет холодно». Оказалось, что «матхозен» — это Маутхаузен. Лагерь стоял на вершине холма и напоминал крепость или монастырь. В его грубых глыбастых стенах была подделка под старину и несокрушимость. Как и Третий рейх, он строился на тысячелетия. Сначала надо было въехать через массивные ворота во внутренний, расположенный как бы на нижнем этаже двор, затем подняться по лестнице наверх и мимо памятника Карбышеву пройти в ворота собственно лагеря, тоже огороженного стеной. «Дорога смерти», ведущая в каменный карьер, остается слева, поворот ее скрыт холмом. Никто не встретил нас ни возле памятника Карбышеву, ни возле других памятников — их много, они стоят с обеих сторон «дороги смерти», — ни в громадном прямоугольнике двора, ни в бараках.

Мы переходили из барака в барак, поднимались по

лестницам, полы везде были чистые, стены покрашены свежей краской, в окна смотрела мартовская синяя даль. Когда-то в этих «шлафзалах» на тысячи голосов стонала смертная человеческая тоска, а сейчас здесь было так тихо, как не бывает даже на кладбищах. Так тихо бывает в навеки покинутых домах.

Все как-то разбрелись по этой пустыне. Я рассматривал стену, залепленную фотографиями погибших здесь итальянцев, фотографии были маленькие, домашние, покоробленные от времени. На другой стене висели фотографии югославов, бельгийцев. Потом я наткнулся на подвал «Genikscfussrelle»: подвал расстрелов в затылок. Табличка разъясняла: «В этом полутемном помещении с большой решеткой на полу, куда стекала кровь, заключенные убивались выстрелами в затылок. В стене находилось приспособление для измерения роста человека. Широкая щель, в которой передвигалась измерительная доска, вела в темное помещение, из которого эсэсовцы стреляли в заключенных, стоявших перед измерительными приспособлениями. Из-за частых промахов этот способ убийства был прекращен летом 1944 года». Рядом с подвалом находилась совсем маленькая комнатка, где под потолком была укреплена виселица — железная балка, теперь уже сильно проржавевшая, с которой свешивались два тонких тросика с железными проволочными ручками, тоже насквозь ржавыми. Дергали за ручку — и все. Неподалеку была и газовая камера. В двери ее сделан глазок, в который любил смотреть, когда приезжал в лагерь, гаулейтер Вены Бальдур фон Ширах.

Концлагерь Маутхаузен был организован сразу же после аншлюсса, в 1938 году. В 1938 году мировой чемпионат по хоккею происходил в Праге. Первое место тогда завоевала Канада, второе — Англия и третье — Чехословакия.

Я прошел длинный голый двор и в комнате возле главных ворот увидел двух местных людей: старика



сторожа и его дочь. Они откуда-то появились, раньше их не было. Они ели, сидя на лавке у стола, посредине которого стояли миска с вареным картофелем, банка жирных мясных консервов и бутылка воды, а на ближнем к дверям углу стола лежали стопками путеводители по Маутхаузену. Дочь старика, крестьянка лет тридцати, стараясь набитым ртом изобразить улыбку, показала глазами: покупайте путеводители. Я стал их рассматривать. На русском языке не было. Мне хотелось поговорить с этими людьми, но старик глядел тупо, а дочка была чересчур занята едой. Я спросил, почему так мало посетителей.

Продолжая жевать и улыбаться, дочка ответила:

— Сейчас не туристский сезон. Летом будет больше.

На вершине холма было очень ветрено. Наверное, здесь ветер всегда. Последний раз я огляделся с вершины, увидел то, что видели тысячи «хефтлингов», выходя по утрам на работу из лагерных ворот: бескрайний простор долины, дороги, луга, горы, весь этот ясный и вечный мир, который обнимал их, прощаясь с ними.

Руди, заложив руки за спину, расхаживал внизу возле автобуса. Он так и не поднялся наверх. «Да, да, я знаю. Das war eine Katastrophe. Это была катастрофа...— говорил он, покачивая своей большой головой.— Это была настоящая катастрофа. Но мы опаздываем на обед, надо спешить в Лейвайн». Через полтора часа мы обедали в деревенской харчевне. В дворике сын хозяина разделывал свиную тушу. Восьмипудовый, громадный мужчина в кожаном фартуке, с блестящим ножом в руке был похож на опереточного разбойника; его детское лицо сочилось здоровьем. Свинья была под стать ему, только немного бледнее. Вытянув муляжную голову, она лежала на боку бледно-розовым, аккуратно и туго набитым мешком. Второй сын хозяина, такой же восьмипудовик, обливал из шланга три другие свиные туши, висевшие на крюках под навесом. И тут же стоял мальчик лет девяти, сын одного из братьев, по имени Франц,

его личико тоже было квадратным и сочилось здоровьем. Франц радостно брал значки, которые ему дарили, а потом встал за стойку и следил за тем, как буфетчик наливает сливовую водку в рюмки. Однажды Франц тонким голоском закричал на буфетчика, показывая, что тот налил водки больше, чем нужно.

За обедом давали вино в больших стеклянных кувшинах, мы все скоро охмелели, и один из спортивных журналистов запел песню — он любил петь песни за обедом, когда давали вино, и в автобусе. «Эт-та школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят», — нарочно смешно картавя, пел спортивный журналист.

Женщина, приносившая нам еду и вино, была тоже не меньше шести пудов. Она была матерью Франца. Желая сделать ей приятное и надеясь на дополнительный стеклянный кувшин, мы наперебой хвалили ее сына, а она говорила, что у нее есть еще старший; он сломал ногу, упав с лошади, и сейчас в больнице.

Когда вышли на улицу, я увидел на стене харчевни красивую рекламную доску:

**«Не забудьте посетить замок Поггсталь  
XVII век.**

**Единственная в своем роде и замечательная  
КАМЕРА ПЫТОК»**

В фойе под трибунами, где продают напитки, сувенирные клюшки, жевательную резинку в виде сигарет, почтовые конверты и марки со специальным гашением, публики набилось густо, как никогда. Сегодня, кажется, единственный матч, когда все билеты проданы. Травнички возбуждены сенсацией: после первого периода канадцы ведут 1:0! Радостное гудение, дым, запах пива, хохот, толкотня, крики продавцов, и тут же в давке журналисты у кого-то берут интервью, кто-то что-то говорит в микрофон. Я подхожу к нашему Руди. Он пьет пиво из мягкого пластмассового стаканчика. «Ну, что вы скажете? Это катастрофа...» — говорит Руди. Лицо

его красней обычного, глаза блестят, похоже, что он выпил лишнее. Почему-то мы начинаем говорить о Маутхаузене. Руди неожиданно заявляет:

— Все это началось в Англии.

— Почему в Англии? — Я изумлен.

— Да, да.— Он многозначительно кивает.— Поверьте мне, я знаю, что говорю: это началось в Англии.

— О чем вы говорите? О фашизме?

— Ach, Gott! Называйте, как хотите. Вся эта катастрофа. Это была настоящая катастрофа. Моя двоюродная сестра пострадала при Гитлере: ее посадили в тюрьму за то, что она не принимала участия в кампании зимней помощи. И в тюрьме она получила болезнь желудка. Ach, das war eine wirkliche katastrophe! Но можете мне поверить.— Он доверительно мне подмигивает и, понизив голос: — Это началось в Англии.

К концу перерыва, когда публика уже повалила в зал, удастся выяснить, что же началось в Англии: оказывается, Англия, по мнению Руди, родоначальница вооруженного рыцарства, а с рыцарей и началась «вся эта катастрофа».

— А в Италии? — говорит он шепотом.— Вы знаете, что в Италии есть рудники, где люди работают год и умирают? Но об этом молчат, никакой шумихи, все шито-крыто...

Из зала уже доносились волнами крики «го, Канада, го!» и наше «шай-бу! шай-бу!», заглушаемые свистом. Заявление Травничека по поводу Англии так меня озадачило, что, придя в зал и добравшись до своего места наверху ложи прессы, я не мог сразу сосредоточиться на игре. В голове мелькало слышанное и виденное за последние дни. Я прочитал, например, недавно вышедшую в Вене книгу документов о профессоре Тарасе Бородайкевиче, нацисте, который еще в прошлом году преподавал историю в Высшей школе мировой торговли. Он откровенно говорил студентам, что одним из сильнейших впечатлений его жизни была речь Гитлера на

Хельденплаце в Вене в 1938 году. Гитлера он называл самым ярким оратором XX века. Отмечал сильное воздействие взгляда Гитлера. Упомянув в лекциях о Марксе, он неизменно говорил «еврей Маркс». Больше года шла борьба, в которую включились газеты, телевидение, даже артисты сатирического кабаре, пока наконец Тараса Бородайкевича удалось отстранить от преподавания и перевести на пенсию. Но многие студенты защищали Бородайкевича. И защищают до сих пор. Нацистскую газету «Националь-Цайтунг», выходящую в Мюнхене, можно купить в любом венском киоске. Она стоит дорого, в шесть раз дороже «Курира», но не залеживается.

Все переплелось в нашем мире, все связано, одно воздействует на другое, одно вытекает из другого. Швехатское пиво, Травнички с багровыми лицами и неясными мозгами, оружие стадионы, безмолвные Маутхаузенy, профессор Бородайкевич и несчастный итальянец, убивающий случайных людей на Фаворитенштрассе,— все это слиплось, как конфеты в кулке.

В середине второго периода Фирсов забрасывает самую странную шайбу чемпионата: он даже не целился по воротам, а просто откидывал, не глядя, шайбу от борта, в то время как канадцы стремились прижать ее. Она летела дугой, и Мартин зевнул. С этой минуты игра меняется, силы покидают канадцев. Дело не в странной шайбе, а в том, что канадцы сделали все, что могли, и даже больше того. Прямо на глазах эта команда стала садиться, как баллон, который проткнули гвоздем.

Теперь они будут цепляться, тянуть время, грубить без нужды и ошибаться. В третьем периоде гол Старшинова падает, как хорошо созревший плод. За два дня до финальной игры наша команда становится чемпионом мира — в пятый раз подряд! Советские хоккеисты победили заслуженно, они были на голову сильнее всех прочих команд венского чемпионата (некоторых на три, пять

и более голов), и если канадцы оказали сопротивление, то лишь благодаря невероятному подъему духа, чего хватило им на двадцать минут.

Советские хоккеисты показали большое мастерство и замечательную физическую подготовку, они выступали «на уровне лучших мировых стандартов», как сейчас принято говорить, и все же не надо, мне кажется, слишком часто повторять слово «подвиг» и величать хоккеистов «героями». Ибо какие же другие слова мы найдем для настоящих подвигов и настоящих героев? Для тех, например, кто смотрел в глаза смерти и погиб, не сломленный в Маутхаузене? Для тех, от кого не сохранилось даже имен, но чье предсмертное мужество стало этим синим воздухом, которым мы дышим?

Хоккей — это игра. Миллионы юношей играют в нее для собственного развлечения. Несколько десятков мастеров играют в нее для развлечения человечества. И дай им бог играть как можно лучше, а человечеству — развлекаться.

## Сотворение кумиров

---

### Записки гренобльского туриста.

Сорок четыре года назад, в январе 1924 года, в местечке Шамони у подножия Монблана — недалеко от Гренобля — состоялись первые зимние Олимпийские игры. Всё было как-то мило и по-домашнему. На зимний курорт, на снег и солнце съезжались любители лыж, краснолицые бонвиваны, желавшие подольше прожить, жуиры, богачи, больные из окрестных санаториев и молодежь, наслаждавшиеся свадебным путешествием. Никто в мире не относился ко всему этому серьезно.

С тех пор прошло еще восемь зимних олимпийских игр. К сожалению, был перерыв, вызванный войной, и олимпийское движение потеряло несколько миллионов

самых лучших спортсменов. Несмотря ни на что, вопреки всем неприятностям и каверзам двадцатого века, олимпийское движение развивалось с ошеломительной быстротой. Каждая новая олимпиада далеко и по всем статьям перекрывала предыдущую. Скво-Вэлли «переплюнул» Кортину, Инсбрук — Скво-Вэлли, Гренобль — Инсбрук. Нынешний президент Международного олимпийского комитета, престарелый американец Брендедж, на днях выразил опасение в том, что организация становится чересчур колоссальной: «Где-то должна быть граница, если мы не хотим, чтобы нечто главное вырвалось у нас из рук».

Что ж — нечто главное? Наверное, вот что: ради чего. Оно действительно вырывается.

Старинный Гренобль, закладку которого приписывают римскому императору Грациану, в средние века прославившийся тем, что здесь, в замке неподалеку, вырос Баярд, «рыцарь без страха и упрека», город благочестия и учености, обладающий одним из лучших музеев Франции и одним из известнейших университетов, город, где родился Стендаль, где в годы последней войны мужественно действовали люди Сопротивления, лишь теперь, во втором тысячелетии своего существования, приобрел подлинную славу. Сегодня его имя у всех на устах. Горы, окружающие Гренобль, видят по телевизору жители всего мира. Мэр города, сухощавый, как юноша, господин Дюбеду, тоже стал знаменитостью, и его узнают, как звезду мюзик-холла.

А кому был интересен сорок четыре года назад мэр города Шамони? Да господи боже мой...

По случаю Олимпиады Гренобль выстроил новый город: шестнадцатизэтажные башни, девятиэтажные блоки, театры, дворцы, «ледовый палас». В Гренобль стекаются все, кто жаждет и умеет быть модным. Здесь в мюзик-холле уже раскинули свои шатры знаменитые певцы. Здесь же, разумеется — неужели упускать такой шанс — организовал выставку «провокатор собственной славы» Сальвадор Дали. Он выставил всего лишь одну картину,

«Ловля тунца», но громадную, в роскошном помещении и глубочайшую, как Книга Бытия. Кажется, он ответил этой картиной на все вопросы. Наконец удалось. Но я был единственным посетителем.

В Доме культуры мы смотрели премьеру труппы Мориса Бежара «Балет двадцатого века». Морис Бежар недавно приобрел славу едва ли не лучшего балетмейстера мира. Спектакль был странный: для нас, привыкших к другому. Не техникой танца, не обаянием исполнителей, не музыкой действовал он — мы видели два небольших балета «Ни цветов, ни короны» и «Путешествие» — ничем в отдельности, а как-то всем сразу и чем-то еще, подземно и надзвездно, как действуют романы Достоевского. Этот балет позволял наслаждаться, размышляя. Сюжеты его просты и, не побоимся пошлого слова, вечны. «Путешествие», например, о добровольной смерти человека, уставшего жить. О том, как человек умирает, потом возрождается для новой жизни, снова умирает и снова возрождается. В первом балете изредка звучала музыка Чайковского, но основным исполнителем был ударник — не жалея сил, он колотил, терзал и нежно ласкал палочками пять или шесть различных барабанов. Ударник бы пожилой лысый человек в очках, с лицом одержимого тайной страстью школьного учителя. Актеры его потом любовно приветствовали. Второй балет сопровождался сверхъестественной музыкой каких-то гудящих труб, очень похожей на пение водопровода, мучащее меня иногда по ночам в московской квартире. Второй балет начинался так: по каменному откосу идут люди, над ними на фоне кирпичной стены висят на разных уровнях трещащие мотоциклы с мотоциклистами, и время от времени откуда-то сверху, с колосников, падают со стуком на сцену человеческие куклы. Одни куда-то идут, другие неведомо куда мчатся на мотоциклах, третьи умирают.

На вокзальной площади Гренобля стоит громоздкое, высотой с трехэтажный дом, выкрашенное в черный цвет сооружение непонятного облика. Напоминает гигантского паука, вставшего на дыбы и потерявшего в драке с другим пауком голову. Впрочем, может быть, это вовсе и не паук, а конструктивное изображение прогресса двадцатого века и призыв к миру. Возможно также, что это портрет пришельца из другой вселенной — не нашей, разумеется, галактики, а откуда-то очень издалека. На вокзальной площади все так спокойно, домовито: магазинчики, автомобильчики, провинциалы с изящными саками, и вдруг посередке — эдакое пугало.

Потом на улицах Гренобля, в особенности в новых районах, я встречал немало таких штук разнообразных размеров и загадочного смысла. Говорили, что это скульптуры, что их воздвигли специально к Олимпиаде, как бы в знак приветствия молодежи всего мира.

В первые дни, когда я проезжал в автобусе мимо этих скульптур, я инстинктивно отворачивался и просто в порядке самозащиты смотрел в другую сторону. Потом понемногу стал осваиваться. Через неделю уже мог смотреть на них длительное время, в течение трех-четырёх минут. А потом и вовсе ничего: смотрю, и хоть бы хны. Приходило в голову: а вдруг эти штуковины в самом деле посланцы из космической бездны? Если, может быть, и не из бездны пространства, то из бездны времени?

Жители Гренобля писали в Париж, требуя убрать эти скульптуры из города. Писали, конечно, не все жители, а скорее всего пенсионеры, отставники военные и добрые пожилые женщины, живущие на скромную ренту. Министр культуры Мальро распорядился не убирать произведения искусства, так как, по его мнению, через десять лет жители Гренобля их поймут и к ним привыкнут.

Я привык к ним на двенадцатый день, даже стал находить в них достоинства и тайный смысл.



Когда впервые я увидел соревнования по бобслею, они показались мне уродливым и диким занятием. Главное, что вызывало протест,—какая-то искусственность, нарочитость. Ну почему непременно эти обледенелые желоба сложной конфигурации? Человек должен покорять простые вещи: поле, реку, лед, лес. Но когда я смотрел бобслей второй раз...

Мне вспомнилось, какой нелепой показалась когда-то — лет двадцать назад — игра в хоккей. В Москве тогда говорили: «канадский хоккей». Какая-то толкотня, теснотища, словно мальчишки гоняют банку на заднем дворе. И эта смешная шайба! Разве не очевидно, что играть мячом гораздо удобней и приятней, чем этим крохотным черным кружком!

Но когда я пошел на хоккей второй раз...

Помните стадион «Динамо», сугробы на поле и залитый светом прожекторов расчищенные прямоугольник льда с грубыми деревянными бортами у Восточной трибуны? Помните: мороз, тысячи зрителей, приплясывающих на скамейках, глинтвейн в бумажных стаканчиках и чудеса, которые показывали на льду «Бобер» и «Чепчик»? Хоккей, как молодая нация, рвался к завоеваниям. И сначала он завоевывал москвичей, самых матерых, отчаянных, умевших выстоять два часа на морозе.

Ну а потом... Все это пошло очень быстро.

Выйдя на мировую арену, мы заставили всех понять, что спорт — дело совсем не шуточное, а крайне серьезное.

У немцев есть выражение: «со звериной серьезностью». Так вот, во многих странах начали готовиться к олимпиадам и чемпионатам «со звериной серьезностью». Раньше никто кроме нас не подсчитывал очков по семибалльной системе из расчета первых шести мест. Сейчас этими арифметическими упражнениями занимаются газеты многих стран. А что дают эти подсчеты кроме ложного представления о чьем-то превосходстве над кем-то? Хватит с нас медалей.

Могут сказать: «Ага! Когда советская команда утратила очковое преимущество, вам сразу перестала нравиться семибалльная система». Должен заметить: она мне не нравилась никогда. И тогда, когда советская команда блистательно побеждала. Очковая бухгалтерия вносит в спорт атмосферу суеты и мелочного крохоборства.

Спортсмен оценивается, как штука сукна: в зависимости от того, сколько аршин он притаскивает на склад. Приносящие по семь, пять и четыре очка — уважаемый народ. Те, кто добился шестого места и в нормальной обстановке должен был бы скромно ступешеваться, здесь гордо и назойливо вытягивают свою единицу. Птичка, как говорят, по зернышку клюет. А все остальные — зеро, нули, не существуют.

В большом спорте каждый человек есть редчайшая личность, не измеримая никакими числами, и в большом спорте нет таких результатов, рядом с которыми померкли бы остальные.

Веденин занял второе место в труднейшем виде спорта: лыжном марафоне. Он завоевал серебряную медаль и пять очков. Но разве Воронков, который занял лишь шестнадцатое место и не принес ни одного очка, не совершил то же богатырское дело, не пробежал со скоростью оленя те же пятьдесят километров, отдав все силы борьбе?

Прелесть олимпийских игр, их высокий смысл я внезапно почувствовал в Отране, в солнечный полдень десятого февраля. Там разыгрывались медали в прыжках с семидесятиметрового трамплина. Была суббота, весь Гренобль ехал за город, на лыжи, в «шале». Мы долго выбирались из города, потом долго крутили на горных дорогах, сначала медленно поднимались от зимних полей к снежным склонам, потом так же медленно спускались в долину. Было тепло, несмотря на лежавший вокруг снег. Все подъезды к трамплину были забиты машинами. На дороге снег давно был раздавлен, раскис, превратился в грязь. Но наверху он лежал плотным и чистым

слоем. Зрителей было несколько сот. Мы пробрались через кордон полицейских в черных савоярских беретах к самому подножию трэмплина. Многие зрители садились на снег, как на траву. Снег был какой-то декоративный. Смотреть надо было высоко вверх, задирая голову, на крутой снежный мыс, над которым внезапно на экране синего неба появлялся летящий лыжник — долю секунды он беззвучно парил, со стуком хлопался на скользкий укатанный склон и несся снарядом вниз. По радио объявляли фамилии прыгунов. Их было пятьдесят восемь. Они все были изумительные смельчаки, и то, что их было так много из разных стран, и то, что они появлялись бесперебойно один за другим с интервалом примерно полторы минуты, рождало чувство какой-то праздничной, всечеловеческой гордости. Во всех странах есть изумительные смельчаки! И в этом был смысл. Наш молодой Анатолий Жегланов по сумме двух прыжков занял шестое место. Победителем вышел чех Рашка.

Зрители-чехи пытались его качать, кричали: «Рашка! Рашка!» — но их крики тонули в солнечном белом просторе. Внизу лежал Отран с запорошенными снегом черепичными крышами, и по черной дороге шли дети в народных костюмах департамента Дофинэ. Они пели и играли на губных гармониках. Потом где-то стали стрелять из пушек. В небе появились ракеты фейерверка. В солнечный день они выглядели бледновато, но это не имело значения. Одни ракеты, разноцветно дымя, опускались на парашютиках, другие почему-то падали без парашютиков, колом в землю, вздувая клубы малинового и зеленого дыма. И все это было не в честь победителей, а в честь всех, кто взлетал на секунду в небо, на кого зачарованно смотрели сотни людей с земли.

Ледовый стадион «Стад де глас» похож вечером на гигантскую темнокрылую бабочку со светящейся электричеством оторочкой: она явилась откуда-то из космиче-

ских глубин и присела на землю отдохнуть, полураскрыв крылья. Единственный недостаток этого сооружения в том, что ложка прессы устроена очень высоко, в самой верхней точке бабочкиного крыла, примерно на высоте восьмизэтажного дома, и лезть туда надо пешком — лифтов нет. Перед последней лестницей, когда стоишь потный и задыхающийся, на нетвердых ногах, полицейский в белых перчатках требует «пресс-карту» — она всегда должна болтаться на шнурке под подбородком — и стюардесса в красном костюме встречает тебя на самой верхней площадке, точно при входе на борт лайнера, откуда так близко до неба и так далеко до льда. Ты почти висишь надо льдом. Белый прямоугольник, окруженный прозрачными бортами, лежит внизу, как аккуратно вырезанный кусок матового стекла. Французы медленно заполняют трибуны. Хотя канадцы, выдумавшие хоккей, — потомки французов и многие из канадских хоккеистов носят французские имена (Кадье, Бурбоннэ или же прославленный Морис Ришар), они все-таки более американцы, чем французы, и настоящие французы прохладно относятся к этой американской игре.

Две ветви одного ствола, уходящего корнями в столетия. Но как много их теперь разделяет! Вспоминается строчка Гейне: «И в мире ином друг друга они не узнали». Хоккей для французов почти экзотическая игра. Французы любят свой «буль» — игру в шары, любят футбол, а из зимних видов на первом месте горнолыжный спорт: нет ничего очаровательнее летящей с горы девушки в элегантных брюках цвета электрик и в белом или ярко-красном свитере с эмблемой клуба на плече! Французам главное, чтобы — «тре жоли!». Очень красиво!

Слалом, горный спуск, фигурное катание — «тре жоли». Лыжный кросс или скоростной бег на коньках совсем не «тре жоли». Пускай этой нудной лошадиной работой занимаются сумрачные финны и упорные норвежцы. У французов никогда не было выдающихся конькобежцев, а единственный заметный в Европе спортсмен

носил вовсе не французскую фамилию: Андрэ Куприя-нофф. Подозреваю, что и нынешняя французская конькобежка, которую азартно подбадривали трибуны катка в Гренобле, никакая не Иванжин, а просто-напросто Иванчина или Иваньшина.

Хоккей тоже далеко не «тре жоли».

Вяло входят зрители, вяло усаживаются и на соседние сиденья кладут пальто, шарфы, шапки. Как будто заранее знают, что соседи не придут! И верно, не приходят.

Позавчерашняя игра началась с опозданием на полчаса. Организаторами опоздания были чехи, виновниками — наши. У некоторых наших хоккеистов не были надеты на острия коньков специальные предохранительные колпачки: по правилам колпачки считаются обязательными, но обычно все о них забывают. Игра, уже готовая через секунду завертеться, была остановлена. Зрители свистели, игроки нервничали. Арбитры с видом парламентаров разъезжали по льду от стола судейской комиссии к одному борту, возле которого стояли непреклонные чехи, и к другому, где волновались наши ошеломленные и растерянные тренеры. В сумбурной и тяжелой игре наши проиграли со счетом 5:4. Если в Женеве чехи переиграли нас с блеском, вдохновенно, то здесь было совсем не то. Сначала они перехитрили наших, а потом — перепотели, переработали.

Конечно, нельзя оправдать руководителей, не проследивших за тем, все ли хоккеисты надели на коньки злополучные колпачки. И все-таки, мы говорим: спорт, рыцарство, ледовые рыцари и так далее. И вдруг — какие-то колпачки. Ах, да не в колпачках же дело! Зачем эти споры, крики, красные от негодования лица, размахиванье руками...

На другой день после странной игры, разом изменившей ход борьбы за хоккейное золото — из фаворитов

мы стали аутсайдерами, то есть могли рассчитывать лишь на бронзу! — я поехал со своим другом Петром Александровичем за город, к замку Баярда. Мне давно хотелось поехать к замку Баярда. Признаться, я наметил эту поездку еще в Москве, но то не было свободного дня, то не находилось машины. Замок Баярда расположен в сорока километрах от Гренобля на север, на пути в Женеву. Сначала наш маленький «рено» бежал по новой автостраде, мимо серых, без снега и без зелени, пустых полей, по улицам тихих городков-деревень, затем свернул на восток по узкому шоссе.

В машине мы говорили о том, что нас волновало: о хоккейном турнире, о шансах команд и о том, что называется «рыцарством в спорте». Как было бы прекрасно, если б противник, сделав судье замечание по поводу отсутствия колпачков на коньках соперников, тут же предложил свои запасные колпачки! А? Вот это было бы замечательно спортивно. Еще прекрасней было бы наблюдать на льду такие, например, сцены, когда хоккеист ломает клюшку и находящийся поблизости тренер соперников великодушно протягивает ему через борт новую клюшку из своего комплекта. Но таких сцен мы почему-то не видим. Ни на чемпионатах мира, ни в нашем первенстве. Выиграть в большом спорте невероятно трудно — тут не до рыцарства. Все понятно, и, однако, немного грустно.

Мы ехали к замку человека, известного в истории как «рыцарь без страха и упрека». Пьер-дю-Террайль Баярд родился здесь, под Греноблем, в 1476 году. Он один из последних великих героев рыцарства, может быть — последний, ибо ко времени его рождения эпоха благородных мужей, гигантов копья и шпаги, клонилась к закату. Баярд прославился многими подвигами. Мост через реку Гарильяно он защищал один против двухсот всадников и этим замедлил наступление испанцев. Не меньшую славу доставила ему оборона Венозы. Когда он попадал в плен, его отпускали без выкупа из увз-

жения к его доблести воина — так поступили Людовик Сфорца и император Максимилиан. В 1524 году Баярд защищал переправу через Сезию, был ранен в бок мушкетной пулей, раздробившей ему спинной хребет, и умер, прислонясь к дереву, с лицом, обращенным к противнику. Когда изменивший Франции коннетабль Бурбонский подошел к Баярду со словами сочувствия, Баярд прервал его, сказав: «Не обо мне должны вы сожалеть, но о себе самом, поднявшем оружие против короля и отечества».

Таков был сей образцовый рыцарь, живший почти пятьсот лет назад. Стендаль в книге «Записки туриста», описывая свои прогулки в окрестностях Гренобля, пишет о чувстве благоговения, с каким он посетил развалины замка Баярда. «Здесь родился Пьер-дю-Террайль,— замечает Стендаль,— этот скромнейший человек, который, подобно маркизу Позе у Шиллера, возвышенностью и ясностью души словно принадлежит более передовому веку, чем тот, в котором ему пришлось жить. Вид, открывшийся с развалин замка, восхитителен...»

Дорога вилась по склону холма. Мы проезжали деревню, довольно неряшливую и грязную, зимнюю французскую деревню с навозом, свиньями, темными сараями, с одиноким стариком, смотревшим на нас из-за каменной изгороди: все это, наверно, почти так же выглядело при Баярде. Замок расположен на вершине холма. В конце прошлого века он был отремонтирован, перестроен под жилье и сейчас имеет вполне комфортабельный вид. Замок принадлежит частному владельцу. Мы вошли через ворота в пустынный двор, походили по нему, заглядывая в окна первого этажа; безлюдные комнаты, картины, книги, телевизор, белый кувшин с чашкой. Наконец из одной двери вышла девушка в переднике и сказала, что, если мы хотим, мы можем посмотреть музей. Она дала нам ключ величиной со столовую ложку. Музей помещался в одной из комнат первого этажа. Там было очень холодно. Висели портреты Баярда, не

похожие один на другой. Через десять минут нам стало скучно и мы вышли на двор, где было теплее, пахло землей, весной.

С южной стороны сохранилась руина старой стены. Ее оставили как декорацию. Перед нею над обрывом был разбит огородик и росла капуста.

Рыцарской присягой требовалось выполнение многих пунктов, и между прочим для спасения невинного идти на поединок, избегать несправедливой среды, нечистого заработка, посещать турниры только ради воинских упражнений. Рыцарские турниры возникли во Франции, так же, впрочем, как и идея возрождения олимпийских игр. Вначале все было в высшей степени благородно. Правилами турниров запрещалось сражаться вне очереди, наносить раны лошади противника, наносить удары иначе, как в лицо или в грудь, продолжать бой после того, как противник снял забрало, выступать несколькими против одного.

Но со временем все это стало забываться. И как-то опошлилось. Так случается со многими добрыми начинаниями под воздействием времени — особенно там, где счет идет на столетия. Удача на турнирах стала приносить материальные выгоды: победитель иногда отбирал у противника лошадь и оружие, брал его в плен и требовал выкупа. Еще отвратительней было то, что на турнирах стала вскипать национальная рознь, что особенно усилилось после Столетней войны между Англией и Францией. Злоба и жажда убийства стали непременными спутниками рыцарских турниров. А ведь начиналось все так обнадеживающе! «При всей многочисленности участников и разнообразии народностей,— отмечает летописец Нитгард, описывая Страсбургский турнир 842 года,— никто не осмеливался нанести другому рану или обидеть бранным словом».

Мы возвращались той же сельской дорогой, но все, мимо чего проносился «рено»,— поля, деревни, горы слева на горизонте — выглядело как-то иначе. Может



быть, оттого, что нас догонял вечер. А может быть, оттого, что мы спешили на матч с канадцами и ни о чем больше не могли думать. Какой-то человек выскочил на дорогу, под свет фар, и размахивал зонтиком. Подобрали его. Он тоже спешил в Гренобль, но не на хоккей, а совсем по другим делам. Что такое хоккей? Ах да. Это глупости. Олимпийские игры его не интересуют. Он спешит в больницу к дочери, а потом к друзьям, которые ждут его для игры в баккара. Вот уже сорок лет он играет с друзьями в баккара.

Все это он рассказывал шоферу, а тот нам переводил. Он вдовец, его зовут Марсель. Этот свинья испанец обманул его дочь и удрал в Испанию. Но ничего, скоро вернется. В Испании не очень-то заработаешь.

— Vous etez les Polonais? — спросил Марсель, обернувшись к нам.

— Oui! — ответил Петр Александрович и добавил по-русски: — Какая разница.

Мы высадили его на углу улицы, где были алжирские магазины. На миг, освещенное витриной, мелькнуло худое лицо со скудным, впалым ртом. В этой впадине вместо губ было все: одиночество, дочь в больнице, испанец, баккара.

Петр Александрович протягивал ему пропуск на матч с канадцами.

— Нет, нет! — Он засмеялся, глядя на нас с жалостью. — Это глупости. Там все распределяют заранее. Они собираются в комнате и говорят: ты будешь первый, ты второй и так далее. Все это глупости, господа.

Он побежал, раскрыв зонт. Мы развернулись вокруг площади и подъехали к Ледовому дворцу. Только первый период канадцы играли на равных, а потом, как обычно, у них не хватило сил, и третий период они просто «доигрывали». Ничего удивительного: сейчас в любительском хоккее нет команды сильнее нашей.

Когда у тренера французских горнолыжников Оноре Боннэ спросили, может ли Килли стать вторым Тони Зайлером, тренер ответил: «Он уже сейчас не слабее Тони Зайлера, но нужно чуть-чуть счастья, чтобы мир это понял». Это «чуть-чуть» осенило Килли в Шамруссе: на долю секунды он обошел своего грозного противника Ги Перийя. Во французской прессе начался «фестиваль Килли».

С первых страниц газет смотрит остроглазое, носатое, с большим мальчишеским ртом буратинообразное лицо. Громадные очки вскинуты на лоб. Они делают Килли похожим на танкиста или космонавта. Во всяком случае, он человек наших дней. Тони Зайлер с его внешностью рекламного красавца выглядит рядом с двадцатичетырехлетним французом несколько устарело. Сейчас в моде другие лица: нервные, острые, неясного возраста.

Скоростной спуск настолько стремителен, что простым глазом определить, кто прошел лучше, кто хуже, почти невозможно. Все проходят трассу как бы одинаково. Но есть что-то неуловимое, что передается зрителям: одни мчатся вниз, подчиняясь законам физики и аэродинамики, другие прибавляют свою собственную волю и страсть. У Жана-Клода Килли этой воли и страсти немного больше, чем у других. Одного мастерства и бесшабашного мужества для победы здесь недостаточно, нужно еще то неуловимое, что можно назвать вдохновением. Когда Килли приземлился, он тут же попал в толпу фотографов, корреспондентов и набежавших со всех сторон восторженных зрителей — «килли-фанатиков». Одна девица рванула из своей прически клок волос и пыталась вручить Килли в виде букета, другой фанатик, упав на колени, норовил вытянуть из ботинка Килли шнурок на память. Корреспондент мюнхенской газеты, которому удалось протиснуться, растолкав других, к Килли, спросил у француза: что труднее — победить или пережить свою победу? «Труднее всего здесь», — ответил Килли, содрогаясь от напора толпы. «Что вы еще намерены

выиграть в Гренобле?» — «Все золотые медали». — «Откуда у вас столько уверенности в себе, мсье Килли?» — «Уверенность в себе или есть, или ее нет совсем!» У Килли с уверенностью в себе дело обстоит превосходно. Он переполнен ею, набит до отказа, заряжен, как пушка, готовая выстрелить. Сомнения, осторожность, суеверия — все это ему незнакомо. Человек будущего. Но может быть, он совсем не такой? Его сотворили фанатики, собиратели шнурков и мечтатели, грезящие наяву? Бедняга, жить с такой уверенностью в себе... Самое смешное: он действительно выиграл все медали.

Вчера в мюзик-холле «Олимпик» выступал другой идол французской молодежи — эстрадный певец Джони Холлидей. Пожарная машина стояла у входа в громадный театр-шапито. Полиция утихомиривала толпу. Девочки с лицами мальчиков и мальчики с лицами девочек, длинноволосые битники, школьники, студенты и робко улыбающиеся иностранцы поспешно заполняли зал. В первом отделении выступали менее известные певцы, которых публика, мстя им за их малую известность и за то, что они отнимают время и испытывают терпение, подвергала ужасающему бичеванию свистом. «Джони! Джони! Джони!» — редела толпа, не желая никого ни видеть, ни слышать. Но менее известные певцы спокойно делали свое дело, пели, танцевали, кланялись. Правда, голосов их не было слышно, хотя они пели в микрофон. Во втором отделении, после соответствующей подготовки, нескольких номеров джаза, когда нетерпение публики достигло ураганной силы, на сцену выскочил гибкий молодой человек, одетый по-цирковому. В расшитой чем-то блестящим курточке, в голубых брюках в обтяжку, с широким ковбойским поясом. Белокурые волосы Джони были уложены красивой дамской прической в локонах.

Джони пел не умолкая в течение часа, одну песню за другой. Каждую песню он исполнял с такой страстью и силой, как будто пел последний раз в жизни, его лицо

было мокро от пота. Публика начало каждой песни встречала стоном, затем начинался неистовый шум, визг, вскакивание на стулья, маханье руками, флагами — совсем как на стадионе. Иногда Джони падал и продолжал петь лежа на полу. Иногда он делал какой-то особый жест рукой, и публика взывала от восторга, от преданности. Иногда он свистел — обыкновенно, как свистят голубятники, и зал тут же отзывался свистом. Впереди сидела компания парней, которые вопили и орали, изображая пьяных. Один из них — румяный очкастый толстяк в мольеровских кудрях — то и дело вскакивал и бегал по проходу с видом сумасшедшего, что-то крича. Но на него никто не обращал внимания.

В зале каждый делал что хотел. Передо мной сидела парочка студенческого облика, скромно одетые отличники учебы, оба в очках — они беспрерывно целовались, изредка поглядывая на сцену. И все это тонуло в одуряющем ритмическом реве, который несся из труб джаза, из микрофона Джони и отовсюду вокруг, ибо слушателей здесь не было, певцами были все, все стучали ладонями, раскачивались, визжали и плакали, вытирая слезившиеся от табачного дыма глаза.

И подумать только, что Килли обошел своего противника всего лишь на восемь сотых секунды! Эти восемь сотых и были тем мистическим «чуть-чуть», которое делает из обыкновенного человека гиганта. Когда во время хоккейного матча Швеция — Финляндия в Ледовом дворце появился Килли, зрители перестали смотреть игру, повскакивали с мест, и несколько минут длилась овация. Что все это значит? Люди должны кем-то очень сильно восторгаться. Должны любить кого-то бескорыстно, неизвестно за что, просто так.

Выходим из Ледового дворца на улицу. Идет дождь. Прохладный февральский дождь. Публика быстро рассеивается, растыкивается по автомобилям, которые стоят вокруг дворца несметным, лениво шевелящимся стадом. Последний раз оглядываюсь назад, на бабочку с полу-

раскрытыми, а может быть, полузакрытыми крыльями. Завтра все кончится, а послезавтра никто не придет сюда. И гигантская бабочка готовится ко сну — к долгому сну, каким спят бабочки зимой.

Может, через тысячу лет снова будет Олимпиада в Гренобле?

**АВСТРИЯ, 1964**

---

## **Победившие «мертвую точку»**

Существуют виды спорта, похожие на праздник, доставляющие радость многим тысячам зрителей, такие, как хоккей, футбол и даже коньки. И есть виды спорта, где соревнуются молчаливые одинокие люди. Вокруг них не гремят овации, не бушуют страсти. Вокруг них — тишина, лес, снег и узкий, как нож, как неизбежность, след перед глазами. И — время, которое стучит в висках, как колокол.

Вы представляете, что значит пройти на лыжах пятьдесят километров? Я тоже не представляю. Смотреть это невозможно, представить нельзя. Остается только почтительно снять шляпу. В лыжном марафоне победил ветеран Сикстен Ернберг, швед. Ему как раз в эти дни исполнилось тридцать пять лет. Его спросили, о чем он думал во время своего долгого пути.

Ернберг сказал, что ему особенно некогда было думать. Он следил за соперником, бегущим впереди, и старался его догнать, мысленно рассчитывая время: спортсменов на таких гонках пускают с промежутками в полминуты или даже в минуту.

— Кроме того, мои мысли, — сказал Ернберг, — были прикованы к тому моменту, которого боятся все лыжники: к преодолению мертвой точки. В любой гонке рано или поздно наступает этот миг, когда появляется «человек с молотком». Надо напрячь все силы и побе-

дить этот страшный миг. Все нутро, кажется, разрывается, ноги как из жести, руки слабеют, и тебе ясно, что ты не в силах сделать больше ни шагу. У меня это длится две или четыре минуты. Но потом, когда победишь себя, свою слабость, делается сразу вдвое легче и дальше идешь почти механически...

«Мертвая точка» существует в каждом деле. Она есть и в жизни спортсмена. Она существует и в нашей с вами, большой и серьезной, далекой от спорта, жизни. Этот миг наибольшей слабости, который надо перебороть, чтобы жить дальше. Сикстен Ернберг победил «мертвую точку» своей спортивной судьбы (а ведь сколько раз, наверное, он думал о том, чтобы поставить лыжи в угол!), и вот он — здесь, в Зеefeldе, среди самых молодых, самых сильных со всего мира. И он побеждает их всех.

Меня почему-то восхищают не юноши, а ветераны, победители «мертвой точки», даже тогда, когда они не завоевывают золотых медалей. Вейкко Хакулинен, железный финн, много лет сльвиший непобедимым, попробовал в Инсбруке свои силы в биатлоне и потерпел неудачу. Ему исполнилось как-никак тридцать девять лет.

Расстроившись, Вейкко заявил, что бросает активный спорт. Сел в поезд и покатил на родину. Но очень скоро, в поезде, где-то на баварской границе, Вейкко одумался или, может быть, успокоился, а еще вернее, победил того злобного «человека с молотком», которого бояться все лыжники. И сказал: «Нет, дудки! Я еще поиграю в эти игры. Жить без состязаний я просто-напросто не могу».

В нашей команде тоже есть замечательные ветераны. Один из них — конькобежец Евгений Гришин, рекордсмен мира, четырехкратный чемпион олимпийских игр. В марте Гришину исполнится 33. В этом возрасте Илья Муромец, правда, только еще слез с печки, но Александр Македонский уже совершил все свои подвиги. Для спринтеров так же, как и для Александра Македонского, это

кригический возраст. Они растрачивают себя слишком бурно. Евгений Гришин — феноменальный спортсмен, он держался дольше других. И все так привыкли к тому, что он феномен и всегда побеждает, что были уверены в его победе в Инсбруке. Он не победил, хотя выступил хорошо: на пятисотке выиграл серебряную медаль.

Я стоял во время этого забега у самой беговой дорожки, на вираже. Я видел напряженное лицо Гришина, необыкновенно напряженное, даже страстное. Его тело, согнутое как лук, было полно порыва и мощи. Его длинные руки в больших красных варежках мелькали, как факелы. Как ему хотелось победить! Как ему хотелось доказать что-то всем этим людям, стоявшим глухой стеной вокруг льда и невнятно шумевшим, и нам, его землякам, которые кричали: «Же-ня! Же-ня!»

Пролетев финиш, он оглянулся не сразу. Он понял, что проиграл. Только проехав несколько метров, он оглянулся через плечо, устало и виновато, чтобы посмотреть свое время, замершее на электрическом табло. Мне хотелось крикнуть: «Гришин, вы молодчина! Вы сделали гораздо больше, чем думаете. Вы боролись до конца и уступили в богатырской борьбе».

Победил на этой дистанции наш чемпион Европы Антс Антсон. Погода с утра резко испортилась, стало холодно и вместе с тем сыро, промозгло. Ухудшилось скольжение, стало трудно дышать. Победить тут мог человек физически очень сильный — таким оказался Антсон, молодой таллинский студент.

Некоторые знатоки спорта говорили, что Гришину стоило бы уйти с беговой дорожки немного раньше, когда он был в фаворе и блеске. Но это неправда! Не верьте, Гришин. Вы правильно поступили, что не поддались страху перед «человеком с молотком» и не ушли от борьбы.

Те, кто уходит в фаворе, — не настоящие спортсмены. Они просто любители фавора. Настоящие спортсмены борются до конца и уходят только тогда, когда их побеждают.

В сборник вошли рассказы, очерки, статьи, размышления Ю. В. Трифонова о спорте. Разумеется, не все его материалы включены в книгу. Предпочтение было отдано как популярным, так и малоизвестным, но не потерявшим своей актуальности произведениям. Книга печаталась по рукописям Юрия Трифонова, хранящимся в его архиве, сверенными в основном с текстами его книг, вышедших в издательстве «Физкультура и спорт» — «Факелы на Фламинио» (М., 1965) и «В конце сезона» (М., 1970).

При подготовке комментариев мы стремились, во-первых, как можно шире представить читателям Трифонова как спортивного журналиста, приводя отрывки из других его статей, записи из рабочих дневников, дополняющих тот или иной тезис или факт из включенного в книгу материала. Во-вторых, этими дополнениями мы стремились показать не просто богатство его интересов к различным сторонам развития советского спорта, но и творческую эволюцию Юрия Трифонова в его размышлениях о спорте как ярчайшем феномене в жизни миллионов людей.

### Рассказы

**ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА.** Рассказ написан в 1956 году. Первая публикация: Литературная газета, 1956, 15 сентября; на туркменском языке в газете «Чарджоуская правда» (1956, 12, 13, 16 октября). Перепечатывался в книгах Ю. В. Трифонова. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Игры в сумерках».



«Последняя охота» наряду с другим рассказом «Доктор, студент и Митя» (Молодая гвардия, 1956, № 1) как бы открывают «туркменский» цикл Юрия Трифонова. Этот период был очень важным в жизни писателя, пребывавшего в творческом кризисе после успеха романа «Студенты». Первая поездка в Туркмению была весной 1952 года по командировке «Нового мира». Юрий Трифонов начал готовить материал для будущего романа «Утоление жажды». Первый очерк «Отряды в песках» был дополнен циклом очерков «Рождение городов» (Литературная газета, 1956, 21 июня). Путевые заметки «Чайки над барханами» (Туркменская искра, 1957, 19 мая) рассказывали о начале строительства Туркменского канала, вскоре «законсервированного».

**КОНЕЦ СЕЗОНА.** Рассказ написан в 1956 году. Первая публикация под заглавием «Случайный сосед» (рис. О. Верейского): Огонек, 1956, № 32. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, а также на латышском языке в газете «Спортс» (1956, 25, 26 сентября; 2, 5, 9, 12, 16 октября), на эстонском языке в журнале «Кехакльтуур» (Физкультура, 1961, № 15, 16, 17), в газете «Спортдилехт» (Спортивная газета, 1968, 22, 25, 27, 29 марта) и в сборниках: «Спортивные рассказы» (М., 1958), «Эстафета» (М., 1983). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинии».

Интересна история рассказа, о которой Юрий Трифонов написал Я. Ф. Аскину, профессору Саратовского государственного университета, в ответ на его письмо с вопросами об изображении некоторых мест города Саратова в повести «Долгое прощание»: «...почему я взял именно Саратов? Потому, что я сам в 1953 или 54 году, не помню уж точно, был в командировке в Саратове и кое-что запомнил... Плохую гостиницу и «семейный люкс», в котором я жил собственной персоной. Именно в таком номере я жил вместе со случайным спутником — бывшим вратарем сталинградского «Трактора» Ермасовым, что описал впоследствии — с описанием номера — в рассказе «В конце сезона» (Архив Ю. В. Трифонова).

**ДАЛЕКО В ГОРАХ.** Рассказ написан в 1957 году. Первая публикация (рис. А. Елисеева): Физкультура и спорт, 1957, № 11. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, в

сборниках: «На границе» (Ашхабад, 1958), «Спортивные рассказы» (М., 1958), на эстонском языке (пер. А. Лорентс) в газете «Спортдилехт» (Спортивная газета, 1967, 8, 10, 13 марта). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Весной 1957 года Юрий Трифонов как корреспондент «Советского спорта» был на Н-ской пограничной заставе. В газете (1958, 6 и 7 марта) был опубликован его очерк «Там, под облаками...». В журнале «Пограничник» (1957, № 13) напечатан рассказ «Бицепсы рядового Фоминых» (рис. П. Корецкого). В сентябре 1973 года Ю. Трифонов совместно с Я. Базеляном подготовили для киностудии детских и юношеских фильмов им. А. Горького сценарий фильма «Три новеллы о любви к спорту». В основу сценария были положены три рассказа — «Конец сезона» (новелла «Телеграмма»), «Далеко в горах» (новелла «Победа присуждается...»), «Победитель шведов» (новелла «Алешкино знакомство»). В 1975 году фильм под новым заглавием «О чем не узнают трибуны» (режиссер Я. Базелян) вышел на экраны. В нем звучала песня о спортивных болельщиках («Эти болельщики разных команд...») на слова К. Ваншенкина, музыка Р. Хозака.

Отметим, что после рассказа «Далеко в горах» Трифонов никогда не писал о боксерах. В журнале «Физкультура и спорт» (1956, № 5) был напечатан рассказ К. Ульриха «Слишком поздно...» о спортивной жизни боксера-негра. Перевод с немецкого и литературная обработка рассказа принадлежат Юрию Трифонову.

**ПОБЕДИТЕЛЬ ШВЕДОВ.** Рассказ написан в 1957 году. Первая публикация (рис. Ю. Васильева): Советский спорт, 1958, 29, 30 марта. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, в сборниках: «Спортивные рассказы» (М., 1958), «Это хоккей» (М., 1971), «Эстафета» (М., 1982), «Эстафета» (М., 1983), а также на эстонском языке (пер. В. Вент) в газете «Спортдилехт» (Спортивная газета, 1962, 16, 19, 23 ноября) и журнале «Кехакультуур» (Физкультура, 1969, № 1). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книг.

Этот рассказ был положен в основу кинофильма «Хоккеисты», у которого первоначальные названия были — «Победитель шведов» и «Команда». Отрывок из киносценария был опубликован в журнале «Физкультура и спорт» (1964, № 2). Первого марта 1965 года в московском кинотеатре «Ударник» состоялась премьера фильма

«Хоккеисты» (сценарий Ю. Трифонова, режиссер Р. Гольдин, в ролях: В. Шалевич, Н. Рыбников, Г. Жженов, Э. Леждей, В. Ивашов и др.). В фильме прозвучала ставшая популярной песня о хоккеистах «Чистый лед...» на слова Е. Гребенникова и Н. Добронравова, музыка Л. Афанасьева.

**СТИМУЛ.** Рассказ написан в 1958 году. Первая публикация (рис. А. Медведева): *Физкультура и спорт*, 1958, № 6. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, на эстонском языке (пер. А. Лоорентс) в журнале «Кехакультуур» (*Физкультура*, 1966, № 21). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

**ОДИНОЧЕСТВО КЛЫЧА ДУРДЫ.** Рассказ написан в сентябре — ноябре 1958 года. Первая публикация — в цикле «туркменских» рассказов под общим заглавием «Пустыня»: *Знамя*, 1959, № 2. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, на туркменском языке (пер. А. Бердыев) опубликован в газете «Эдебият ве сунгат» (*Литература и искусство*, 1965, 8 декабря). Печатается по рукописи, сверенной с текстом «Факелы на Фламинио».

**ПРОЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ ОСЕНИ.** Рассказ написан в 1959 году. Первая публикация под заглавием «В буфете аэропорта...» (рис. И. Лаушкина): *Физкультура и спорт*, 1959, № 7. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, в сборнике «Эстафета» (М., 1961). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Этот рассказ был одной из трех новелл фильма «Встречи» (режиссер А. Белинский), снятого на Ленинградской студии телевидения в 1975 году. Главные роли в телефильме исполняли Кирилл Лавров (Галецкий) и Игорь Волгин (Величкин). По рассказу был снят на киностудии «Ленфильм» одноименный фильм (режиссер В. Бутурлин). Главные роли исполняли Олег Борисов (Галецкий) и Олег Табаков (Величкин).

**ИСПАНСКАЯ ОДИССЕЯ.** Рассказ написан в 1962 году. Первая публикация (рис. В. Юрлов): *Физкультура и спорт*, 1963, № 1. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, на

азербайджанском языке в газете «Азербайджан беден тербиячиси» (Физкультурник Азербайджана, 1963, 5, 7, 9 марта). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Пожалуй, первая встреча с испанцем, приехавшим в нашу страну еще мальчиком в 1936 году, была у Юрия Трифонова в апреле 1957 года в Ашхабаде, о чем он написал рассказ «Однажды душевной ночью...» (впервые опубликован в книге «Тарусские страницы», Калуга, 1961).

**ПОБЕДИТЕЛЬ.** Рассказ написан в 1968 году. Первая публикация: Знамя, 1968, № 7. Перепечатывался и под заглавием «Базиль» в книгах Ю. Трифонова, на эстонском языке в газете Тартуского университета (1977, 24 июня), на литовском языке в газете «Литература ир мянас» (Литература и искусство, 1977, 20 августа). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книг Ю. Трифонова.

**ИГРЫ В СУМЕРКАХ.** Рассказ написан в сентябре 1968 года. Первая публикация (рис. И. Массины): Советский спорт, 1968, 17 ноября. Перепечатывался в книгах Ю. Трифонова, в сборнике «Эстафета» (М., 1982), на эстонском языке (пер. Э. Хийдель) в журнале «Лооминг» (Творчество, 1977, № 6), на армянском языке (пер. С. Авакян) в газете «Гракатан терт» (Литературная газета, 1982, 22 октября). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Игры в сумерках».

«В те времена, когда мне было одиннадцать лет...» Как и многие произведения Юрия Трифонова, этот рассказ автобиографичен. Сохранилась одна из немногих детских фотографий писателя, где он запечатлен играющим в теннис на корте. Трифонов любил эту игру. Вспомните, как в «Небывалых страданиях болельщиков» он описывает теннисный турнир на международных играх, а в связи с выходом первого номера журнала «Теннис» Ю. Трифонов пишет заметки «Рождено энтузиазмом» (Советский спорт, 1969, 28 августа).

**БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ.** Повесть опубликована: «Простор, 1970, № 7. Отрывок (рис. Е. Шабельникова) напечатан: Физкультура и спорт, 1969, № 9. По предложению «Мосфильма» Ю. Трифонов подготовил киносценарий «Бесконечные игры», после чего при перепечатывании ее в кни-

гах Трифонова она имела жанровый подзаголовок — киноповесть. В 1979 году для одного из московских театров О. Трифоновой-Мирошниченко была подготовлена инсценировка повести для театра «Бесконечные игры» (см.: Трифонов Ю. Театр писателя. М., 1982, с. 5—49).

### Размышления и картины

**ПОЛЧАСА, КОТОРЫЕ ПОТЯСАЛИ СТАДИОН.** Написано в августе 1957 года. Первая публикация: Физкультура и спорт, 1957, № 9. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

К этим заметкам о спартаковце Петре Болотникове необходимо добавить, что после победы на III Дружественных спортивных играх молодежи его популярность стала всемирной. В 1960 году на Олимпийский играх в Риме он стал чемпионом в беге на 10 тысяч метров, он также чемпион Европы, СССР, рекордсмен мира на дистанции пять и 10 тысяч метров. Более подробно об Играх в Москве см. комментарий к следующему материалу.

**НЕБЫВАЛЫЕ СТРАДАНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ.** Написано в августе 1957 года. Первая публикация: Советский спорт, 1957, 15 августа. В книге «В конце сезона» опубликовано под заглавием «Небывалые страдания болельщиков на Дружеских играх в Москве в 1957 году». Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

В этих заметках, как и в предыдущих («Полчаса, которые потрясли стадион»), рассказывается о разнообразных соревнованиях III Дружеских спортивных игр молодежи, проходивших в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что и легло в основу сценария, написанного Юрием Трифоновым совместно с И. Прокком и Л. Кассилем. Премьера цветного документального фильма «Стартует молодость» (режиссер А. Рыбакова) состоялась в московских кинотеатрах в ноябре 1957 года.

Работа над этим сценарием увлекла Юрия Трифонова — в его дневниках появились «кинематографические» записи, чередующиеся с профессиональной терминологией. Так, в частности, во время работы над сценарием Трифонов писал: «Надо сделать фильм о силе спорта,

которая в отличие от военной силы делает великое дело — сближает людей. Вот бы удалось на кадрах хроники показать разницу в этих силах. Ведь на Игры приехало около четырех тысяч спортсменов из 46 стран. И меряться силой — соревноваться — они будут по 23 видам. Надо поговорить с режиссером о том, чтобы как можно интереснее показать встречи молодых спортсменов Китая, Франции, Англии, Монголии, Италии, Греции, Египта, Венгрии, Финляндии...». (Архив Ю. В. Трифонова).

Так что же удалось показать в фильме? Из сценария: «У болельщиков всего мира один язык — язык сердца. Вы слышите? Слышите? Так было на московских стадионах в течение всех двенадцати дней, пока шли III Международные спортивные дружеские игры молодежи. В эти дни разгорелось много острых спортивных схваток и было немало победителей — счастливых и усталых... Таких, как этот поляк Мариан Фойк... Мы горячо приветствовали победителей, вместе со спортсменами переживали их радости и огорчения. Что случилось с нашей лучшей гимнасткой Ларисой Латыниной?.. А что так рассмешило эту девушку?.. Схватка на футбольном поле? Нет, это не футбол, это что-то новое и очень забавное... Смотрите, смотрите, что делается на поле, — и судья ничего, молчит!..» (Архив Ю. В. Трифонова). За успешную работу над фильмом Юрий Трифонов был награжден Дипломом Организационного комитета фестиваля и Дружеских игр.

Важно отметить, что работа Ю. Трифонова по созданию документальных фильмов о спорте продолжилась. В 1959 году совместно с И. Проком был подготовлен сценарий и режиссером И. Венжером снят фильм «Мы были на Спартакиаде». Это фильм о финальных соревнованиях II Спартакиады народов СССР (август, 1959), фильм-обозрение о спортивной борьбе десяти тысяч представителей всех союзных республик страны. Так, в этом фильме впервые прозвучала песня, ставшая своеобразным символом России, — «Подмосковные вечера» (слова М. Матусовского, музыка В. Соловьева-Седого). За успешную работу по созданию фильма Ю. В. Трифонов был награжден Почетной грамотой Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР.

В 1960 году Юрий Трифонов пишет сценарий, по которому режиссер Я. Бабушкин снял короткометражный цветной документальный фильм «Ловкость, красота, здоровье» (ЦСДФ, 1960). В фильме рассказывалось о женщинах-спортсменках, о чемпионках и рекордсменках СССР.

и мира, рядовых физкультурницах, показаны их занятия легкой атлетикой, парашютным спортом, плаванием, а также их труд, учеба, отдых, семья... В Копенгагене на международной встрече женщин, посвященной 50-летию празднования дня 8 Марта, этот фильм был показан ее участникам.

**ВМЕСТО ГРОЗЫ.** Заметки написаны 29 июля 1958 года. Первая публикация: Советский спорт, 1958, 31 июля. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент «Советского спорта» был на первом в истории таких встреч легкоатлетическим матче (28—29 июля) между сборными командами СССР и США. Выиграла наша команда со счетом 172:170.

**ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ.** Первая публикация: Советский спорт, 1961, 27 апреля. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «...Почему я болею за Ботвинника?» — При первой публикации очерк имел подзаголовок «На матче Ботвинник — Таль». Профессор Вл. Ковалев пишет об истории возникновения этого очерка: «Памятна наша встреча в конце первого матча Ботвинник — Таль, когда Юрий Валентинович восторженно говорил об игре обоих партнеров. Однако на мой горячий совет написать об этом он ответил решительным отказом.

— Я восхищаюсь и Ботвинником и Талем, — сказал он, — но не в равной степени: я давний болельщик Ботвинника. Прославлять его я всегда готов, как говорят пионеры. Но писать об этом матче — значит в основном писать о Тале, о феноменальном его таланте. Мне же этого не хочется. Аристотель говорил: «Задача искусства — научить человека правильно радоваться». А в Тале все неправильно: и в партиях, которые он выигрывает, объективно худшие, а то и безнадежные позиции, и отсутствие режима, дисциплины труда, да, кажется, и самого труда, что почему-то вызывает всеобщую радость у всех пишущих о Тале. Таль — это какой-то беззаконник... Об этом матче я все же писать не буду. А вот о реванше, если он состоится и если побеждать будет Ботвинник, обязательно напишу...» (журнал «64: Шахматное обозрение», 1981, № 13, с. 20).

Интересно отметить, что в шахматы играют многие персонажи трифоновских статей, рассказов, повестей, романов. Кроме «Истории болезни» накануне 1961 года в приложении «Шахматная Москва» газеты «Московский комсомолец» (1960, 31 декабря) Юрий Трифонов в заметках «Только победа!» не только анализировал достижения советских шахматистов, но и рассказывал о всеобщей любви к этой игре в нашей стране.

2. «Когда-нибудь я напишу о нем». — Юрий Трифонов написал о Леве Федотове — он послужил прототипом Антона Овчинникова в повести «Дом на набережной» и Лени Крастыня в романе «Исчезновение». Отвечая на вопрос «Литературной газеты» о понимании «всесторонне развитой личности», Трифонов рассказал о товарище детства: «С мальчишеских лет Лева увлекался многими науками, в особенности минералогией, палеонтологией, океанографией, прекрасно рисовал, его акварели были на выставке, печатались в журнале «Пионер», он был влюблен в симфоническую музыку, писал романы в толстых, общих тетрадах... Вся глубинная Левина страсть, все его увлечения, поиски, жадность к жизни, наслаждение плодами человеческого ума исходили из внутренней потребности самопознания и самостановления. Поскорее определить себя в безбрежно великом мире! Тут не было никакого подталкивания извне. По сути дела, этот мальчик всему научился сам. Из чего делаю вывод: всесторонне развитая личность — итог самостоятельности мышления и чувства ответственности перед жизнью» (Трифонов Ю. Как слово наше отзовется... М., 1985, с. 187—188).

Уникальны по своей исторической значимости некоторые записи в дневниках Левы Федотова. В рабочей тетради Юрия Трифонова имеются многочисленные выписки из его дневника. Обратимся к одной из них, датированной 5 июня 1941 г.: «...я думаю, война начнется или во второй половине июня, или в начале июля, но не позже, ибо Германия будет стремиться окончить войну до морозов. Я лично твердо убежден, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, т. к. до зимы они нас не победят. Но вот то, что мы сможем потерять в первую половину войны много территории, это возможно. Честно фашисты никогда не поступят. Они наверняка не будут объявлять нам войну, а нападут внезапно и неожиданно, чтобы путем внезапного вторжения захватить побольше наших земель. Как ни тяжело, но мы оставим немцам такие центры, как Жито-



мир, Винница, Витебск, Псков, Гомель и кое-какие другие. Минск мы, очевидно, сдадим. О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калининна, Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева, Одессы я боюсь рассуждать. Правда, немцы, безусловно, настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже и этих городов, за исключением только Ленинграда. То, что Ленинграда немцам не видать, в этом я уверен твердо. Если же враг займет и его, то это будет лишь тогда, когда падет последний ленинградец. До тех пор, пока ленинградцы на ногах, город Ленина будет наш. За Одессу, как за крупный порт, мы должны, по-моему, бороться интенсивнее даже, чем за Киев, и я думаю, одесские моряки достойно всыпят германцам за вторжение в область их города. Если же мы и сдадим по вынуждению Одессу, то гораздо позже Киева, так как Одессе поможет море...» (Архив Ю. В. Трифонова).

Напомним — Лева Федотов делал эту запись в дневнике за 17 дней до начала войны.

В 1987 году вышел фильм «Соло трубы» (автор сценария Лев Рошаль, режиссер Александр Иванкин), посвященный Лева Федотову, погибшему 25 июня 1943 года на фронте, куда он пошел добровольцем.

**ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ!** Заметки написаны 16 июля 1961 г. Первая публикация: Литературная газета, 1961, 18 июля. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Ю. В. Трифонов как корреспондент «Литературной газеты» был на третьем по счету легкоатлетическом матче (15—16 июля) между сборными командами СССР и США. Матч выиграла наша команда со счетом 179:163 (второй матч был в Филадельфии в 1959 г. и также завершился нашей победой — 175:167).

**ВРЕМЯ И ВОЛЕЙБОЛ.** Написано в 1962 году. Первая публикация в сокращенном виде под заглавием «Вокруг мяча»: Литературная газета, 1962, 30 октября. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

На чемпионате мира по волейболу, проходившему в Москве, Юрий Трифонов был в качестве специального корреспондента «Литературной газеты».

**ТРУДЕН ПУТЬ К ОЛИМПУ.** Статья написана в августе 1967 года в связи с предстоящими зимними (Гренобль) и летними (Мехико) Олимпийскими играми. Опубликовано: Правда, 1967, 25 сентября. Печатается по рукописи, сверенной с текстом газеты.

Интересно заметить, что в перепечатке этой статьи в эстонской «Спортивной газете» («Спортдилект», 1967, 11 сентября) стоит подзаголовок «Статья о психологической подготовке спортсменов к крупным соревнованиям».

1. «...с тех пор, как наша страна вышла на олимпийскую арену, мировой спорт необычайно посерьезнел». — Советский Союз стал членом Международного олимпийского комитета 7 мая 1951 года. Одной из первых статей, обобщающих послевоенные достижения советского спорта, была статья Ю. В. Трифонова «Стремительный взлет», опубликованная в журнале Славянского комитета СССР «Славяне» (1956, № 5).

2. «Разве Николай Струнников, ставший чемпионом мира в 1910 году...» — В статье Ю. Трифонов называет выдающихся спортсменов страны: Николай Струнников — первый русский чемпион мира и Европы по скоростному бегу на коньках, вошедший в историю мирового спорта как «русское чудо»; Евгений Гришин — неоднократный чемпион олимпийских игр, мира и Европы по скоростному бегу на коньках; Валерий Брумель — олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и Европы в прыжках в высоту; Юрий Власов — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике; Петр Болотников — чемпион олимпийских игр, Европы, рекордсмен мира в беге на длинные дистанции; Виктор Михайлов — неоднократный чемпион страны по боксу; Николай Тищенко — участник олимпийского турнира по футболу в Мельбурне, где сборная страны стала чемпионом Игр; Роберт Шавлакадзе — олимпийский чемпион в прыжках в высоту; Вячеслав Иванов — чемпион трех олимпийских игр в академической гребле.

3. «...не могли понять, что происходит на поле». — Более подробно о психологической катастрофе спортсменов, в частности футболистов Бразилии, Италии, на примере чемпионата мира по футболу в Англии (1966) Ю. В. Трифонов рассказал в статьях «Три акта драмы», «О футболе».

4. «И мы верим, что в Гренобле и Мехико...» — О X зимних Олимпийских играх в Гренобле (1968) Юрий Трифонов как специальный корреспондент «Литературной

России» рассказал в большой статье «Сотворение кумиров». В Мехико проводились XIX летние Олимпийские игры (12—27 октября 1968), о которых группа «Центрнаучфильм» сняла документальный фильм «Трудные старты Мехико» (автор сценария и дикторского текста Д. Мамлеев, Б. Федосов, В. Чичков), Юрий Трифонов написал об этом фильме — «Из жизни гигантов»: «...в этой картине есть настроение, что бывает крайне редко в фильмах такого жанра... Благодаря своей поэтичности, напряженному лиризму эта картина выходит за пределы рассказа об олимпиаде. Здесь много драматизма, много обнаженной и суровой правды о спорте. На Олимпиаде в Мехико советская команда, как известно, несмотря на блестящие победы в отдельных видах спорта, потерпела в общем зачете поражение. Мы привыкли к победам, но огорчаться и изумляться не следовало... Картина «Трудные старты Мехико» отличается от многих иных тем, что в ней отсутствует надоедливый барабанный стиль победы, герои, подвиги — изрядно опостылевшие всем, кто по-настоящему любит и ценит спорт. На Олимпиаде было очень трудно. Но в картине нет трескотни по этому поводу. Правдиво показано: большой спорт постепенно переходит на другую территорию, где живут и действуют гиганты. Что ж, грустно. Но ничего не поделаешь, это факт...» (Искусство кино, 1969 № 10).

**ДВА СЛОВА О СПОРТИВНЫХ РАССКАЗАХ.** Написано в феврале 1969 года. Опубликовано (под заглавием «Когда исчезает схема»): Советский спорт, 1969, 23 февраля. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя с сохранением авторского заглавия.

1. «Громадное большинство рассказов, написанных на конкурс...» — Осенью 1968 года газета «Советский спорт» объявила конкурс на лучший короткий спортивный рассказ. В нем приняло участие 619 читателей более чем из 40 городов. На конкурс поступило более четырехсот рассказов, Юрий Трифонов, как председатель жюри конкурса, подвел итоги, что и нашло отражение в публикуемых заметках. Вероятно, эта работа повлияла на дальнейшие размышления писателя о судьбах современного рассказа, с которыми он выступил за «круглым столом» в редакции журнала «Вопросы литературы» (1969, № 7).

2. «...тем удачнее будут Ваши спортивные рассказы». — В архиве Юрия Трифонова находится много писем, ав-

торы которых просили высказать мнение по тому или иному их произведению, присланному писателю. Для примера «совместной» работы над рассказами о спорте обратимся к его переписке с инженером из Челябинска В. Вагановым. В первом письме Ю. Трифонов пишет: «Прочитал Ваш рассказ «Финальная встреча» с интересом. Рассказ удачный, правдивый. Спорт, футбол Вы знаете, да и пишете неплохо. Вам надо заняться литературой всерьез. Ваш рассказ действительно напоминает по теме мой рассказ «Конец сезона»; он был написан давно, лет 14 назад, и печатался много раз в разных сборниках.

Хочу самокритично сказать, что конец Вашего рассказа более достоверен, чем конец моего: тренеры не колеблются и забирают стоящих ребят из низовых клубов, в этом — правда жизни и правда сегодняшнего футбола. Четырнадцать лет назад футбол у нас был другой. И я бы написал рассказ на эту тему иначе. Ваш рассказ я хочу рекомендовать в журнал «Физкультура и спорт». Сообщите, не нарушает ли это Ваши планы...» (ноябрь 1970). Второе письмо уже о присланном В. Вагановым сборнике рассказов: «...общее впечатление: опыт начинающего автора. Вы, конечно, находитесь в самом начале пути. Способности у Вас есть, но надо много работать, чтоб достичь настоящей прозы. Как ни странно, первый рассказ, который я прочитал — «Финальная встреча», — он и остался, на мой взгляд, лучшим. Ваша беда: язык — невыразительный, стертый, бескрасочный. Вы даже не делаете попыток как-то по-своему выразиться, увидеть, нарисовать. Вы как будто стремитесь написать как можно незаметнее. Получается — общий сероватый тон... У вас много разговоров, но мало — чувств, страсти, мыслей, — а без этого нет литературы. Надо брать глубже, копать, доискиваться до корней, до причин!.. Вы можете сказать: да ведь издают гораздо худшие вещи! Верно, издают. Даже хвалят в печати. Но это — не касается литературы, а касается делячества и прочего...» (март 1976). И, наконец, третье письмо (ноябрь 1978) о другом рассказе, над которым автор продолжал работать после замечаний, высказанных Ю. Трифоновым: «...этот рассказ вполне профессиональный, его можно печатать и в сборнике и в журнале. Так что — в общем могу сказать Вам — добро! Писать Вы как будто бы научились — по фразам, — но надо двигаться дальше — научиться по сути...» (Архив Ю. В. Трифопова).

В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ТВОРЕНИЯ. Заметки о спортивном телевидении написаны в 1969 году и опубликованы в газете «Советский спорт» (1969, 25 июня). Публикуется по рукописи, сверенной с текстом в сборнике статей «Телестадий» (М., 1972).

1. «...нулевой футбол находится в какой-то мистической связи с нулевым комментированием. Одно влияет на другое».—Выражение «нулевой футбол» Ю. Трифонов использует не в смысле итога: «нулевой результат», а как противопоставление другому футболу. Ветеран отечественного спорта спартаковец А. П. Старостин писал о приоритете Юрия Трифонова на понятие «интеллектуальный футбол» (см. его статьи «Новая эстетика футбола», «Еще об интеллектуальном футболе»).

2. «...немало в свое время натрещал и набарабанил по случаю спортивных побед».—Здесь хотелось бы заступиться за Юрия Трифонова перед Юрием Трифоновым. Исходя из требований, предъявляемых прежде всего к самому себе, один из нас—социолог по профессии—провел контент-анализ, т. е. анализ текста всех 90 рассказов, статей, репортажей, заметок о спорте. Так вот, слова «герой», «спортивный подвиг» среди тысяч слов используются автором лишь несколько раз: первое—12 раз, а второе—девять. В названных выше различных жанрах творчества Ю. Трифонова характерна тема спорта как социального явления, особого морального, психологического состояния как самих спортсменов, так и болельщиков.

Обратимся к рабочим записям Юрия Трифонова того самого периода, когда он считает—«натрещал, набарабанил»,—конца 50-х—начала 60-х годов. В это время он участвовал в работе над документальными фильмами о спорте (см. комментарий к «Небывалым страданиям болельщиков»). Автора волновали вопросы, ставшие пульсирующим нервом всего его творчества: как показать в прозе и в фильмах повседневную жизнь и достижения в жизни, нет, не героев, не чемпионов, а ничем не примечательных, безымянных спортсменов? «О спорте почему-то принято писать в легковесном, эстрадном жанре. Если спортивный фильм—то обязательно кинокомедия с песенками, с репризами, с глупыми болельщиками, которые и существуют, на мой взгляд, только в такого рода комедиях... Если же рассказ или повесть о спорте—то это сугубо спортивное, спортивное до зевоты... Удачи бывают там, где автор вырывается из круга специфической спортивной темы и обращается к

темам широким, всеобщим. Пример — великолепный рассказ Ю. Казакова «На полустанке», где главный персонаж — живой, достоверный, но жизненный конфликт, в который он втянут, — отнюдь не спортивный. Вернее, он спортивный, конечно, он очень спортивный, но при этом он волнует каждого... Надо порекомендовать прочесть рассказ Юры некоторым спортивным руководителям. Ведь спорт — это не развлечение и не производство, это часть нашей жизни. В нем есть своя драма, которая и есть предмет искусства... Спорт надо почувствовать, понять, исследовать, как огромный, еще мало изведанный материк...» (Архив Ю. В. Трифонова).

3. «А ведь о спорте надо говорить спокойно, четко и точно, как того требует сам спорт...» — Думается, что эти слова можно с полным правом отнести к их автору, вернее, к его творчеству, отраженному в его первых книгах: «Под солнцем» (М., 1959), «В конце сезона» (М., 1961), «Факелы на Фламинио» (М., 1965), «Игры в сумерках» (М., 1970).

4. «Мы присутствуем при первых часах творенья». — Публикация статьи Ю. В. Трифонова вызвала множество откликов читателей «Советского спорта», подтверждающих правомерность и актуальность вопросов, поднятых автором. Например, В. Петров, спортивный комментатор из Свердловска, во многом не согласен с Трифоновым и использует аргументы типа: да, конечно, есть недостатки, но зато сколько отличных профессионально подготовленных комментаторов — и завершает письмо традиционным «упреком»: «Подходить к решению проблемы, мне думается, надо не с ботинком, готовым сокрушить телевизор, а со знанием и пониманием нужд, забот и задач спортивного телевизионного репортажа» (1969, 16 июля). В том же номере газеты помещены еще 9 писем, выражающих согласие с Ю. Трифоновым, но это письма болельщиков. Обратимся к одному из них, написанному офицером в отставке, который по определенным обстоятельствам не может часто бывать на стадионе, т. е. «активный телезритель». «Я сажусь перед экраном, — пишет Л. Долгов, — и меня заранее покалывает озноб, как будто я сам сейчас должен выйти на футбольное поле... Я однажды со стоном выхватил из-под себя стул и в бессильной ярости закрутил им над головой (теперь нужно покупать новую люстру)...» Спортивный журналист М. Черкасский в большой статье «Смелее, комментатор» (1969, 23 июля), развивая мысли Юрия Трифонова, высказывает суждения о совершенствовании

профессионального уровня телевизионных репортажей о спортивных соревнованиях.

В рабочих дневниках Ю. Трифонова есть записи неудачных, непрофессиональных, логически и стилистически неверных высказываний телекомментаторов. Не задаваясь целью сравнительного анализа, мы обратили внимание на статью Ю. Михайлова «Авторы безответных голов», написанную через 16 лет после трифоновской статьи (см.: Советская культура, 1986, 4 ноября). Примеры «выражений» в основном совпадают: «Соперники полны решимости довести встречу до победы, готовы отдать этому все силы...» — «Сегодняшняя игра, как дистиллированная вода, была пресной...» — «Спортсмены демонстрируют все, на что они способны, а способны они на многое...» — «Команды достойны друг друга, любят остро атаковать и умело защищаться, настроены по-боевому...» — «Боевые эшелоны команд стремятся нападать и защищаться одновременно как в середине поля, так и в своей штрафной площадке...» (Архив Ю. В. Трифонова).

**ПЛАНЕТАРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ.** Написано в ноябре 1970 года для журнала «Искусство кино» в качестве рецензии на фильм Г. и Э. Климовых «Спорт, спорт, спорт» (Мосфильм, 1970). Первая публикация (с подзаголовком «Попытка исследования» и фотографиями из фильма): Искусство кино, 1971, № 2. Печатается по рукописи, сверенной с публикацией в книгах Ю. В. Трифонова.

1. «Я поднимался с толпой на холм Уэмбли...» — Ю. В. Трифонов как корреспондент журнала «Физкультура и спорт» был в составе спортивной делегации на чемпионате мира по футболу (Лондон, 1966), о перипетиях которого он написал статью «Три акта драмы». Финальный матч между сборными командами Англии и ФРГ состоялся 30 июля.

2. «Толпа проглотила его...» — Воспоминания об этом матче и о чемпионате в целом «подказали» Ю. Трифонову начало его киноповести «Бесконечные игры».

3. «Одна из лучших новелл фильма о Брумеле. Всевсветную славу этого прыгуна можно сравнить со славой Джесси Оуэнса». — В рабочем дневнике Ю. В. Трифонова конца 60-х годов содержатся записи о некоторых спортсменах в фильме «Спорт, спорт, спорт». «Валерий Брумель — молодой самолюбивый парень из села Разведка (!?) Амурской области — стал еще одним спортивным разведчиком в раскрытии безграничных возможностей

человека... Серебряный призер Олимпиады в Риме (1960), олимпийский чемпион Токийской олимпиады (1964), многократный рекордсмен мира, Европы (мировой рекорд — 2,28)... Трижды (1961—63) признан лучшим спортсменом мира. В 1962 году его наградили высшими наградами мирового спорта — призом «Хелмса» и «Золотой каравеллой Колумба»... В шестьдесят пятом при автокатастрофе получил тяжелейшую травму ноги... Через два года, преодолевая физическую боль и тяжелое психологическое состояние «ненужного спортсмена», закончил ГЦОЛИФК... После лечения в клинике удивительного «Айболита» — доктора Гавриила Илизарова приступил к тренировкам и в шестьдесят девятом взял высоту два ноль шесть... Джесси Оуэнс — четырехкратный чемпион летних Олимпийских игр в Берлине (1936): бег 100 метров, 200 м, эстафета 4×100 м, прыжки в длину. Первый спортсмен, прыгнувший в длину за 8 метров...» (Архив Ю. В. Трифонова).

4. «Недаром один из лучших современных кинорежиссеров Франции Клод Лелюш увлекся темой мирового спорта...» — После одной из зарубежных поездок, где Ю. Трифонов посмотрел картину Лелюша об Олимпиаде в Гренобле, он сделал некоторые записи об увиденном. Фильм напомнил Юрию Трифонову и о том, о чем он написал в «Сотворении кумиров». Но вернемся к записям: «Фильм Лелюша позволил мне ощутить удивительное состояние болельщика. Представим, что мы смотрим футбольный матч — великолепный, острый, на высочайшем уровне мастерства исполнителей. И одновременно с прелестями игры у нас лирическое настроение, которое внушается нам произведениями искусства, музыкой, стихами. И в какой-то миг настроение, внушаемое нам, становится столь могущественным, что результат матча перестает интересовать. Трудно представить? А у меня было несколько таких «мигов», но каких... Лелюш тоже «приложил руку» к тому, что спорт превратился в искусство при помощи кино... Неважно, кто участвовал в соревнованиях, например, Олимпиады, а важно, какой смысл во всем этом для деревень, расположенных в горных долинах, для маленьких старых городов, для людей, для тебя... Человечество выдумало спорт для чего-то большего. И мудрость Лелюша, создавшего фильм о спорте, где спорт не главное, в том, что он помог и нам — зрителям прикоснуться к тому большому...» (Архив Ю. В. Трифонова).

5. «Он увидел красоту, и опасность, и трагизм, и



смешное». — Рецензируемый Ю. Трифоновым фильм был дипломной работой Германа Климова, брата Элема Климова, закончившего сценарные курсы Госкино. Фильм «Спорт, спорт, спорт» получил премии на Всесоюзном фестивале и в Оберхаузене, но режиссер его Элем Климов им не вполне доволен: «В жанровом, стилистическом плане фильм был важным опытом, я опробовал метод, который называл методом гармонической эклектики, — он представлял собой попытку соединить в единое целое несоединимые вещи: подлинную хронику, событийные съемки, интервью; в условной манере снятые игровые новеллы; стихи, дикторский текст. Попытка в общем-то не удавшаяся до конца. А почему, я это понял только потом. Это связано с новеллами о массажисте, которые проходят через весь фильм. Они сами по себе настолько условны, что снимать их следовало не в условной манере, а как бы документально.

Но главное, этот фильм не мог изменить мое творческое самочувствие. Я ждал и надеялся, отчаивался и снова надеялся, что буду снимать «Агонию» (Советская культура, 1986, 30 августа). О рецензии Ю. Трифонова на фильм подробно пишет критик Е. Громов в статье «Крутые дороги Элема Климова» (Москва, 1986, № 6).

ИЗ ЖИЗНИ ГИГАНТОВ. Первая публикация: Искусство кино, 1969, № 10.

КЛУБ... БОЛЕЛЬЩИКОВ. Заметки написаны в сентябре 1958 года. Первая публикация (с фотографиями А. Бурдукова): Физкультура и спорт, 1958, № 11, а затем на эстонском языке в газете «Спортдилехт» (Спортивная газета, 1959, 30 октября). Печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

1. «До апреля закрывается клуб болельщиков». — Интересы этой всемирной многомиллионной армии — болельщиков Юрий Трифонов постоянно отстаивал во многих статьях, заметках, репортажах, рассказах, повестях и романах. Так, накануне XXVI чемпионата страны по футболу он писал: «...давайте поговорим на любимую тему. Ведь любовь болельщиков к футболу выражается именно в этом: в разговорах. Где бы ни встретились два болельщика — в магазине, на собрании, в бане или на театральной премьере, — они немедленно затевают разговор о футболе, они просто бывают не в силах сдержать себя,

это происходит помимо их воли. Мысли начинают бурлить, слова рождаются как бы сами собой, и болельщики начинают говорить шепотом и даже знаками. И можете мне поверить, что театральная премьера или отсутствие воды в парилке интересует их в этот момент гораздо меньше, чем проблема центрального нападающего в «Спартаке»...» («Труд, 1964, 27 марта).

О ТАЙНЕ УСПЕХА И О МОСКОВСКОЙ КОМАНДЕ «ТОРПЕДО». Написано в 1960 году. Первая публикация (под заглавием «О тайне успеха и о команде «Торпедо»): «Литературная газета», 1960, 27 октября. Печатается по тексту книги «Факелы на Фламиньо», сверенном с рукописью.

1. «После Стокгольма долго спорили...» — Речь идет о чемпионате мира по футболу, прошедшем в 1958 году в Стокгольме. Как известно, сборная страны, проиграв четвертьфинальный матч шведам со счетом ноль — два, выбыла из дальнейшей борьбы. Чемпионами мира стала сборная Бразилии, где засверкал талант Пеле, Гарринчи, которые были впервые введены в играющий состав сборной в матче с нашей командой.

2. «Вот тут, кажется, мы нащупываем нечто важное». — Проблемы психологии спорта, спортсменов постоянно анализируются в статьях, очерках, репортажах Ю. В. Трифонова. Так, например, в сентябре 1968 года он вновь вернулся к команде «Торпедо», вернее, попытался при помощи группы «Центрнаучфильма», снявшей фильм «Футболисты» (автор сценария Д. Полонский, консультант В. Мошкаркин), разобраться в причинах кризиса. «Этот фильм — о «Торпедо», популярной московской команде, — писал Юрий Трифонов. — Всего лишь несколько лет назад команда была лучшей в стране, чемпион и победитель Кубка, затем произошел спад... Я понимаю: невероятно трудно рассказывать о спорте «изнутри и всерьез». Трудно хотя бы потому, что спорт не любит показывать своих кулис. Я тоже сталкивался с этой нелюбовью. То ли из суеверия, то ли из боязни того, что некоторые производственные секреты станут известны соперникам, представители большого футбола неохотно идут на откровенные беседы. А тем — острейших и сложнейших — тут более чем достаточно. Большой футбол только по инерции да по недомыслию называют игрой. На самом деле какая уж тут игра! Миллионы зрителей. Миллионные затраты. Миллионные доходы. Давно пора от спортив-

ных комедий перейти к спортивным драмам... Это фильм серьезный. И в том его заслуга. Но футбол еще серьезней, гораздо серьезней» (Трифонов Ю. Трудности этого жанра.— Искусство кино, 1968, № 12).

**ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ.** Заметки написаны в марте 1961 года. Первая публикация: Футбол, 1961, 9 апреля. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

К 60-летию со дня рождения Ю. В. Трифонова в «Советском спорте» (1985, 8 сентября) в новой рубрике «Золотые перья» были перепечатаны эти заметки. Они же были прочитаны 12 декабря 1985 года по I программе Всесоюзного радио в передаче «Читальный зал радиостанции «Юность».

**ПОДОБНО МУЗЫКЕ.** Написано в апреле 1962. Первая публикация (под заглавием «Не красное словцо...»): Советский спорт, 1962, 26 апреля. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «Число вроде тоже ничего».— Речь идет об известных футболистах, игроках сборной команды страны Игоре Численко и Алексее Мамыкине.

2. «Да, «Левски» великая команда!»— В дневниках Ю. Трифонова начала 60-х годов есть записи о «футбольной» Болгарии, где он был много раз (см: «Костры и дождь», «Где пел Орфей», «Исполнение надежд»). Так, например, он записывает: «Играть в Болгарии и нашим футболистам трудно. В этой небольшой по географическим понятиям стране есть отличные и высокотехнические, быстрые, выносливые футболисты. Им, правда, не хватает тактического мастерства, но активные контакты — международные встречи — с европейским и латиноамериканским футболом (Бразилия, Аргентина и др.) помогут им вырасти. Кстати, и нам бы помогли «мировые» контакты... А «Спартак» был в Болгарии еще до войны и оставил в памяти болгарских болельщиков — а они все одинаковы своими страстями — хорошие воспоминания... В Болгарии есть поговорка: в стране 8 миллионов людей, из них 9 миллионов болеют за «Левски»! (Архив Ю. В. Трифонова).

**НОВАЯ ЭСТЕТИКА ФУТБОЛА.** Написано в сентябре 1962 года по ходу игр XXIV чемпионата СССР по фут-

болу. Первая публикация: Футбол, 1962, 7 октября. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «...как сезон чилийской неудачи...» — Речь идет о выступлении сборной команды страны на чемпионате мира по футболу (Чили, 1962). «Уже в первых напряженных играх наша команда выглядела натужной, тяжелой, нетехничной. Меня, как и многих болельщиков, согрела лишь вера в талант Льва Яшина — может быть, выручит там, где остальные будут бессильны. Но игра с Уругваем в очередной раз назвала наши вечные проблемы своими именами...» (Архив Ю. В. Трифонова).

**ОПЫТ ФУТБОЛЬНОГО ПОРТРЕТА.** Написано в октябре 1962 года. Первая публикация (под заглавием «И на трибунах шквал...»): Футбол, 1962, 18 ноября. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

**ИСПОЛНЕНИЕ НАДЕЖД.** Написано в 1963 году накануне юбилейного XXV чемпионата страны по футболу. Первая публикация: Футбол, 1963, 31 марта. Печатается по тексту книги «Факелы на Фламинио», сверенному с рукописью.

1. «...вот я болею за московский «Спартак». — Вот что пишет известный поэт К. Ваншенкин: «...Юрий Трифонов жил в середине пятидесятых на Верхней Масловке, возле стадиона «Динамо». Начал ходить туда. Прибаливал (футбольный жаргон) за ЦДКА по личным мотивам — тоже из-за Боброва. На трибуне познакомился с закоренелыми «спартаковцами»: И. Штоком, А. Арбузовым, начинающим тогда статистиком футбола К. Есениным. Они убедили его в том, что «Спартак» лучше. Редкий случай». (Ваншенкин К. Воспоминания о спорте. М., 1978, с. 37). Отвечая в 1967 году на анкету журнала «Юность» о десяти самых выдающихся спортсменах полувека, Юрий Трифонов так написал о Всеволоде Боброве: «Если бы он играл в теннис, он был бы великим теннисистом. Если бы увлекся боксом, стал бы вторым Роки Марчиано. Бобров — спортивная гениальность (Юность, 1967, № 11, с. 105).

Спартаковцам — футболистам и хоккеистам Юрий Трифонов посвятил статьи и заметки: «Спартак — победитель в турнире нервов» (Огонек, 1962, № 17), «Поздравляем»

(Советский спорт», 1962, 17 апреля), «И на трибунах шквал...» (Футбол, 1962, 18 ноября), «Как Феникс из пепла» (Футбол, 1962, 25 ноября), «Венец трудного пути». (Литературная газета, 1963, 13 августа), «С чем вас и поздравляем» (Труд, 1964, 27 марта), «Рассуждения о победителях» (Футбол, 1965, 22 августа). А спартаковский болельщик драматург Исидор Шток писал Ю. Трифонову так: «...мне очень приятно, что Вы свое пятидесятилетие празднуете в обстановке всеобщего к Вам расположения и признания. Кто-кто, а уж я знаю, как нелегок был Ваш путь и в творчестве и в жизни вообще. Ну что ж, как говорится, худшее позади... Да здравствует «Спартак», который на предпоследнем месте!..» (Архив Ю. В. Трифонова).

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СКУЧНОГО МАТЧА. Написано в мае 1963 г. Первая публикация под заглавием «Размышления во время скучного матча»: Литературная газета, 1963, 28 мая. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «...и, если хотите знать, интеллект сотен тысяч, заполняющих трибуны». — Не могу не вернуться вновь к воспоминаниям о Трифонове-болельщике, одном из «сотен тысяч заполняющих трибуны». Лев Левин пишет: «Лет тридцать с лишним назад существовала в Москве группа очень разных писателей — преимущественно драматургов, — которых объединила страстная, можно сказать, всепоглощающая любовь к спорту, и прежде всего, конечно, к футболу. Тон в этой группе задавали А. Арбузов, Л. Малюгин, И. Шток. К ним примыкали А. Гладков, С. Ермолинский, А. Крон, Я. Костюковский, Б. Ласкин. Вместе с ними нередко появлялся известный футбольный статистик К. Есенин. Единственным «чистым» прозаиком (хотя и он писал пьесы) был Ю. Трифонов.

Перечисленные мной писатели-болельщики не только постоянно ходили на стадион «Динамо» и в Лужники, но и выезжали за рубеж — то на чемпионаты мира и Европы по футболу, то на олимпийские игры.

...В тот день, когда я впервые увидел Трифонова, на стадионе было крайне неуютно: шел дождь, и мне, честно говоря, хотелось сбежать, тем более что «Зенит» в игре не участвовал, а голы, которые забивал «Спартак», — особенно шумно приветствовал это Арбузов — мало радовали: я не болел за «Спартак» и сейчас за него не болею. Трифонов, как мне показалось, относился к

тому, что происходило на поле, спокойнее, чем его друзья. Арбузов восхищался каждым удачным ударом футболистов «Спартака» и возмущался их промахами: сохраняя внешнее спокойствие, не мог удержаться от язвительных замечаний Малюгин; метко острил Шток. Трифонова почти не было слышно. Грешным делом, я подумал, что он ходит на футбол просто для того, чтобы не отстать от компании. Но неторопливые, несколько ленивые реплики, которые он как бы нехотя подавал, вскоре убедили меня, что он прекрасно разбирается в футболе и отлично знает, кто есть кто...» (Вопросы литературы, 1988, № 3, с. 183—184).

**О ФУТБОЛЕ.** Написано в мае 1968 года. Опубликовано: Литературная газета, 1968, 12 июня. Печатается по рукописи, сверенной с текстом в газете.

Публикуемые заметки Ю. В. Трифонова интересны и важны, как нам кажется, тем, что они подводят своеобразный итог футбольной теме в его публицистике. Правда, было высказывание Ю. Трифонова-болельщика, опубликованное под рубрикой «Футбол-70 с точки зрения...» в «Советской России» (1970, 18 ноября). В заметках о футболе он свел воедино свои взгляды на «Страну футбол, где ничего не известно наперед и все может быть». Интересно отметить, что уже в конце 60-х годов в его рабочих дневниках появляются наброски будущей киноповести «Бесконечные игры» (см. публикацию и наш комментарий).

**ЭТО — ИГРА!** Написано в августе 1966 года. Первая публикация: Физкультура и спорт, 1966, № 10. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги В. Трифонова «Игры в сумерках».

Как специальный корреспондент «Физкультуры и спорта» Ю. Трифонов в составе спортивной делегации был на чемпионате мира по футболу в Лондоне. Как известно, сборная команда СССР заняла по итогам чемпионата четвертое место. О пребывании в Англии он рассказал в заметках памяти драматурга Леонида Малюгина — «Это зависит от человека» (Советский спорт, 1969, 11 марта).

**ПЕРВАЯ ЗАГРАНИЦА.** Статья представляет собой авторскую переработку ранее опубликованных заметок:

«Свидание с Венгрией» (Новое время, 1955, № 47), «В столице футбола» (Физкультура и спорт, 1955, № 11), «Братство»: К 11-й годовщине освобождения Венгрии от фашизма (Литературная газета, 1956, 3 апреля). Публикуется по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

**БЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ.** Написано в марте 1959 года. Первая публикация (под заголовком «День большой игры»); Физкультура и спорт, 1959, № 5. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент журнала «Физкультура и спорт» освещал ход чемпионата мира по хоккею с шайбой в Праге.

**ОДИН ДЕНЬ ОЛИМПИЙСКОГО ТУРИСТА.** Написано в сентябре 1960 года. Первая публикация (под заглавием «Один вечер в Риме»; рис. А. Елисеева): Физкультура и спорт, 1960, № 11. По итогам конкурса на лучшее произведение журнала в 1960 году признан очерк «Один вечер в Риме». Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Ю. В. Трифонов в составе советской делегации был на XVII летних Олимпийских играх в Риме (25 августа — 11 сентября). Кроме этого очерка он написал рассказ о встречах с итальянцами — «Воспоминание о Дженцано», а также заметки «Прощание с Римом»: «...соревнования тяжелоатлетов закончились почти под утро. Но самые упорные болельщики, досидевшие до конца и увидевшие феноменальный рекорд Власова, ликовали и радовались с совершенно детской непосредственностью, поздравляли друг друга, обнимались...

В этом заключается высокий смысл Олимпиады. Некоторые брезгливые люди на Западе стали в последние дни утверждать, что спорт будто бы разъединяет народы, ибо большие соревнования возбуждают чересчур озлобленное соперничество между нациями. Вздор этих высказываний рассеяла Римская олимпиада. Больше чем полмесяца спортсмены жили многочисленной дружной семьей.

Особенно много друзей у наших спортсменов стало среди итальянцев. В маленьком городке Дженцано, что неподалеку от Рима, где мне довелось побывать с группой туристов, заместитель мэра молодой коммунист де

Сантис рассказывал о том, с каким интересом жители Дженцано следят за событиями Олимпиады. По утрам они спрашивают: как там наши? — имея в виду и итальянских и советских спортсменов...

В эти дни в римских музеях так же тесно, как и на трибунах стадиона. Искусство и спорт тесно идут рядом, начиная с античных времен, ибо у них одна задача — сделать человека чище, благороднее, сильнее» (Комсомольская правда, 1960, 13 сентября).

**ФАКЕЛЫ НА ФЛАМИНИО.** Заметки о финальном матче по футболу на Олимпиаде в Риме написаны в сентябре 1960 года. Первая публикация: Футбол, 1960, 18 сентября. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «Это второе всенародное разочарование итальянцев...» — Первое было вызвано поражением сборной команды Италии в олимпийском футбольном турнире со сборной Югославии. А второе разочарование — это победа велосипедиста Виктора Капитонова в шоссейной гонке на 175, 38 км, где он опередил — на полколеса! — признанного лидера Ливио Трапе (они показали одинаковый результат).

2. «Для утешения думаем о том...» — О финальном матче в Париже на Кубок Европы между сборными командами СССР и Югославии Юрий Трифонов написал эмоциональный репортаж с необычным заглавием «136 строк лирики...» (Футбол, 1960, 17 июля).

**ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧАСОВ.** Представляет собой переработку Ю. В. Трифоновым ранее опубликованных заметок: «Немного о Швейцарии» и «Когда прозвучала сирена» (Литературная газета, 1961, 7 и 14 марта), а также «Чешская сенсация» (Физкультура и спорт, 1961, № 5). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «...я опоздал на десять минут на самолет...» — Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент «Литературной газеты» был в составе спортивной делегации на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Женеве (март 1961).

2. «И опять спартаковская тройка выручила команду...» — Накануне очередного чемпионата мира по хоккею (в 1962 году) Юрий Трифонов написал заметки «Природа



чудес», где он вновь говорил о необходимости высокой психологической подготовки спортсменов, которая и проявляет это чудесное «чуть-чуть» в дополнение к напряженным тренировкам. Примером психологической «заряженности» на достойного соперника была для Трифонова первая спартаковская тройка. «Мне вспомнился март, Швейцария, женевский каток «Верне». Сильнейшей нашей тройкой на последнем чемпионате мира была тройка спартаковцев. Эти три молодых, не очень рослых, играющих с мальчишеским азартом хоккеиста — Борис и Евгений Майоровы и Вячеслав Старшинов — оказались настоящими турнирными бойцами, куда более стойкими, чем многие ветераны. Они атаковали не жалея себя. Они давили. Они играли в своем особенном стиле, создавая в зоне противника такую фантастическую кутерьму, такую стремительную, бесшабашную суматоху, что защитники переставали соображать, что к чему, вратарь метался в клетке, как обмантый дрозд, а зрители не успевали следить за перемещениями шайбы и за идеями хоккеистов. Но спартаковцы каким-то непостижимым, кибернетическим способом понимали друг друга и выуживали из этого хаоса шансы для взятия ворот. Вот это было нечто похожее на чудо. Мелькание, неразбериха, бесконечные зигзаги вокруг домика вратаря, как бы запутывающие его клубком невидимых ниток, и вдруг — бац! — вспыхивает красная лампочка...» (Огонек, 1962, № 4).

Как известно, советские и чехословацкие хоккеисты не приняли участия в чемпионате мира по хоккею 1962 года в Колорадо-Спрингс в знак протеста из-за отказа госдепартамента США выдать въездные визы спортсменам ГДР; чемпионами мира стали шведы.

**КОСТРЫ И ДОЖДЬ.** Рассказ написан в ноябре 1961 года. Первая публикация (под заглавием «А костер горит...»): Литературная газета, 1961, 19 декабря. Неоднократно перепечатывался (и еще под другим заглавием — «Костер горит») в книгах Ю. В. Трифонова, а также в сборнике «Рассказы» 1961 года (М., 1962). Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламиньо».

Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент «Литературной газеты» был в Болгарии на национальном празднике — Дне свободы. Об этом была его первая корреспонденция «Нельзя отнять у людей...» (1961, 9 сентяб-

ря). Там он ближе познакомился с творчеством болгарских писателей, в частности Андрея Гуляшки, и написал к его роману «Ведрово» (М., 1962) предисловие: «Всю Болгарию можно проехать с севера на юг или с востока на запад за один день. Это небольшая страна. Но в Болгарии есть все, чем могут гордиться большие страны: горы, море, равнины, густые леса, степи. И есть еще что-то, что не всегда бывает в больших странах оттого, что они слишком пестры, необъятны: какое-то особое очарование. Я не знаю природу этого очарования, но оно существует. Ему поддаются все, кто попадает в эту страну хоть на несколько дней. Что это — мираж? Наваждение? Воздух? Запах земли? Или взгляды людей? Я не знаю, что это. Наверное, все вместе. Я бы назвал это особым болгарским очарованием... Болгария — страна людей, умеющих наслаждаться трудом...»

1. «Веселин Андреев предложил подняться наверх...» — Своеобразным дополнением к встречам, описанным в рассказе «Костры и дождь», может послужить предисловие Ю. Трифонова к сборнику В. Андреева «Партизанские рассказы» (М., 1965). «Веселин Андреев очень популярен в Болгарии. Его стихи и поэмы печатаются в школьных хрестоматиях. Поэма «Сашка» — одно из самых любимых в народе произведений о подвигах болгарских партизан в минувшей войне. Прошло двадцать лет со дня окончания войны, но интерес к теме революционной борьбы с фашизмом не ослабевает в болгарском искусстве: появляются все новые повести, сборники стихов, драмы и кинофильмы, рассказывающие о героических подвигах партизан. Веселин Андреев — признанный лидер этой темы. Признание пришло к нему не только потому, что он правдиво, поэтично сумел рассказать о высоком мужестве партизан, запечатлел в своих стихах и поэмах образы молодых героев, членов РЕМСа (болгарского комсомола), но и потому, что он известен в Болгарии как выдающийся партизан, комиссар партизанской бригады «Чавдар»... Меня поразило то, что на «горе Баба» я увидел как бы всю Болгарию: там были шахтеры, военные, крестьяне из соседних сел Бруново и Мирково, там были инженеры, чернорабочие, писатели, артисты. Все они имели прямое и косвенное отношение к партизанской бригаде: одни воевали в ее рядах, другие были связными, а это в те годы тоже было смертельно опасным делом. Утром дождь прекратился, но небо было облачно, и вокруг гор и ниже ее тоже были облака, клочьями, как туман. Партизаны выстроились четырех-

угольником, Веселин Андреев, комиссар бригады «Чавдар», рапортовал генералу, бывшему командиру бригады, как когда-то далекой осенью, когда все они были на двадцать лет моложе... Не все они дожили до победы. Но все они победили...»

**ГДЕ ПЕЛ ОРФЕЙ.** Очерк написан в ноябре 1961 года. Первая публикация под заглавием «Там, где жил Орфей»: Новое время, 1961 № 52. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинию».

Кроме уже названных публикаций (см. комментарий к рассказу «Костры и дождь») о Болгарии, стране, которую он очень любил, Юрий Трифонов написал (как он сам считает) один из лучших своих рассказов «Самый маленький город» (Новый мир, 1968, № 1), очерк «Вечнозеленое путешествие» (Вопросы литературы, 1971, № 12), а также накануне международной встречи писателей в Софии заметки «Писатель и мир»: «Счастливая мысль: собрать писателей в Болгарии, и пусть они говорят о чем хотят... Болгария сильно настрадалась в течение веков и хорошо знает цену миру. Если уж говорить о мире. Потому что пятьсот лет чужеземного ига — это пятьсот лет скрытой, вязкой, глухой, неизбывной, вечной войны. Войны на уничтожение души народа. Болгары вросли своими церквями в землю, выстояли, перебороли, пережили. Ровно сто лет назад с русской помощью произошло освобождение, но память о борьбе, о жертвах в народе жива, я бы сказал, необыкновенно и поразительно жива. Пожалуй, нет другого народа, который бы так ясно, с такой свежей силой помнил бы то, что случилось в его судьбе сто лет назад. Разве мы, русские, так уж крепко помним события русско-турецкой войны? Ведь столько всего было потом! А французы помнят ли хорошо коммуну? Американцы — войну Севера против Юга? Помнят исторически, литературно. Для болгар же война 1877—1878 гг. — живая плоть памяти, будто пережитая нынешним поколением. Такое у меня впечатление из разговоров с людьми...» (Трифонов Ю. Как слово наше отзовется... М., 1985, с. 112—113).

**...И ДОЛЯ СПОРТИВНОГО СЧАСТЬЯ.** Представляет собой переработку Ю. В. Трифоновым ранее опубликованных заметок: «Мы играем в свою игру!» (Литературная газета, 1963, 16 марта), «И прозвучал наш гимн!» (Ли-

тературная газета, 1963, 21 марта). Публикуется по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент «Литературной газеты» был в составе спортивной делегации на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Стокгольме. Незадолго до чемпионата в газете (1963, 22 января) он опубликовал заметки «Перед стокгольмским льдом», где проанализировал состояние лучших хоккейных команд мира.

**ВОСПОМИНАНИЕ О ДЖЕНЦАНО.** Рассказ написан в 1964 году. Первая публикация: Молодая гвардия, 1964, № 4. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Факелы на Фламинио».

1. «Ничто не сохранилось из моих школьных рисунков...» Он не догадывался, что его мать, Евгения Абрамовна Трифонова, хранила его тетради, дневники, альбомы с рисунками, письма школьных и юношеских лет. И сегодня в архиве Ю. В. Трифонова находятся эти материалы, позволяющие судить о делах, замыслах, размышлениях школьника Трифонова. В частности, хранятся его первые заметки и о спортивных соревнованиях в школе, его первые литературные попытки рассказать о них для рукописного альманаха Дома пионеров (в переулке Стопани). Давняя близорукость не позволяла ему активно заниматься спортом, но в архиве есть любопытные свидетельства о его попытках подготовить материал на тему «Спорт в жизни великих людей — писателей, ученых, путешественников». Он собирал различные сведения (на эту тему) о жизни Ломоносова, Сеченова, Дж. Свифта, Сервантеса, Ф. Купера...

Вероятно, на такой подход в выборе темы повлияло отношение его отца к физкультуре: он ежедневно занимался необходимыми физическими упражнениями с гантелями. Также сыграла роль его дружба с Лево́й Федотовым (см. комментарий к «Истории болезни»), который ежедневно вел дневник, пытался писать романы, закаливал себя физически... Под влиянием матери Юрий Трифонов с детских лет рисовал. В одном из своих дневников он писал о том, что в восьмом классе он стоял на перекутке — продолжать писать (романы) или идти в художественную школу. Выбрал первое и начал писать новый научно-фантастический роман, не переставая на страницах комментировать текст рисунками. Думается, что эта

нереализованная любовь к рисованию и активному занятию спортом позволила ему написать теплый, живой очерк «Художник-спортсмен»: «...Ярослав Викторович Титов — один из немногих советских художников, по-настоящему знающих и любящих спорт. Большинство своих произведений он посвящает спортивной теме. И это не удивительно: всю свою жизнь его обуревают две равновеликие страсти — к живописи и к спорту! Кому-то, может быть, покажется легкомысленным это уравнение двух страстей. Что общего, дескать, между высоким искусством и грубыми мышечными упражнениями здоровых девушек и парней? Но общее между тем и другим существует: это понятие красоты, понятие прекрасного. И в спорте и в искусстве оно является главным и сокровенным... После войны Я. В. Титов особенно серьезно и плодотворно работает над спортивной темой. Им созданы такие произведения, как, например, получившая известность экспонированная на Всесоюзной выставке 1950 года картина «Барьерный бег», полотно «Передача эстафеты», живая и красочная картина «На катке», большое количество рисунков, опубликованных в периодической печати. Последняя работа Я. В. Титова — картина «Хоккей». Это, пожалуй, его наиболее значительное живописное произведение, яркое и своеобразное по цвету, с динамичной композицией, написанное с подлинным знанием спорта...» (Физкультура и спорт, 1956, № 11).

2. «Нас вели на праздничный обед в трактир...» — Этот рассказ получил свое неожиданное продолжение в другом, увы, одном из последних рассказов «Кошки или зайцы?» из общего цикла «Опрокинутый дом».

ИЗ АВСТРИЙСКОГО ДНЕВНИКА. Цикл олимпийских новелл написан в феврале — марте 1964 года. Первая публикация (под заглавием «Из австрийского блокнота»): Физкультура и спорт, 1964, № 4. Печатается по переработанной автором рукописи, сверенной с текстом в книге статей «Над Инсбруком звучат фанфары» (М., 1964).

Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент «Литературной газеты» был в составе спортивной делегации на IX зимних Олимпийских играх в Инсбруке (29 января — 9 февраля). Ю. Трифонов опубликовал в газете (1964, 1, 4, 6, 8 февраля) свои заметки: «Бесснежное начало», «Перед новым этапом», «Седьмой день — седьмая золотая», «Победившие «мертвую точку».

Пребывание в Инсбруке вызвало к жизни рассказ

«Недолгое пребывание в камере пыток» (Знамя, 1986, № 12) из общего цикла «Опрокинутый дом».

**ТРАВНИЧЕК И ХОККЕЙ.** Написано в апреле 1967 года. Первая публикация: Литературная Россия, 1967, 7 и 14 апреля. Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги «Игры в сумерках».

Как специальный корреспондент «Литературной России» Юрий Трифонов был на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Вене. Первый репортаж из столицы Австрии назывался «Накануне главных событий» (1967, 24 марта).

**СОТВОРЕНИЕ КУМИРОВ.** Представляет собой авторскую переработку опубликованных ранее статей — «Только начало...», «Лыжники в небе», «Покидая Гренобль» (Литературная Россия, 1968, 9, 16, 23 февраля), а также статьи «Бабочка из стекла и бетона: Рассказ о Гренобле и его окрестностях» (Физкультура и спорт, 1968, № 5). Перепечатывались в книгах Ю. Трифонова. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

Ю. В. Трифонов как специальный корреспондент «Литературной России» был в составе спортивной делегации на X зимних Олимпийских играх в Гренобле (6—18 февраля).

**ПОБЕДИВШИЕ «МЕРТВУЮ ТОЧКУ».** Олимпийский дневник IX зимних Олимпийских игр. Первая публикация: Литературная газета, 1964, 8 февраля.

## Содержание

---

Шитов А. Глядя в завтрашний день . . . . .	5
--	---

### Рассказы

Последняя охота . . . . .	21
Конец сезона . . . . .	37
Далеко в горах . . . . .	62
Победитель шведов . . . . .	79
Стимул . . . . .	93
Одиночество Клыча Дурды . . . . .	100
Прозрачное солнце осени . . . . .	106
Испанская Одиссея . . . . .	115
Победитель . . . . .	125
Игры в сумерках . . . . .	132
Бесконечные игры. Киноповесть . . . . .	141

### Размышления и картины

Полчаса, которые потрясли стадион . . . . .	223
Небывалые страдания болельщиков . . . . .	229
Вместо грозы . . . . .	235
История болезни... . . . .	239
Человек может! . . . . .	242
Время и волейбол . . . . .	246
Труден путь к Олимпу . . . . .	249
Два слова о спортивных рассказах . . . . .	254
В первые часы творенья . . . . .	255
Планетарное увлечение . . . . .	267
Из жизни гигантов . . . . .	279

## О футболе...

Клуб... болельщиков . . . . .	287
О тайне успеха и о московской команде «Торпедо»	289
Признание в любви . . . . .	294
Подобно музыке . . . . .	297
Новая эстетика футбола . . . . .	300
Опыт футбольного портрета . . . . .	305
Исполнение надежд . . . . .	310
Размышления во время скучного матча . . . . .	313
О футболе . . . . .	315
Это — игра! . . . . .	320

## Стадионы и страны

Первая заграница . . . . .	333
Белая болезнь . . . . .	342
Один день олимпийского туриста . . . . .	348
Факелы на Фламинио . . . . .	357
Путешествие в страну часов . . . . .	361
Костры и дождь . . . . .	371
Где пел Орфей . . . . .	379
И доля спортивного счастья . . . . .	387
Воспоминание о Дженцано . . . . .	393
Из австрийского дневника . . . . .	401
Травничек и хоккей . . . . .	410
Сотворение кумиров . . . . .	427
Победившие «мертвую точку» . . . . .	443
Комментарии . . . . .	446



Литературно-художественное издание

**Юрий Валентинович Трифонов**

БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ  
О спорте, о времени, о себе

Составитель

Ольга Романовна Трифонова-Мирошниченко

Заведующий редакцией В. Л. Штейнбах

Редактор Н. Я. Сулова

Младший редактор А. Ю. Матвеева

Художник В. Я. Мирошниченко

Художник серии А. Ю. Литвиненко

Художественный редактор А. В. Амаспюр

Технический редактор Е. И. Блиндер

Корректор З. Г. Самылкина

ИБ № 2540

Сдано в набор 23.08.88. Подписано к печати 31.01.89.

Формат 70×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага кн.-журн. Гарнитура  
«Журнальная рубленая». Высокая печать. Усл. п. л. 17,55.  
Усл. кр.-отт. 17,88. Уч.-изд. л. 22,94. Тираж 140 000 экз.  
Издат. № 8175. Зак. 928. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Почета  
издательство «Физкультура и спорт»  
Государственного комитета СССР  
по делам издательств, полиграфии  
и книжной торговли. 101421, Москва,  
Каляевская, ул., 27.

Типография издательства «Калининградская правда»,  
236000, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 18.

---

В серии «Библиотека спортивной прозы»  
вышли книги:

1984 г. Лев Кассиль «Вратарь Республики»

1986 г. Артур Конан-Дойл «Родни Стоун»

1987 г. «Советская спортивная повесть»

1988 г. Юрий Нагибин «Испытание»

1988 г. «Хлеба и зрелищ». Сборник писателей  
ФРГ

1989 г. Брайан Глэнвилл «Олимпиец»

Готовятся к выпуску:

Джек Лондон «Держи на Запад»

«Старт». Сборник писателей НРБ

